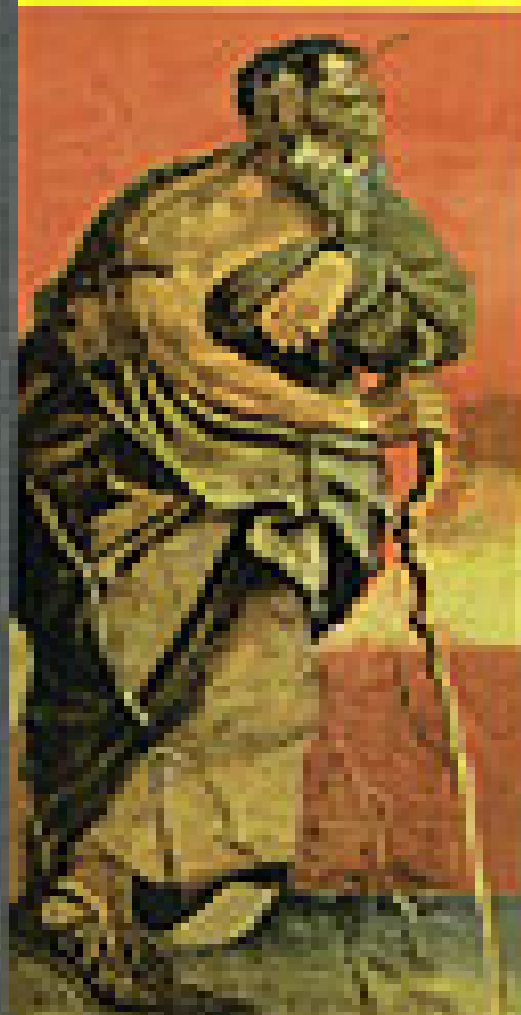
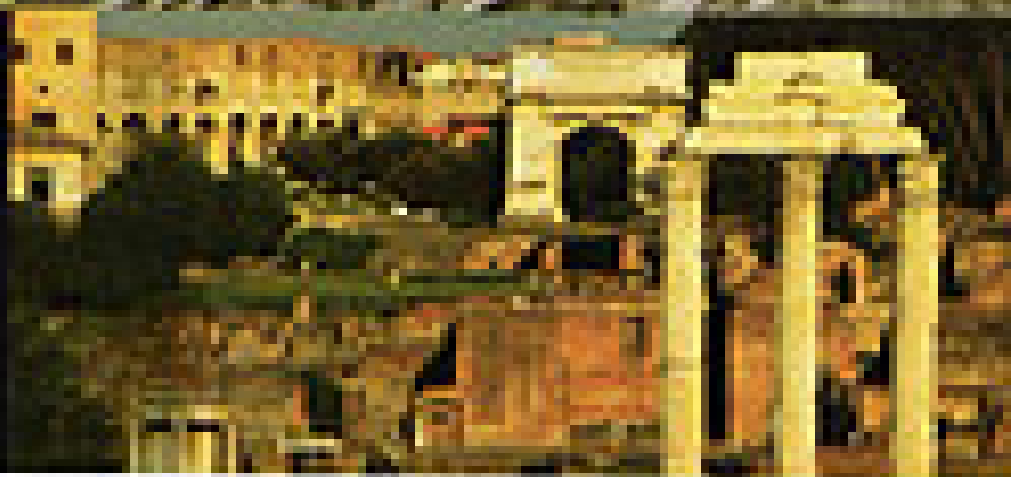


БРУТ



Анна
Верне



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Вот уже более двух тысяч лет человечество помнит слова, ставшие крылатыми: «И ты, Брут!» — но о их истории и о самом герое имеет довольно смутное представление. Известная французская исследовательница и литератор, увлеченная историей, блистательно восполняет этот пробел. Перед читателем оживает эпоха Древнего Рима последнего века до новой эры со всеми его бурными историческими и политическими коллизиями, с ее героями и антигероями. В центре авторского внимания — Марк Юний Брут, человек необычайно одаренный, наделенный яркой индивидуальностью: философ, оратор, юрист, политик, литератор, волей обстоятельств ставший и военачальником, и главой политического заговора. Его богатый внутренний мир поражает своей яркой духовностью, тонкостью восприятия и твердой негибкостью в своей убежденности и принципах. Это был человек чести, доблести, мужества и того гуманизма, который станет кредо в новую эпоху — эпоху Возрождения, эпоху Ренессанса.

-
- [Брут. Убийца-идеалист](#)
 - [«Когда за призраком свободы нас Брут отчаянный водил»](#)
 - [Предисловие](#)
 - [I. Бремя минувшего](#)
 - [II. Загадочное дело Веттия](#)
 - [III. В войне с самим собой](#)
 - [IV. Фортуна Цезаря](#)
 - [V. Брут, ты уснул!](#)
 - [VI. Мартовские иды](#)

- [VII. Встреча в Филиппах](#)
- [Эпилог](#)
- [Слово благодарности](#)
- [Основные даты жизни Брута](#)
- [Библиография](#)
 - [Литература на французском языке](#)
 - [Литература на русском языке](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)

- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)

- [Комментарии](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)

- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)

- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)

- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)

- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)

- [169](#)
 - [170](#)
 - [171](#)
 - [172](#)
 - [173](#)
 - [174](#)
 - [175](#)
 - [176](#)
 - [177](#)
 - [178](#)
 - [179](#)
 - [180](#)
 - [181](#)
 - [182](#)
 - [183](#)
 - [184](#)
 - [185](#)
 - [186](#)
 - [187](#)
 - [188](#)
 - [189](#)
 - [190](#)
 - [191](#)
-

Брут. Убийца-идеалист

«Когда за призраком свободы нас Брут отчаянный водил»

Мало найдется в истории таких знаменитых людей, как Брут. Даже сейчас, когда Античность почти забыта, вряд ли сыщется человек, который бы не слышал о Бруте. Его имя вошло в поговорку. Причем для одних оно символ свободы, борьбы с деспотизмом; для других — синоним чудовищного предательства. Молодой немецкий студент бросается с кинжалом на Наполеона. Его хватают. Император приказывает привести его к себе. И что же он спрашивает? «Вы хотите быть Брутом?» У Пушкина:

...и где ж вы, зиждители свободы?

... ..

Вот Кесарь — где же Брут?

У Ильфа и Петрова: «И ты, Брут, предался большевикам?» Данте помещает Брута в Ад, и не просто в Ад, но в самый нижний круг его рядом с Иудой, предавшим Христа. А у римского поэта Лукана он чуть ли не один из небожителей. Шекспир делает его героем своей знаменитой трагедии (ибо, хотя она называется «Цезарь», главный герой несомненно Брут). Так кто же он, этот Брут — неслыханный злодей или святой мученик? Трудность ответа на этот вопрос заключается еще и в том, что Брут обладал редким обаянием. Чарам его поддались такие разные люди, как Цицерон, Цезарь и даже Марк Антоний! Эти чары довлеют и над историками Нового времени. Например, знаменитый Г. Буассье, описав чудовищные ростовщические махинации Брута в провинции, заключает свой рассказ

так: «Нельзя, все же, сомневаться в его бескорыстии и честности»(!)¹. По меньшей мере странный вывод! По-видимому, чары Брута все еще так могущественны, свет, исходящий от его личности, так велик, что нам трудно всмотреться в его истинные черты.

Каждый человек в своей жизни испытывает влияния различных людей — родителей, друзей юности, наставников. У Брута подобные влияния были особенно сильны. Человек догматического склада ума, ригорист, следовавший строгим, раз навсегда установленным правилам, он в то же время удивительно подпадал под влияния других людей, которые до некоторой степени и предопределили его судьбу. И первым из них был Марк Порций Катон Младший, или Утический. Под его знаком прошли детство и юность нашего героя.

Катон был воистину святым римского пантеона. Даже ярые враги республиканцев признавали его величие. Веллей Патеркул, придворный историк Тиберия, чернивший врагов Цезаря, пишет о нем: «Это был человек, совершенно подобный самой Доблести, духом приближавшийся уже не к людям, а к богам... чуждый всех человеческих пороков» (Vell., II, 35). Саллюстий, друг и клеветник Цезаря, смешивавший с грязью Цицерона и всех прочих республиканцев, говорит, что в его время, когда люди измельчали, он встретил на своем пути только двух великих героев. То были Цезарь и Катон (Sall. Cat, 53). Философ Сенека, воспитатель Нерона, много изучал биографию Катона. Для него ясно, что это уже не человек. Это существо «чистейшее» и «святейшее». Он советует всем поставить перед собой мысленно образ Катона, чтобы равнять по нему свою жизнь, чтобы он поддерживал нас в трудную минуту (Sen. Ep., 67, 13; 116, 10; 25, 6). Культ Катона таким образом пережил Республику. Но он пережил и самый Рим. Данте, как я уже упоминала,

поместил Брута в Ад. Дело в том, что он был ярим монархистом и Цезарь для него — орудие Божие. И все же Цезарь находится в том же Аду, правда, в первом его круге, где пребывают все древние мудрецы, не знавшие Христа. Правда, есть одно исключение. Это Катон. Он — страж Чистилища, на вершине которого душа обретает свободу. Поэт толкует одно место из Лукана. Жена в старости возвращается к Катону. Это значит, говорит он, что душа в конце жизни вернулась к Богу. «И какой смертный более, чем Катон, достоин обозначать собою Бога? Конечно, ни один» (Пир, IV, 23). А Катон был язычник, ярый республиканец и самоубийца!

Культ Катона начался при его жизни. Имя его уже тогда вошло в поговорку. Бывало, идет суд. Защитник спрашивает обвинителя: «Где же ваши свидетели?» «Вот», — отвечает тот, показывая на одинокого человека. «Ну нет, — говорит защитник, — один свидетель — не свидетель, будь это хоть сам Катон!» Сосед рассказывает соседу невероятную историю. «Знаешь, — говорит тот, — я усомнился бы, если б даже об этом рассказал сам Катон». Весь Рим был полон его поклонников и подражателей.

Даже Моммзен, обожавший Цезаря и, кажется, готовый стереть в порошок всех его врагов, отдавал должное Катону. Он утверждал, что тот был Дон Кихотом. Это удивительно верно. Да, он был настоящим Дон Кихотом, который в низкий и подлый век решил возродить идеалы странствующего рыцарства. Об этом же другими словами говорит и Цицерон, хорошо его знавший и любивший: «Я люблю нашего Катона... Однако он ведет себя так, словно находится в идеальном государстве Платона, а живет он среди подонков Ромула» (Att., I, 1, 8). Катон защищал идеалы свободы и законности. У него была фанатичная, совершенно религиозная преданность им. Он один,

безоружный, выходил на бой с целым войском гладиаторов. Он кидался в толпу наемных убийц. Его избивали, он истекал кровью, но продолжал бороться. У него в душе горел такой внутренний огонь, что он воспламенял все и вся. Он говорил часами — от восхода до заката. А зрители слушали его жадно, с неослабным вниманием. Его стаскивали с трибуны и волокли в тюрьму. А он продолжал говорить. И народ бежал за ним, боясь упустить хотя бы слово. Вот этот-то человек стал кумиром и наставником юного Брута.

Брут происходил из неблагополучной семьи. Отец погиб в гражданской войне. Мать же его Сервилия была женщина развратная — весь Рим судачил о ее скандальных похождениях. В то же время она была очень практичной особой и занималась всякого рода денежными спекуляциями. В молодости была любовницей Цезаря, потом всю жизнь тянула с него деньги. Сначала он дарил ей драгоценные жемчужины; став диктатором, одаривал домами изгнанных республиканцев. Когда же ей показалось, что она стала слишком стара и влиятельный любовник ускользает из ее рук, она свела его со своей молоденькой дочерью. Ясно, что у такой женщины, с головой погруженной в романы и коммерческие аферы, не хватало времени заниматься сыном. Она и подбросила его Катону, своему младшему брату.

Катон любил свою родню: беспутных сестер, так на него непохожих, племянниц и племянника, которые постоянно жили у него в доме. Когда вспыхнула гражданская война, он поразил всех — явился в военный лагерь с сестрой, несшей на руках ребенка. Катон твердил, что не может бросить ее на произвол судьбы, так как муж, выгнавший ее из дома, скончался. А эта женщина, которую в Риме считали совсем пропащей, в свою очередь говорила, что не может оставить Катона, что ему нужны уход и режим. Так что

в конце концов римляне решили, что у нее доброе сердце, хотя прежде этого никто не замечал.

Катон был полной противоположностью сестре. Трудно представить себе еще кого-либо, кто так же презирал бы материальные блага. Ему, например, было все равно, что надеть, и когда иноземные цари делали ему подарки, он их с презрением отвергал. Один из них пригласил его к себе, угощал дорогим обедом, уложил в роскошную спальню — и что же? Наутро Катон от него сбежал. Все свои деньги он раздавал друзьям. А они дошли до такой бесцеремонности, что приходили к нему, без спросу брали вещи и закладывали. Продавали и его земли. А этот чудак и не думал на них сердиться (Plut. Cat. Min., 10, 54).

Катон был страстным поклонником Греции. Он объехал все древние города Эллады, учился у знаменитых эллинских ученых, в диспутах побеждал греческих философов. Его постоянно видели с книгой в руке. Он придерживался высокого учения стоиков и считал, что добродетель — высшее благо для смертного. Прекрасный поступок сам по себе является наградой, другой награды ждать нельзя.

Естественно, Катон оказал на Брута огромное влияние. Он поселил в его сердце страстную любовь к философии и высоким идеалам. По возрасту он годился ему скорее в старшие братья, чем в дядья — между ними было девять лет разницы. Может быть, это делало Катона еще ближе к Бруту. Брут пламенно любил его и преклонялся перед ним. То был его кумир, которому он пытался подражать всю жизнь. После его гибели он написал вместе с Цицероном его биографию, вернее житие, где, по словам современников, превознес Катона до небес. Друзья Брута вспоминали, что перед смертью он неотступно думал о Катоне.

Такой образ Катона, очевидно, не соответствовал художественному замыслу Анны Берне, и она

воспользовалась той характеристикой, которая относится к его предку, Катону Старшему, жившему на рубеже III—II веков, во времена Сципиона Африканского. В книге Анны Берне Катон — жадный, злой и невежественный человек, презирающий греков и обладающий ужасным характером. Его прототип — именно Катон Старший, который был остроумным, злым, неуживчивым человеком; спекулянт, имевшим огромные богатства и прославившимся своей скупостью; принципиальным противником эллинизации Рима, всю жизнь яростно выступавшим против греков.

Еще одним кумиром реального Брута был Цицерон, который оказал на него огромное влияние в самый ответственный период жизни — когда в его душе зрел план убийства Цезаря. (Кстати, жизнь Брута до этого времени вообще известна плохо.) Их первая встреча очень любопытна. Говоря словами Цветаевой, это была невстреча. Цицерон был назначен наместником в провинцию Киликию. Он быстро обнаружил, что его предшественник Аппий Клавдий был бесстыдный вор и вымогатель, который разорил и истерзал несчастную провинцию. Цицерон стал, как мог, залечивать ее кровоточащие раны. В это время он получил письмо от своего лучшего друга Аттика. Тот усердно рекомендовал ему Брута, зятя Аппия, благородного и честного молодого человека, который находился в свите своего тестя. Ему нужно было помочь в каком-то финансовом деле. Цицерон, конечно, обещал помочь достойному юноше. «Брут, — говорит он, — дал мне целую записную книжечку поручений» (Att., VI, 1, 3). Но когда оратор вник в дело, он с изумлением обнаружил, что достойный юноша занимался в провинции самым бесстыдным ростовщичеством, таким бесстыдным, что ему пришлось скрывать свое истинное имя, выступая под маской некоего Скапция, дельца и живодера, наводившего ужас на всю Малую Азию. «Я ужаснулся»,

— пишет Цицерон (Att., V, 21). Несмотря на всю свою уступчивость, он отказался помочь Бруту. Когда же Брут и Аттик продолжали настаивать, говоря, что Брут теряет деньги, он сухо отвечал: «Если Брут не одобряет моего поведения, не знаю, за что его можно любить. Его дядя, конечно, меня поймет» (Att., V, 21).

История эта приводила в недоумение многих ученых. Поведение Цицерона вполне соответствует всему, что мы о нем знаем. Зато Брут, которого мы привыкли представлять себе великодушным бессребреником, оказался бессовестным ростовщиком. Как объяснить его действия? Мне представляется, что отмахнуться от этого факта, как это делает Анна Берне, мы не можем. Думаю, дело объясняется просто: Брут смолоду испытывал два противоположных, но равно сильных влияния, матери и дяди. И если Катон возносил его в заоблачные выси, мать тащила обратно на землю. Рассказывают, что одна гетера сказала философу Сократу: «Я сильнее тебя; ведь ты не можешь отбить моих друзей, а я, стоит мне захотеть, могу переманить всех твоих». Сократ же отвечал: «Вполне понятно, ибо ты ведешь их под гору, я же заставляю взбираться к добродетели, а это крутая и непривычная для большинства дорога» (Ael. Var., XIII, 32). Видимо, Брут устал карабкаться наверх, и мать увлекла его под гору. Помог, наверно, и тесть. Они твердили, что все так поступают, и нечего слушать чудака Катона.

После этого события Брут и Цицерон охладели друг к другу. Цицерон видел в Бруте бессовестного ростовщика, притворяющегося честным и благородным. Брут же не мог забыть о том, что Цицерон отказался порадеть о его делах. Если бы они знали, что всего через несколько лет их свяжет самая пылкая дружба!

Почти тотчас же после окончания наместничества Цицерона началась гражданская война между Помпеем и Цезарем. Это было самое страшное событие для

римской интеллигенции. Дело тут не только в естественном ужасе, который вызывают подобные междоусобия, когда бывшие друзья идут друг против друга с оружием в руках. И даже не в том, что изначально было ясно, что силы Цезаря превышают силы Помпея. Дело в другом. Волею судеб защитником Республики выступил Помпей, который в течение многих лет расшатывал ее вместе с Цезарем. Естественно, никто не мог ему верить. Но, с другой стороны, оставаться безучастными зрителями, когда гибнет Рим, никто также не мог. И вот Катон, Цицерон, Кассий, Брут и другие отправились в лагерь к Помпею. Но шли они с безнадежным сердцем. Катон говорил, что, если победит Цезарь, он убьет себя, но, если победит Помпей, он уйдет в изгнание. А Цицерон сказал: «Побежденный сознанием долга... или совестью, я, подобно сказочному Амфиараю, вполне сознательно пошел на верную гибель» (Fam., VI, 6, 6).

Все самые черные подозрения республиканцев подтвердились. Они держались вместе и сторонились клеветов Помпея. Те весело сидели перед походным костром и делили имущество своих врагов, свою будущую добычу; республиканцы же сидели поодаль, перед своим костром, мрачные и подавленные. Это время сблизило их. Кассий сделался другом Цицерона, часто вспоминал те дни, их разговоры и горькие шутки Цицерона. Видимо, именно тогда Брут понял и оценил Цицерона.

После Фарсала Цицерон, Кассий, Брут и многие другие сдались на милость победителя. Цицерон вернулся в Рим сломленным. Погибло все, что он любил. И словно для того чтобы доконать его, судьба обрушила на него последний удар. Умерла его дочь, которую он любил больше всего на свете. Цицерон чуть не сошел с ума от горя. Прежде, говорит он, дочь могла утешить его, сокрушающегося о делах Республики, а дела

государственные могли отвлечь от личной скорби. Теперь рок отнял у него все (Fam., IV, 6). И вот тут-то, словно ангел-утешитель, к нему явился Брут, который стал о нем заботиться и буквально вернул его к жизни. Этим он доказал, что наделен добрым и отзывчивым сердцем.

Прежде всего Брут стал помощником Цицерона в самом благородном деле — старый оратор отдавал все силы, чтобы вымолить у диктатора прощение изгнанным республиканцам. Он льстил, унижался, часами просиживал в прихожей властителя, чтобы просить порой за совершенно чужого ему человека, чуть ли не врага. Это единственное, что отвлекало его от черных дум. И еще философия. И тут Брут становится верным товарищем и собеседником Цицерона. Они могли вместе часами обсуждать учение Платона или Зенона. В эти безрадостные дни Цицерон пишет трактат за трактатом. И все они посвящены Бруту. А по письмам видно, что он все время думает о Бруте, представляет, как он будет читать его новое произведение, что скажет или возразит. Словом, он буквально бредил Брутом. Брут был сдержаннее и холоднее Цицерона. Но зато он гораздо сильнее поддавался влиянию. Теперь он всецело попал под чары Цицерона. Об этом свидетельствует несколько весьма красноречивых фактов. Заметив, что Цезарь все более бесцеремонно нарушает законы Республики, он стал просить Цицерона растолковать диктатору, что единовластие — зло. Какую же надо было иметь слепую веру в Цицерона, чтобы думать, что старый оратор может растолковать это Цезарю!

Более того. Современники не сомневались, что именно Цицерон сделал из этого тихого кабинетного ученого тираноубийцу, внушив ему римские идеалы свободы. Сам Брут это признавал. В Мартовские иды он вышел с окровавленным кинжалом в руке и произнес

одно слово, которое должно было объяснить все. Он сказал:

— ЦИЦЕРОН!

После Мартовских ид дружба Цицерона и Брута вступила в новую, самую драматическую фазу. Цицерон ничего не знал о заговоре, что вполне естественно. Молодые люди щадили старого оратора, гордость Рима, и не стали вовлекать его в безумно опасное предприятие. Иды Марта обрушились на него так же неожиданно, как на Цезаря. Сперва Цицерон буквально обезумел от восторга. Он восхищался Брутом, гордился им. В его глазах Брут был окружен ореолом героя. Но вскоре восторг сменился тревогой, а затем и отчаянием. Он с изумлением смотрел на друга.

Дело в том, что заговор производит действительно довольно странное впечатление. Видимо, заговорщики обдумали только первую часть своего предприятия, именно: как убить Цезаря. Между тем это как раз было самым легким. Цезарь никогда не прятался, не окружал себя охраной, отмахивался от всех предостережений, говоря, что лучше раз умереть, чем дрожать всю жизнь. Кроме того, он слепо доверял своим будущим убийцам. Его можно было убить где и когда угодно. Но что делать дальше? Об этом заговорщики не подумали. Им почему-то казалось, что стоит только вонзить кинжал в Цезаря, как все изменится к лучшему. Между тем все ключевые посты занимали клевреты Цезаря. Армию держали в руках Антоний и Лепид, его ближайшие помощники, люди опасные и готовые на все. Казалось бы, тираноубийцы должны были захватить власть и создать нечто вроде временного правительства. И это не противоречило духу Республики. С древнейших времен в Риме в годину смут власть переходила в руки диктатора.

Но Брут ровно ничего не предпринимал. Цицерон был в ужасе. Он говорил об опасности, о том, что

надвигаются такие дни, перед которыми померкнет сулланский террор. Он твердил, что раз уж убит Цезарь, за ним должен последовать Антоний. Все тщетно. Брут был непоколебим и упрям. В результате он упустил время. Антоний, который вначале в панике бежал, теперь, видя полную пассивность Брута, вернулся и стал действовать. Историки не могут разумно объяснить поведение Брута. Высказывалась мысль, что он был человеком слабохарактерным и даже, будучи последним в своем древнем роду, носил в себе черты вырождения. Я думаю, что это не так. Мне кажется, что более прав Шекспир, сделавший своего героя человеком прямолинейным и слишком оторванным от жизни. Такие люди отличаются благородством, но могут наделать ужасных бед.

События развивались стремительно. Брут был растерян. Он советовался со всеми, более всего с женой и матерью (последнее убивало Цицерона). Кончилось тем, что заговорщики вынуждены были покинуть Италию. А в Риме всем стало ясно, что Мартовские иды дали только одно — умного и гуманного Цезаря сменил кровожадный разбойник Антоний.

Уезжая из Италии, Брут уверял себя и других, что делает это для Рима, чтобы избежать новой гражданской войны. Цицерон чувствовал, что надвигается страшное время. А он был стар, пережил две гражданские войны и сражаться уже не мог. Тогда Цицерон решил уехать вместе с Брутом. Но тот удержал его уговорами, что необходимо верить в римлян, у которых следует разбудить их уснувшую доблесть. Сделать это может один Цицерон своим пламенным патриотизмом и красноречием. И оратор вернулся. Вернулся, чтобы погибнуть...

Брут уехал, чтобы избежать гражданской войны. Но прошло всего несколько месяцев, и он уже стоял во главе огромной армии. Теперь война пылала на суше и

на море, в Европе и Азии. Сохранилась переписка Брута и Цицерона того времени. Они часто спорили и даже горько упрекали друг друга. Цицерон указывал на ошибки Брута, Брут — на ошибки Цицерона. Цицерон упрекал Брута в том, что он оставил в живых Антония, который теперь держит в страхе Италию, что он действует нерешительно. Брут же говорил, что Цицерон слепо доверился мальчишке Октавию. И оба были правы. Упреки Брута были более чем справедливы. Но он не видел, в каком ужасном положении находился Рим; не знал, что в страхе перед Антонием и его легионом Цицерон ухватился за Октавия, как утопающий за соломинку.

Итак, они часто спорили друг с другом. Но до самого последнего часа сохранили прежнюю взаимную любовь. Брут пишет: «Цицерон, самый честный, самый мужественный человек, заслуженно самый дорогой для меня из-за твоей любви ко мне и к Республике» (Brut., I, 4, 1—4). Аттику же он говорит, что Цицерон повел себя неправильно, доверившись Октавиану. «Цицерон действовал с наилучшими намерениями, я знаю. Для меня нет ничего более очевидного, чем его преданность Республике». Однако он совершил ошибку. Не потому, что он неискусен, «ибо это самый проникательный человек», и не потому, что его увлекло честолюбие — он доказал свою преданность и бесстрашие, «не побоявшись вызвать гнев всемогущего Антония», но потому, что он слишком доверяет людям (Brut., I, 17). И это говорит Брут, требовательный и непреклонный Брут, не знавший, что такое лесть, даже самая невинная!

В одном из последних писем Цицерон пишет: «Мы стали, дорогой Брут, игрушкой разнузданных солдат и наглого вождя. Каждый хочет иметь в Республике столько власти, сколько у него силы. Никто больше не хочет знать ни благоразумия, ни умеренности, ни

закона, ни обязанностей. Не заботятся больше ни о мнении людей, ни о суде потомства. Приди же, наконец, и дай Республике свободу, которую ты завоевал своим мужеством... Таково наше положение в настоящий момент, о если бы оно могло улучшиться! Если же случится иначе, я буду оплакивать только Республику — она должна быть бессмертной. Что до меня, мне так мало остается жить!» (Brut., I, Iff).

Но Брут не пришел. Пока он тратил время на осаду восточных городов, Антоний, Лепид и Октавиан объединились и захватили Рим. Город был потоплен в крови. Тысячи людей погибли, в том числе Цицерон. Понял ли Брут свою вину? Осознал ли, что, провозгласив мир, он бросил Рим в пучину войн и, пожалев нескольких негодяев, обрек на смерть столько невинных, беспомощных людей? Нет. Брут так до конца ничего не понял. Как многие идеалисты, он обвинил во всем порочность человеческой природы. Римляне сами виноваты в том, что стали рабами, говорил он. Вот как описывает его самоубийство Плутарх: «Храня вид безмятежный, даже радостный, он простился со всеми по очереди и сказал, что... он счастливее своих победителей... он оставляет по себе славу высокой моральной доблести» (Plut. Brut., 52). Увы! Так мог сказать Сократ, учивший сограждан добродетели и казненный ими, но не Брут, виновник их бед, пусть и безвинный.

Анна Берне склоняется к совершенно иной трактовке образа Цицерона и его отношений с Брутом. В ее книге Цицерон описывается как вредный и злой старик, корыстный и жестокий.

Надо признать, что некоторые историки также не особенно почитали Цицерона, однако в жестокости его прежде никто не упрекал. Обыкновенно его порицают за чрезмерную уступчивость, «интеллигентскую мягкотелость». Видимо, Анна Берне имеет здесь в виду

казнь пяти катилинариев. Напомню, что Каталина составил заговор с целью захватить диктаторскую власть. Ночью заговорщики должны были поджечь город, перерезать сенат и должностных лиц, а к воротам подойти вооруженные отряды сообщников вместе с варварами-галлами, которым отдавался на разграбление Рим. Цицерон раскрыл заговор, и он обладал на тот момент диктаторскими полномочиями для спасения Республики. Но он не применял насилия, пока в его руки не попали документы, неопровержимо доказывавшие вину катилинариев. Это были их собственноручные письма, скрепленные фамильными печатями. Когда заговорщики увидели свои письма, они поняли, что заговор раскрыт, и во всем признались. Цицерон собрал сенат, вручив ему судебные полномочия. Большинство голосов катилинариев приговорили к смерти, но казнены были только пятеро. Остальных судили обычным судом. Одних изгнали, другие были оправданы. Не был лишен жизни даже убийца, который был послан, чтобы умертвить самого Цицерона. Если такой поступок считать жестоким, то поведение Брута, убившего своего благодетеля, а потом без суда казнившего столько людей, просто чудовищно. Оправдывая Брута, автор говорит: «Он казнил так мало людей, что хватило бы пальцев рук, чтобы их сосчитать». Увы! Чтобы сосчитать казненных катилинариев, хватило бы пальцев одной руки. Добавлю, что Брут одобрял поступок Цицерона. И, будучи фанатичным поклонником Катона, уверял, что заслуга казни преступников принадлежит именно ему. Своим поступком Цицерон спас тогда Рим от великой крови. Думаю, что в подобных случаях следует жалеть не только преступников, но и их жертвы.

Анна Берне отмечает, что Цицерон труслив. Действительно, и современники, и ученые Нового времени часто говорили о его излишней робости.

Однако я не могу назвать его трусом. Дело в том, что в жизни нам уже не приходится встречать античных героев. А в наше время Цицерона все считали бы очень мужественным человеком. Действительно. Он сделал нечто такое, что не сделал бы, наверное, никто из наших современников. Во времена сулланского террора, когда Рим был буквально потоплен в крови, когда на Форуме ежедневно выставляли головы казненных и все онемели, парализованные страхом, он единственный заговорил. Он выступил защитником Росция, человека, которого собирался казнить сам Хризогон, всесильный временщик Суллы. Все римляне сочувствовали Росцию, но все молчали. Знатные люди сидели в суде, не решаясь поднять глаз. И выступил один 24-летний Цицерон. Он доказал невиновность преступника. Мало этого. Он прямо в лицо обвинил Хризогона. И сказал, что лучше жить среди диких зверей, чем в государстве, где существуют проскрипции. Весь Форум бешено рукоплескал молодому герою. После процесса Цицерон бежал от гнева Суллы. Но обвиняемого он спас. В конце жизни Цицерон также смело обличал всесильного Антония.

Анна Берне написала не биографию в чистом виде, хотя вышла она в очень солидной и престижной биографической серии издательства «Перрэн», но художественное произведение, основанное на реальных исторических событиях. И ее книга, безусловно, достойна внимания, ибо она пробуждает у читателей интерес к историческим персонажам и их судьбам.

Особенно удачна, на мой взгляд, заключительная часть книги, в частности, рассказ об убийстве Цезаря и смерти Брута. В то же время реальные исторические лица, изображенные в этом произведении Анны Берне, лично мне скорее напоминают сценические маски. Так, Катон носит маску скупого и сердитого дядюшки (дядюшки на сцене обыкновенно сердитые и скупые);

Цицерон — болтливый и злой старик, вроде итальянского Панталоне; Сервилия — роковая женщина. У нее и внешность соответствующая — прекрасные темные глаза (у роковых женщин всегда прекрасные темные глаза!) и идеальные линии тела. (Жаль, что до нас не дошло ни одного портрета этой дамы и ни одного словесного описания ее наружности.) Цезарь носит маску театрального злодея. Его злодейства доходят до того, что он грубо ругает, чуть не бьет свою несчастную кроткую жену. И отношение Брута к этим людям определяется не реальными фактами, а этими масками. Брут обожал Катона и Цицерона. Но таких Катона и Цицерона, какими они предстают в книге, обожать не за что. И Брут их презирает.

Что же до самого Брута, то его характер, пожалуй, слишком прост для той героической роли, которую он играет. И, в отличие от Анны Берне, я вижу Брута отнюдь не таким. Мне представляется, что он был настолько же глубже и сложнее, насколько реальная жизнь глубже и сложнее боевика. Однако мне хочется верить, что читателей этой книги увлечет та трагическая эпоха и люди, которые в ту эпоху жили, и они сами воочию представят себе и Катона, и Цезаря, и Брута — мятущегося, страдающего, заблуждающегося, но по-своему возвышенного и благородного.

Татьяна Бобровникова

Предисловие

*Ведь каждый, кто на свете жил,
любимых убивал.
Один — жестокостью, другой —
отравой похвал,
Коварным поцелуем трус, а
смелый наповал.*

*Один убил на склоне лет, в
расцвете сил другой,
Кто блеском золота душил, кто
похотью слепой,
А милосердный пожалел, сразил
своей рукой^[1].*

*Оскар Уайльд, «Баллада
Редингской тюрьмы»*

Случается, что у человека, с удовольствием читающего книгу по истории, написанную живо и увлекательно, вдруг возникает вопрос: а не роман ли передо мной? Что, если автор, столкнувшись с лакунами источников, позволил себе по собственному усмотрению заполнить их, пренебрегая исторической правдой?

Спешу сразу успокоить читателя. Биография Брута, которую он держит в руках, — это именно биография и ни в коем случае не роман. В тексте книги нет ни одного факта и ни одной детали, которые не были бы не почерпнуты из античных сочинений и которые автор не подверг бы тщательному анализу и всестороннему осмыслению. Все диалоги, которых в книге довольно много, слово в слово воспроизводят Плутарха или

заимствованы из переписки Цицерона. Самый смелый шаг, на который решился автор, заключается в их переводе из косвенной речи, использованной Плутархом в его «Жизни Брута», в речь прямую.

Разумеется, мне ничего не стоило бы сопроводить каждое утверждение и каждый упоминаемый факт точной ссылкой на соответствующий источник, как и подвести аналогичные основания под каждое замечание, наглядно продемонстрировав ту работу по осмыслению, критическому анализу и перепроверке, которая сопровождала каждое умозаключение. Но я отказалась идти этим путем, предположив, что среди моих читателей немного отыщется таких, кто бросится перечитывать указанные в сносках страницы источников. Тот же, кого это заинтересует, без труда найдет в библиографическом указателе перечень использованных в книге текстов и при желании может легко проверить мои утверждения. Я уже не говорю о том, что включение в книгу подробного ссылочного аппарата привело бы как минимум к удвоению ее объема.

Отвергая другие версии описываемых событий, принадлежащие, в частности, Диону Кассию, Аппиану и другим историкам, я делала сознательный выбор. Выстраивая канву своего повествования, я опиралась на тот источник, который содержит свидетельства современников Брута, считая его наиболее заслуживающим доверия. О существовании не принятых мною версий я сообщаю читателю в примечаниях, оставляя за каждым право на собственное мнение. Отказалась я и от изложения споров между специалистами, порой захватывающе увлекательных, рассудив, что читателю, далекому от изучения латинского мира, они показались бы скучными. О том, какие есть точки зрения и почему я с ними не согласна, я также сообщаю в примечаниях.

Разные историки называли Брута «честолюбцем», «неуравновешенным типом», безвольной личностью, подпавшей под влияние Кассия, слабыхарактерной посредственностью. Я не ставила своей целью доказать несправедливость этих определений, зачастую продиктованных восхищенным преклонением перед личностью Цезаря или перед системой принципата. За годы, потраченные на подготовку этой книги, задолго до того, как была написана ее первая строчка, у меня сложилось совершенно иное видение этого человека. Мне представляется, что факты, приводимые источниками, слишком красноречивы и абсолютно не нуждаются в подтасовке, чтобы доказать правоту Марка Юния Брута и разрушить карикатурный образ этого деятеля, который успел сложиться за века, прошедшие после его смерти.

Права я или нет — судить читателю.

I. Бремя минувшего

*О! мы с тобой слышали от отцов,
Что был когда-то Брут, который в
Риме
Скорее б стал терпеть толпу
чертей,
Чем повелителя^[2].*

*Уильям Шекспир, «Юлий Цезарь».
Акт 1, сцена II*

В год от основания Города 244-й^[3] Римом правил Тарквиний Суперб.

Тарквиния римляне не любили, как не любили они и его сына Секста. Эти цари, принадлежавшие к династии этрусского происхождения, пользовались заслуженной репутацией людей грубых и спесивых. Они называли себя царями, но плебс про себя именовал их не иначе как тиранами, мечтая о том дне, когда Город сбросит с себя их ставшее невыносимым иго.

Увы, мечтать приходилось втихомолку, ибо Тарквинии славились жестокостью.

Случилось так, что один из дальних родственников царя — его звали Тарквиний Коллатин, — взял в жены первую римскую красавицу по имени Лукреция. Едва увидев жену Коллатина, Секст влюбился в нее без памяти.

Однажды, когда муж Лукреции находился в отъезде, царский сын явился к ней и открыл свои чувства. Однако молодая женщина, отличавшаяся не только красотой, но и добродетелью, отвергла его ухаживания. Тогда Секст перешел от лести к

запугиванию. Он расскажет, грозил он, что застал Лукрецию в объятиях любовника. Раба. За такой проступок полагалась смерть.

Смерти Лукреция не боялась — она боялась позора. Не видя выхода, она отдалась Сексту.

Но оставлять преступление царского сына безнаказанным не собиралась. Когда вернулся Тарквиний Коллатин, Лукреция честно призналась ему, что стала жертвой шантажиста, отказать которому не смогла. После этого она вытащила кинжал, пронзила себе грудь и бездыханной упала к ногам мужа.

Надо сказать, что насилие над женой или дочерью гражданина считалось в Риме одним из гнуснейших преступлений.

Стоя над мертвым телом жены, Тарквиний Коллатин дал клятву, что отомстит за гибель Лукреции. В помощники себе он выбрал одного из своих родственников — Луция Юния.

Луция Юния в Риме знали под прозвищем Брута, что значило «тупица». Действительно, с ранней молодости он старательно изображал из себя дурачка, скрывая под маской болвана далеко идущие политические планы, нацеленные на свержение тирании Тарквиниев.

Надругательство над Лукрецией Луций Юний Брут, наконец сбросивший маску, превратил в преступление государственного масштаба, сверг Тарквиниев и стал первым консулом Римской республики.

Прошло несколько лет. Брут по-прежнему оставался консулом², когда выяснилось, что кучка аристократов, мечтающая вернуть к власти свергнутую династию, плетет против него заговор. Заговорщиков схватили, и тут обнаружилось, что в роли вдохновителей переворота выступили родные сыновья главы государства.

И несгибаемый Брут, убежденный, что долг выше отцовской любви, приговорил своих детей к смерти. Дабы убедиться, что приговор приведен в исполнение, он лично присутствовал при казни.

Так родилась кровавая легенда основания республики.

В том, что все происходило именно так, в Риме никто и никогда не сомневался. Сомневались в другом — в претензиях рода Юниев Брутов вести свое происхождение от Луция Юния Брута. Над этими претензиями сограждане Брутов откровенно смеялись.

Вообще проследить свою родословную дальше третьего поколения представлялось делом сложным. Что же говорить о предке, жившем за 450 лет до тебя! Этак каждый может объявить себя чьим угодно потомком! И не глупо ли выдавать себя за далекого правнука героя, если известно, что он собственноручно лишил жизни своих детей? Единственным предком, которым Юнии Бруты могли кичиться без риска быть уличенными во лжи, был некий плебей, служивший привратником. Да и то если верить заявлениям блюстителей чистоты сенаторских рядов, которые время от времени корили этим родством то одного, то другого члена рода Юниев...

В Риме той поры политические противники настолько привыкли бросать друг другу в лицо обвинения подобного рода, что на них уже никто не обращал внимания. Не ранили они и Юниев, которые с достоинством объясняли, что ведут свой род от младшего сына великого Брута, по малолетству не принимавшего участия в заговоре старших братьев и избежавшего их печальной участи. А кто не верит, пусть пойдет и посмотрит на статую Луция Юния, установленную в Капитолии, — сходство очевидно.

На самом деле пресловутая статуя — апокрифический портрет, созданный много лет спустя

после смерти яростного основателя республики, — не могла служить доказательством ни внешнего сходства, ни тем более родственной связи между Луцием и этими Брутами. И члены рода Юниев, и их противники были вольны утверждать что угодно — этого требовали правила политической игры.

За власть тогда боролись две непримиримые партии, за столетие соперничества которых пролилось больше крови и слез, чем знала вся предыдущая история римских завоеваний, обеспечившая городу его нынешнее могущество.

Популяры (от латинского слова *populus* — народ) утверждали, что защищают права плебса. Оптиматы («лучшие») представляли движение консерваторов, направленное на сохранение привилегий высших классов³.

Зарождение этого противостояния уходило корнями во времена окончания Пунических войн, когда Рим ценой невероятных усилий преодолел карфагенское господство в Средиземноморье, но истощил свои человеческие и материальные ресурсы. Ветераны африканских походов, вдовы и дети погибших воинов не получили от государства никакой поддержки. Задавленные долгами, они продавали единственное, чем владели — семейный земельный надел. Толпы разоренных земледельцев хлынули в Рим в надежде найти себе дело, которое сможет их прокормить, но не нашли ничего. Заселив трущобы Субурры и Велабра, они быстро образовали слой безработных пролетариев, не имеющих в жизни никаких перспектив и существующих на подачки корыстных политиков. А те, кто за бесценок скупал их земли, превращались в крупных землевладельцев, на которых работала постоянно растущая армия рабов.

Против сложившихся порядков пытались бороться многие реформаторы, требовавшие перераспределения земель, принадлежавших государству, и принятия законов в защиту наиболее обездоленных граждан. Именно тогда под руководством плебейского трибуна Тиберия Гракха возникло движение популяров. Тиберий Гракх многим мешал, и в 133 году^[4] его убили. Восемь лет спустя⁴ та же участь постигла его младшего брата Гая, попытавшегося подхватить эстафету погибшего трибуна.

Популярам понадобилось 20 лет, чтобы оправиться от этого жестокого удара и выщвинуть из своих рядов нового лидера.

Им стал, по презрительному определению патрициев, «новый человек». Это значило, что ни один из предков Гая Мария никогда не занимал ни одной из римских магистратур. Действительно, своими успехами Гай Марий был обязан исключительно самому себе, точнее, своему мечу. В 106 году он успешно подавил восстание нумидийского царя Югурты, с которым долгое время не могли справиться лучшие римские императоры^[5]. Марию недавно исполнилось 40 лет, внешним видом и манерами он больше всего напоминал солдафона, и никто не верил, что он хоть на что-нибудь годен за пределами армейской казармы.

Но честолюбия Марию хватало. В том же 106 году⁵ на волне африканской победы он посмел выставить свою кандидатуру на должность консула и вопреки всяким ожиданиям добился желаемого.

Чтобы удержать власть, ему требовалась обширная клиентура среди выборщиков. Он нашел ее среди осколков партии популяров. Заручившись их поддержкой, он предпринял шаг, навсегда изменивший весь ход дальнейшей римской политики.

До Мария армия комплектовалась исключительно из граждан, способных платить в казну налоги и на свои деньги покупать боевое снаряжение. Тот, кому бедность не позволяла приобрести меч и доспехи, лишался не только звания легионера, но и доли в военной добыче. Марий открыл неимущим доступ в армию, поманив их перспективой награждения землями в новых провинциях, и взамен получил могущественное средство давления на всю политическую систему. Легионы стали для полководцев лучшим инструментом добывания власти.

Получив поддержку популяров и армии, Марий стал непотопляем. Поправ закон, запрещающий консулу претендовать на повторное избрание раньше 10-летнего перерыва, он пять лет подряд занимал высшую римскую магистратуру, восстановил законы, принятые Тиберием и Гаем Гракхами, и развязал демагогическую пропагандистскую кампанию, направленную на долгосрочное ослабление партии оптиматов. Марий вел опасную игру. Экстремистское крыло его партии допустило множество перегибов, и ему пришлось отречься от бывших сторонников, что ничуть не приблизило его к оптиматам. В конце концов Марий потерял власть.

Но схватка между двумя соперничавшими группировками продолжалась.

В 90-е годы запахло настоящей катастрофой. Итальянские города, которые оказывали Риму военную и финансовую поддержку в надежде получить римское гражданство, оказались обмануты в своих ожиданиях и поднялись против Города. Кровавая война продолжалась три года^[6]. В конце концов Рим одержал победу, но эта победа истощила его последние силы. Царь Понта Митридат немедленно воспользовался удобным моментом и захватил римские провинции

Каппадокию и Киликию, устроил массовую резню среди италийских колонистов и торговцев, а затем вступил в союз с Афинами и греческими городами Кампании, обещая им военную помощь в борьбе с Римом.

Шел 88 год. В Риме той поры оставалось всего два деятеля, способных справиться с надвигавшейся катастрофой.

Марий понял, что восточная угроза — превосходный повод доказать Риму, что он — его лучший полководец. К тому же за прошедшие годы он успел помириться с популярями. Оптиматы сделали ставку на бывшего помощника Мария — Луция Корнелия Суллу.

Таким образом, все было готово к тому, чтобы страна запылала в пожаре гражданской войны.

Сулла двинул свои войска на Рим и изгнал Мария из города. Летом 87 года, когда Сулла отбыл на Восток, Марий снова захватил Рим. Чувствуя себя полновластным хозяином, он устроил в городе бойню и вырезал около 10 тысяч оптиматов — сторонников Суллы. Он добился всего, к чему стремился и, наверное, правил бы в свое удовольствие, если бы в январе следующего года не умер от банального плеврита.

Бразды правления взял в свои руки его коллега по консулату Луций Корнелий Цинна, ненависть которого к сулланцам только возрастала по мере того, как на Востоке Сулла одерживал одну победу за другой.

Марк Юний Брут^[7] — убежденный марианец и популярь, который в то время приближался к 30-летию, был адвокатом и считался хорошим юристом. В 83 году, в консульство Цинны, его избрали плебейским трибуном.

Главным положительным качеством этого человека была верность. Движение популяров знало многие взлеты и падения, и в его рядах находилось немало конформистов, которые с легкостью отрекались от

былых убеждений, стоило измениться политической конъюнктуре. Марк Юний Брут не принадлежал к их числу. Лишенный дипломатической гибкости, он демонстрировал твердость и постоянство в делах и мыслях. Собственно говоря, это и послужило причиной всех его несчастий.

В тот год, когда он был избран плебейским трибуном, Сулла, разбив Митридата, вернулся в Италию. Тогда же очень кстати подоспело убийство консула Цинны, Сулла установил свою диктатуру и устроил кровавую чистку среди политической оппозиции.

Марк Юний Брут сделал все от него зависящее, чтобы не допустить Суллу до диктаторской власти. Легион, которым он командовал, получил задание выйти навстречу войску Суллы, преградить ему путь в Италию и не допустить к нему подкреплений, посланных из Рима оптиматами.

Ни того ни другого он сделать не сумел. Его провел один из молодых командиров армии противника — Гней Помпей. Пока Брут караулил его отряды на одной дороге, Помпей провел их по другой, сохранив свежими свои силы и положив начало своей грядущей блестящей карьере.

Почему Брут не пал жертвой проскрипций, обескровивших Рим во время диктатуры Суллы? Этого мы не знаем. Возможно, свою роль сыграло то обстоятельство, что его молодая супруга Сервилия приходилась довольно близкой родственницей диктатору, и это спасло ее мужа. Впрочем, Сулла доживал свои последние дни. Он умирал от рака, и возжеленная власть, ради которой он совершил столько жестокостей, ускользала от него вместе с жизнью.

Эта внезапная кончина, казалось, дала Риму надежду на политическое обновление и восстановление законных институтов. Действительно, выборы 78 года прошли без всяких нарушений, и вновь избранные

консулы — Квинт Лутаций Катул и Марк Эмилий Лепид — возглавили государство на вполне законных основаниях.

Но передышка длилась недолго. Вскоре выяснилось, что Лепид мечтает о личной диктатуре. Свои далеко идущие планы он строил в расчете на поддержку плебса, ради которой добился принятия беспрецедентных по щедрости хлебных законов. Одновременно он в глубокой тайне собирал вокруг себя влиятельных марианцев, избежавших проскрипций Суллы.

В их числе находился и верный Марк Юний Брут. Не задавая лишних вопросов, он примкнул к Лепиду и вместе с его войском двинулся в Цизальпинскую Галлию в надежде поднять эту провинцию против сената.

В Риме он оставил жену и единственного шестилетнего сына, которого, как и отца, звали Марком^[8]. Стояла зима 78 года.

Полгода спустя Марк Юний Брут оказался заперт в Мутине (ныне Модена). Осадивший город Гней Помпей, командовавший сенаторскими войсками и склонявшийся к поддержке оптиматов, настроился на долгое ожидание, но Мутина сдалась поразительно быстро.

На Помпея это произвело двойственное впечатление. Он радовался, что ему удалось выиграть время, ведь после Мутины ему предстояло пройти рейдом через всю область Пицен, которую он отлично знал, потому что здесь родился, и отбить города, расположенные вдоль Эмилиевой дороги. Учитывая, что вся Цизальпинская Галлия находилась в руках Лепида, молниеносный захват Мутины давал Помпею важное моральное преимущество, подрывая боевой дух мятежных городов. Но его снедало недовольство. Он предпочел бы иметь дело с чуть более стойким

противником — тогда и его победа выглядела бы более достойно. В том-то и заключалась одна из трудностей гражданской войны — каждая из борющихся сторон считала, что защищает римскую честь.

Но почему император популяров Марк Юний Брут проявил в защите этой чести такую вялость? Он уверял, что в его войсках начались брожения. К тому же возникла опасность нехватки продовольствия. Возможно, так оно и было. Лепид и его соратники не ожидали, что сенат проявит такую прыть и примет закон, объявивший их врагами народа. Вполне вероятно, что Мутина не выдержала бы длительной осады, тогда как добровольная сдача позволяла надеяться на милосердие победителя.

Милосердие... Увы, Рим уже давно забыл, что оно существует на свете, и сокрушаться о нем меньше других пристало популярам, которые потопили город в крови своих сограждан. Поистине Брут оказался достоин своего обидного прозвища, если поверил в милосердие Помпея!

Помпей колебался. Хорошо зная римскую историю, он помнил, как опасно доверяться тем, кто вроде Луция Юния Брута прикидывается дурачком. Брутам вообще опасно доверять...

Обсуждая с Марком Юнием условия сдачи Мутины, он не мог избавиться от тягостного впечатления, которое производил на него этот человек. Он слушал его рассказ о недовольстве в войске, трудностях с продовольствием и поражался про себя, как такой слабохарактерный тип согласился командовать осажденным гарнизоном. Неужели он все выдумал, а на самом деле им движет обыкновенная трусость? Или он говорит не от себя, а исполняет чьи-то приказания?

Так, может, это вообще ловушка?

От взора Помпея не укрылись ни тронувшая губы Брута чуть заметная улыбка, ни довольный огонек,

вспыхнувший в его глазах, когда он узнал, что его войску будет завтра же открыт свободный путь в Регий.

Как мог Помпей дать обещание, подвергавшее его огромному риску? Очень просто — он не собирался его выполнять. Наверное, Марк Юний Брут и в самом деле не отличался большим умом, если поверил врагу. Впрочем, его ум или глупость уже не имели значения: он был не из тех людей, кто в минуту опасности бросает своих. В ту минуту решилась его судьба, и уже ничто не могло спасти его от неминуемой гибели.

На красивое лицо Помпея, в котором удивительным образом сочетались и твердость и мягкость, набежала мрачная тень. Ясно сознавая необходимость устранения врагов, убивать он не любил. Разве посмел бы хоть кто-нибудь сравнить его с Марием, этим выскочкой, способным опуститься до надругательства над телом поверженного противника? Гней Помпей всегда старался дать сопернику шанс. Ему нравилось, когда его называли великодушным.

Но Марк Юний Брут... Нет, этот человек играл слишком важную роль, чтобы дарить ему свое милосердие. Разумеется, враждебно настроенные сенаторы в который раз обвинят Помпея в лицемерии. Но разве он виноват, что простое здравомыслие требует избавиться от непримиримого врага? И что за важность, если он лично пообещал ему спасение... В конце концов, марианцы вели себя ничуть не лучше...

Выполнение неприятной миссии согласился взять на себя ближайший помощник Помпея, бесконечно преданный ему Геминий. Он понял, что от него требовалось. Марк Юний Брут ни в коем случае не должен попасть в Регий.

Марку Юнию Бруту не исполнилось еще и семи лет, когда погиб его отец, убитый на Эмилиевой дороге, между Мутиной и Регием, неподалеку от дереvушки, стоящей на берегу Пада (ныне река По).

Марк Юний Брут совсем не помнил отца. Память сохранила только смутный силуэт сенатора в тоге, вернувшегося с собрания, да нечеткий профиль воина в боевом шлеме, уходящего на войну, с которой он уже не вернулся.

Но хотя Марк Юний Брут и не помнил отца, Помпея он ненавидел всеми силами, всей душой.

Старшие родственники, заронившие в его сердце эту ненависть, постарались, чтобы она пустила глубокие корни. Ни Сервилия, его мать, ни дядя по матери Марк Порций Катон, ни отчим Децим Юний Силан не собирались щадить его детскую впечатлительность и не скупилась на детали, описывая кровавое преступление.

Марк как будто наяву видел Эмилиеву дорогу, по которой с радостной вестью скачет к своим отец, слепо поверивший обещаниям Гнея Помпея. Вот скромную группу всадников нагоняет заместитель Помпея Геминий, якобы доставивший важное сообщение от своего императора. Вот блеснул в руке убийцы меч, вот засверкали клинки спутников отца — гнусных предателей, наверняка подкупленных врагом. И отец, последним отчаянным жестом пытаюсь закрыть лицо, истекая кровью, падает на землю...

Марк живо представлял себе эту страшную картину, только отцовского лица он не помнил. Отца ему страшно не хватало. Трудно вырасти настоящим мужчиной, если нет рядом родного человека, на которого хочется во всем походить. Помпей оклеветал даже память о нем, сообщив сенату, что Марк Юний Брут предал своих сторонников, трусливо капитулировал и умер как трус. Именно за это и ненавидел юный Брут Помпея.

Второй муж его матери Децим Юний Силан был хорошим человеком, порядочным и без грубых недостатков. Но и без особых достоинств. Он всегда

относился к Марку как к родному сыну, не делая никакой разницы между ним и своими тремя дочерьми — Юнией Старшей, Юнией Секундой и малышкой Юнией Терцией, которую в семье ласково звали Тертуллой^[9].

Но Марк все равно не чувствовал себя сыном Силана — и не потому, что отчиму не хватало душевного тепла, а потому, что тому не хватало твердости и внутренней убежденности в своем праве заменить авторитет погибшего своим личным авторитетом.

Возможно, винить за это следовало Сервилию, мать Марка.

Сервилия была женщиной замечательной во всех отношениях. Умела быть и опасной, о чем мужчины догадывались слишком поздно. Ей едва исполнилось 15 лет, когда у нее родился сын Марк. Теперь ей уже перевалило за 30, но она ничуть не утратила своей удивительной красоты, пожалуй, даже стала еще привлекательнее. На самом деле не в красоте заключалось ее главное достоинство. В ней было нечто большее.

Редкое очарование Сервилии крылось не только в тонких чертах ее лица, изумительных, темных и глубоких, глазах, которые унаследовал от матери и Марк. И даже не безупречным совершенством линий своего тела покоряла она всех вокруг. Эта страстная женщина обладала поразительно холодной головой, острым и трезвым умом. Волевая, решительная, честолюбивая, расчетливая, она любила деньги и роскошь, самые дорогие и самые редкие украшения. Но не меньше любила она и политические интриги, власть и успех. Но как раз в этом оба ее мужа разочаровали ее самым жестоким образом. Брут никогда не умел ловить рыбку в мутной воде, совершал ошибку за ошибкой и вечно носился со своей верностью, в которую он

единственный еще и верил. Не удивительно, что он кончил позором. Но и с Силаном Сервилии повезло не больше. Оставшись вдовой в 22 года, с маленьким сыном на руках, она, вынужденная думать не только о его будущем, но и о будущем своего младшего брата Квинта Сервилия Цепиона, своего сводного брата Марка Порция Катона, вышла замуж за Децима Юния Силана, надеясь обрести в его лице защитника, необходимого всякой женщине, живущей в мире, раздираемом гражданскими и внешними войнами, да и восстаниями рабов. Силан действительно дал ей покой, какого она прежде не знала. Да, он подарил ей спокойную жизнь и трех красавиц-дочерей.

Но очень скоро Сервилии открылась вся ограниченность этого славного человека. Если Децим Юний и поднимался понемногу по ступеням карьерной лестницы, на вершине которой маячил консулат, то заслуга эта целиком принадлежала его энергичной жене. Это она не давала ему успокаиваться на достигнутом, все время подталкивая его вперед. Ее мечты не шли ни в какое сравнение с мечтами слабовольного мужа. И осуществление своих заветных желаний она связывала с сыном. Марк обожал свою мать. Разумеется, и Сервилия любила сына, но она любила его любовью римской матроны, а это значит, никогда и ничего ему не прощала.

Она воспитывала его в требовательной строгости, учила быть физически выносливым, презирать опасность и боль и носить в душе отвагу. Она хотела, чтобы он стал блестящим молодым человеком — и он им стал. По-гречески он говорил так же свободно, как на родной латыни, умея облекать свои мысли в четкую и лаконичную словесную форму. Перед талантливым юношей открывалась прекрасная юридическая карьера, способная привести к первым магистратурам. Казалось,

Сервилиии не на что жаловаться — она действительно вырастила настоящего мужчину.

Но все-таки что-то в характере сына ее смущало, и это «что-то» он явно унаследовал от отца.

Марк не ведал того всепоглощающего честолюбия, которым горела его мать. Он готовился с достоинством исполнять возложенные на него обязанности, заставить уважать свою семью и служить Риму, но политическая игра с ее хитроумными комбинациями, противоестественными альянсами и изменчивой верностью вызывала у него такое же отвращение, какое когда-то испытывал его отец. В отличие от большинства людей его положения Марк не чувствовал в себе ни малейшего призвания командовать другими и решать судьбы мира. Приносить людям пользу и жертвовать всем ради дела — это казалось ему нормальным и само собой разумеющимся. Но пускаться на низости, говорить сегодня одно, а завтра — другое, и ради чего? Чтобы добиться положения, в котором не ты служишь, а тебе служат? Нет уж, увольте.

Чем пристальнее приглядывалась к сыну Сервилиия, тем больше росло в ней раздражение. Марк слишком любил книги и слишком мало внимания уделял делам. Он преклонялся перед идеалом Рима и плохо знал реально существующий город. Редко позволявшая себе прислушиваться к голосу сердца, Сервилиия с изумлением замечала, что сын ее вырос человеком щепетильным, жалостливым, сострадательным, мягким и добрым. Со всеми этими качествами она боролась так, как борются с пороками.

Марк жил идеями и считал, что жить стоит ради идеала. Мать дала ему идеал. Она надеялась, что это поможет ему избавиться от природной чувствительности, сделает его не таким ранимым. Не имея под руками достойного образца для подражания в лице родного мальчику отца, которого она в глубине

души презирала, Сервилия предложила сыну брать пример с далеких предков.

Сама она не сомневалась: в жилах Марка течет кровь Луция Юния Брута. И не ленилась ежедневно напоминать ему об этом. Но Марк уродился полным антиподом древнему основателю республики, и воспитательный пример последнего, вместо того чтобы сделать из него героя с бронзовым сердцем, лег на его душу тяжким бременем. К шестнадцати годам Марк Юний Брут превратился в заложника мифического наследия и понял, что от него требуется быть его достойным. «Будь истинным Брутом!» — под этим девизом шло его воспитание.

И если бы еще дело ограничивалось отцовским родом! Но и Сервилии имели в числе своих предков великого человека — Сервилия Ахалу.

Если верить «Анналам», в 439 году, когда Спурий Мелий рвался к диктатуре, доблестный Сервилий, спрятав под мышкой (по-латыни «подмышка» — *ahala*) кинжал, явился на Форум и вонзил клинок в горло претендента на личную власть.

Рассказывая Марку о подвигах его предков-тираноборцев, Сервилия надеялась укрепить его характер и внушить ему, что не стоит так уж сокрушаться о чужой крови и чужих слезах. Но она просчиталась. Единственным человеком, о чьей крови, чьей боли и чьих слезах Марк Юний Брут не считал нужным сокрушаться, если они приносятся для общего блага, оставался он сам. Он тоже мечтал о героических подвигах и высоких жертвах, но приносить в жертву намеревался исключительно себя самого.

Не по годам серьезный юноша с мягкой улыбкой, иногда озарявшей его строгое лицо, он жил в ожидании случая, который позволит ему проявить себя.

II. Загадочное дело Веттия

*О! Как высок в народных он
сердцах;
То, что у нас предстало бы
пороком,
Одна его наружность, как
алхимик,
В достоинство и доблесть
превратит.*

*Уильям Шекспир. Юлий Цезарь.
Акт I, сцена III*

Летом 58 года, с приближением ид квинтилия^[10], Рим, как и каждый год, задыхался от жары. Все, кто имел возможность бежать из шумного и пыльного города, с нетерпением ожидали окончания Аполлоновых игр, последний день которых совпал с днем рождения консула года Гая Юлия Цезаря^[11] 6. За полгода своего консульства Цезарь развил такую бешеную активность и настолько запугал римлян, попутно обзаведясь таким числом недоброжелателей и врагов, что никто не сомневался: по случаю игр он преподнесет еще какой-нибудь сюрприз. И горожане не спешили перебираться в загородные виллы.

До последнего времени никто в Риме не принимал Цезаря всерьез. Слишком долго он изображал из себя беспечного гуляку, озабоченного лишь красотой своих кудрей и тем, хорошо ли сидит на нем тога. Один Сулла догадывался, что он не так прост. В годы проскрипций, когда весь город трепетал перед диктатором, Цезарь, тогда 19-летний юнец, посмел выказать свою

строптивость. И благо бы по серьезному поводу, а то ведь из-за пустяка, из-за женщины!

Гай Юлий Цезарь только что женился на Корнелии, дочери всемогущего консула Луция Корнелия Цинны. Этот блестящий брак еще больше приблизил молодого человека, по материнской линии приходившегося племянником Марию, к партии популяров. Но вскоре Цинна был убит, в Риме снова воцарился Сулла, а Корнелия из завидной невесты превратилась в источник грядущих неприятностей. Любой на месте ее мужа понял бы это и без сожалений развелся со ставшей неудобной женой. Любой, но не Цезарь.

Неужели он настолько любил Корнелию и свою новорожденную дочь? Вряд ли. Он пользовался репутацией большого ценителя женщин и не упускал ни одного случая приволокнуться за чужой женой. За его решимостью не расставаться с Корнелией стояла не нежность, не сострадание и не уважение к супруге, — за ней стояла гордость. Сулла быстро раскусил Цезаря и сделал вывод: если согнуть этого юношу не удастся, значит, его надо уничтожить. Если бы не друзья, уговорившие Суллу простить молодому человеку его смелость, не видать бы Цезарю пощады. Но Сулла уже устал от пролитой крови и поддался на их уговоры. Правда, тем, кто убеждал его, что не стоит обращать серьезное внимание на юного модника, не считающего нужным плотно застегивать пояс тоги^[12], он бросил:

— Остерегайтесь этого юнца в болтающейся тоге. Он один стоит нескольких Мариев...

Многие вспоминали теперь предостережение старого диктатора. Юлий Цезарь, довольно медленно преодолевший первые ступени карьерной лестницы, приближался к 40-летию и стремительно нагонял упущенное время. В 65 году он впервые занял должность эдила, но с тех пор шел от успеха к успеху, а

его тайная борьба против сената и партии консерваторов постепенно приближалась к фазе открытого столкновения.

На кого работал Цезарь? Вот уже семь лет весь Рим мучился этим вопросом. Поначату его считали человеком Марка Лициния Красса, миллиардера, сколотившего баснословное состояние на строительных подрядах и теперь рвавшегося к политической власти. Цезарь действительно близко дружил с Крассом, не обходя вниманием и его супругу — ненасытную стареющую Тертуллу, но именно он манипулировал дельцом и охотно запускал руку в его кошелек.

Затем его заподозрили в связях с Луцием Сергием Каталиной, но и в этом случае Цезарь использовал Каталину в своих целях, а не наоборот.

Наконец, о нем заговорили как о ближайшем соратнике Гнея Помпея, воевавшего вдали от Рима. Цезарь якобы согласился помочь ему упрочить свою власть, и без того огромную. Все эти измышления содержали долю истины, но далеко не всю истину. Цезарь всегда работал только на Цезаря. Остальные люди виделись ему лишь пешками в его собственной игре.

После смерти Лепида республиканские институты, казалось, вернулись к нормальному функционированию. Каждый год избирались два консула, которые по истечении срока полномочий отправлялись в качестве проконсулов в провинцию, где восстанавливали свое состояние, серьезно пострадавшее в ходе избирательной кампании. Через 10 лет каждый из них мог надеяться на новое избрание. Таким путем сенаторская аристократия из поколения в поколение обеспечивала своим отпрыскам почетную карьеру и жизнь, достойную истинного римлянина — свободного гражданина свободного города.

Впрочем, нормализация политической жизни носила чисто внешний характер. На самом деле, перед Римом, уже завоевавшим полмира, стоял болезненный выбор: либо сохранение гражданской свободы в масштабах полиса, либо мировое господство. И традиционное противостояние между оптиматами и популярами обрело вид столкновения между сторонниками защиты прежних порядков и проводниками идеи сильной личной власти.

Летом 58 года Рим жил в тревожном ожидании. Ходили слухи, что Цезарь, Красс и Помпей заключили между собой тайное соглашение⁷ о совместном захвате власти. События последних месяцев — объявление о скорой женитьбе Помпея, только что расставшегося с последней женой, на единственной дочери Цезаря Юлии и вынесение Цезарем на обсуждение сената закона о предоставлении земель ветеранам армии Помпея — позволяли думать, что эти слухи небеспочвенны.

Споры вокруг закона о землях для ветеранов положили начало открытой вражде между близким к популярам консулом и сенаторской оппозицией. Против принятия закона решительно выступил глава партии оптиматов Марк Порций Катон. Дискуссия принимала все более ожесточенный характер, и Цезарь, утратив свое всегдашнее терпеливое спокойствие, отдал приказ немедленно арестовать оппонента. Когда ликторы уводили Катона, за ним дружно последовала добрая половина сенаторов, а один из них, знаменитый император Марк Петрей, в 62 году разбивший мятежное войско Каталины, на самом пороге курии гордо заявил Цезарю:

— Лучше я пойду в тюрьму за Марком Порцием, чем останусь здесь с тобой!

Но в том и заключалась великая сила Цезаря, что он умел отступать перед непреодолимым препятствием. Поняв, что он недооценил волю сенаторов к сопротивлению, он велел отпустить Катона и закрыл заседание. Он добьется своего и без их одобрения. Второй консул — безликий Марк Кальпурний Бибул — не сможет стать для него серьезной помехой.

Семью годами раньше Бибул, тогда близко друживший с Цезарем, вместе с ним служил в должности курульного эдила. Он владел солидным состоянием и охотно оказывал материальную помощь другу, тогда не просто сидевшему на мели, но и наделавшему столько долгов, что уже никто не соглашался давать ему займы даже под самый грабительский процент. Целый год Бибул оплачивал из своего кармана публичные зрелища, организацией которых занимался его коллега. Надо отдать Цезарю должное: в проведение зрелищ он вложил столько таланта, что к концу года римский плебс проникся к нему самой пламенной любовью. О том, что на свете существует еще какой-то Бибул, никто даже не догадывался. Но простодушный Бибул не обижался. До того самого дня, когда Цезарь, выставляя свою кандидатуру на выборах консулов, наотрез отказался взять его в качестве коллеги и отдал предпочтение человеку, которому покровительствовал Помпей. Тогда-то у Бибула и открылись глаза. Отныне он воспылал к Цезарю самой черной ненавистью. Как бы там ни было, консулами они были избраны вместе, но их сотрудничество не отличалось сердечностью. Именно на Бибула и рассчитывала сенаторская оппозиция в своих надеждах подстроить Цезарю ловушку.

Все эти грязные игры таили в себе немалую опасность, и римская аристократическая молодежь ее чувствовала.

Марку Юнию Бруту в это время исполнилось 24 года, и из-за сложных семейных взаимоотношений он оказался в самом центре разыгрывавшегося политического кризиса. Положение человека, попавшего между молотом и наковальней, в любом случае незавидно. Для Брута молотом стала любимая, но слишком требовательная мать, а наковальней — глубоко уважаемый дядя, воплощение семейного авторитета и главная опора в будущей карьере. Марк буквально разрывался между Сервилией и Катоном, которых в равной мере любил и которые дошли до того, что перестали друг с другом разговаривать. Брут хорошо знал, кто главный виновник их ссоры. Это был Цезарь.

Сервилия всегда полагала, что стоит выше глупого чувства, именуемого любовью. Когда ее дядя Ливий выдал ее замуж за Брута, она была почти ребенком. Ее мнения, разумеется, никто не спрашивал. От первого мужа она сохранила единственное доброе воспоминание — своего сына.

Второе замужество она организовала самостоятельно, но руководствовалась отнюдь не сердечной приязнью. Децим Юний Силан принес ей материальное благополучие и даже роскошь и стал надежной опорой ее братьям и сыну. Но стоила ли игра свеч? Да, она заставила мужа реализовать максимум его способностей — более скромных, чем она рассчитывала, — и добиться должности консула. Но он занял высшую магистратуру в 62 году, сразу после Цицерона, и на его фоне окончательно потерялся. Сервилия никогда не могла ему этого простить.

Истинная римлянка и истинная патрицианка, Сервилия была гордой женщиной. В свои тридцать семь лет она сохранила красоту и успела накопить богатый опыт в искусстве использовать мужчин к собственной выгоде. Но, разглядывая себя в зеркале, она понимала:

если она не хочет навсегда остаться супругой посредственного полководца и мало примечательного консула, надо торопиться.

Так в ее жизни появился Гай Юлий Цезарь.

Любила ли она его? Любил ли он ее? Мало кто в Риме верил в это, считая Цезаря и Сервилию бездушными честолюбцами, не способными на подлинную страсть. Но даже если так, и тот и другая наверняка испытывали друг к другу если не горячую любовь, то по меньшей мере взаимное уважение и искреннюю привязанность.

В ранней юности племянник Мария Цезарь и супруга Брута Сервилия принадлежали к кругу марианцев. Впрочем, впоследствии они совершенно потеряли друг друга из виду.

Вопреки измышлениям клеветников, обвинявших Цезаря в гомосексуализме, никто в Риме не сомневался, что его страсть — женщины. Овдовев после смерти Корнелии, он женился на Помпее — дальней родственнице Помпея^[13], с которой вскоре со скандалом развелся. Теперь он подумывал о третьей женитьбе, присмотрев в качестве невесты дочь консуляра Луция Кальпурния Пизона. Кроме законных жен за ним знали бесчисленное множество любовниц, среди которых фигурировали и жена Красса Тертулла, и жена Помпея Муция.

В молодости Цезарь был настолько хорош собой, что злые языки болтали, будто царь Вифинии Никомед сделал его своим миньоном. К сорокам годам он утратил обаяние юности и обзавелся лысиной, которую тщательно прятал, но был по-прежнему неотразим. И Сервилия одарила его своей благосклонностью. Вот уже три года весь город знал, что они любовники. Эта связь и рассорила Сервилию с Катоном, ее сводным братом.

В вопросах морали Катон придерживался самых строгих убеждений, унаследованных от прошлого. Он сурово обличал падение нравов, частые разводы и повторные браки, не говоря уже о супружеской измене. Моральная нестойкость Сервилии ранила его тем больше, что ее собственный муж, казалось, относился к происходящему с философским спокойствием. А самое ужасное заключалось в том, что Сервилия завела роман с непримиримым политическим противником Катона. В результате его ненависть к Цезарю обрела характер личной вражды.

Едва завершив свой консульский срок, Силан, этот безмятежный рогоносец, скончался. Одновременно Цезарь развелся с Помпеей. Однако освободившиеся от семейных уз любовники и не помышляли о браке. Превыше любви они ставили политический расчет и стремление к власти над другими. Впрочем, именно эта общая черта их и объединяла — всепоглощающее честолюбие, превращавшее их в пару хищников, выступивших на совместную охоту. Больше всего Цезаря пленял в Сервилии ее холодный мужской ум, неведомо как обретший приют в восхитительном теле женщины. Она могла быть ему помощницей или соучастницей, но никогда не сумела бы стать соперницей.

Марк Юний Брут не застал начала этого романа, потому что в то время находился в Греции, в Афинах, где завершал свое образование. Он с наслаждением слушал аттических ораторов, вникал в тонкости учения Платона, зачитывался трудами Полибия и Демосфена, ходил на мыс Суний смотреть, как солнце, скатываясь за белые колонны храма Посейдона, садится в море, ездил в Дельфы и на острова и до поздней ночи вел с друзьями — Публием Волумнием и Стратоном — бесконечные споры о существовании божественного начала и бессмертии души. И в 18, и в 20, и в 22 года

любовники матери волновали его меньше всего на свете.

Позже, когда настанет время вернуться в Рим, он, как и подобает гражданину и мужу, станет заниматься важными делами. Пока же, не разделяя воззрений Эпикура, он следовал его завету и наслаждался сегодняшним днем.

Он предчувствовал, что его ждут большие трудности. Имя Брута довлело над ним, приклеенное к нему прочнее, чем туника Несса^[14]. Всю жизнь ему придется доказывать, что он достоин великого имени предка, а может быть, и превзойти того в героизме.

Чтобы добиться успехов на общественном поприще, римский юноша нуждался во многих вещах: крупном состоянии, из которого следовало оплачивать свои первые избирательные кампании, круге друзей и клиентов, благодетельствованных отцом или дядей. Ничем из этого Брут не располагал.

Фамильного состояния Юниев Брутов не хватило бы на финансирование его политической карьеры. А ведь приходилось еще думать о том, чтобы обеспечить Сервилии роскошный образ жизни, к которому она привыкла, и выдать замуж троих сводных сестер. Нет, семья ничем помочь ему не могла.

После проскрипций Суллы, безумств Лепида и его помощника Сертория, провала Каталины ряды популяров заметно поредели. Те, кому удалось остаться в живых, отошли от дел, следовательно, тоже не имели возможности поддержать сыновей своих погибших товарищей. Нынешние лидеры популяров — миллиардер Красс и Цезарь — вели свою личную игру, цели которой ушли далеко от прежней программы движения. К тому же их нынешнее сотрудничество с бывшим помощником Суллы Помпеем выглядело в глазах Брута омерзительным. Он знал, что никогда не

обратится к ним за помощью, потому что это значило бы столкнуться с убийцами отца.

Внезапная кончина его отчима Силана отняла и надежду воспользоваться поддержкой консуляра.

Довольно долго Брут рассчитывал на своего дядю Квинта Сервилия Цепиона. Бездетный холостяк, тот в конце концов усыновил племянника, так что официально Брут носил его имя. Но и этот дядя скоропостижно умер, выполняя важное задание в Азии. Из всех родственников оставался только Марк Порций Катон, другой его дядя. Человек с невероятно трудным и упрямым характером, он слыл убежденным стоиком и защитником патриархальных римских ценностей. В своем ригоризме он доходил до того, что призывал современников отказаться от обуви и нижнего белья, потому что в славном патриархальном Риме этих вещей не существовало⁸.

Знойным летом 58 года Брут уже несколько месяцев жил в Риме. За годы его отсутствия соотечественники ничуть не изменились. Все та же страсть пересказывать друг другу сплетни и наветы, которые особенно больно ранили юношу, потому что их героиней стала Сервилия. Но Марк злился на Цезаря не за связь с матерью; он не мог простить ему союза с Помпеем. Если ему случалось где-нибудь на Форуме нечаянно встретиться с убийцей отца, он демонстративно поворачивался к нему спиной или переходил на другую сторону улицы. Если они оба оказывались приглашены на одно и то же торжество, он проходил мимо Помпея как мимо пустого места, скользнув по нему взглядом, полным ненависти. Он исхитрился ни разу не приветствовать императора.

Между тем Помпей искал дружбы Катона. Прежде чем жениться на дочери Цезаря, красавице Юлии, он просил руки Порции, старшей дочери Катона. Отец с презрением отверг предложение и отдал Порцию

Бибулу, понимая, что наносит оскорбление и Помпею, и Цезарю.

Этот брак состоялся как раз тогда, когда Брут вернулся из Греции. Неизвестно, замечал ли он раньше Порцию, свою дальнюю родственницу, много моложе его годами, теперь же, когда она стала ему недоступна, он внезапно прозрел и обнаружил, что она не только красива строгой красотой, но и умна, и прекрасно разбирается в философии. Даже суровый Катон становился нежным, стоило заговорить с ним о Порции...

Но к чему пустые мечты? Сервилия в ссоре с Катоном, значит, нечего и думать жениться на Порции. К тому же роль племянника Катона и так достаточно обременительна, чтобы взвалить на себя еще и роль его зятя.

Сервилия имела на сына совсем другие виды. Дабы обеспечить ему карьеру, она, конечно, рассчитывала на помощь Цезаря. И пусть Рим болтает сколько ему вздумается, что юный Брут добился успеха благодаря сговорчивости родной матери...

Двадцатичетырехлетний Марк Юний Брут не спешил устремиться по пути, на котором мать обещала ему удачу и довольство. Он не желал принимать помощь от любовника Сервилии, потому что Цезарь заключил союз с Помпеем. Потому что его ссора с Катоном и Бибулом выродилась в фарс.

Речь Бибула на Форуме против закона о выделении земель ветеранам Помпея завершилась настоящей потасовкой. Сторонники Цезаря набросились на Катона и его зятя как на зачинщиков драки с оскорблениями, отколотили их и в довершение всего облили помоями. Вернувшись к себе, Бибул заперся и объявил, что не выйдет за порог дома до 31 декабря, когда истечет срок его полномочий. За этим решением стояла вовсе не трусость, а тонкий расчет. По республиканскому закону

консулы могли управлять государством только вдвоем. Если нет одного консула, значит, действия второго лишаются законной силы. И Бибул полагал, что его отсутствие парализует всю деятельность Цезаря. Но он жестоко просчитался. Цезарь махнул рукой на республиканскую законность, равно как и на Бибула, и как ни в чем не бывало продолжал править Римом.

На Форуме уже появилась свежая шутка: «В консульство Юлия и Цезаря...» Обезумевшему от пережитого унижения Бибулу не оставалось ничего иного, как заняться сочинением похабных памфлетов на тему «Как бывший любовник царя Цезарь стал возлюбленным царской власти».

Все это имело слишком мало общего с возвышенными представлениями Брута о Риме и республике. И стоит ли его осуждать за нежелание участвовать в политической жизни, от которой чересчур явственно несло клоакой?

Марк зажил той же жизнью, какую вел в Афинах. Он много читал, и Сервилия приходила в ярость, видя, как сын попусту теряет время над книгами. Он исхудал и побледнел. В его глазах вечно чем-то глубоко озабоченного человека появился лихорадочный блеск. Из-за того, что он сильно вытянулся, его походка стала какой-то неуклюжей, и, наблюдая за ним, Сервилия с неудовольствием отмечала, что он делается все больше похож на отца, ее первого мужа. Крайней худобой, которую не могли скрыть складки тоги, он теперь напоминал и Катона. В своем пристрастии к лаконическому аттическому стилю он старался выражать свои мысли не просто кратко, но подчеркнuto сухо, возможно, подсознательно стараясь выделиться на фоне всеобщего увлечения модной цветистостью слога. Он терпеть не мог болтать ни о чем и всей душой презирал высоко ценимое в свете искусство под видом утонченно-вежливых оборотов говорить собеседнику

колкости. Посторонним он часто казался высокомерным, но Сервилия подозревала, что за этим прячется самая обыкновенная робость. И что прикажете делать с парнем, не способным вовремя польстить нужному человеку и убежденным, что искренность — это не порок, а достоинство?

Впрочем, мать боялась напрасно. Далеко не все относились к Марку с неприязнью.

Прежде всего, его, несмотря на юность, отметила своей благосклонностью знаменитая куртизанка, гречанка Киферида. Танцовщица и актриса, она пользовалась репутацией взыскательной особы и далеко не каждого из обожавших ее юношей-патрициев дарила своим вниманием. Как ни странно, ее связь с Брутом длилась много дольше, чем простой каприз. Очевидно, юный Марк, сумевший добиться бескорыстной привязанности самой дорогой женщины Рима, обладал достоинствами, о которых Сервилия даже не догадывалась.

Но и он не на шутку увлекся Киферидой. Друзья, посмеиваясь, передавали, что его однажды застали за странным занятием — он сочинял своей возлюбленной послание в стихах! Как и в Афинах, в Риме вокруг Марка сложился довольно широкий круг преданных друзей. Серьезность и не показная, а идущая от сердца откровенность притягивали к нему лучших. Между тем в Риме часто судили о человеке по тем, кто его окружал. И на младшего Брута обратилось немало заинтересованных взглядов.

Всего за несколько месяцев Марку без всякого старания удалось перехватить у богатого и очень заметного Гая Скрибония Куриона роль предводителя золотой римской молодежи. О нем заговорили. Ему в заслугу ставили холодное упорство, с каким он, храня верность памяти погибшего отца, не замечал знаменитого Гнея Помпея. В отличие от нетерпеливой

Сервилии многие считали невозмутимость Марка и его умение выжидать ценными качествами души, угадывая за ними обостренное чувство долга и отсутствие дешевого тщеславия.

Тогда-то и разыгралась та странная, до конца так и не проясненная, история, которая едва не загубила в зародыше карьеру Марка Юния Брута.

Марк и его друзья проводили дни в праздности. Традиционное для римских юношей занятие — овладение военным искусством — оставалось для них под запретом, потому что все, связанное с военным делом, подмял под себя ненавидимый ими Гней Помпей. Но действительно ли они были такими бездельниками, какими хотели казаться?

В свои двадцать лет они не располагали жизненным опытом, зато не научились чувствовать и весьма серьезно прислушивались к голосам, обвинявшим Цезаря и Помпея в стремлении к личной власти.

На самом ли деле Брут и его друг Курион вбили себе в голову, что должны выступить в роли мстителей за поруганную свободу? Это не исключено. Во всяком случае, они проявили достаточно легкомыслия, чтобы другие, гораздо более взрослые ловкачи бессовестно использовали их юношеские порывы к собственной выгоде.

Гай Скрибоний Курион не мог похвастать безупречной репутацией. В частности, его подозревали в более чем тесной дружбе с молодым Марком Антонием. Слух не подтвердился, ибо, взрослея, Марк Антоний все ярче демонстрировал, что отдает безусловное предпочтение женщинам. Тем не менее Курион оказывал на Антония самое дурное влияние. Именно он прирастил приятеля к вину, азартным играм и разврату. К двадцати годам Антоний успел промотать оставленное отцом наследство и задолжал кредиторам астрономическую сумму в 150 талантов.

Долг в конце концов уплатил отец Куриона, взяв с Антония обещание больше никогда не видеться с его сыном.

А Куриону все не сиделось на месте. Еще в апреле прошлого года он явился к Марку Туллию Цицерону, непримиримому врагу Цезаря, справедливо подозревавшему, что консул приложил руку к заговору Каталины. Курион представился выразителем чаяний римской молодежи, по его словам, «горевшей негодованием и, превыше всего ненавидя тиранию, не намеренной терпеть происходящее»^[15]. Именно в Цицероне эта «горящая негодованием» молодежь видела единственного спасителя республики. Убедить в этом преисполненного тщеславия бывшего консула не составило труда, и в конце беседы с Курионом он проникновенно произнес:

— Риму нужен новый Брут или новый Сервилий Ахала...

Либо сам Курион, либо его друг Лентул, сын Бибула от первого брака, передали эти слова Бруту. На молодого человека, ни на миг не забывавшего о семейном предании, они произвели необыкновенное по силе впечатление.

Не исключено, что за внешним равнодушием, отличавшим поведение Марка Юния весной и летом 58 года, скрывались смутные, но вполне реальные замыслы по устранению Помпея. Впрочем, даже если он мечтал об убийстве и мести, никого в свои мечты не посвящал.

Курион подобной сдержанности не проявлял. В сущности, он не придавал сколько-нибудь серьезного значения хлесткой фразе, брошенной Цицероном. Просто ему, польщенному вниманием к себе бывшего консула, нравилось выступать в роли оппозиционера, бросающего вызов Юлию Цезарю. Но он слишком громко

заявлял о своей враждебности консулу и слишком петушился, чтобы быть действительно опасным. Зато шумные декларации привлекали к нему всеобщее внимание и могли сослужить неплохую службу для будущей политической карьеры. Разумеется, остается вероятность — и дальнейший ход событий не позволяет ее полностью исключить, — что Курион действовал в качестве агента-provokatora, работавшего на консула^[16].

Наступили иды квинтилия^[17], и вечером народ собрался на театральное представление в честь закрытия Аполлоновых игр. Когда в театр вошел Цезарь, его встретила ледяная тишина. Несколькими минутами позже в зале появился Курион, и публика разразилась громом рукоплесканий. Цезарь сделал вид, что ничего не произошло. Но вот по ходу пьесы знаменитый трагик Дефил произнес слова, обращенные к тирану:

— Да, ты велик, но только потому, что мы ничтожны!

При этом он обернулся к ложе консула и вонзил в Цезаря обвиняющий перст⁹. Публика взревела от восторга, а актер снова и снова повторял на «бис» удачную реплику. Рукоплескания перешли в шквал, когда Дефил, по-прежнему не сводя взгляда с консула, продекламировал:

— Законы и обычай попирая, ты видишь в том великую заслугу. Но знай: настанет день, и ты заплачешь!

Цезарь позеленел от ярости, но не шевельнулся и до конца досмотрел представление, в котором каждая сцена, казалось, разыгрывалась против него лично. С мест, занятых плебеями, неслись сочные ругательства, а ряды, предназначенные патрициям и всадникам, оглашались взрывами хохота. В первом ряду сидел

донельзя довольный Цицерон, и его вид убедил Цезаря, что бывший консул подкупил актеров^[18]. Ничего! Он ему это еще припомнит...¹⁰

Очевидно, именно это событие послужило толчком к организованной Цезарем акции, разобраться в хитросплетениях которой сегодня невероятно трудно.

Каждый римский политик определенного ранга имел в своем распоряжении обширную клиентуру, состоявшую в том числе и из весьма сомнительных персонажей, по мере надобности исполнявших роль телохранителей, информаторов, шпионов, провокаторов, а то и наемных убийц.

Цицерон, в котором страх за свою жизнь порой доходил до паранойи, содержал немало число подобных исполнителей. Среди них был человек по имени Луций Веттий. Именно он четыре года тому назад сумел внедриться в окружение Катилины и доносил Цицерону о каждом шаге Луция Сергия и его друзей^[19]. Он же информировал патрона о связях между Каталиной и Цезарем. Мы не знаем, по-прежнему ли Веттий работал на Цицерона или успел перебежать к Цезарю. Известно лишь, что в конце лета того года Веттий активно занимался тем, что морочил голову некоторым восторженно-наивным молодым людям, убеждая их, что они должны спасти Рим от грозящей ему тирании. С ним встречались и Курион, и Брут — и последний все так же считал, что убить Помпея велит ему сыновний долг.

Внешне Брут вел себя абсолютно спокойно. Зато запаниковал Курион. Дело зашло для него слишком далеко. Он понимал, что из любимца публики превращается в настоящего заговорщика и должен рисковать своей кудрявой головой ради... А, собственно, ради чего? До Куриона вдруг дошло, что он не может ответить на этот вопрос. Ради республики? Ради борьбы

с тиранией? Пустые слова! Стоят ли они опасности, которой он подвергает свою жизнь? Курион словно в миг протрезвел и бросился за помощью к тому, кто всегда выручал его из самых серьезных неприятностей. Он все рассказал отцу.

Отец Куриона не любил Помпея, но ему и в голову бы не пришло использовать против него столь смелые средства. И он сообщил императору о грозящей ему опасности, не забыв подчеркнуть, что его сын не имеет к заговору никакого отношения, а узнал о нем случайно. Помпей отнесся к предупреждению вполне серьезно, тем более что о готовящемся покушении он слышал и из других источников, помимо Куриона. О том, что против него что-то затевается, он знал из письма консула Бибула, очевидно, тоже предупрежденного сыном, и, наконец, от Веттия, то ли полагавшего, что заговорщики платят ему слишком мало, то ли просто добросовестно исполнявшего свою подрывную службу. Цезарь предложил Помпею раздуть из этих откровений большое политическое дело, одним махом добившись сразу двух целей: привлечь народные симпатии, выставив себя в роли невинных жертв, и дискредитировать оппозицию, обвинив ее в потворстве молодым фанатикам.

1 октября на площади Форума стража арестовала Веттия, уверенного, что консул не даст его в обиду. При обыске у него нашли кинжал, хотя ношение оружия в Риме было запрещено. На самом деле это постановление не соблюдалось, и именно поэтому всякая потасовка на улицах города нередко переходила в кровавую схватку. Веттий недоумевал: неужели те, кто его использовал, теперь хотят от него избавиться?

Человек неглупый, он решил, что для спасения у него есть только один путь: тащить за собой как можно больше народу. И, глядя в лицо оцепеневшим сенаторам, двойной агент принялся называть имена...

Кинжал и задание заколоть Помпея, заявил он, дал ему консул Бибул. О том же ему говорили Гай Скрибоний Курион, Луций Лентул — сын фламина Марса, Луций Эмилий Павл — юноша из семьи, близкой к популярам... Еще там был...

Но здесь Веттий начал путаться. Действительно, разобраться в именах человека, кем-либо усыновленного, было нелегко. Кажется, его звали Марк Сервилий Юниан... Или Марк Цепион Брут? Допрашиваемый так и не мог вспомнить правильного имени того, кого обвинял, но сенаторы и без того уже поняли: речь идет о Марке Юнии Бруте, приемном сыне покойного Квинта Сервилия Цепиона. И тут началось.

Первые разоблачения Веттия никого ни в чем не убедили. Бибул? Курион? Но разве не благодаря им стало известно о заговоре? Павл? Вздор! Он еще несколько месяцев назад уехал в Грецию!

Но Брут... Всем известна его ненависть — законная, впрочем, — к Помпею. Так значит, молодой Брут вознамерился убить императора? Что ж, это очень похоже на правду...

Перед кем выслуживался Веттий, возводя обвинения против Марка Юния Брута? Перед врагами родственников юноши Катона и Бибула, то есть перед Цезарем и Помпеем. Он или не знал, или просто забыл, что между Цезарем и матерью Брута Сервилией существует тесная связь^[20]. Веттий очень старался, но в результате этих стараний Цезарь оказался в безвыходном положении.

Тем временем дело шло своим ходом. Веттия бросили в темницу, объявив врагом народа, — зловещий признак, возможно, предтеча грядущих арестов и казней. То же самое происходило четыре года назад, когда гонения обрушились на друзей Каталины. Для расправы над ними понадобилось всего два дня.

О страшном обвинении, нависшем над сыном, Сервилия узнала тотчас. Эта холодная, расчетливая, бессердечная женщина боготворила Марка. Ради него она пошла бы на все, даже на убийство. А если он и в самом деле виноват? Но ведь это она воспитала в нем поклонение перед памятью предков-тираноубийц и ненависть к тиранам. Она же научила его ненавидеть Помпея. И, подумать только, она еще упрекала его в бездеятельности! А этот глупый юнец втихомолку точил кинжал, уверенный, что мать его похвалит! Но к чему теперь вспоминать об этом? Виноват Марк или нет, горе-заговорщик или жертва провокатора, он ее сын. И ему грозит опасность. Мать должна его спасти, чего бы это ей ни стоило. Никто не в силах ей помочь. Никто, кроме Цезаря.

Вне себя от тревоги, Сервилия приказала приготовить носилки. Ее путь лежал к дому великого понтифика, роскошному зданию, в которое Цезарь переехал пять лет назад, когда наконец получил этот вождеденный сан. Сервилия знала, что на спасение сына у нее есть всего одна ночь.

Консул пребывал в ярости. По милости Веттия он попал в ловушку. Если дать делу законный ход, Брут сгинет в подземельях Туллианской тюрьмы, где палач перережет ему горло. Цезарь ни в коем случае не хотел этого допустить. Ему нравился этот высокий нескладный парень с его убийственной искренностью, не говоря уже о Сервилии — лучшей из женщин, которой он не хотел причинять горя. Молодого Брута надо оправдать. Но ведь именно этого и добиваются его враги! Что же делать?

Гай Юлий и Сервилия искали выход всю ночь, и они его нашли. Они действительно являли собой неординарную пару.

Ранним утром консул отправился прямо в тюрьму и в нарушение сенаторского эдикта приказал вывести

заклученного. Затем вместе с агентом-провокатором он двинулся к Форуму, уже запруженному толпой горожан, ибо римляне привыкли подниматься ни свет ни заря. Втолкнув Веттия на ростральную трибуну, Цезарь потребовал, чтобы тот повторил перед народом свои вчерашние обвинения.

Ночь, проведенная в темнице, и разгневанный вид патрона лишили Луция Веттия остатков былой смелости. Да, на жизнь великого и великодушного Гнея Помпея готовилось покушение, затевали же его вовсе не восторженные юнцы, а зрелые многоопытные мужи, составляющие сливки сенаторской оппозиции. Кто именно? Претор Домиций Агенобарб — шурин Катона. Но истинным вдохновителем заговора стал «красноречивый консуляр», которому охотно помогал его зять. По этим приметам каждый догадался, что речь идет о Цицероне и Марке Латеранском, муже его дочери Туллии¹¹.

Веттий бил себя кулаками в грудь и признавался, что накануне оговорил безвинных. С особенно подозрительным жаром он старался обелить Марка Юния Брута, того самого, которого вчера, запинаясь, именовал Сервилием Цепионом.

Разумеется, пройдет совсем немного времени, и по городу разнесутся сальные сплетни про «самое мощное средство давления, подушку», благодаря которой близкому к консулу юноше удалось избежать кары. Но это будет потом, а сейчас сделано главное: официально сын Сервилии чист, как новорожденный агнец.

Веттия снова отвели в Туллианскую тюрьму, где на следующую ночь он очень кстати скончался. Сервилиа не скрывала, что ради сына пойдет хоть на убийство. Цезарь взял этот труд на себя. Чем не доказательство преданной любви, может быть, даже более убедительное, чем баснословной красоты жемчужина

стоимостью в шесть миллионов сестерциев^[21], которую он на радостях подарил Сервилиии год назад, когда его впервые избрали консулом?

Как же пережил все происшедшее сам Марк? Он испытал унижение.

Кризис, разразившийся 1 и 2 октября 58 года, он перенес с завидным хладнокровием. Ни один важный шаг никогда не давался ему легко, потому что со своими высокими понятиями о совести он всегда мучительно размышлял, в чем добро и справедливость, и всегда боялся ошибиться. Но стоило ему принять решение, он становился непоколебим. В отличие от Куриона все опасения, все сомнения и все тревоги он переживал до того, как наступала пора действовать. Когда же от слов требовалось перейти к делу, им овладевала холодная решимость и трезвая ясность мысли, не оставлявшая в душе места страху. Он и теперь был готов нести ответственность за свои шаги перед лицом сената и римского народа и бестрепетно встретить смерть.

Вмешательство матери и Цезаря превратило его смелый поступок в фарс. Он верил, что от него зависит судьба Рима, а на самом деле... Игрушкой в руках тайного агента, молодым идиотом, которого более опытные политики использовали в своих целях, — вот кем он оказался¹².

Он не мог без отвращения думать о себе и о других. Правда открывалась ему во всей ее неприглядной наготе. Хвастливый фанфарон Курион, едва повеяло опасностью, помчался искать защиты у папочки и, не задумываясь, выдал всех своих друзей, лишь бы спасти собственную шкуру. Бибул, которого Марк ненавидел уже за то, что он посмел жениться на Порции, на публике изображал из себя непоколебимого оппозиционера, а втихомолку сговаривался с Цезарем и

Помпеем. И в конце концов оказалось, что судьба Рима, как и его личная судьба, решилась в постели его матери...

Где же здесь идеал римской доблести? Где священные ценности, в которые он верил всю свою жизнь? Неужели в тайных сговорах, в шпионских провокациях, в постельных интригах?

Марку казалось, что он в одночасье лишился всех былых иллюзий. Зачем жить дальше? Что ж, в двадцать четыре года многие еще верят, что смешное убивает...

Сервилия отчитала его, как мальчишку, приказала бросить опасные мечтания и потребовала взглянуть в лицо правде жизни.

Что ему оставалось? Раз этот мир создан для циников и мерзавцев, продажных политиков, прохвостов и лжецов, он подчинится матери и поступит к ним в ученики.

Во всяком случае, попробует.

III. В войне с самим собой

*...бедный Брут, в войне с самим собой,
Встречать других любовью забывает.*

*Уильям Шекспир. Юлий Цезарь.
Акт I, сцена II*

Прошло несколько месяцев. Иногда на Форуме или у кого-нибудь в гостях Брут случайно встречал Куриона и других молодых людей, скомпрометированных откровениями Веттия, и с удивлением отмечал, что они ничуть не утратили своей беззаботности и по-прежнему с увлечением говорят о пустяках. Казалось, он один еще вспоминал нелепое дело, выставившее его посмешищем перед всем городом.

Порой ему чудилось, что существованию, купленному за счет материнской снисходительности, он предпочел бы веревку палача в подземельях Туллианской тюрьмы. Впрочем, мысли о книгах, оставшихся бы непрочитанными, странах, где ему не довелось бы побывать, и женщинах, с которыми он никогда бы не познакомился, возвращали ему вкус к жизни. И потом, разве он совершил нечто позорное? Да, он замышлял расправу с убийцей своего отца, но ведь этого требовал от него сыновний долг! Да, он избежал смерти благодаря вмешательству консула, главы партии популяров, но ведь род Юниев всегда считал себя приверженцами популяров!

Однако возникали и новые вопросы. Разве хоть кто-нибудь в Риме еще верил в серьезность борьбы между

популярными и оптиматами? Город погряз в коррупции. Гай Юлий Цезарь, Марк Лициний Красс и Гней Помпей, забыв, что двадцать лет назад они принадлежали к враждовавшим партиям, теперь делили между собой власть, как куски пирога.

Изменился весь расклад политической жизни. Сервилия сумела найти общий язык с одним из нынешних хозяев города. Если бы только Марк захотел, он получил бы в свои руки баснословно крупные козыри. Но он не желал строить карьеру на покровительстве любовника матери и служить триумvirату, извратившему самый дух законных институтов. Парадоксальным образом отныне защитниками республики выступали оптиматы, объединившиеся вокруг Цицерона и Катона.

Брут считал, что обязан защищать республиканский строй и его идеалы. Он решил примкнуть к наиболее слабой партии, потому что именно она, на его взгляд, отстаивала правое дело. Верный чувству долга, он с презрением отверг предложенную Цезарем помощь и из всех путей, лежавших перед ним, выбрал самый трудный.

В конце года истек срок консульских полномочий Цезаря и Бибула. Оппозиция с нетерпением ждала этого момента, надеясь рассчитаться с Гаем Юлием за все злоупотребления, допущенные на посту высшего магистрата. Цезарь же отнюдь не намеревался выпускать власть из рук, и его соглашение с Помпеем и Крассом носило вовсе не случайный характер. Объединившись, эта троица действительно становилась непобедимой. За Крассом стояло золото, за Помпеем — легионы. Что же касается Цезаря, то он располагал самым грозным оружием, позволявшим ему держать под контролем всю политическую жизнь города, — поддержкой плебса. Вооруженные шайки, состоявшие из беглых рабов, гладиаторов и просто городских

подонков, обитателей Субурры, по его приказу могли сорвать любое собрание и не допустить избрания неугодных триумвирам кандидатов.

Для бывшего консула существовал единственный способ сохранить власть: получить из рук сената и римского народа империй, то есть право управлять одной из римских провинций в качестве проконсула. Сенаторы сделали попытку лишить Цезаря этого права, поручив ему контроль за состоянием лесов и летних пастбищ, но тут в дело вмешался его близкий друг, плебейский трибун, и планы сената провалились. Цезарь стал проконсулом Иллирии и Цизальпинской Галлии, получив в свое распоряжение три легиона, расквартированные в Аквилее, с правом лично назначать легатов и устроить на поселение в Новом Коме (ныне Комо) пять тысяч колонов. Против обыкновения должность проконсула была ему присуждена не на год, а сразу на пять лет. Мало того, когда умер проконсул Трансальпийской Галлии, Помпей, храня верность соглашению с Цезарем, добился того, что и эта провинция перешла под управление Гая Юлия. Это дало последнему повод с довольной ухмылкой заявить:

— Я получил все, что хотел. Теперь я пройду у них по головам.

Покидая Рим на пять лет, он оставлял в городе преданных ему друзей. Консулами года были избраны тесть Цезаря Луций Кальпурний Пизон и близкий к Помпею Авл Габиний. На должность плебейского трибуна Цезарь сумел протолкнуть одну из своих креатур — умного и хитрого Публия Клодия Пульхра.

Перед Клодием он поставил конкретную задачу — избавиться от возглавлявших senatorскую оппозицию Цицерона и Катона. Клодий отнесся к поручению с большим воодушевлением. Еще несколько лет назад он оказался замешан в скандальное дело о

святотатстве^[22], из которого рассчитывал выпутаться с помощью Цицерона. Но тот обманул его ожидания и в суде выступил обвинителем. Клодий не мог ему этого простить^[23].

В марте 57 года трибун Клодий предложил проект закона, по которому любой магистрат, приговоривший к казни римского фажданина без соблюдения законной процедуры, карался ссылкой. Этой мерой он явно метил в Цицерона, который в свое время без суда и следствия расправился с сообщниками Каталины. Понимая, что за Клодием стоят Цезарь и Помпей, сенат побоялся встать на защиту своего лидера. 20 марта Цицерон бежал из Рима и укрылся в Греции. Торжествующий Клодий приказал сжечь роскошный дом оратора на Палатине и воздвигнуть на его месте храм Свободы.

Таким образом, от Марка Туллия Цицерона удалось, пусть временно, избавиться. Оставалось разделаться с Катонем.

Здесь дело обстояло гораздо сложнее, ибо отыскать за Катонем хоть какой-нибудь грех не представлялось возможным. Человек во многих отношениях невыносимый, Катон, тем не менее, не давал ни малейшего повода усомниться в своей честности и уважении к закону. Его следовало удалить из Рима под каким-нибудь благовидным предлогом, по возможности придав ссылке видимость почетной миссии.

Изобретательный ум Клодия нашел такой предлог, вовремя вспомнив о Кипре.

Этим независимым островным государством правил Птолемей — брат египетского царя Птолемея XIII. Занимая в Средиземноморье стратегически выгодное положение, Кипр славился своим богатством. Клодий предложил сенату присоединить остров к Римской империи, обвинив Птолемея в пособничестве морским пиратам, бесчинствовавшим в тех краях. Поручить

низложение Птолемея и конфискацию его сокровищ, настаивал Клодий, можно только человеку исключительной честности — такому, как Марк Порций Катон.

В ответ на возмущение Катона, прекрасно понявшего, что кроется за этим предложением, Клодий тихонько прошептал ему:

— Соглашайся добром, не то тебя отправят туда силой, ты уж мне поверь.

Пепелище, оставшееся на том месте, где еще недавно высился дом Цицерона, яснее ясного говорило Катону, что это не пустая угроза. В то же время он сознавал, что выполнение миссии займет месяцы, если не годы. А средства? С неслыханной щедростью Клодий дал ему в помощники двух писцов, про которых каждый знал, что они нечисты на руку. И все! Ни воинов, ни кораблей! А если Птолемей проявит сопротивление? Да легче наполнить водой бездонную бочку, легче вкатить на гору сизифов камень, чем такими силами завоевать Кипр! Его ждет неминуемый провал. Но разве не этого добивается Клодий? Когда месяцы спустя проконсул вернется в Рим ни с чем, его уже никто не станет воспринимать всерьез.

Хитрый Клодий провел свое предложение через народное собрание, и теперь отказ Катона выглядел бы нежеланием подчиниться закону. Разумеется, ему, образцу республиканской добродетели, такое даже не пришло бы в голову. Рим высказал свою волю, он обязан ее исполнить. И скрепя сердце Катон дал согласие отправиться на Кипр.

Он даже не слишком возмущался, когда к первой невыполнимой миссии Клодий добавил еще одну, такую же нереальную: принудить сенат Византия принять назад нескольких знатных граждан, высланных, по мнению Рима, незаконно. Для Катона это задание означало всего лишь лишние полгода изгнания.

Как ни тянул он с отъездом, но решающий день настал. Весь во власти бессильной ярости, в начале весны следующего года в Брундизии он сел на корабль и взял курс на остров Родос, где намеревался сделать продолжительную остановку и обдумать сложившееся положение. Вместе с ним уезжал его племянник Марк Юний Брут.

Что заставило Марка разделить с дядей опалу? Он решился на это добровольно и по зрелом размышлении.

Брут наотрез отказался участвовать в затеваемых Сервилией комбинациях. Он не желал быть обязанным триумвирам — ни Крассу, по дешевке скупавшему земельные участки в бедных кварталах, пострадавших от пожаров, ни Помпею, убийце его отца, ни Цезарю, попиравшему закон.

Чтобы доказать Сервилие, что он не намерен плясать под ее дудку, Марк решился сопровождать дядю на Кипр. Гораздо больше, чем фантастический план аннексии острова, его привлекала возможность снова увидеть Грецию, встретиться с друзьями, послушать знаменитых родосских философов. Разумеется, не обошлось и без горделивого сознания того, что он не боится пойти наперекор триумвирам и Клодию. Пусть весь Рим пресмыкается перед ними, Брут не таков! Все уроки Сервилие пропали втуне: сын ее как был, так и остался идеалистом.

Катоном владела одна навязчивая мысль — что скажут о нем в Риме. На Родосе, утопавшем в роскоши и удовольствиях, он вел все тот же суровый образ жизни, к которому привык дома, чем немало веселил греков. Ну и пусть смеются! Главное, что в курии все будут знать — несгибаемый Катон верен себе.

Бруту, искренне любившему Грецию, приходилось нелегко. Его, ученика аттических философов и ораторов, больно ранил спесивый тон, в каком Катон

взял привычку разговаривать с греками¹³. К тому же дядя вовсе не собирался предоставлять племяннику возможность в свое удовольствие заниматься философией. Он привез его сюда не на каникулы!

Ладил ли Марк с дядей? Теперь он все чаще вспоминал мать, которая откровенно насмеялась над причудами брата. Действительно, Катон отличался отвратительным характером, легко впадал в гнев и в такие минуты становился просто жестоким. За его показной скромностью скрывалось невероятное тщеславие, за внешним спокойствием философа — чудовищный эгоизм, от которого приходилось страдать близким. Но в его нынешнем положении Марку оставалось только молча терпеть.

Больше всего Катон боялся сделать неверный шаг. Он затягивал свое пребывание на Родосе, надеясь, что в Риме наступят перемены и он спасется из ловушки, уготованной ему Клодием. До него дошел слух, что Цицерон уже вернулся в город; слышал он также, что Птолемей XIII, изгнанный из Египта в результате дворцового переворота, нашел прибежище в Риме и пытается отстоять перед сенатом независимость своего брата.

Чтобы избежать обвинений в полном бездействии, Катон отправил на Кипр проквестора Канидия, которому доверял во всем. Сам по себе Канидий значил слишком мало, чтобы неуспех его миссии мог пагубно отразиться на добром имени начальника.

После отъезда Канидия прошло всего несколько дней, и Катон велел Бруту плыть в Саламин, там нагнать отбывшего проквестора, вместе с ним ехать к Птолемею и проследить за ходом переговоров. Сам он прибудет позже.

Марк ничем не выказал охватившего его недовольства. Ему, новичку в политике, дядя поручил

контролировать опытного Канидия — что за глупая идея! Если их постигнет неудача, ответственность за нее падет на Брута. Его репутация, и так подмоченная делом Веттия, будет окончательно погублена. Неужели Катон, давно точивший зуб на Сервилию, решил отомстить ей, отыгравшись на Марке?

Мрачно смотрел он, как грузили на корабль его сундуки и ящики с книгами — багаж, с которым он не расставался никогда. Скупость Катона, изящно именуемая им разумной экономией, давно вошла в поговорку¹⁴. Он наотрез отказался нанимать отдельное судно, так что Марку предстояло путешествие на обычном греческом корабле, до отказа забитом людьми и животными, потому что капитан дорожил каждым лишним ассом, полученным с пассажиров. Прежде это только позабавило бы Брута, но теперь казалось оскорбительным и недостойным официального римского чиновника, выполняющего важную государственную миссию.

Больно задетый в своем юношеском самолюбии, он жестоко страдал. Неожиданный выход из унижительного положения дала ему сама природа: во время плавания он заболел.

Он никогда не отличался крепким здоровьем. Возможно, его настиг приступ малярии — широко распространенного среди римлян заболевания, объяснявшегося близостью Понтенских болот. Возможно также, болезнь вспыхнула на нервной почве — как реакция на глубокое огорчение.

Капитана все эти тонкости совершенно не интересовали. Не хватало еще, чтобы этот римлянин помер у него на борту! А вдруг он заразный? Чуть изменив курс, судно направилось к Памфилии — ближайшему порту малоазийского побережья — и высадило больного на берег. Довольно далеко от Кипра.

Одна эта мысль, казалось, вдохнула в юношу новые силы. Первым делом он отправил дяде письмо, в котором сообщил, что серьезно болен и выздоровление, скорее всего, затянется надолго. Избавившись от назойливой дядиной опеки, Марк твердо решил, что будет заниматься только тем, что ему нравится — читать, слушать философов, осматривать окрестности. Если дяде нужен идиот, готовый рискнуть вместо него головой, пусть поищет его в другом месте. Ноги его не будет на Кипре!

Но Фортуна распорядилась иначе.

Какие бы распри ни раздирали Рим изнутри, для всего Средиземноморья он оставался великой державой. За каждым приезжим римлянином жителям соседних стран чудились непобедимые легионы, могущественный флот и безжалостная военная машина. Покоренный Восток не любил римскую волчицу, но он ее боялся.

Конечно, время от времени находился смелый до безрассудства восточный царь или полководец, дерзавший бросить вызов всесильному Городу. Гордость и любовь к свободе не позволяли им безропотно склониться под римским игом. Но Птолемеи Кипрский не принадлежал к их числу.

Долгие века праздной жизни в роскоши и неге погасили в наследниках Птолемея огонь, пылавший в жилах их предка — македонского наемника и соратника Александра. Нынешнему царю Кипра отваги хватало лишь на то, чтобы привечать у себя на острове киликийских пиратов, взимая в свою пользу часть награбленной добычи. Птолемей понимал, что провинился перед Римом, но он даже не догадывался, какими смехотворными ресурсами располагали прибывшие к нему посланцы Рима. Едва узнав о том, что Катон уже на Родосе, царь заранее сложил оружие. Весть о скором приезде проквестора Канидия

окончательно его добила. Откуда ему было знать, что эмиссар Катона везет ему выгодное предложение о почетной отставке? Он словно наяву видел, как его, закованного в цепи, волокут по римским улицам жалким статистом чужого триумфа... Когда ему сообщили, что Канидий высадился в Саламине, Птолемей утратил остатки самообладания и принял яд.

Наследников он не оставил, и подданные кипрского царя смирились с потерей независимости и присоединением острова к провинции Киликии. Еще ни одно завоевание не давалось Риму так легко и не приносило ему так много.

Не веря своим глазам, осматривал Канидий царские богатства — золото, серебро, драгоценные камни, украшения, монеты всевозможной чеканки, предметы искусства, пурпурные ткани, роскошную мебель, дорогую посуду, ковры... По самым скромным подсчетам, здесь добра не на одну тысячу талантов. Канидию стало страшно. Он приехал прощупать почву и по возможности избавить Катона от бесконечных, как принято на Востоке, переговоров, а оказался в роли хозяина острова и всех этих сокровищ. Понимая, что дело ему не по плечу, он отослал Катону письмо с просьбой немедленно приехать.

Но Катон увяз в других переговорах — с Бизантием. Бросить их сейчас и сломя голову мчаться на Кипр, где трудности к его вящей славе разрешились сами собой, казалось ему верхом глупости. Рисковать успехом своей второй миссии только потому, что Канидий боится не справиться с поручением? Ну уж нет! Лучше он пошлет к нему племянника.

Катон отправил Бруту в Памфилию резкое письмо, требуя незамедлительно прибыть в Саламин и проследить за составлением описи имущества Птолемея.

Марк не скрывал от друзей, что приказ дяди ничуть его не обрадовал. Чем он может помочь Канидию, который разбирается в этих делах гораздо лучше него? Или дядя не доверяет своему проквестору? Как бы там ни было, в отговорки племянника, не желавшего обижать подозрением его подчиненного, дядя точно не поверил. Катон привык деспотически командовать окружающими и любил сталкивать их лбами, заставляя завидовать друг другу. Еще раз повторив свое приказание, он ясно намекнул племяннику, что любые проволочки с его стороны будет считать проявлением лени, нерешительности и тщеславия. Несправедливые упреки задела Марка за живое. Вспомнил он и о матери. Он и так рассердил ее, когда службе у Цезаря предпочел поездку на Кипр. Новых уверток она ему не простит. Что ж, в конце концов почему не воспользоваться случаем, чтобы на деле приобщиться к высокой политике и завязать полезные знакомства? Да и денег заработать не помешает...

Брут смирил свое недовольство и осенью 56 года высадился в Саламине. Впрочем, ему недолго пришлось действовать на свой страх и риск.

Невероятный успех Катона в кипрском деле словно по волшебству подтолкнул и переговоры с сенатом Византия. Брут еще не закончил читать отчеты Канидия, как его дядя уже был на острове и взял руководство в свои руки.

Неуживчивый в семейном кругу, Марк Порций Катон и в работе был не подарок. Он всех изводил своей маниакальной придирчивостью. Чтобы ему угодить, требовалось не только запредельное терпение, но и скрупулезная точность во всем, и изрядная гибкость. Брут и сам любил точность, мог он проявить и дотошность, и даже терпеливость. Но вот что касается гибкости... Одиннадцать месяцев, проведенные в

Саламине бок о бок с дядей, стали для него сущей пыткой.

Понимая, что вывезти в Рим мебель, картины, статуи, посуду и драгоценности Птолемея невозможно, Катон решил продать их на месте. Убежденный, что все кругом только и думают о том, как бы его надуть, он лично договаривался с каждым покупателем, отчаянно торгуясь. Видно, его далекие предки и в самом деле разбогатели, торгуя свиньями^[24]. Никому не доверяя, он снова и снова пересчитывал вырученные деньги. Как он еще удержался, чтобы не приказать обыскивать каждого из своих помощников — вдруг кто позарился на ложку или сестерций? Даже самых близких друзей он перестал пускать к себе в комнаты, и кое-кто из них затаил на него смертельную обиду. В конце концов его заместитель Мунаций бросил все и уехал в Рим. Но Катон ничего не замечал. Он так вжился в образ скупца, охраняющего несметные сокровища, что ему позавидовали бы герои Плавта.

Брут сдерживал себя, однако его чувства к дяде разительным образом переменились. После Кипра в их отношениях больше не осталось ни теплоты, ни сердечности. Но он не спешил покидать Кипр, потому что успел завязать в Саламине и Памфилии знакомства среди местной знати, заинтересованной в связях с римской аристократией. Конечно, Брут пока не входил в число влиятельных лиц, он к этому и не стремился, пока вокруг него не сложится собственный круг друзей и должников, иными словами, собственная клиентура.

Наконец Катон продал последний предмет мебели Птолемея. Брут вздохнул с облегчением, но, как оказалось, рано. Катон панически боялся везти всю сумму — семь тысяч талантов — морем. Он долго думал, как уменьшить риск путешествия, и, конечно, придумал.

Разделив деньги на части по два таланта и пятьсот драхм, он каждую упаковал в отдельный сундучок, к каждому сундучку приделал поплавок, а все вместе связал пеньковым тросом. Теперь, даже если корабль потерпит крушение, сокровище не пойдет ко дну. Подробный перечень реализованного добра он составил в двух экземплярах — получилось две толстые книги. Первую он оставил у себя, а вторую вручил своему отпущеннику Филаргиру, которому велел плыть другим кораблем. На самый крайний случай, если книги все же погибнут, он вез с собой бывших управителей Птолемея, которых намеревался представить в качестве свидетелей. Все эти приготовления заняли так много времени, что Брут уже начал всерьез беспокоиться, как бы не пришлось зимовать на Кипре^[25]. Лишь в середине октября римляне погрузились наконец на корабль — все, кроме Филаргира. Плавание протекало спокойно, если не считать маленькой неприятности, случившейся на острове Корфу, где сделали остановку. Ночи уже стояли такие холодные, что матросы, чтобы согреться, жгли костры. На одну из палаток попала искра, и вспыхнул пожар, в котором сгорела драгоценная книга Катона. И без того злой, он и вовсе рассвирепел, когда узнал, что судно, на котором плыл несчастный Филаргир, затонуло. Катон понес невосполнимую утрату — вместе с верным отпущенником на дно ушла вторая книга с отчетом. Его страхи переросли в манию. Отказавшись высадиться в Остии, он велел, чтобы корабль — великолепная галера с шестью рядами весел, принадлежавшая Птолемею, — плыл вверх по течению Тибра до самого центра города.

Городские крыши, показавшиеся в золотой дымке ноябрьского утра, наполнили сердце Брута радостью. Катона, уезжавшего из Рима почти изгнанником, толпа встречала едва ли не как триумфатора. Он делал вид,

что не замечает высоких официальных лиц, вместе с консулами явившихся приветствовать его. Разумеется, он ничего не забыл и верил, что снова сумеет взять в свои руки руководство оппозицией. Марк Порций Катон понятия не имел, что за полтора года его отсутствия в Риме произошли значительные перемены.

В 56 году выборы консулов так и не состоялись — на Форуме хозяйничали подчиненные Клодию шайки головорезов, из-за которых обсуждение кандидатур становилось невозможным. Чтобы его нейтрализовать, оптиматы подкупили второго народного трибуна — любимца Помпея Тита Анния Милона, имевшего такое же право именоваться консерватором, как Клодий — защитником народных интересов. Все это привело к тому, что «спецслужбы» противоборствующих партий начали все чаще выяснять между собой отношения с помощью кулаков. Каждое заседание сената, каждое народное собрание завершалось бурной ссорой, нередко переходившей в потасовку.

Соперничество Красса и Помпея, всегда недолюбливавших друг друга, все быстрее переходило в стадию «холодной войны». Миллиардер, приближавшийся к 60-летию, завидовал полководцу и мечтал о военной славе. Его мечты особенно подогревали победные репортажи, которыми засыпал сенат Цезарь, утверждавший, что ему без единого сражения удалось покорить всю Галлию. Лишь много месяцев спустя выяснилось, что краткие набеги Гая Юлия на страну кельтов далеко не означали ее завоевания, но тогда об этом никто не знал. Одновременно остававшиеся в Риме друзья Цезаря поднесли Помпею отравленный дар — в условиях экономических трудностей и угрозы голода добились его пятилетнего назначения на должность ответственного за продовольственное снабжение

города, заложив под популярность Гнея Великого мину замедленного действия.

Вот что творилось в Риме, когда вернулись Катон и Брут.

Беспомощность сената, резкая смена позиции Цицерона, который, вернувшись из ссылки, так боялся снова подвергнуться опале, что предпочел примкнуть к сторонникам Цезаря^[26], и плачевное состояние города отбили у Брута всякую охоту делать карьеру. Поддерживать триумvirат он по-прежнему не собирался. Что же до оптиматов...

Потеряв Цицерона, который теперь думал лишь о том, как бы восстановить утраченное богатство, они искали путей примирения с Помпеем. Брут отвернулся от популяров, чтобы не сотрудничать с убийцей своего отца, но мог ли он примкнуть к оптиматам, которые наперебой пытались подольститься к этому самому убийце? К тому же, прожив долгие месяцы бок о бок с Катоном, он потерял изрядную долю уважения к дяде и не хотел делить с ним общее дело.

И Брут опять отгородился от жизни. Его сверстники покрывали себя военной славой в Галлии, а он проводил время в библиотеках, перечитывал Демосфена, переводил греческих историков и начал сочинять несколько трактатов, которые так и остались черновыми набросками. Прожить свой век кабинетным затворником, слишком презирающим окружающий мир, чтобы публиковать свои труды, — ему хватило бы и этого.

Ему, но не Сервилии. Мать все не соглашалась оставить его в покое и без конца сравнивала его с двумя его шуринами — Марком Эмилием Лепидом, мужем Юнии Старшей, и Гаем Кассием Лонгином, недавно женившимся на Терции. Сравнение говорило не в его пользу.

Однако чем он провинился? И Лепид, и Кассий, оба они были совершенно другими людьми; Лепид — откровенным карьеристом, ограничившим все свои интересы тем, как вскарабкаться повыше, а Кассий — воином, умным и храбрым, но ужасно грубым и по-детски гордившимся своей неотесанностью. Впрочем, и тот и другой безмолвно признавали за ним превосходство и, пожалуй, даже кое в чем завидовали его прямоте и неумению идти на компромиссы.

Одна Сервилия по-прежнему отказывалась считать душевную чистоту мужским достоинством. Марку очень хотелось доказать ей, что он стоит не меньше, а может, и больше, чем мужа сестер. Время шло к тридцати годам, а он все еще оставался никем. Благополучное присоединение Кипра не принесло ему никакой выгоды, потому что Катон приписал все заслуги себе. Не только для племянника, но и для остальных своих помощников он не потребовал от сената никакой награды.

Марк злился на дядю. Приближение зрелости пугало его. Если прежде он сомневался в других, то теперь начал сомневаться в себе. Обреченный на бездействие своими слишком высокими представлениями о порядочности, он уже готов был заняться чем угодно, разумеется, не вмешиваясь в бушевавший в верхах политический кризис. Подходящий случай вскоре подвернулся. Он ухватился за него, потому что жаждал убедить Сервилию, что и он способен зарабатывать деньги.

Провинции стонали под гнетом римских налогов. Каждый новый наместник, бывший консул, беззастенчиво обирал подчиненное ему население, стараясь компенсировать расходы, понесенные в ходе избирательной кампании, и копил деньги на новые выборы. Эта практика стала повсеместной. И первое, что сделал Катон на Кипре — обложил жителей острова податями в пользу римской казны. Жалобы, что с них

заживо спускают шкуру, не трогали негибавшего Марка Порция.

Летом 55 года в Рим прибыла из Саламина делегация сенаторов. Они надеялись получить заем на сумму в 53 таланта. Обычно в аналогичных случаях жители провинций обращались к римскому наместнику, но киприоты пока имели дело с одним лишь Катонем, а на его помощь рассчитывать, конечно, не приходилось. И тогда они решили связаться с его племянником Марком Юнием Брутом. Своими аристократическими манерами, своей глубочайшей культурой и умением свободно говорить по-гречески юноша произвел на саламинцев самое благоприятное впечатление.

Посланцы направились напрямик к Бруту и, высказав все полагающиеся случаю комплименты, стали просить займы — ни много ни мало — 53 таланта. Таких денег у Брута, разумеется, не было. Признавшись новым друзьям, что он далеко не так богат, как им, вероятно, казалось, Марк все-таки пообещал подыскать им кредитора. И действительно, двое заимодавцев, ведавших финансовыми делами семьи, согласились предоставить требуемую сумму, но не меньше чем под 48 процентов годовых — слишком рискованной выглядела сделка. По принятому 10 лет назад Габиниеву закону, направленному на борьбу с ростовщичеством, верхний предел стоимости ссуды составлял 12 процентов. Но саламинцы не возражали и против 48, лишь бы удалось обойти закон. Все, что для этого требовалось, — добиться принятия особого сенатус-консульта, в виде исключения разрешавшего сделку на предложенных условиях. Еще один сенатус-консульт давал кредитору право в случае невыплаты ссуды обратиться за помощью к государству. Убедившись, что киприоты согласны на все, Брут взял на себя роль посредника и «пробил» оба постановления.

Удачное завершение сделки возродило в Бруте веру в свои силы. Кроме того, в разговорах вокруг киприотского займа в сенате и на Форуме постоянно возникало его имя. Через год-другой к моральному успеху должен был добавиться и материальный — в виде вознаграждения за посредничество. Одним словом, Марк Брут стал в Риме завидной партией. Сервилия не могла упустить такой возможности.

Мать Брута постарела и сознавала это. С тех пор как Цезарь отбыл в Галлию, она оставалась одна. Выдав замуж дочерей, она поневоле перешла в разряд почтенных матрон, не сегодня-завтра готовая дожидаться внуков. Новую роль она приняла со смирением. Впрочем, она понимала, что ее влияние на Цезаря — единственного мужчину, который хоть что-то для нее значил, — зиждилось не столько на физической близости, сколько на союзе умов, а здесь соперниц у нее не предвиделось. Пусть Гай поминутно меняет подружек, что он и делал, в конце концов он вернется к ней: наслаждения умной и тонкой беседой, точностью суждений, доскональным знанием света и действия политических пружин ему не подарит никто кроме нее. В ожидании его возвращения она нашла себе новое увлечение — устраивать браки.

В высшем римском обществе женитьба была чем угодно, только не любовным приключением. Если супруги вдруг оказывались приятными друг другу, что ж, тем лучше для них. Если нет, тоже не беда — они, подобно Сервилии, искали утешения на стороне. И роль свахи привлекла Сервилию вовсе не глупой сентиментальностью. Она испытывала подлинное удовольствие, комбинируя семейные состояния и политические направления, зная, что последствия этих комбинаций шагнут далеко за пределы супружеской спальни и отразятся на всем Риме. Сервилия помнила все генеалогии, все имена выдающихся деятелей

каждого рода, отлично представляла, на какую клиентуру опирается потенциальный муж или — в случае молодости последнего — его отец, каким приданым располагает каждая невеста. Очень скоро она для многих стала незаменимой.

Благодаря открывшемуся в ней новому таланту она чрезвычайно удачно пристроила своих дочерей и теперь мечтала о хорошей партии для Марка. Ее выбор пал на Клавдию Пульхру Младшую^[27]. Ни красавица, ни уродина, она получила прекрасное воспитание, позволявшее ей стать достойной хозяйкой в доме мужа, на какой бы высокий пост ни призвала его судьба. Она не обладала сильным характером, что вполне устраивало Сервилию, не желавшую делить с невесткой влияние на сына. Но главная ценность невесты состояла в том, что она происходила из хорошей семьи.

Патриции до кончиков ногтей, Клавдии считались одной из самых благородных римских фамилий. Мать Клавдии принадлежала к не менее знатному роду Цецилиев. Женитьба на девушке с такой родословной, полагала Сервилия, быстро заставит замолчать злые языки, распространяющие басни про плебейское происхождение Юниев и прадеда-привратника.

Громкое имя без богатства — пустой звук. К счастью, состояние Клавдиев исчислялось миллионами. Отец Клавдии Пульхры Аппий (представители этого рода носили не римское, а сабинское имя, которое подчеркивало, что он древнее самого Города) имел репутацию одного из самых ловких политиков, что в переводе на обычный язык означало продажный до мозга костей. Официальные должности и сомнительные сделки принесли ему кучу денег. Вокруг него сложился широкий круг родственников, друзей и клиентов, к числу которых принадлежал и его младший брат Публий Клавдий Пульхр, ради карьеры в качестве

народного трибуна сменивший родовое имя и отныне звавшийся Клодием, и сам Помпей, старший сын которого — Гней — намеревался жениться на старшей дочери Аппия Клавдии Пульхре Старшей.

Женитьба на Клавдии Пульхре Младшей превратила бы Брута в свояка сына Помпея. Зная о его ненависти к убийце своего отца, следовало ожидать, что он наотрез откажется от этой партии. Однако, как ни странно, он легко согласился взять в жены Клавдию.

Он понимал, что ему пора жениться, что этого требовал от него гражданский долг. Оставаться холостяком, когда большинство римских мужчин вступали в брак до 20 лет, выглядело бы ненужным упрямством.

Клавдия не будила в нем никаких чувств. Если бы он сказал кому-нибудь, чего на самом деле ждет от будущей супруги, его просто никто не понял бы. С тех пор как завершилась его связь с Киферидой, у него не было ни любовницы, ни возлюбленной. В любви, как и в политике, этот идеалист в основном мечтал. Но мечтал он не о союзе с юным перепуганным существом, которому предстояло легально сделаться его собственностью, а о Спутнице с большой буквы — единомышленнице и подруге, которая во всем была бы ему ровней и которой он во всем бы доверял. Впрочем, за этим призрачным видением ему чудились черты вполне определенной женщины — дочери Катона и его двоюродной сестры Порции. Кстати сказать, жены Бибула. 25-летняя Порция успела стать матерью троих детей. В ней одной сочетались старинная добродетель римской матроны и философская мудрость Греции. Живое воплощение достоинства и сдержанности, она, как и ее отец, твердо верила в учение стоиков и ясно сознавала, к чему ее обязывают высокое положение, ум и культура. Бибул, в общем-то, славный малый, хоть и тугодум, по возрасту годился ей в отцы. Он по-своему

любил ее, даже не пытаясь вникать в тонкости ее возвышенной души. Порция не знала с ним настоящего счастья, но слишком дорожила своей репутацией и самоуважением, чтобы искать на стороне то, чего не находила дома.

Догадывалась ли она о любви Марка? Несомненно. Грела ли ей сердце эта тайная влюбленность? Наверняка. Но это ничего не меняло. Даже если бы Брут отказался от женитьбы на Клавдии, даже если бы Порции удалось освободиться от Бибула, между ними все равно оставалось слишком много непреодолимых преград в виде условностей и семейных интересов. Ни Катон, ни Сервилия ни за что не дали бы согласия на их союз.

Раз уж жениться на Порции он не мог, Брут с полнейшим равнодушием отнесся к выбору невесты. Какая, в сущности, разница — Клавдия Пульхра Младшая или кто-то еще?..

Продажный ловчила Аппий Клавдий Пульхр заслуживал глубочайшего презрения? Разумеется, но за ним стояли деньги, связи, власть. Сколько можно отворачиваться от реалий жизни, прикрываясь своей порядочностью? Ему скоро 30 лет, пора уже брать судьбу за рога.

Шокировала ли его мысль, что он окажется в одном лагере с Помпеем? Конечно, шокировала, и даже больше, чем он сам смел себе признаться. Ненависть к убийце отца нисколько не утихла в его душе. И он твердо решил, что ни при каких обстоятельствах не станет встречаться ни со своим свояком, ни с его отцом. Не собирался он и менять своих политических убеждений. Вернее сказать, заполнять их отсутствием чем бы то ни было...

К 55 году триумвират достиг вершины своего могущества. Верный союзникам, Цезарь перед консульскими выборами прислал в Рим, якобы на

побывку, большое войско, чем обеспечил победу Помпею и Крассу. Оптиматы потерпели сокрушительное поражение. Особенно негодовал Катон, предлагавший кандидатуру своего шурина Луция Домиция Агенобарба. Новые консулы первым делом захватили в свое управление (на пять лет) две самые богатые провинции: Крассу досталась Сирия, а Помпею — Испания. Оба получили право в будущем, став проконсулами, объявлять войну. В благодарность Цезарю они добились, чтобы его наместничество в Галлии продлилось еще на пять лет.

Единственным, кто попытался возражать против этих решений, стал Катон. Он прибегнул к испытанному средству — на заседании сената брал слово и продолжал говорить до захода солнца, когда, по правилам, заседание прекращалось. Настроившись на 12-часовую, если понадобится, речь, он умолк уже через два часа — трибун Требоний отдал приказ о его аресте. И ни один из сенаторов не подал голос в его защиту¹⁵. Похоже, Катон действительно стал последним оппозиционером. Не зря Цицерон написал в одном из писем: «Наши друзья (триумвиры) превратились в настоящих хозяев, и ничто не заставляет думать, что при жизни нашего поколения положение изменится».

Если уж спаситель республики Марк Туллий Цицерон пришел к этому горькому выводу и откровенно заискивал перед нынешними хозяевами жизни, Бруту, делавшему лишь первые шаги по пути почетной карьеры, тем более можно простить сговорчивость. Кажется, он начал понимать, что со своим ослиным упрямством бессилён перед действительностью. Немалую помощь в открытии этой простой истины оказал ему шурина — Гай Кассий Лонгин.

Почти ровесники^[28], они ни в чем не походили один на другого. Гай Кассий был человеком действия, легко

поддавался эмоциям и, если нужно, умел ответить грубостью на грубость. В детстве он учился у того же педагога, что и сын Суллы Фауст. Противный мальчишка, убежденный во всемогуществе отца, взял привычку издеваться над другими учениками. Однажды терпение Кассия лопнуло, и он во время перемены основательно поколотил маленького тирана.

Когда его вызвали для разбирательства опекуны Фауста, Кассий спокойно заявил:

— Он хвастал, что его отец — монарх. За это я и набил ему морду^[29], и, если ему захочется еще раз получить за то же самое, пусть рассчитывает на меня!

Кассия простили, а Фаусту больше не хотелось получать за то же самое. С той поры за Кассием закрепилась репутация парня, который никого не боится и не перед кем не отступает, если задеты его принципы.

Он действительно отличался редкой отвагой, однако никто не назвал бы его бесшабашным сорвиголовой. Голова у него работала как надо. Он стремился к успеху и не упускал на пути к своей цели ни одной возможности. Владел он и даром убеждения, умея расположить к себе нужных людей. Впрочем, если дела не ладились, он терял самообладание и забывал о всякой дипломатии, способный в таком состоянии совершить что угодно. Он не был злопамятным и, признавая, что погорячился, от ярости нередко переходил к искреннему раскаянию. Кое-кто считал его ловким притворщиком, но на самом деле перепады его настроения объяснялись не лицемерием, а болезненной ранимостью. Иногда он из-за сущего пустяка впадал в гнев, и тогда в душе его оживали старые, казалось, давным-давно забытые обиды. Как это часто бывает у слишком темпераментных натур, его повышенная эмоциональность имела и обратную сторону:

временами он вдруг впадал в депрессию, доходившую до полного отращения к жизни. Он исповедовал эпикуреизм, что само по себе мало способствовало снижению внутреннего накала этой беспокойной души, искавшей выход из противоречий в активных поступках.

На первый взгляд он являл собой полный контраст спокойному и склонному к размышлениям Бруту. Но только на первый взгляд.

Гай Кассий и Марк Юний получили одинаковое образование. Пусть один из них отдавал предпочтение атеизму Эпикура¹⁶, а в мировоззрении второго сплетались идеи Платона и стоиков, оставлявшие место Богу и Провидению, это ничуть не мешало им ночи напролет спорить до хрипоты о божественном начале и праве человека на самоубийство. Но сильнее всего их объединяла искренняя приверженность извечным римским ценностям и республиканским институтам.

Случалось им и ссориться. Брут завидовал умению своего шурина принимать мир таким, какой он есть, и действовать, не терзаясь по целым неделям неразрешимыми вопросами. В свою очередь, Кассий, восхищаясь идеализмом Брута и его глубокой порядочностью, возмущался его вялостью и инертностью. В то же время их тянуло друг к другу. Кассий нуждался в моральном одобрении со стороны Брута, а Брут видел в Кассии образец предприимчивости, которой ему так не хватало. Поэтому их дружба была гораздо прочнее, чем могло показаться на первый взгляд.

Впрочем, пока в этой паре лидировал, бесспорно, Кассий. В своем стремлении к успеху он сделал ставку на одного из триумвиров — Марка Лициния Красса.

Получив в управление Сирию, проконсул Красс загорелся идеей осуществить давнюю мечту римлян и покорить Парфию, о богатствах которой ходили

легенды. Хотя его личный военный опыт ограничивался подавлением восстания Спартака, случившегося за 25 лет до этого, Красс решил, что ему вполне хватит сил, чтобы бросить вызов могущественной парфянской державе, переживавшей период упадка. Отсутствие формального предлога к войне его нисколько не беспокоило. Вопреки зловещим предсказаниям авгуров и громким проклятиям трибуна, не одобрявшего этой авантюры, 14 ноября 55 года Красс с войском погрузился на корабль и взял курс на Восток.

Вместе с ним уезжал Гай Кассий Лонгин, добившийся участия в походе в ранге квестора^[30]. Брут остался в Риме. Молодой муж, не испытывавший никаких чувств к своей жене, он очень скоро почувствовал на себе давление тестя, который ни минуты не сомневался, что обязан по-своему устроить жизнь дочери.

Утрата юношеских иллюзий, назойливое вмешательство Аппия Клавдия Пульхра в его семейную жизнь, сосуществование с Клавдией, искренне старавшейся ему понравиться, отчего он злился еще больше, — казалось, куда уж больше огорчений! Но нет, его ждал еще один неприятный сюрприз. Кипрский заем — его единственное успешное дело — обернулся сплошными неприятностями.

С той поры минул год. Скаптий и Матиний — кредиторы, предоставившие деньги, — ожидали возврата ссуды с 48-процентной, как и было оговорено, надбавкой. Однако никто им платить не собирался. Особенно не удивившись — дело обыкновенное, — они решили лично ехать на Кипр и на месте требовать уплаты долга, пригрозив, в случае отказа, воспользоваться своим правом и призвать на помощь римские власти. В этом они снова рассчитывали на Брута. Действительно, весной 53 года Аппий Клавдий

Пульхр, сложив с себя обязанности консула, намеревался отбыть в Киликию, куда был назначен наместником.

Малоазийская провинция Киликия, граничившая с Сирией, занимала прибрежную зону, отделенную от Парфянской империи естественной горной преградой. В ее подчинении находились Ликия, Памфилия, Писидия, Ликаония, часть Фригии и Кипр.

Если бы заимодавцам удалось склонить наместника на свою сторону, они без труда добились бы возврата ссуды. Впрочем, стало известно, что Брут едет в Киликию вместе с тестем.

Праздная жизнь в Риме начинала его тяготить. В Киликии он хотя бы сможет приносить пользу. Прожив долгие месяцы в Памфилии, он хорошо знал эти земли, завел здесь много знакомств. Действуя через саламинских друзей, он рассчитывал уладить ко всеобщему согласию дело с киприотским займом. Наконец, рядом с Киликией располагалась Сирия, а Красс, отбывший сюда 14 месяцев назад, до сих пор не начал активных военных действий против парфян. Возможно, Брут вынашивал надежду присоединиться к его войску и потягаться со своим зятем военной доблестью.

Клавдия даже не пыталась удерживать его. Брак, заключенный без любви, не пробудил в Марке ни нежности, ни страсти к супруге. Потомства тоже пока не намечалось.

И в марте 53 года преисполненный планов Брут в компании с обоими кредиторами прибыл в Киликию, где уже обосновался новый наместник. Судьба уготовила ему жестокое разочарование.

Все началось с разгрома армии Красса. В Парфии тогда бушевала гражданская война, но Красс оказался не способен использовать к своей выгоде временную слабость империи. Он перешел Евфрат, однако

побоялся двигаться дальше и потерял целый год. Очень скоро он обнаружил, что восемь отданных ему легионов состояли отнюдь не из отборных отрядов — лучших воинов Цезарь и Помпей берегли для себя. И Красс решил дожидаться подкреплений, которые вел ему сын Публий, незадолго до того отличившийся в боях с галлами под командованием Цезаря.

Парфяне еще делали попытки вступить с римским проконсулом в переговоры и требовали от него объяснений.

Красс вел себя грубо и высокомерно и в конце концов заявил парфянскому посланнику:

— Ты дождешься от меня объяснений, когда я буду в Селевкии!

В ответ возмущенный парфянин воскликнул:

— Клянусь тебе, Красс, раньше мои ладони покроются шерстью, чем ты увидишь Селевкию!

Крассе тогда еще не понял, что своим вторжением заставил парфян забыть о внутренних раздорах и объединиться для защиты родной земли от общего врага. Задетый в своем самолюбии, он задумал идти прямо на Селевкию. Против этой глупости яростно возражали его советники, в том числе квестор Кассий, который говорил, что надо как можно дальше двигаться вдоль берега Евфрата, чтобы пересечь безводную пустыню в самом узком месте, но он никого не желал слушать. Если принять план Кассия, рассуждал он, до Селевкии быстро не доберешься, а парфяне за это время успеют увезти из столицы баснословные сокровища. Жадность Красса совершенно затмила ему разум.

Одержимый блеском близкого золота, Красс сломя голову бросился через пустыню. Стояли последние дни мая 53 года, и жара с каждым днем становилась нестерпимей. Войско миновало город Карры, а скоро позади осталась и речка Великое — последний источник

питьевой воды. Съестные припасы таяли с каждым днем. Войско, насчитывавшее 36 тысяч воинов и 10 тысяч лошадей, страдало от жажды и голода. Начался падеж животных. Галльские всадники из вспомогательных отрядов умирали десятками. Однажды ночью сбежали союзники-греки, служившие проводниками.

Сын Красса Публий и квестор Кассий в один голос твердили, что надо, пока не поздно, вернуться к Беликосу, но обезумевший полководец продолжал гнать свое войско вперед. В начале июня римская армия наконец сошлась лицом к лицу с парфянской — вопреки ожиданиям римлян превосходившей их собственные силы во много раз.

Молодой Публий Лициний Красс, один стоивший сотни таких, как его отец, сложил голову в бесплодной попытке спасти безнадежное положение. Окруженный врагами со всех сторон, он во главе горстки галльских конников сколько мог сдерживал натиск парфян. Помощники из числа восточных союзников умоляли его бежать с поля битвы, оставив вспомогательные отряды прикрыть отступление. Но Публий, пожал плечами, отвечал:

— Я римлянин, а не грек. Бегите, я вас не держу. Но никто никогда не скажет, что Публий Лициний Красс бросил солдат, которые шли за ним в такую даль...

Он держался до самого вечера. Уже истекая кровью от ран, он бросился на меч, лишь бы не попасть живым в руки врага. Парфянский всадник отсек голову от его мертвого тела и швырнул ее в римский лагерь.

После этого Марк Красс утратил последние крохи разума. Напрасно Кассий внушал ему, что жертва Публия не должна пропасть втуне, что надо этой же ночью воспользоваться тем, что парфяне из-за строгого религиозного запрета складывают до утра оружие, и внезапно напасть на них, — Красс словно оглох. Бросив

на поле битвы четыре тысячи раненых, он в панике бежал. К вечеру 11 июня жалкие остатки римских легионов дотащились до Карр, но и здесь Красс побоялся задерживаться. Здравомыслящий Кассий советовал ему двигаться к Евфрату, переправиться через него и уйти в Сирию. Проконсула же манили горы Армении, за которыми ему чудилось надежное укрытие от свирепых парфян.

Гай Кассий Лонгин понял, что глупостей Красса с него довольно. До сих пор он проявлял чудеса терпения. Но если он бессилен отворотить своего полководца от пути, который ведет их всех прямо к гибели, он не обязан следовать за ним. Нисколько не таясь, квестор кликнул с собой всех желающих, и, оставив своего императора, пятьсот всадников поскакали к Сирии.

Зять Брута сделал умный ход, спасший ему жизнь. Воины, не рискнувшие последовать за ним, встретили вместе с Крассом печальный конец уже 13 июня, возле стен Синнаки. Пески парфянской пустыни навсегда поглотили останки семи римских легионов, а Красс действительно увидел Селевкию... когда его труп был выставлен на всеобщее обозрение в столице, праздновавшей победу^[31].

Теперь следовало ожидать, что парфяне постараются закрепить успех, потеснив римлян в их восточных владениях. Едва прибыв в Дамаск, Кассий, по необходимости возложивший на себя обязанности проконсула, спешно занялся организацией обороны Сирийской провинции. Он располагал всего пятью сотнями всадников и легионом, который не участвовал в парфянском походе.

Киликию от Парфии защищала горная гряда, однако никто не назвал бы такую защиту серьезной. Тем не менее Аппий Клавдий Пульхр не слишком беспокоился

по поводу возникшей угрозы. Ему оставалось провести в Киликии всего полгода; пусть следующий наместник, рассуждал он, волнуется из-за парфян...

Марк Брут не мог не слышать о подвигах своего зятя. Кассий теперь стал героем, а он... Он по-прежнему не сделал ничего.

Что принес ему этот год, проведенный вдали от Рима? Славы он не стяжал, опыта в управлении провинцией не набрался. Аппий приехал в Киликию с единственной целью — набить свои сундуки, и вся его управленческая деятельность сводилась к выжиманию денег из своих несчастных подданных. К тому же он побуждал и своего зятя.

Брут оказался плохим учеником. Природная честность и высокие моральные принципы, унаследованные от Катона, не позволяли ему следовать примеру тестя. Дело с киприотским займом тоже приняло совсем не тот оборот, на какой он надеялся. Скаптий уговорил Аппия помочь ему припугнуть сенаторов Саламина. Получив от наместника чин префекта и отряд в 50 всадников, он окружил здание сената, объявив находившихся в нем сенаторов заложниками. Проносить в здание пищу и воду он запретил. Дело было летом, и стояла страшная жара. Скаптий рассчитал, что изнеженные старики, привыкшие к роскошной жизни, недолго продержатся.

Скаптий, однако, плохо знал греков. Трудно сказать, что двигало сенаторами — гордость или болезненная скупость, но уступать они не собирались. С упорством, достойным лучшей цели, они терпели голод и жажду. Скаптий скрежетал зубами от злости, но что он мог сделать? В конце концов пятерых заложников пришлось выпустить: они тут же упали замертво. Если так будет продолжаться, они все перемерут там, как мухи. А платить кто будет? Вне себя от бессильной ярости, Скаптий приказал снять осаду.

А что же Брут? Он вообще остался в стороне от этой отвратительной истории. Право, ему бы и в голову никогда не пришло морить голодом и жаждой стариков-аристократов...

За весь год, проведенный в Киликии, он сумел не запятнать себя участием в бессовестных поборах — явление столь редкое, что современники еще долго вспоминали об этом как о выдающемся событии. Поиск необходимых средств он решил направить в более приемлемое для себя русло.

Царь Каппадокии Ариобарзан II не ведал покоя. Жены и дети, братья и друзья, министры и подданные — все они, по его убеждению, мечтали об одном: убить его и занять престол. Особенное нетерпение выказывал старший царский сын — будущий Ариобарзан III. Сосланный в Киликию, он плел заговор против отца, что требовало немалых средств, которыми этот милый юноша не располагал. И он обратился за помощью к Бруту — разумеется, не уточняя, для чего ему нужны деньги, зато расписав всеми красками свою будущую благодарность и процветание Каппадокии, царства, где лучшие в мире конюшни и лучшие лошади.

Славный малый совершенно забыл поставить Брута в известность, что Каппадокия и так задолжала Помпею несметные суммы, а для выплаты долга (с неизменными 48 процентами годовых, разумеется) не хватало всех собираемых в стране налогов.

Очарованный личным обаянием царского сына, Брут нашел ему кредиторов в лице двух римлян, живших в Киликии — Гелия и Скаптия (к тому Скаптию, который пытался применить силовые методы против саламинских сенаторов, этот не имел никакого отношения).

Поначалу все складывалось как нельзя лучше. Весной 51 года в результате дворцового переворота, косвенно поддержанного Римом, Ариобарзан II лишился

престола, на который немедленно вступил его сын, провозглашенный Ариобарзаном III. Покидая Киликию, новоиспеченный государь клялся Бруту, что вернет заем, как только наведет порядок в своих владениях.

Поэтому, возвращаясь в июне 51 года в Рим, Марк Брут ни о чем не тревожился. Впрочем, сборы в обратный путь оказались поспешными — Аппий Клавдий Пульхр, понимая, что рыльце у него в пушку, ни в коем случае не хотел встречаться с новым наместником Киликии Цицероном, заслужившим репутацию несгибаемого обличителя чиновников, обиравших провинции.

За почти двухлетнее отсутствие Брута в Риме произошли большие перемены. Триумvirат, скорый конец которого предрекали многие, действительно распался. Первая трещина в отношениях триумvиров наметилась еще в 53 году, когда дочь Цезаря Юлия — жена Помпея — умерла родами вместе со своим новорожденным сыном. Горе отца и мужа не поддавалось описанию. Цезарь обожал свою единственную дочь, но и Помпей без памяти любил красавицу и умницу жену, которая была на 23 года моложе его. Юлии одной удавалось мирить триумvиров, в душе всегда ненавидевших друг друга и люто завидовавших один другому. Когда же в июне следующего года погиб Красс, оба вчерашних союзника почувствовали себя в полной готовности вцепиться друг другу в глотку.

Овдовев, Помпей отринул всякие обязательства перед Цезарем. Еще при жизни Юлии он отказался по истечении срока консульства уехать в Испанию проконсулом. Пока Красс воевал на Востоке, а Цезарь в Галлии, он оставался в Риме единственным обладателем высшей власти. В 52 году он сорвал избрание консулами двух ставленников Цезаря, затем отверг предложение взять в жены его племянницу и

женился на восхитительной Корнелии — дочери Цецилия Метелла Сципиона, полгода назад овдовевшей после гибели в Каррах несчастного Публия Лициния Красса.

Цезарь понимал, что затянувшееся отсутствие в Риме грозит ему политическим ослаблением. В январе 52 года он лишился своего лучшего агента влияния — Публия Клодия, убитого наемниками его соперника Тита Анния Милона на Аппиевой дороге¹⁷. Да и в Галлии дела шли не лучше. Якобы усмиренная страна внезапно подняла мятеж под руководством арвернского царя Верцингеторига — молодого человека, одно время служившего под началом Цезаря. На сей раз речь шла не о локальной стычке, а о настоящей войне. О скором возвращении в Италию не приходилось и мечтать.

Перед Помпеем, избавившимся сразу от обоих соперников, открывался прямой путь к власти. Поправ закон, запрещавший повторное избрание консулом раньше чем через 10 лет, он получил высшую магистратуру и добился продления империя над Испанией до 45 года. Между тем срок полномочий Цезаря в Галлии истек 1 марта 50 года. Стремясь надежнее запереть Цезаря в галльской ловушке, Помпей потребовал, чтобы тот вернул в Италию часть легионов, которые были приданы ему не навсегда, а лишь на время. Всем стало ясно: если Цезаря не прикончит кельтский меч, его возвращение в Рим обернется открытой схваткой с бывшим коллегой по триумвирату.

Вот что творилось в Городе, когда Брут вернулся домой.

Впрочем, внешне все выглядело мирно и спокойно. После гибели Клодия и спешного отъезда в Массилию (ныне Марсель) его убийцы Милона, который не стал дожидаться решения суда об изгнании, на Форуме

воцарился давно забытый порядок. Никто больше не устраивал потасовок, срывая выборы. Помпей обещал заботиться о процветании граждан, и консервативные круги внимали ему благосклонно — он внушал им куда меньше опасений, чем Цезарь, навсегда оставшийся в глазах оптиматов племянником Мария и главой популяров.

Брут искал себе применение. То обстоятельство, что он работал при Аппии Пульхре в Лаодикее, хотя и трудно сказать, в каком качестве, все-таки придало ему некоторый вес в обществе. Отныне он считал себя вправе держаться на равных с самыми видными римлянами. Например, с Цицероном.

Сын мелкого аристократа¹⁸ из латийского городка Арпина, он всего добился в жизни сам. Скромность своего происхождения он превратил в лишний повод подчеркнуть собственные таланты. Тщеславие Марка Туллия Цицерона не знало границ. Он совершенно искренне считал себя величайшим политическим деятелем, какого когда-либо знала римская история. Не менее высокого мнения он придерживался и относительно своего ораторского дара, хотя и ему случалось, выступая в состоянии тревоги или испуга — а это бывало нередко. — проигрывать дело. Он мнил себя выдающимся философом, писателем и поэтом и сам себя «назначил» главным критиком и цензором литературных кружков, чем немало раздражал их участников¹⁹. Он обладал острым умом и безжалостным чувством юмора. Его убийственные остроты заставляли слушателей хохотать до слез в течение пяти минут, а в душу жертвы насмешки вселяли ненависть, которая не проходила и через тридцать лет. Не щадя никого, даже самых близких людей, сам он невероятно легко поддавался на лесть. Этот умнейший человек мгновенно утрачивал здравомыслие, стоило беседе

коснуться его личности. Постоянно помня о скромности своего происхождения, он был болезненно самолюбив, и каждого, кто не проявлял особого усердия, превознося его до небес, записывал в недруги. Невнимания к себе он не спускал никому, и провинившихся ждала суровая расплата.

Брут, конечно, следил за карьерой Цицерона. Он ценил его как философа, чуть меньше как оратора, ибо сам отдавал предпочтение более лаконичному и строгому аттическому стилю, о чем, не таясь, говорил вслух... Но еще строже он критиковал политические убеждения Цицерона. Прежде, до дела Веттия, Брут считал Цицерона фигурой номер один, вслед за своими ровесниками называл его совестью Республики и видел в нем образец для подражания. Но потом молодое поколение разочаровалось в Марке Туллии Цицероне. Брут так никогда и не узнал, какую роль сыграл Цицерон в деле Веттия, но то, как он повел себя по возвращении из ссылки... Все эти заискивания перед триумвирами, публичное отречение от прежних взглядов, бесхребетность, а если называть вещи своими именами, трусость Цицерона, казались Бруту отвратительными.

В их отношениях с самого начала присутствовала некая отчужденность: Брут никогда до конца не доверял Цицерону, особенно в серьезных делах, тот, в свою очередь, частенько брюзжал по поводу Брута, не в силах признаться даже себе, что молодой человек, сполна наделенный всем тем, чего так не хватало ему самому — благородством, постоянством и отвагой, внушал ему глубокую личную неприязнь.

Накануне отъезда в Киликию Цицерон, якобы не подозревавший о «подвигах» своего предшественника на посту наместника провинции, написал Аппию самое теплое письмо, в котором были и такие строки: «Особенно высоко я ставлю двоих из твоих близких,

одного постарше, другого помоложе — свекра твоей дочери Гнея Помпея и твоего зятя Марка Юния»^[32]²⁰.

Столь лестный отзыв мог бы польстить Бруту, если бы не упоминание рядом с его именем имени Помпея. Впрочем, ему было невдомек, что Цицерон расхваливал его не случайно: он подыскивал второго мужа своей дочери Туллии, овдовевшей после смерти Марка Латеранского, и очень рассчитывал на содействие Сервилии. Как бы там ни было, Брут надеялся, что новый наместник Киликии с пониманием отнесется к трудностям римских заимодавцев Скаптия и Матиния.

Но едва Клавдий Пульхр отбыл на родину, жители Киликии бросились к новому проконсулу с многочисленными жалобами на злоупотребления его предшественника. Цицерон внимал им благосклонно. Дорожа своей репутацией борца с недобросовестными чиновниками, он не собирался покрывать Клавдия Пульхра!^[33]

Цицерон начал с «чистки» в рядах сотрудников Аппия, и Скаптий тут же лишился поста префекта, а вместе с ним — последней надежды вернуть свои деньги. Он бросился за помощью к Бруту.

Скаптий выбрал неудачный момент. Дочь Цицерона Туллия уже выбрала себе жениха — погрязшего в долгах и запутавшегося в любовницах красавца Публия Корнелия Долабеллу, который был моложе ее на 10 лет. Обращаться к Сервилии она не стала — та наверняка отказалась бы устраивать столь безрассудный брак. Поэтому Цицерон, всегда потакавший капризам горячей любимой доченьки, потерял интерес к матери Брута, следовательно, и к самому Бруту²¹.

Ничего этого Марк не ведал. Согласно этикету того времени он искал человека, который представил бы его Цицерону, и нашел его в лице Тита Помпония Аттика.

Аттик принадлежал к древнейшей римской фамилии, которая вела свое происхождение от царя Нумы. Следуя заветам своих предков, он никогда не вмешивался в политику и даже не вступил в сенаторское сословие, оставаясь простым всадником. Богатство Помпониев исчислялось миллионами, а представители рода считались в Риме непревзойденными экспертами в финансовых вопросах. Но Тит Помпоний не участвовал в делах. Юрист и оратор по образованию, эпикурец по убеждениям, он всем занятиям на свете предпочитал досуг и проводил дни в утонченных беседах с узким кружком избранных друзей, состоявшим в основном из греков²².

Этот образ жизни абсолютно не соответствовал принятым в среде римской аристократии нормам, зато отвечал потаенным чаяниям Марка Брута. Аттик вызывал в нем глубокую симпатию.

Помпоний согласился уделить Бруту внимание в память о его погибшем отце и очень скоро обнаружил в молодом человеке родственную душу, поразившись глубине его эрудиции и широте его греческой культуры.

В то же время Аттик слыл самым близким другом Цицерона³⁴.

В просьбе Брута Помпоний не углядел ничего странного — вся общественная жизнь в Риме строилась на подобных рекомендациях. Не вникая в тонкости киприотского займа, он просто написал Цицерону письмо, в котором в самых теплых выражениях отозвался о Бруте, и добавил, что, оказывая любезность молодому человеку, Цицерон обяжет его лично.

Цицерон сам задолжал Аттику и отказать ему никак не мог. И он пообещал, что разберется в деле Брута с максимальной благосклонностью. По совету Тита Помпония Брут составил подробный меморандум по вопросу о киприотском займе. Начало документа могло

служить образцом строгости стиля, столь высоко ценимой Брутом: «Город Саламин должен деньги Марку Скаптию и Публию Матинию, хорошо мне знакомым»^[35].

Затем он уточнял, что лично заинтересован в возврате долга, поскольку выступил гарантом займа. Правдивое изложение реальных фактов — и ничего больше. Заодно в этом же письме Брут упомянул об обстоятельствах предоставления ссуды царю Ариобарзану III, от которого в последнее время не было ни слуху ни духу, что начинало его немного тревожить.

К моменту получения письма Цицерон провел в Киликии уже два месяца. Теперь он жалел о поспешно данном Аттику обещании помочь Бруту. Он ведь тогда не знал, что Марк Скаптий — это тот самый грубый префект, которого он лично сместил!

Он еще раз внимательно перечитал письма Брута и почувствовал, как в нем закипает злость. Сухость тона, продиктованная стремлением писавшего ограничиться освещением фактической стороны дела, теперь показалась ему высокомерием римского аристократа к нему, не столь родовитому «новому человеку»!

Между тем Скаптий, получив от Брута обнадеживающее письмо, отправился на прием к наместнику, но не получил от Цицерона ничего, кроме туманных обещаний. Он снова пишет Бруту.

Еще один визит к Аттику, еще одно письмо последнего Цицерону. На сей раз Тит Помпоний заявил: «Если бы единственным результатом твоего проконсульства стала дружба с Брутом, поверь мне, оно бы того стоило!»

Комплимент в адрес молодого человека разозлил Цицерона еще больше. С какой стати виднейший политик, величайший оратор и выдающийся философ должен дорожить дружбой с 34-летним бездельником, не прославившим себя ничем? И проконсул отписал

другу, что непременно решит киприотский вопрос, но решит по своему усмотрению.

И он его действительно решил. Он заставил сенат Саламина выплатить долг, но из расчета не 48, а всего лишь 12 процентов годовых. Обманутый в своих ожиданиях Скаптий впал в ярость. Увы, заимодавцев подвела именно их чрезмерная предусмотрительность. Действуя через Брута, они добились принятия не одного, а сразу двух сенатус-консультов. Первый давал разрешение на сделку с необычайно высокой процентной ставкой в обход Габиниева закона, второй гарантировал в случае невыполнения долговых обязательств вмешательство наместника Киликии — «как в прочих сделках подобного рода». Вот эти-то слова и позволили Цицерону снизить процент с 48 до 12. Если сделка подобна «прочим», значит, и условия ее должны быть обычными. Новичок в юриспруденции, Брут не заметил этой ловушки, зато многоопытный Цицерон обнаружил ее немедленно. Его не волновало, о чем любовно договорились стороны. Закон есть закон, и нарушать его он никому не позволит!

Скаптий прислал Бруту еще одно письмо, полное упреков в адрес Цицерона. Оно повергло Марка в отчаяние. Это он, юрист, не сумел составить текст договора так, чтобы не оставить в нем лазеек! Поведение саламинцев возмутило его до глубины души. Конечно, процент был незаконным, но ведь они согласились на него добровольно! Значит, они подписали документ, выполнять условия которого и не собирались? Но ведь это и есть нарушение закона! А Цицерон их еще защищает!

На сей раз Брут пишет проконсулу крайне сухое письмо, в котором просит покончить с этим делом, выплатив Скаптию все, что было ему обещано. Чувствуя свою вину перед Скаптием — ведь он не сумел выполнить взятых на себя обязательств — и злясь на

унизившего его Цицерона, он пускается на грубую, очень грубую ложь — утверждает, что деньги для займа предоставил не Скаптий, а лично он.

Брут настолько поддался охватившему его негодованию, что вовсе не думал о последствиях своего ложного признания. Но и ослепленный гневом Цицерон не догадался, что Брут солгал ему, пытаясь выбить деньги для Скаптия.

Между тем выдумка Брута была шита белыми нитками. Во-первых, он никогда не располагал средствами, достаточными для предоставления займа. Во-вторых, даже найди он эти деньги, зачем ему понадобилось бы прикрываться чужим именем? Ведь сенатус-консулт придал сделке абсолютно законный вид.

Тон письма показался Цицерону оскорбительным. Неужели этот спесивый юнец думает, что он в угоду ему изменит свое решение? Всю накопившуюся желчь он излил в письме к Аттику, чем вверх того в изумление — ведь Брут всегда вел себя по отношению к Цицерону самым корректным образом!

«Ты говоришь, Брут отзывается обо мне в самых любезных выражениях, — писал он. — Но когда он обращается ко мне, даже если ему что-нибудь нужно от меня, он позволяет себе колкости, высокомерие и даже невежливость. Если хочешь, можешь передать ему мои слова, а потом сообщи мне, что он сам об этом думает. Хотелось бы верить, что его дружба мне пригодится, но не думаю, что ты пожелал бы мне обрести ее ценой дурного поступка. Я удовлетворил ходатайство Скаптия в соответствии с законом».

Впрочем, ссора Брута с Цицероном пока не привела к полному разрыву отношений. Приближалась пора возвращаться в Рим, и Цицерон мечтал въехать в город триумфатором. Основание для такой почести он видел в организованном им кратком походе в горный район, где

ожидалось нападение парфян. Но решение о триумфе принимает сенат, а в сенате веское слово принадлежит Катону. Цицерон вовсе не желал портить отношения с его племянником.

Что касается Брута, то он по-прежнему нуждался в поддержке Цицерона, на сей раз, чтобы уладить дело с займом Ариобарзану.

Ситуация обострилась, когда Цицерон, оставив в покое Брута, взялся за его сестру.

Юния Старшая была замужем за Марком Эмилием Лепидом. Супруги плохо ладили между собой, и даже дети не могли заставить их полюбить друг друга. Впрочем, оба строго соблюдали внешние приличия, Юния считалась в Риме верной женой и образцовой матерью. На ее увлечения Лепид смотрел сквозь пальцы, лишь бы не пошло лишним разговором.

Зимой 50 года в Лаодикею прибыл некто Публий Ведий — большой друг Помпея. С собой он притащил целую армию слуг и на зависть Цицерону зажил на широкую ногу, выставляя напоказ свое богатство. Время от времени он уезжал осматривать другие города, оставляя свое имущество под присмотром Помпея Виндулла, чьим гостеприимством пользовался. Как следует из его имени, этот киликийский аристократ получил римское гражданство благодаря Помпею. В качестве ответной благодарности — ибо ничто в этом гнусном мире не делается даром — он назначил Помпея своим единственным наследником.

Во время одной из отлучек Ведия хозяин дома внезапно скончался. Поверенный в делах Помпея, живший в городе, потребовал опечатать имущество покойного. Под опись попали сундуки путешествующего Ведия. Их стали вскрывать и нашли пять женских портретов, запечатлевших любовниц Ведия, переодетых мальчиками. Все пять изображали почтенных римских матрон, замужних женщин и

матерей семейств. В одном из них без труда узнали Юнию Старшую.

Описывая находку в послании к Аттику, Цицерон не скрывал злорадства:

«В сундуках оказались портреты пятерых наших красавиц, и в их числе сестра твоего дражайшего Брута. Поистине он достоин своего имени. Что касается дамочки, то она замужем за снисходительным Лепидом. Думаю, эта история тебя позабавит»^[36].

Брут, любивший своих сестер, не нашел в ней ничего забавного²³. Тон его писем к Цицерону становился все более язвительным. А тот не понимал, что Брут обижен за сестру, личную жизнь которой сделали предметом сплетен, и в свою очередь обижался. Он помог уладить киприотское дело, он добился от Ариобарзана выплаты части долга, и после всего этого Брут смеет обращаться к нему безо всякой почтительности? С него довольно! Он пишет Аттику, что больше слышать не желает имени Марка Юния. Он чудовищно его разочаровал, и ни о какой дружбе между ними не может идти и речи. Брута такой поворот нисколько не огорчил. Он и сам не стремился к дружбе с Цицероном, тем более что перед ним наконец замаячили кое-какие возможности карьеры.

Все это время Аппий Клавдий Пульхр и Марк Туллий Цицерон продолжали обмен любезными письмами, рассыпаясь во взаимных похвалах. Но в письмах к друзьям и близким Цицерон весьма сурово критиковал деятельность Клавдия на посту наместника, рассказывая о допущенных им злоупотреблениях. Он, конечно, знал, что его послания будут читать вслух и широко комментировать. Именно тогда жениху Туллии Публию Корнелию Долабелле пришла в голову мысль затеять процесс против Аппия, обвинив его во взяточничестве. Он надеялся одним ударом совершить

карьерный прыжок и доставить удовольствие будущему тестю. Намереваясь приятно удивить Цицерона, он не поставил его в известность о своих намерениях.

Ничего глупее нельзя было и придумать. Аппий Клавдий, породнившийся с Помпеем через женитьбу сына, чувствовал себя неуязвимым, особенно после того как сенат на основе официального отчета, представленного Цицероном, вынес решение почтить его триумфом. Марк Туллий негодовал против злоупотреблений Клавдия исключительно в частной переписке. В качестве ответного жеста он ждал от него такой же поддержки в будущем, когда будет обсуждаться вопрос о триумфе для него самого. Дурацкая затея Долабеллы открыла всему Риму глаза на расчетливость его будущего тестя.

Но и Клавдий оказался не менее хитер. Притворяясь, что он и не подозревает о связях между семьей Туллиев и Долабеллой, он как ни в чем не бывало продолжал обмениваться с Цицероном самыми любезными письмами. Он охотно показывал их Бруту, и тот не мог сдержать возмущения, встречая в них фразы типа: «Но самое главное, напиши, как поживает наш дорогой Марк Юний, которого я счастлив числить среди своих ближайших друзей».

Если Цицерон позволяет себе подобное лицемерие, то почему бы и ему, Бруту, не встать на защиту интересов своего тестя? Чтобы спасти триумф, обещанный Клавдию Пульхру, следовало опровергнуть обвинения Долабеллы.

Аппий пригласил лучшего римского адвоката, бывшего учителя Цицерона²⁴ Квинта Гортензия Гортала. Согласно обычаям того времени «соловьи» римского правосудия никогда не выступали «соло» и привлекали широкий круг подручных. По просьбе тестя Брут подключился к их группе, получив задание

подготовить и произнести в суде вторую защитительную речь.

Каким же образом этот образец добродетели собирался защищать человека, если знал, что тот повинен в совершении неблаговидных поступков?

На самом деле никакого противоречия здесь не было. В данном случае речь шла не о защите добродетели, а о защите другой, не менее важной для римского общества ценности — семейной чести. Кровные связи, так же как и брачные, считались священными. Осуждая с глазу на глаз недостойное поведение близкого человека, ни один римлянин не согласился бы бросить его в трудную минуту на съедение противнику. Родственник всегда оставался родственником, и его интересы отстаивала вся семья — на этом зиждилось все социальное устройство Рима. Да, Аппий Клавдий Пульхр — вор, но Бруту он тесть, и потому Брут — на его стороне.

К тому же сотрудничество с Гортензием являлось честью, от которой просто так не отмахиваются. Бруту выпал шанс проявить себя в качестве юриста, раз уж от карьеры политика он отказался. Он понимал, что угроза государству со стороны Цезаря и Помпея, рвавших к личной власти, нисколько не ослабла. Продвижение по карьерной лестнице помимо благословения этих двух деятелей оставалось невозможным. Но Брут не желал пользоваться их покровительством. В часы досуга он работал над «Трактатом против диктатуры Гнея Помпея», стараясь облечь свои мысли в чеканную форму:

«Лучше никем не командовать, чем быть хоть чьим-нибудь рабом. В первом случае еще можно прожить достойно, во втором — жизнь невыносима».

Он подозревал, что его понимание свободы современникам покажется слишком требовательным, трудноосуществимым и неудобным. Мало кому из

друзей решался он показать свой труд. Порой, когда гнев и отвращение к окружающему становились нестерпимыми, выдержка изменяла ему, и тогда из холодного мыслителя он превращался в яростного полемиста.

Излив бумаге все, что копилось на душе, он возвращался к тошнотворной действительности и образу жизни, навязанному ему Сервилией и Аппием Клавдием. Выступить в защиту тестя? В сложившихся условиях это еще далеко не самое мерзкое, что может его ждать!

Пока Бруту еще ни разу не приходилось подвергнуть испытанию свое ораторское мастерство, приобретенное под руководством лучших учителей Рима и Греции. Адвокатура, служившая трамплином к политической карьере, могла принести ему и славу, и независимость, и богатство. В успехе он не сомневался. Он уже успел понять, как действует римское правосудие.

Аппий Клавдий пользовался слишком высоким покровительством, чтобы обвинения Долабеллы достигли цели. Судебное заседание будет фарсом, и все, чем рискует бывший наместник Киликии, — лишиться чести обещанного триумфа. Он даже не стал скрывать от зятя, что Помпей лично явится на заседание, чтобы еще до выступления Гортензия оказать давление на свидетелей, обязанных дать моральную характеристику обвиняемому.

Помпей вел запутанную политическую игру. Свидетельствовало ли это о его гениальности или, напротив, о полном невежестве, — на этот счет мнения расходились. Но как бы то ни было, консерваторы опасались Помпея гораздо меньше, чем Цезаря, и уже начинали видеть в нем гаранта законности и незыблемости сложившихся институтов. Политиканы, исчерпавшие весь арсенал мыслимых предательств, они

в очередной раз отреклись от прежних убеждений, доказав, что система, которую они защищали, изжила себя. Брут догадывался, какую роль они готовили для Гнея Великого. Пройдет немного времени, и Помпей станет олицетворением легитимности строя, символом его защиты против диктатуры. В этот день Бруту придется забыть про личную ненависть и во имя общего блага примириться с неизбежностью сближения с Помпеем. Потому-то он и согласился выступать в суде защитником Клавдия.

Стоит ли говорить, что суд вынес оправдательный приговор?

Брут не питал на свой счет никаких иллюзий. Разумеется, судьи приняли решение вовсе не под влиянием его речи, как, впрочем, и не под влиянием блестящей речи Гортензия. Исход дела определился в самом начале заседания, после короткого, но горячего выступления Гнея Помпея. Брут говорил в пустоту, обращался к слушателям, купленным заранее.

Несмотря на это, он испытывал известную гордость. Сравнивая, хотя бы в общих чертах, свое первое публичное выступление с пламенной речью Гортензия, он чувствовал, что не ударил в грязь лицом и даже сумел создать интересный контраст с манерой маститого адвоката. Пусть кое-кто упрекает его в нарочитой сухости стиля, сам он считает ее достоинством^[37]. Говорить с дрожью в голосе, отчаянно жестикулировать — это не для него. Он не любитель произносить громкие слова и изображать чувства, которых на самом деле не испытывает. Он не комедиант. И на ораторской трибуне, и в жизни он хочет прежде всего оставаться самим собой, стремится, чтобы слова его не расходились с делами.

Впрочем, окружающие не разделяли его удовлетворения. Друзья со снисходительной улыбкой

выслушали такое «немодное»²⁵ выступление Брута и пришли к единому мнению: произнесенная им речь полностью в его характере — такая же сухая и холодная. Знали бы они, какой огонь пылает под этой внешней холодностью!

Его воодушевление длилось недолго. Суд прошел, и на него снова обрушилась рутинная повседневность. Жизнь потекла по привычному руслу, и вдруг... Вдруг все переменялось.

Чтобы не огорчать мать, он честно играл комедию, но теперь понял, что продолжать ее не в силах. Сосуществование с Клавдией и назойливая опека Аппия Клавдия сделались невыносимы.

Заканчивался 50 год. Жизнь на ближайшие месяцы была строго распланирована. Вопреки нападкам Долабеллы Клавдий добился назначения проконсулом в Грецию — провинцию, которая во всей империи справедливо считалась лакомым кусочком. Естественно, зять отправится вместе с ним.

Но Марк взбунтовался. Он наотрез отказался следовать за тестем, даже в дорогие его сердцу Афины. Опять быть прихвостнем этого кое-как отмытого взяточника? На виду у старых друзей, которые сохранили память о Марке как о неисправимом идеалисте, верном защитнике Истины? Нет, он не поедет в Грецию. Домочадцам, впавшим в ярость от этого неожиданного бунта, он спокойно объявил, что отбывает в Киликию. Новый проконсул провинции Публий Сестий берет его к себе квестором.

IV. Фортуна Цезаря

*Что ж такое Цезарь?
Чем это имя твоего звучней?*

*Уильям Шекспир. Юлий Цезарь.
Акт I, сцена II*

Поспешный отъезд Марка — свидетельство его желания немедленно приступить к работе, — по всей видимости, произвел самое благоприятное впечатление на Публия Сестия^[38]. По правде говоря, Сестий, которого не так давно, когда на Форуме хозяйничал Клодий, подозревали в подготовке заговора, не имел ни малейших оснований рассчитывать на симпатии своего будущего помощника. Он пользовался репутацией убежденного сторонника Помпея, что, в глазах Брута, никак не могло служить доброй рекомендацией.

Что же все-таки толкнуло спокойного и рассудительного Марка на этот неожиданный шаг?

По официальной версии, он добился назначения благодаря тому, что неплохо знал Киликию. В империи, где высшие чиновники сменялись раз в год, почти пятилетнее пребывание Брута в Малой Азии делало из него настоящего эксперта. Кое-кто, правда, намекал, что им двигали менее благородные мотивы — вспоминали Ариобарзана, неплатежеспособного царя погрязшей в долгах Каппадокии, и снова извлекали на свет старую историю с киприотским займом.

Но истинную причину своего бегства из Рима Брут не открыл никому, справедливо полагая, что его бы просто не поняли. Внимательно следивший за политическими событиями, он чувствовал приближение

кризиса и ни за что на свете не хотел оказаться в Италии, когда этот кризис разразится.

В последние полгода Рим жил под знаком дурных предзнаменований. Ходили слухи о рождении уродов. Все лето бушевали грозы, и молнии били прямо в храмы и статуи великих людей. Небеса пролились кровавым дождем^[39]. Ненастными ночами на улицах слышался странный шум, напоминавший звуки битвы — словно невидимые воины бряцали мечами, и их копья со стуком отскакивали от щитов.

В отличие от своего суеверного тестя, над которым смеялись даже его коллеги-авгуры, Марк не верил этим басням, горячо обсуждавшимся толпой на Форуме и рынках. Но он понимал: простонародье не случайно раздувает эти страшные слухи. Люди ожидали возвращения Цезаря в Италию и боялись его. Неизбежное столкновение с Помпеем означало гражданскую войну, новые проскрипции и новые преследования.

Брут не хотел участвовать в бойне. Он всей душой надеялся, что оба оставшихся в живых триумвира разберутся между собой, не вынуждая честных граждан^[40] брать сторону одного или другого. Сервилия наверняка поддержит Цезаря, тогда как Катон и родственники жены предпочтут союз с Гнеем Великим. Марк окажется в клещах, в положении, из которого нет выхода. Напротив, в далекой Киликии, защищая восточные рубежи империи от парфянской угрозы, он сможет принести родине реальную пользу.

Срок проконсульства Цезаря в Галлии истекал весной 49 года. На следующий год он уже мог законно выдвинуть свою кандидатуру на должность консула, поскольку к этому времени прошло бы ровно 10 лет со дня его последнего избрания. Однако, лишившись империя, а вместе с ним и неприкосновенности в марте,

он на 10 с лишним месяцев оказался бы беззащитным перед происками врагов, которые немедленно привлекли бы его к суду. Цезарь видел единственный выход — потребовать от сената, чтобы за покорителем галлов вплоть до нового избрания сохранились привилегии проконсула. В качестве предлога Гай Юлий ссылался на Помпея: почему он должен отдать свои легионы, если Гней Великий не отдает свои?

На самом деле этот довод выглядел не слишком весомо, ведь срок проконсульских полномочий Помпея оставался далек от завершения.

Всю осень 50 года сенат сотрясали бурные споры. Интересы Цезаря отстаивал Курион^[41]. В поддержку Помпея, находившегося в Кампании, где он восстанавливал силы после тяжелой болезни, выступал действующий консул Марцелл^[42].

Можно ли было избежать вооруженного столкновения? Наверное, прояви обе стороны хоть немного здравого смысла и доброй воли. Пока оба соперника, словно хищники перед схваткой, присматривались друг к другу, стараясь оценить, кто чего стоит, все оставалось возможным. Гней Помпей считался величайшим римским полководцем, не знавшим себе равных в военном искусстве, благодаря которому он как никто расширил пределы империи. Победы Цезаря над варварами блекли в сравнении с подвигами Помпея. В самом лагере Цезаря находились командиры, слишком уставшие от походной жизни. Как знать, не перебегут ли они к Помпею при первой возможности? Мало того, увести из Галлии легионы значило подвергнуть риску плоды своих завоеваний в покоренной, но не смирившейся провинции. Со своей стороны, Помпей имел не меньше оснований для тревоги. После недавней болезни он ослаб и физически и морально. Смогут ли его неопытные воины справиться

с ветеранами Цезаря, закаленными десятью годами жестоких битв? О зверствах римских солдат против кельтов ходили самые жуткие слухи. При этом, как ни странно, завоевателю галлов удалось на вербовать во вспомогательные отряды множество германцев и кельтов, известных своей кровожадностью. Цезарь постарался пресечь эти зловещие рассказы. По требованию сената он вернул в Рим несколько когорт, приказав воинам — за щедрое вознаграждение — делать вид, что им до тошноты надоело воевать и что они хоть сейчас готовы перейти под знамена Помпея. Уловка частично сработала — во всяком случае, консерваторы в Риме окончательно запутались в оценке возможностей Цезаря.

Не исключено, что оба соперника, зная каждый из них реальное соотношение сил, сумели бы договориться, не прибегая к оружию. Но такой поворот никак не устраивал радикальное ядро сената. Консерваторы сделали ставку на Помпея как на более гибкого, чем Цезарь, союзника, но они не догадывались, что эта гибкость явилась следствием усталости стареющего человека. Ближайшее окружение проконсула, в первую очередь Марк Порций Катон и консул Марцелл, подталкивало его к решительным действиям в абсурдной уверенности, что непобедимому Гнею ничего не стоит прихлопнуть Цезаря как муху. 7 декабря 50 года Марцелл, пользуясь властью консула, приказал Помпею «ради защиты отечества выступить против Гая Юлия Цезаря».

Вынужденный защищаться, Цезарь оказался в положении мятежника, поднявшегося против государства.

В конце декабря галльские легионы Цезаря из Равенны, где они стояли на зимних квартирах, форсированным маршем двинулись к Италии и вышли к альпийским перевалам.

Несколько отрядов заняли подступы к Пиренеям и блокировали дорогу войскам Помпея, стоявшим в Испании. На кельтской территории Цезарь оставил очень немногочисленное войско.

7 января 49 года в Риме было объявлено осадное положение. Сторонники Цезаря — Курион и Марк Антоний, утратившие трибунскую неприкосновенность, переоделись рабами и бежали из города. Политическую битву Цезарь проиграл. Отныне он мог действовать только силой оружия. Так он и поступил.

12 января армия Гая Юлия переправилась через Рубикон — маленькую речку, отделявшую Цизальпинскую Галлию от Италии, и тем самым нарушила закон, по которому ни один проконсул не имел права вступать на италийскую землю во главе вооруженного войска. Первым делом он занял Аримин (ныне Римини). К 15 января он уже держал под своим контролем Эмилиеву, Кассиеву и Аврелиеву дороги и побережье Адриатики. Не встретив ни малейшего сопротивления, он захватил Анкону и Арретий (ныне Ареццо).

8 Риме творилось нечто невообразимое. Никто не ожидал от Цезаря такой прыти. Он до последнего вел с сенаторами переговоры, притворялся слабым и беспомощным. Лишь когда его легионы оказались в нескольких часах перехода от Города, стало ясно, что все его мирные предложения были сплошным притворством.

Наступление Цезаря застало Рим врасплох. Помпей все еще собирал войско на юге, а готовые выступить легионы пока так и не покинули Кампании. Как и положено республиканцам, сенаторы первым делом собрались в курии на бурное заседание. Те, кто еще вчера до небес превозносил Помпея, сегодня кляли его последними словами за недостаток проницательности. Все помнили, что еще в декабре Гней хвастливо

заявлял, что, дескать, стоит ему топнуть ногой, и к услугам сената как из-под земли появятся многие легионы. Теперь один из членов партии оптиматов громко кричал со своего места:

— Топай ногой, Помпей! Топай, не мешкай!

Кое-кто, в том числе Цицерон, предлагал вступить с Цезарем в переговоры как с завоевателем.

Впрочем, преодолев первое замешательство, Помпей вскоре вспомнил о своем таланте стратега и взялся за мобилизацию всех сил. К несчастью, ему впервые в жизни приходилось действовать под назойливой опекой сенаторов, иными словами, по указке политиканов, ничего не смысливших в военном деле, но считавших себя вправе давать ему советы^[43].

Прежде всего Помпей приказал оставить Рим и эвакуировать на юг весь административно-политический аппарат города вместе с консулами и сенаторами, но главное — со всеми атрибутами законной власти. После этого он мог заявить: «В Риме больше нет Рима. Рим теперь там, где я».

Увы, в мудром решении Помпея большинство римлян усмотрели признак слабости и едва ли не предательство. В городе началась паника. Зажиточные горожане спешно паковали вещи и прятали в тайники то, что не могли увезти с собой. 18 января 49 года по Аппиевой дороге потоком хлынули колесницы, повозки, носилки. Перепуганные аристократы удирали от Цезаря, убежденные, что он не замедлит расправиться с ними руками плебеев и популяров. Со своей стороны оптиматы грозили самой страшной карой тому, кто посмеет остаться в городе.

Беспорядок царил ужасающий. Консул, которому поручили вывезти казну, испугался, что не успеет управиться до прихода головорезов Цезаря, и бежал, бросив в подвалах храма Сатурна три четверти

сокровищ. Он даже не потрудился запереть храмовые ворота... Смятение охватило сторонников партии Помпея, чересчур поспешно превративших его в гаранта республиканской законности. Многие из них уже сожалели, что позволили шутке зайти слишком далеко, и больше всего боялись скомпрометировать себя в глазах Цезаря, ибо не исключали, что верх одержит именно он.

По предложению Цицерона сенаторы разъехались по областям, где располагались их обширные имения, — в Кампанию, Апулию и Луканию, чтобы вербовать войска. Но, прибыв в свои владения, они... затаились и не предпринимали ровным счетом ничего. Гаю Кассию Лонгину поручили сопровождать одного из консулов в Рим, чтобы вывезти наконец брошенную казну. И во всей Капуе не нашлось ни одного магистрата, который согласился бы принять участие в этой опасной миссии! Шурин Катона Луций Домиций Агенобарб, получивший приказ вести свое войско на соединение с императором, предпочел укрыться за стенами Корфиния и поджидать Цезаря.

21 февраля Луций Домиций капитулировал, а подчиненные ему легионы, с таким трудом набранные на юге, перешли под знамена победителя.

17 марта Гней Помпей, находившийся в Брундизии, принял решение оставить этот город, оборона которого казалась ему невозможной, и во главе всей армии переправиться в Грецию.

Цезарь стал полновластным хозяином Рима и всей Италии. Война перекинулась на рубежи империи.

Когда эта новость хоть и с опозданием, но все-таки добралась до Киликии, Брут вздохнул с облегчением. Как хорошо, что у него хватило ума уехать! Это избавило его от необходимости участвовать в творившихся в Риме безумствах. Но как долго он сможет держаться в стороне от схватки?

Политические игры закончились. Теперь дело шло о сохранении государственного строя, тех принципов, на которых зиждилась Римская республика. В этих обстоятельствах его нейтралитет приобретал совсем другую окраску и мог быть расценен как трусость... В глубине души он соглашался с Цицероном, который в одном из писем к Титу Помпонию Аттику написал: «Мы пойдем убивать друг друга ради того, чтобы к власти пришел один из двух тиранов...»

И все-таки Брут понимал, что тянуть дольше нельзя, пора решить, с кем он.

С кем же? С Гаем Юлием? Окружающие, он знал, сочли бы такой выбор обоснованным и разумным. Он ненавидел Помпея; его семья всегда разделяла убеждения популяров; наконец, он заслужил бы горячее одобрение Сервилии. Мать Брута и не думала покидать Рим и с ликованием встретила старинного любовника после десятилетней разлуки.

Одного этого Марку хватило бы с лихвой, чтобы отвернуться от Цезаря. Ему, конечно, и в голову не приходило осуждать сердечные привязанности матери, но ведь пойдут разговоры, что он чего-то добился в жизни не благодаря собственным заслугам, а через Сервилию. Эта мысль казалась ему невыносимой.

Если же говорить по существу, то к деятельности Цезаря он относился критически, хотя и совсем из иных соображений, нежели высшее римское общество. Восстание популяров ни в коей мере не могло смутить сына помощника Мария. В сказки про кровожадность Гая Юлия, распространяемые пропагандой Помпея, он тоже не верил, тем более что со своими соотечественниками проконсул вел себя совсем не так, как с варварами. Оптиматы лгали: Цезарь вовсе не жаждал римской крови. Даже гарнизону Коринфия он предложил выбор: присоединиться к нему или спокойно вернуться в лагерь Помпея. Если вспомнить, как

тридцать лет назад повел себя под Мутиной Помпей, вероломно убивший поверженного соперника, станет понятно, кто из них двоих больше заслуживал уважения Брута.

Но все эти доводы бледнели в сравнении с одним, решающим: Цезарь поднял мятеж и попрали священный республиканский закон, верность которому составляла предмет гордости всего рода Юниев.

Впрочем, разве он не знал, что Помпей вынашивал столь же честолюбивые планы? Прав Цицерон, утверждающий, что речь идет о борьбе за власть двух тиранов. Но все же... В нынешней ситуации именно Гней Великий воплощал преемственность законной власти. Если не считать Сервилию и Лепида, ее зятя, все близкие Брута собрались в лагере Помпея: разумеется, Аппий Клавдий, но и Гай Кассий, который теперь командовал частью senatorского флота, и Катон, негиббаемый Катон, в качестве наместника Сицилии готовивший остров к обороне.

Нужно выбирать... Но разве великие боги уже не сделали этот мучительный выбор за него?

Киликия не оспаривала власти Гнея Помпея. Покоритель Востока, Великий сумел сохранить верность восточных деспотов и царьков от Армении до Иудеи, которые выразили горячее желание оказать ему поддержку. Брут своими глазами наблюдал, как шла лихорадочная подготовка к войне против Цезаря.

Воодушевление жителей провинций подогревали последние новости из Европы, согласно которым дела у Цезаря шли вовсе не блестяще.

6 апреля он вышел из Рима, предварительно завладев сокровищами казны. Последний оставшийся в городе трибун пытался отстоять государственные сестерции, но дрогнул перед угрозой казни. Цезарь двинулся к Провинции и осадил Массилию, которую защищал тот же Луций Агенобарб, который без

сопротивления сдал Корфиний. На сей раз крупный галльский город, населенный греками, не спешил распахнуть ворота перед завоевателем. Возложив неблагодарную задачу держать осаду города на Децима Юния Брута, двоюродного брата Марка, Цезарь двинулся к Испании, чтобы разбить стоявшие там легионы Помпея и помешать им ударить ему в тыл.

Стычки следовали одна за другой, и Гай Юлий с неудовольствием убедился, что воевать против римских солдат гораздо труднее, чем против кельтских вождей. Он потерпел несколько чувствительных поражений. С началом весны пошли проливные дожди, отнюдь не облегчившие ему жизнь.

В сенаторском лагере уже предвкушали победу и верили, что испанская кампания окажется для Цезаря роковой. С фронта поступали исполненные оптимизма донесения, и на их фоне восточные союзники спешили присоединиться к Помпею. Квестор проконсула Киликии Марк Юний Брут не мог не принимать участия в делах провинции.

Гней Помпей приказал, чтобы один из киликийских легионов направился в Македонию. Прибывший вскоре Марк Кальпурний Бибул стал заниматься формированием флота, который обеспечил бы Великому господство в водах Средиземного и Адриатического морей. Он нервно требовал трирем, матросов и гребцов.

Свежеиспеченный флотоводец старался изо всех сил, так сжигала его ненависть к бывшему коллеге-консулу. Если Брут встречался с ним, то наверняка заметил, что муж Порции выглядит неважно: крушение иллюзий и политические битвы состарили его раньше времени. Возможно, Марка посещала мысль о том, что Порция скоро овдовеет...

Если бы это случилось, он без колебаний развеялся бы с Клавдией, с которой, в сущности, почти и не жил вместе. Однако для женитьбы на Порции надо было

самому остаться в живых. Разве это не веская причина, чтобы и дальше держаться в стороне от схватки? Но Брут знал, что дочь Катона, такая же несгибаемая, как ее отец, когда речь шла о великих принципах, ни за что не согласится связать свою судьбу с трусом. Он должен заслужить Порцию, а значит — броситься в самую гущу братоубийственной войны, какой бы отвратительной она ему ни казалась.

Кто из соперников защищал Добро? Наверное, никто. В чем же тогда состоял его долг мужчины, римлянина и гражданина? Марк перестал что-либо понимать в происходящем. Последние вести, прибывшие из Испании, окончательно сбили его с толку. В квинтилии Гай Юлий одержал убедительную победу над легионами Помпея, а вскоре после этого сдалась Массилия. Цезарь мог вернуться в Рим, где зять Брута Марк Эмилий Лепид — «снисходительный» супруг Юнии Старшей, следуя советам Сервилии, готовил почву для его провозглашения диктатором. По всей вероятности, сразу после этого Цезарь не замедлит повернуть свою армию на Восток.

Развязка приближалась. Дальнейшие колебания приведут лишь к тому, что в обоих лагерях на него начнут коситься с подозрением. Надо решать.

Между тем город бурлил. Без конца прибывали все новые воины — ветераны прежних сражений Помпея, с тех пор осевшие на Востоке и посвятившие себя торговле. День и ночь шла вербовка сотен сирийцев, галатов, армян. Всадники осматривали зубы и щупали бабки доставленных из Каппадокии коней. А Брут, покончив с чиновничьей рутинной, возвращался к себе и садился за «Историю» Полибия, над кратким изложением которой работал уже давно. Перипетии борьбы старинных греческих городов на время отвлекали его от событий современности, и порой он ловил себя на том, что мечтает о тихой жизни бедного

провинциального ученого, которому ни имя, ни семейные традиции не мешают читать, писать, думать и любить.

Но о чем это он? Он, Марк Юний Брут, последний отпрыск самой славной в республиканской аристократии фамилии! Он не имеет права уронить честь своего рода! Об этом же, кстати, с беспощадной суровостью написал ему в недавнем гневном письме и дядя. Со свойственной ему грубостью, которую он считал достоинством, Катон приказывал племяннику не мешкая покинуть Киликию, погрузиться на один из кораблей Бибула и следовать в Диррахий (ныне Дуррес, Албания).

И Марк повиновался.

Нет, его личное отношение к обоим соперникам ничуть не изменилось, но жесткое, почти оскорбительное письмо Катона словно открыло ему глаза. Если он по-прежнему видит свой долг в защите Добра, Закона и Справедливости, сомнения неуместны: законность и родину олицетворяет Гней Помпей. Пусть сам в реальной жизни он не раз попирает эти высокие принципы, это ничего не меняет: сегодня он — глава Республики, сегодня он — Рим. Не зря сам Цицерон присоединился к нему^[44], не говоря уже о самом Катоне! Не думает ли Брут, что он больше дорожит Республикой, чем они оба?

Что ему оставалось? Подавив в себе отвращение, гнев и дурные предчувствия, осенью 49 года он направился в Диррахий, где сосредоточились главные силы сената.

Гней Помпей, хоть и постарел, но по-прежнему оставался выдающимся стратегом. Диррахий представлял собой чрезвычайно выгодную позицию. Расположенный на оконечности гористого полуострова, на севере широкого залива, защищенного лагуной,

город был совершенно неприступен с суши. Опасность подстерегала его с моря, но с этой стороны город охранял многочисленный флот, которым командовал Бибул. Хотя Марк Кальпурний и не был настоящим моряком, ненависть к Цезарю успешно заменяла ему и знания, и талант. словно сторожевые псы, его суда день и ночь патрулировали морскую гладь, в любую минуту готовые растерзать непрошеного гостя.

К октябрю легионы Гнея Великого сосредоточились чуть севернее, на пути в Иллирию, откуда и следовало ждать нападения. В армии большинство составляли молодые неопытные воины, и Гней лично обучал их военному делу. Как простой центурион, он целыми днями прыгал, бегал, нырял, скакал, помолодев лет на двадцать. Завитые и напомаженные юноши-патриции из его штаба, явившиеся на войну как на парад, подсмеивались над своим императором и спешили укрыться в удобных палатках, полагая, что совсем ни к чему так усердствовать.

В Диррахии царили совсем другие настроения. Его управление Помпей доверил Катону, из чего легко вывести, сколь большое значение он придавал этому городу, в котором намеревался устроить войско на зимние квартиры. Именно здесь хранились запасы продовольствия и вооружений, а также государственная казна. После того как большая часть римских сокровищ попала в руки Цезаря, Гнею Помпею пришлось пустить в ход все личное обаяние, все связи и все свое могущество, чтобы убедить восточных царей, римских торговцев и греческих сенаторов ссудить его колоссальными суммами, необходимыми для ведения войны. Этим огромным средствам требовался бдительный и неподкупный страж, и Помпей вызвал Катона. Весной, когда Катон слишком быстро сдал Сицилию Цезарю, полководец убедился в его военной беспомощности и теперь назначил его правителем

Диррахия, потому что твердо верил — город неприступен.

Какие бы мысли и чувства ни волновали Брута по пути в Диррахий, действительность превзошла его самые худшие опасения. В городе не находилось ни одного человека, кого всерьез заботили бы судьбы Рима и Республики. Сторонники Помпея думали лишь о сведении личных счетов с приверженцами Цезаря и с наслаждением смаковали картины будущих казней, вполне достойные Суллы.

Больше других неистовствовал младший сын императора Секст Помпей. Время от времени в Диррахии появлялся Кассий, исполнявший обязанности заместителя Бибула по командованию республиканским флотом. Кривя губы в горькой усмешке, он рассказывал Марку о последних выходках младшего Помпея и, не скрывая презрения, добавлял:

— Секст — законченный идиот. Он путает жестокость с доблестью...

Это говорил Кассий, которого никто не осмелился бы назвать неженкой.

Брут в Диррахии чувствовал себя неуютно. Катон, охваченный служебным рвением, как всегда, когда ему доверяли хранение государственных денег, на всех и каждого смотрел с подозрительностью. Общаться с ним стало еще труднее, чем обычно. Чужие переживания его никогда не волновали. Будучи по характеру человеком цельным, не знакомым с рефлексией, он сурово осуждал племянника за его колебания. Кассий с головой ушел в военные приготовления и редко бывал свободен. Марк чувствовал себя бесконечно одиноким. Права была Сервилия, когда предрекала сыну с его слишком чувствительной душой лишние страдания! Но уроки матери пропали втуне: он так и не научился равнодушию.

Зима 48 года принесла в Диррахий туманы и тоскливые дожди. Несмотря на ненастье в порт продолжали прибывать суда с воинским пополнением и грузом продовольствия. Вестей из Италии сюда не доходило. Из-за непрекращающихся ливней Гней Помпей отменил маневры, и воинские командиры от нечего делать целыми днями пировали и напивались до бесчувствия.

Марк подхватил лихорадку и вяло пытался ее лечить. Он понимал, что против точившей его хвори — сознания непоправимого провала, ощущения, что он присутствует при кончине целого мира, ибо, кто бы ни вышел победителем из схватки, Рим неминуемо погибнет, — нет снадобий. Под предлогом болезни он перестал выходить на улицу. Он не хотел слушать городские сплетни, не хотел видеться с Катоном, который сам никогда не болел и не терпел, когда другие позволяли себе нездоровье. Еще меньше привлекала его встреча с Помпеем, наверняка ожидавшим от вновь прибывшего знаков уважения в свой адрес. Впрочем, император, обычно болезненно самолюбивый, демонстрировал поразительную терпимость. Гнею Помпею льстило, что сын его давнего врага примкнул к его лагерю, он на это не рассчитывал. И хотя он уже давно отвык от сильных чувств, его не могла не воодушевить вера своего бывшего противника в идеал, ради которого тот согласился забыть личную неприязнь и встать на защиту святого, по его мнению, дела. Оказывается, в Риме еще не совсем перевелись люди такой закалки...

Марк старательно гнал от себя мысль, что рано или поздно ему все же придется явиться к императору, лагерь которого располагался за городом, и просить для себя отряд, хотя командовать солдатами он совершенно не умел. Скоро зиме конец, а значит, близится день явки пред очи Помпея. Но, благодарение

богам, пока весна еще не настала. Сегодня он просто болен.

Не только Брут недомогал той зимой, и, откровенно говоря, кое-кто болел гораздо серьезнее, чем он. С промежутком в считанные недели одна за другой последовали сразу две смерти. Первым скончался Аппий Клавдий Пульхр. Марк никогда не питал к тестю ни любви, ни уважения и не стал лить по нему горьких слез. Он не извлек из родства с ним крупных выгод, на которые так рассчитывала Сервилия, устраивая брак сына. Если он и принимал что-нибудь от Клавдия, то ограничивался строго необходимым. Общаясь с ним, он не мог побороть в себе противного ощущения, что прикасается к чему-то грязному. Пожалуй, Марк считал, что скомпрометировал себя женитьбой на его дочери. Как бы там ни было, обычай требовал, чтобы он изобразил хоть какое-то подобие скорби и сочинил похвальное слово покойному — жанр, высоко ценимый римлянами. Что ж, Брут не собирался нарушать заведенных правил и с уважением отнесся к горю, которое наверняка переживала Клавдия.

В глубине души он испытал невыразимое облегчение. Живой Клавдий держал его будто на привязи. Пока Сервилия надеялась использовать тестя сына в своих интересах, она ни за что не позволила бы Марку даже заикаться о разводе. Но теперь все изменилось. С каждым днем мечта о свободе овладевала им все настойчивей. И не без оснований — он узнал, что Порция тоже обрела свободу. Бибул умер.

В ночь с 4 на 5 января 48 года Гай Юлий Цезарь с частью своего флота пересек Адриатическое море и без малейших затруднений высадился в Палесте (ныне Палаза). Отсюда он двинулся к портовому городу Орику. Населявшие город греки справедливо рассудили, что им все равно, кому из римлян подчиняться, и сдались без боя. Падение Орика, за которым последовал

стремительный марш-бросок армии Цезаря через северную часть Эпира, застал сенаторов врасплох. Никто не предполагал, что Цезарь решится плыть морем зимой. В самом крайнем случае Помпей ожидал приближения врага со стороны Далматии. Немалая доля ответственности за этот просчет, конечно, ложилась на плечи императора республиканцев, но все-таки главным его виновником оставался Бибул. Наивно считая, что зимой пересечь Адриатику невозможно, он увел отсюда свои корабли. Затем, громоздя ошибку на ошибке, он разделил флот на шесть частей и разослал суда в Египет, Сирию, Финикию, Малую Азию, Ахею и на Родос, оставив при себе всего 138 галер. 110 из них, находившиеся под его непосредственным командованием, в тот момент когда подошла эскадра Цезаря, ушли на Коркиру (ныне остров Корфу) пополнять запасы пресной воды. В ужасе от допущенной оплошности, Марк Кальпурний буквально рвался на части, стараясь сгладить ее последствия. Он выставил перед Диррахием такой плотный заслон, что сквозь него уже не прорвался бы никакой враг. Но нервное напряжение и чудовищные перегрузки последних дней взяли верх над этим уже немолодым человеком.

После смерти Аппия Клавдия и Марка Кальпурния Брут почувствовал, что сковывавшие его цепи ослабли и у него снова появилась надежда на личное счастье. Увы, пока длилась гражданская война, Порция оставалась для него такой же недостижимой, как и прежде. Отныне их судьба зависела от исхода войны и еще от одного немаловажного обстоятельства — останется ли в живых сам Марк. Именно тогда он сполна ощутил, что это такое — жажда жизни^[45].

Основные силы Цезаря, отчаянными усилиями Бибула с января запертые в Брундизии, к середине

марта сумели прорвать блокаду. Рискованный прорыв осуществил Марк Антоний, эскадра которого, гонимая попутным ветром, причалила в Нимфее. Из-за каприза погоды он высадился много севернее лагеря Цезаря, однако самыми большими неприятностями это обернулось для Помпея, поскольку он оказался зажат между двумя вражескими армиями. Помпей решил стянуть все силы в неприступный Диррахий и встал лагерем на ближайшем к городу холме Петра.

В эти дни Брут, понимая, что тянуть долее нельзя, явился лично представиться императору и удостоился памятного приема.

За 15 месяцев, что длилась гражданская война, Помпей пережил свою долю разочарований и обид. Окружавшие его люди за редким исключением только и делали, что осложняли ему существование. Помпей терпел бахвальство заместителей, ни один из которых ни разу в жизни не участвовал в настоящем бою, упреки политиков, притащившихся за ним из Рима, и вечные придирки Цицерона, публично осуждавшего каждый его шаг. Последний настолько допек его своими язвительными замечаниями, что однажды главнокомандующий не выдержал:

— Как бы я хотел, Марк Туллий, — бросил он Цицерону, — чтобы ты был не со мной, а с Цезарем! Может, тогда ты бы хоть немного меня боялся...

Но главное, Помпей видел, что все эти люди пеклись исключительно о личных интересах и меньше всего думали о судьбах Рима. Вот почему, когда к нему явился Брут — бледный, худой, с горящим взором, в котором читалась вера в общее дело, ему показалось, что он глотнул свежего воздуха. Императора охватило волнение, но как истинный политик, то есть умелый актер, он сумел направить его в нужное русло и показал присутствующим настоящий спектакль.

Поднявшись с кресла, которое он занимал в знак своих высоких полномочий и с которого не должен был вставать ни перед кем^[46], Помпей с улыбкой пошел навстречу Бруту, обнял его и, назвав «превосходным человеком», произнес хвалебную речь об истинном римлянине, отбросившем в сторону личные чувства — даже святое чувство мести, даже почтительную память о погибшем отце — и явившемся туда, куда призвали его долг и священная любовь к родине.

Если б только Марк захотел, после такого приема он в два счета сделался бы любимчиком всего республиканского штаба. Стоит ли говорить, что он этого не захотел?

Блестящая игра Гнея Великого не произвела на него никакого впечатления. В лагерь Помпея его привели долг и необходимость встать на защиту республиканского строя, а вовсе не стремление подыгрывать убийце своего отца. Эта сцена всколыхнула в его душе старые сомнения. Что, если, веря, что служит республике, на самом деле он служит партии Помпея? Что, если он присягнул своему заклятому врагу? Единственный выход — держаться от Помпея как можно дальше. Легко сказать...

Цезарь осадил Диррахий, применив ту же тактику, что принесла ему успех при взятии Алезии.

Зимы в Эпире суровые, а лето — знойное. Уже в мае на полуострове стало нечем дышать. В условиях осады подвоз продовольствия по суше исключался, что же касается моря... После смерти Бибула республиканский флот лишился единого руководства, чем весьма успешно пользовался Марк Антоний. Его корабли стали для судов противника настоящим бедствием. Побережье Эпира оккупировала армия Цезаря, следовательно, причаливать сюда для пополнения запасов не только продовольствия, но и питьевой воды

республиканцы не могли. Не лучше обстояло дело и в Диррахий. Город снабжался водой из горных источников, которые в это засушливое лето быстро пересыхали.

Осажденным приходилось довольствоваться водой, заранее запасенной в бочках, и расходовали ее очень экономно. Экипажи судов были вынуждены совершать опасные и утомительные рейсы за водой на далекую Коркиру. Вскоре в лагере Помпея установили нормы выдачи пищи и воды, что отнюдь не способствовало поднятию боевого духа воинов. Воспоминание об осаде Алезии, когда Цезарь заморил голодом гражданское население крупного галльского города, нагнетало обстановку еще больше.

Возможно, солдаты Помпея переносили бы лишения более стойко, если бы знали, что в лагере Цезаря положение ничуть не лучше, чем у них. Гней давным-давно реквизировал и свез в Диррахий все съестные припасы, которыми располагали жители этой области Эпира. На море продолжали держать блокаду вражеские корабли — ненадолго прорвать ее кольцо удавалось лишь изредка, когда та или иная эскадра Помпея уходила на Коркиру за водой. Если в Диррахий боялись угрозы голода, то в лагере Цезаря уже голодали.

И все-таки соперники чего-то выжидали, рискуя окончательно подорвать воинственный настрой солдат. Уже не раз часовые из передовых отрядов той и другой стороны замечали во вражеском стане знакомых — кто друга детства, кто товарища по прежней службе, кто двоюродного брата, кто свояка...

Трагедия братоубийственной бойни, готовая разыгаться у него на глазах, не могла оставить Марка Юния Брута равнодушным. Он видел, как в штабе, над которым все ощутимее витал дух Помпея и все слабее дух республики, людьми завладевала ненависть, усугубленная жарой, жаждой и страхом. Он старался

бывать там как можно реже. Впрочем, служба отнимала у него не слишком много времени, и большую часть дня он проводил в своей палатке. Официально он работал над похвальным словом покойному Алпию Клавдию — чем не достойное занятие? На самом деле размышления о сомнительных добродетелях усопшего тестя меньше всего занимали ум Марка. Сдвинув в сторону лживый панегирик Клавдию, он с головой погрузился в своего любимого Полибия.

Тот, кто заставлял его в эти минуты, поражался его отсутствующему виду. Вокруг все заметнее становились признаки начинавшейся паники, и лишь он один хранил абсолютное спокойствие, словно один из воскресших великих героев прошлого, которому неведом страх.

Марк и в самом деле ничего не боялся. Он горько сокрушался, что сам себя загнал в ловушку, добровольно явившись на службу в армию, которая лишь называлась республиканской. Разумеется, он не испытывал ни малейшего желания отдавать свою жизнь за Гнея Помпея. Оставалось найти достойный выход — не погибнуть самому и не погубить свое честное имя.

Оба полководца мучительно искали выход из затянувшейся осады. Незадолго до Июньских ид Гней Помпей его, кажется, нашел. В расположение его войск пробрались два перебежчика из армии Цезаря, командовавшие вспомогательными конными отрядами аллоброгов, завербованными во время галльской кампании. Они рассказали, что неделей раньше Цезарь уличил их в жульничестве — они получали жалованье за убитых и дезертиров, которое, естественно, клали себе в карман. Император не назначил им никакого наказания, что мошенникам показалось подозрительным, и они сочли за лучшее переметнуться к противнику. С собой они привели табун галльских коней и, что самое ценное, сообщили план

расположения лагеря Цезаря. Не воспользоваться таким подарком судьбы Помпей не мог.

14 июня он бросил свою армию в наступление, смял вражеские порядки и... упустил возможность одержать решающую победу. Вместо того чтобы преследовать в беспорядке отступавшее войско Цезаря, Помпей снова вернулся в Диррахий, посчитав, что добился главного — внес смятение в ряды противника и прорвал кольцо осады.

Вечером того же дня Цезарь, армия которого понесла тяжелые потери, задумчиво говорил своим помощникам:

— Мы были бы разбиты, если бы они умели побеждать...

Как видно, постаревший Гней Великий утратил эту способность.

Участвовал ли Брут в сражении?^[47] А что ему оставалось делать? Соратники прощали ему множество вещей — его странности, любовь к уединению. Но трусости в бою ему не простили бы никогда. Значит, он сражался. Ему не доставляло радости убивать, но он сражался. Он бился за себя, за свою честь, за свою жизнь, за счастье вновь увидеть Порцию.

Вскоре после битвы приблизительно в одно и то же время обе армии направились к востоку^[48]. На сей раз инициативой владел Цезарь, подгоняемый жаждой реванша. Ему удалось собрать воедино свои разрозненные отряды и форсированным маршем двинуть их к югу Фессалии, куда он добрался намного раньше, чем Помпей к северу той же провинции. Он штурмом взял город Гомфы, жители которого возомнили себя способными оказать ему сопротивление и жестоко поплатились за это. Затем он захватил Метрополь, благоразумно распахнувший перед ним ворота. Еще до наступления ид квинтилия (середины

июля) он стал полновластным хозяином Фессалии и только что созревшего на ее полях урожая.

Республиканские легионы двигались гораздо медленнее. Воины быстро забыли об ужасах недавнего боя, и воспоминание о легкой победе кружило им голову. Всеми владела уверенность, что дальше все будет так же просто. Гней Великий решил дать генеральное сражение на равнине, чтобы полностью уничтожить вражескую армию, вернее, ее деморализованные, как он полагал, остатки. Поэтому он не слишком спешил.

Стояла страшная жара, и Помпей повел своих солдат побережьем, ища спасения от зноя в свежести морского бриза. Насколько хватало глаз, перед ним расстилались выжженные солнцем поля жнивья, над которыми до самого горизонта безжалостной голубизной сияли небеса.

К концу месяца республиканская армия вышла в район между Фарсалом и Ларисой. Местность здесь изобиловала болотами, от жары почти пересохшими и превратившимися в зловонные лужи, над которыми реяли тучи мошкары. Помпей отдал приказ разбить лагерь.

С другой стороны равнины в дрожащем знойном мареве виднелись палатки воинов Цезаря.

И тут политиков-республиканцев охватило яростное нетерпение. Правда, Помпею удалось избавиться от самого назойливого из них — Цицерона, который предусмотрительно остался в Диррахии вместе с Катонем и 15 когортами, охранявшими город. Но и тех, что последовали за ним, хватало с избытком, чтобы отравлять ему жизнь.

Возбужденные победой под Диррахией, сенаторы уже строили планы возвращения в Рим, куда надеялись попасть до наступления зимы. Осторожность императора их раздражала. Того же мнения

придерживались молодые легаты, опьяненные недавним успехом. «Старикан дрейфит», — шептались они за спиной Помпея, который прекрасно их слышал. Так прошло 10 дней. Наконец вернулись лазутчики, засланные во вражеский стан. Они донесли, что у Цезаря полным-полно больных и раненых, а общая численность его войска, даже с учетом подоспевших из Фракии подкреплений, вдвое меньше, чем у Помпея.

Гнею Великому надоело выслушивать упреки в медлительности, и он дрогнул. Дату решающей битвы он назначил на третий день ид секстилия (9 августа 48 года).

Новость вызвала в лагере приступ всеобщего безумия. Рабы охапками таскали из близлежащих роц лавры и цветы, украшали палатки своих хозяев, сооружали столы, распаковывали драгоценную посуду, разбавляли крепкие вина и готовили изысканные кушанья. Молодые воинские командиры примеряли парадные доспехи и вынимали из мешков тонкие шелковые туники, чтобы после боя переодеться к пиру.

Марк не замечал поднявшейся суеты. У него и палатки-то больше не было. Во время перехода через Фессалию он потерял все свои вещи и спал теперь под открытым небом, счастливый уже тем, что сберег главную ценность — неоконченный перевод Полибия. Над ним он продолжал трудиться и здесь, безучастный ко всему, что творилось вокруг. Лишь изредка он отрывался от работы, чтобы смазать лицо и руки ароматическим маслом, отпугивающим больно жалящих насекомых.

Чего он ждал от предстоящей битвы? Только одного — освобождения. Он не знал, что будет с ним завтра, не знал, сохранит ли жизнь и свободу. Он и не думал об этом, положившись на волю Провидения, и сосредоточился на текстах Полибия.

Гней Помпей всем своим видом старался внушить солдатам, что не сомневается в успехе. Объявив легатам пароль наступающего дня — «Геркулес Непобедимый», он отправился спать. Со своей походной кровати он слышал, как молодые римские патриции до хрипоты спорили, кто теперь вместо Цезаря займет место верховного понтифика...

...Гнею Помпею снился сон. Ему снилось, что он в Риме, приносит обет возвести храм в честь покровительницы города Венеры Победоносной. Пробудившись, он припомнил сон и решил, что небеса посылают ему доброе предзнаменование. Он совершенно упустил из виду, что Венера Победоносная — мифическая прародительница Энея — считалась и основательницей рода Юлиев. О том, что именно такой пароль — «Венера Победоносная» — избрал для предстоящей битвы Цезарь, он, конечно, знать не мог.

Брут в ту ночь почти не спал. Ему не хотелось бросать труд неоконченным, и он торопливо вчитывался в последние главы Полибия. Незадолго до зари он заметил стадо украшенных розами домашних животных, которых гнали к жертвеннику. Внезапно испугавшись чего-то, стадо разбежалось. Спросонья кое-кто из воинов решил, что на лагерь наступают конники Цезаря, и поднялась легкая паника. Но тут из своей палатки вышел Гней, и волнение улеглось.

Наконец заиграли боевые трубы. Брут аккуратно сложил готовую работу, надел доспехи, накинул командирский плащ, поправил на подбородке ремень шлема. Его товарищи собирались на бой, как на пирушку.

В это же время в лагере противника Цезарь давал последние наставления своим ветеранам по галльскому, британскому и испанскому походам. Глядя в иссеченные шрамами лица этих людей, он вдруг представил себе румяных кудрявых красавцев, с

которыми им вскоре предстоит сойтись в рукопашной, и, не сдержав смеха, приказал:

— Воины! Метить врагу в лицо!

И, довольный собой, громко рассмеялся. В самом деле, разве кто-нибудь из этих изнеженных патрициев устоит перед угрозой лишиться красоты? Когда до них дойдет, чем они рискуют, они разбегутся, как мыши...

[49]

Вот только... Цезарь нахмурился. Он вспомнил бледного восторженного подростка — сына Сервилии. Заставив смолкнуть громовой солдатский хохот, Цезарь, уже без улыбки, продолжал:

— Слушай мою команду! Марка Юния Брута — не трогать! Не убивать! В плен не брать!

У этого молодца хватит ума броситься на меч, лишь бы не попасть живым в руки неприятеля... Воины поняли своего полководца. Им и самим не очень-то нравилось убивать своих братьев. А кое-кто даже подумал: видно, правду говорят, что Катонов племян — родной сын их императора...

Накануне вечером Гней Помпей подробно объяснил легатам и бравым воякам-сенаторам план предстоящей битвы. Мы победим, заключил он, потому что занимаем более выгодную позицию. Дальнейшие события показали, сколь глубоко он заблуждался.

На правом фланге, защищенном крутыми берегами Энипея, Гней Великий поставил своего заместителя Лентула, придав ему испанские и восточные легионы. В центре встали сирийские войска — ими командовал его тесть Метелл Сципион. Два легиона, набранные в Италии из неопытных солдат, заняли середину этого построения. Еще два итальянских легиона полководец поручил Луцию Домицию Агенобарбу — шурина Катона и неудачливому защитнику Корфиния и Массилии. Наконец, на левом, ударном фланге разместилась

конница под командованием лучшего из помпеевских легатов — Тита Лабиена. Когда-то он служил в Галлии под началом Цезаря, но, обиженный тем, что его мало ценили, бросил прежнего командира.

План Гнея не отличался особой сложностью. С правого фланга его боевые порядки защищал Энипей. Отразив первую лобовую атаку Цезаря, Помпей намеревался пустить в дело конницу, которая оттеснит легионы Гая Юлия к левому флангу и решительным натиском сметет их.

Он все рассчитал правильно, забыв учесть одну-единственную вещь — военный гений Цезаря. Между тем Гай Юлий давно знал Помпея и его главную слабость — недостаток воображения. Изучив расположение на местности обеих армий, Цезарь без труда догадался, как станет действовать Помпей. И исходя из этого составил свой план сражения.

Не слишком надежные когорты он сгруппировал на левом фланге, лицом к лицу с отрядами Лентула, то есть в наименее опасном секторе. Элитные войска — X и XII легионы — поставил на крайний правый фланг. Поэтому начатая Лабиеном атака сразу натолкнулась на мощное сопротивление противника, и семь тысяч помпеевских всадников рассеялись, открыв для вражеского удара свои пехотные порядки. Гай Юлий беспрестанно досылал в гущу схватки свежие силы из резерва. К полудню от республиканской армии не осталось ничего, если не считать 15 тысяч трупов, усеявших пыльную равнину, и 20 тысяч пленников. Среди убитых нашли тело Луция Домиция Агенобарба — третьей по счету сдаче в руки Цезаря он предпочел самоубийство. Зато нигде — ни на поле боя, ни среди пленных — не обнаружили Гнея Помпея. Не оказалось его и в лагере, где воины Гая Юлия увидели лишь накрытые к пиру столы и увитые лаврами палатки. Потери Цезаря составили меньше 250 человек.

Это была победа, и в отличие от соперника он сумел воспользоваться ее плодами.

Нескольким когортам республиканцев удалось организованно отступить. Они переправились через Энипей и теперь пытались укрыться в горах. Хотя сражение измотало и его людей, Цезарь снарядил за беглецами погоню. Перекрыв им доступ к реке, он под угрозой гибели от жажды заставил сдаться и их.

И все-таки полководец не спешил ликовать. От него ускользнули и Помпей с сыновьями, и все его заместители, и воинственно настроенные сенаторы. Разбитый Помпей сохранил еще немалые силы — целехонький флот, когорты, оставленные в Диррахии, а главное — многочисленных союзников на Востоке, в Африке и в Испании. Вместо того чтобы сражаться с ними всеми, Цезарь предпочел бы захватить и уничтожить Помпея с его ставкой. Прежде, однако, требовалось его найти...

Всю ночь после битвы и весь следующий день победители прочесывали окрестности в поисках сбежавшего вражеского командования. Но Помпей как в воду канул.

Цезарю оставалось одно утешение — ни среди мертвых, ни среди живых пленников не оказалось Марка Юния Брута. Он мог с легким сердцем написать Сервилиии, что сын ее жив. Во всяком случае, он на это надеялся.

Брут действительно остался жив, хотя и сам не понимал, как это ему удалось.

Если бы накануне он присутствовал при обсуждении плана битвы, то поразился бы, сколь мало реальный бой напоминал предположения главнокомандующего. Все, что случилось после того, как захлебнулась атака Лабiena, запомнилось Бруту как беспорядочное позорное бегство. В самый разгар боя он заметил Помпея. Гней Великий судорожно стаскивал с себя

пурпурный плащ полководца и, схватив подвернувшуюся под руку накидку центуриона, быстро набросил ее на свои слишком заметные доспехи. Затем, пересев с породистого жеребца на какую-то клячу, император развернул ее лицом к своему лагерю и пустил вскачь. За ним последовала большая часть легатов и членов штаба.

Итак, главнокомандующий бросил свою армию и бежал. Что оставалось делать Марку? С честью погибнуть? Но он не хотел умирать, потому что наконец-то понял: дело, за которое они воевали, не имело ничего общего с величием Рима и республики! Дать себя зарезать, спасая репутацию человека, которого всегда считал своим злейшим врагом? Еще чего! Сдаться в плен? Нет, только не это. Как ни скромнен был боевой опыт Брута, он чувствовал, что подобного унижения не снесет.

И он покинул поле сражения. Сейчас он как никогда нуждался в том, чтобы осмыслить происшедшее и решить, что делать дальше.

Время едва перевалило за полдень, когда он добрал до окружавших лагерь болот. Укрывшись в кустарнике, он сидел, дрожа от лихорадки, усталости и гнева, терпел нашествие полчищ комаров и умирал от жажды, не рискуя напиться из зловонной лужи.

Постепенно шум битвы затих. Смолкли крики нападающих и стоны раненых. Вскоре до Брута донесся громкий стук копыт — это конница Цезаря мчалась догонять отступившие вражеские отряды.

Настала ночь. Медленно, с трудом шевеля онемевшими конечностями, Марк едва ли не наощупь выбрался из болота, сопровождаемый возмущенным кваканьем лягушек. В призрачном лунном свете слабо блестели брошенные на равнине латы и оружие. Воины Цезаря еще продолжали стаскивать тела убитых врагов в братские могилы — приготовить для всех

погребальные костры было невозможно. В воздухе стоял запах смолы и смерти — победители жгли тела своих павших товарищей.

Только теперь Марк осознал, как ему повехто — ведь он остался жив! Он вспомнил Порцию и дал себе слово, что непременно увидит ее.

Прячась от дозоров, он добрался до Ларисы, нашел временное пристанище, переоделся в гражданское платье, вытянулся на ложе и принялся размышлять.

Из нынешнего своего положения он видел три выхода. Первый — попытаться разыскать Гнея Помпея и вновь примкнуть к нему. Нет, эта идея его совсем не воодушевляла, тем более что он понятия не имел, где прячется Великий. Второй — пробираться в Диррахий, где, очевидно, еще находится Катон. Надо думать, многие из выбравшихся из-под Фарсала постараются именно это и предпринять. Но только чем этот выход лучше предыдущего?

Вряд ли Катону, лишенному военного дара, повезет больше, чем лучшему римскому стратегу. Скорее всего, он сдаст город, как перед тем сдал Сицилию, и укроется где-нибудь еще. Упрямый до абсурда, он будет продолжать эту бессмысленную войну, пока не настанет печальный конец. Благо бы еще, если бы Катон бился за Республику и Свободу — ценности, защитником которых он себя провозглашал. Но Марк давно догадывался, что дядей в значительной мере двигала застарелая ненависть к любовнику сестры, а все высокие принципы служили ему лишь прикрытием для сведения грязных семейных счетов. Но при чем тут он, Брут? Да и перспектива оказаться в подчинении у этого желчного и жестокого человека, характер которого после разгрома армии Помпея наверняка испортился еще больше, его совсем не привлекала.

Что и говорить, славные личности встали на защиту республики! Видно, прав был Цицерон, когда в минуту

досады бросил разгневанному Гнею:

— Вся наша беда в том, что от нас бегут многие, а за нами — никто!

Третий выход — перейти к Цезарю.

Уж этот-то человек мог смело сказать, что люди бегут не от него, а за ним, — достаточно вспомнить, как он поднимал за собой легионы!

Марк спокойно и методично обдумывал все три возможности, боясь признаться самому себе, что с такой легкостью находит аргументы против первых двух лишь потому, что в глубине души давно сделал выбор.

Итак, что мешает ему примкнуть к Цезарю? Боязнь слухов о связи полководца с его матерью и намеки на его особое, благодаря этому обстоятельству, покровительство. Но ведь сейчас Сервилия в Риме, и никто не посмеет сказать, что она оказывает протекцию сыну. Что еще? Грубое нарушение Цезарем римских законов. Он действительно поправил все законы. Но только законченный идиот или отъявленный лицемер станет отрицать, что Помпей вынашивал точно такие же замыслы! Брут наслушался разговоров в ставке Великого и знал, что, одержи эти люди победу, на Рим обрушились бы массовые казни, проскрипции и диктатура похлеще, чем при Сулле! Как знать, может, разгром Помпея в Фарсале окажется для города спасением?

Итак, решено. Он переходит к Цезарю. Если милосердие не вовсе чуждо этому человеку — а его поведение в Корфинии, в Испании, в Риме и под Фарсалом свидетельствует в пользу этого предположения, — он не казнит его, а может, даже примет к себе на службу.

Прикрыв глаза, Марк принялся мечтать. Он сумеет повлиять на Гая Юлия. Он убедит его в ценности республиканского строя. Он уговорит его не карать

побежденных. Если удастся собрать лучших деятелей, республика быстро восстановит свои законные институты в их первоначальной чистоте. Разве не стоит эта цель того, чтобы сменить лагерь?

Или он занимается самообманом? Ищет оправдания тому, что кто-нибудь другой назвал бы изменой? А как все-таки было бы хорошо с помощью Цезаря утвердить в Риме Добро!

Впрочем, будущее не замедлит дать ответ на все эти вопросы. Если Гай Юлий и в самом деле такой кровожадный тиран, каким рисует его помпеевская пропаганда, он не станет долго возиться с Брутом. Тираны вообще скоры на расправу. Значит, придется рискнуть. И Марк, разузнав, что Цезарь перебрался в Амфиполь, пишет ему длинное письмо.

Жребий брошен.

Гай Юлий действительно находился в Амфиполе и пребывал в самом дурном расположении духа. Он приехал сюда, потому что знал: здесь у Гнея много друзей и должников. Однако Великий успел убраться из города до его приезда и при этом собрал со своих клиентов, все еще веривших в его могущество, солидную денежную сумму. Куда он отправился дальше, никто не ведал или не хотел говорить.

Подоспевшее в этот момент письмо Брута немного отвлекло его от мрачных мыслей. В тоне письма никто не обнаружил бы ни раболепия, ни униженного заискивания — уж эти-то пороки за сыном Сервилии сроду не водились. Марк ограничился трезвой констатацией фактов: признал, что дело Помпея потерпело полный крах. Пожалуй, он даже не просил у Цезаря прощения.

Гай Юлий умел бывать безжалостным. Живой пример — галльский вождь Верцингеториг, которого он за предательство уже четыре года повсюду возил за собой закованным в цепи. После взятия Алезии он без

колебаний продал в рабство захваченных в плен галлов; в Гомфах жестоко расправился с непокорными жителями; после битвы под Фарсалом казнил тех пленников, которых однажды уже отпустил на свободу в Корфинии, Массилии и Испании, но они снова встали под знамена Помпея. Умел и прощать. Конечно, в первую очередь им двигал трезвый расчет. Враги без устали распространяли о нем самые зловещие слухи, изображая его убежденным последователем жестокого Мария, пособником Каталины, мечтавшим перебить всех честных граждан, хотя последний, к слову сказать, вообще не успел совершить ни одного злодеяния. Проявляя милосердие к побежденным, Цезарь стремился опровергнуть эти враждебные выпады.

Впрочем, к некоторым поверженным противникам он испытывал вполне искреннее сострадание. Во вражеском лагере находилось немало людей, особенно молодых, которые могли бы оказаться ему полезными. Он признавал силу своего личного обаяния, благодаря которому в былые годы сумел, например, перетянуть на свою сторону Куриона и сделать из него одного из самых надежных приверженцев. К тому же Цезарь ясно признавал, что цвет римского общества, увы, собрался не в его окружении. А ведь недалек день, когда он добьется полноты власти. Тогда ему понадобятся энергичные и надежные помощники. На шайку негодяев, которые пока числились в его соратниках, он не слишком рассчитывал. Даже троица самых близких его сторонников — Марк Антоний, Гай Скрибоний Курион и Публий Корнелий Долабелла — не внушала ему особого доверия. Первый из них — просто пьяница. Стоит чуть ослабить ему поводья, как он забывает обо всем на свете и пускается в попойки и оргии с куртизанками. Второй — бестолковый дурак. Третий — безнадежный игрок и неисправимый бабник, да и глуп к тому же. Чего стоит одна его затея провести прошлым

летом законы, в сравнении с которыми реформы Гракхов показались бы верхом консерватизма! Тогда с великим трудом удалось не допустить плебейских восстаний...

Нет, ему нужны люди совсем другого склада — умные, с солидной репутацией. Если бы удалось перетянуть на свою сторону республиканскую молодежь, внушив ей новые идеалы!

Вот почему письмо Брута так его обрадовало. Разве сыщешь в Риме другого человека, чье имя вызывало бы во всех такое уважение, как имя Брута? Удивительно, но почти ничего не добившись к своим 36 годам, Марк сумел создать себе славу одного из лучших людей Рима. И дело здесь не только в том, что народ чтит в нем представителя славного рода. В нем самом есть что-то такое, что с трудом поддается определению... Какая-то чистота, что ли? Пожалуй, именно чистота. На фоне всеобщей продажности он один остается незапятнанным, к нему не пристает никакая грязь. Как ни тщился Цицерон раздуть дело с киприотским займом, ни одно из его обвинений, правда, опровергнутых Титом Помпонием Аттиком, не повредило репутации Брута.

Конечно, будь Марк просто сыном Сервилии, Цезарь и тогда оказал бы ему любую поддержку, лишь бы порадовать свою любимую подругу. Но он был больше, чем сын Сервилии. Он был Брут. Брут Неподкупный. Брут Несгибаемый. Он был ценен сам по себе.

Разумеется, ушей Гая Юлия не миновали ходившие в его лагере слухи о том, что Марк Юний — его собственный незаконнорожденный сын. Он им не препятствовал. Пусть в глазах своих воинов он будет выглядеть обычным человеком с его слабостями, да еще и покорителем женских сердец. Или он уже заглядывал в более отдаленное будущее? Он начал дело такого масштаба, на которое мало одной

человеческой жизни. А ведь ему уже 52, и он далеко не так крепок, как кажется. Приступы священной болезни, на какое-то время оставившие его, возобновились с новой силой. Они подкатывают внезапно, швыряя его оземь и заставляя корчиться с пеной у рта. В народе считается, что эта болезнь — признак благорасположения богов, и он охотно поддерживает эту глупую веру. Но если бы кто-нибудь знал, как стыдится он этих припадков, каждый из которых может стать смертельным! Чтобы довести до конца задуманные им великие преобразования, Риму понадобится еще один Цезарь...

Судьба не дала ему сыновей. Единственный его отпрыск, хотя он был женат трижды, дочь Юлия умерла, так и не порадовав его внуками. Правда, нынешняя его жена Кальпурния еще молода, но... После десятилетней разлуки они недолго пробыли вместе, и он в очередной раз с неудовольствием убедился, что Кальпурнии, видимо, так и не суждено стать матерью. Есть еще внучатый племянник, маленький Октавий. Цезарь не очень хорошо знал его и, в любом случае, понимал, что тот слишком молод, чтобы подхватить факел из ослабевших рук деда.

Потому-то он и не возражал против сплетен, приписывавших ему отцовство над честным и неподкупным сыном Сервилии. Чем не достойный наследник?

Впрочем, все это — заботы не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Пока же Цезарь ограничился тем, что, не мешкая, отправил Бруту ответ: приезжай немедленно. Он написал, что любит его и все ему прощает.

И Марк приехал. Его ждала самая теплая встреча. Но оправдала ли она ожидания диктатора?

Они не виделись десять лет. Цезарь помнил Брута нескладным юнцом, которого неугомонная Сервилия все

пыталась наставить на истинный путь. Тогда он действительно казался ему чистой восковой табличкой, на которой судьбе еще предстояло оставить свои записи. Но в те долгие годы, что Цезарь провел вдали от Рима, время и здесь не стояло на месте. Он готовился встретить юношу, а перед ним предстал зрелый муж. Своим умом и серьезностью он произвел на Гая Юлия самое благоприятное впечатление. Гораздо меньше радости доставила ему та внутренняя сила, та непоколебимая вера в свои убеждения, которая легко читалась на лице его собеседника.

Через несколько дней, на протяжении которых Цезарь старался расположить к себе Марка, он отправил его в Киликию. Никто лучше Брута не знал эту провинцию, и никто лучше него не сумел бы навести в ней порядок.

Принимая такое решение, Гай Юлий показывал, что доверяет Бруту, но в то же время предпочитает держать его на расстоянии. Впрочем, следует признать, что по отношению к Марку он поступил весьма тактично. В ближайшее время он намеревался догнать Гнея Помпея, где бы тот ни находился, и не хотел, чтобы его бывший подчиненный присутствовал при окончательном поражении своего прежнего военачальника^[50].

В конце лета 48 года Брут сел на корабль, плывущий в Киликию, и высадился в Лаодикее. Здесь он немедленно принялся за дело. Население провинции, поддерживавшее Помпея, опасалось мести со стороны Цезаря, и новый правитель видел свою задачу в том, чтобы успокоить людей. Его личный пример лучше всяких слов свидетельствовал о том, что им нечего бояться.

Если после Фарсала у него еще оставались сомнения относительно разумности своего выбора, в

свете последних событий они рассеялись без следа.

Спешно покинув Амфиполь, где он рассчитывал набрать новое войско из греков и римских юношей, обучавшихся в Афинах, Помпей направился в Митилены. Здесь его ждала Корнелия — его жена, которую он не хотел подвергать лишениям походной жизни. Но и в Митиленах Гней надолго не задержался. Быстро забрав семью, он сел на корабль и взял курс на Памфилию — страну, расположенную в Малой Азии. С наступлением Сентябрьских ид он уже высаживался на Кипре.

Вначале он склонялся к тому, чтобы двинуться в Сирию — некогда покоренную им провинцию, которая, как он надеялся, еще хранила ему верность. Но тем временем Цезарь успел подчинить себе Грецию, и укрываться в Сирии стало небезопасно. Приходилось на ходу менять планы.

Оставалась еще Селевкия — столица, основанная Арсакидами. В последнюю минуту Помпей отверг и этот вариант. Сам он еще смирился бы с необходимостью просить приюта у вражеской державы, но вынуждать Корнелию терпеть позорное изгнание там, где героически погиб Публий Лициний Красс, ее первый горячо любимый муж... Нет, что угодно, только не это.

Значит, Египет? Фактически подпавшее под римский протекторат, это государство еще пользовалось известной самостоятельностью. Гней Помпей имел все основания ожидать от правящей династии Птолемеев благодарности: много лет назад именно его влияние помогло царской семье получить военную поддержку из Рима и восстановить свое владычество после дворцового переворота.

К несчастью, друг Помпея Птолемей Авлет к этому времени уже умер, оставив престол сыну Птолемею XIV — тринадцатилетнему мальчику, созданию не слишком умному, зато с явной склонностью к пороку. Покойный царь Египта, трезво оценивая возможности наследника,

назначил ему опекуншу — свою старшую дочь, девятнадцатилетнюю красавицу Клеопатру, в которой безошибочно угадал выдающийся государственный ум. Поскольку в Египте разрешались кровосмесительные династические браки, отец рассчитал, что Птолемей XIV женится на старшей сестре, которая в качестве законной царицы и станет править страной.

Подобный расклад совершенно не устраивал юного царя, который не желал делить власть ни с кем — ни с Клеопатрой, ни со своей средней сестрой Арсиной, ни с влиятельным евнухом Потинном, мечтавшим занять место регента при несмышленном правителе.

В начале сентября 48 года Александрия оказалась на пороге гражданской войны. Птолемей, Арсиноя и Потин вошли в сговор и вынудили Клеопатру, едва избежавшую гибели, покинуть город. Ее укрыли у себя бедуины Синая.

Заговорщики хорошо знали характер старшей дочери Авлета и догадывались, что она не отступит ни перед чем, лишь бы вернуть себе трон.

В этих обстоятельствах появление Помпея не сулило Птолемею и его друзьям ничего хорошего. Предоставив ему убежище, они настроили бы против себя Цезаря, который, на их взгляд, обладал в данный момент несравненно большим могуществом. Чтобы отомстить им, он наверняка поддержит Клеопатру. Но и отказать Гнею они боялись: за ним все еще стояли немалые силы, которые он мог обернуть против них и в пользу Клеопатры.

Столкнувшись с неразрешимой задачей, Птолемеи как истинные греки поступили так же, как Александр в свое время поступил с гордиевым узлом. Чтобы завтра не пришлось выбирать между Цезарем и Помпеем, рассудили они, не лучше ли сегодня вообще избавиться от доверчивого Помпея?

Ранним утром 29 сентября галера Помпея вошла в порт Пелузия. От пристани отчалила лодка и двинулась навстречу римскому кораблю. Находившийся в ней бывший воин одного из восточных легионов сообщил, что по приказанию египетского царя должен встретить Великого и доставить его на сушу. Одного.

Гней ничем не выказал охватившего его удивления, лишь спросил, позволено ли ему будет взять с собой вольноотпущенника, с которым он никогда не расставался. Это ему разрешили.

Побледневшая Корнелия, вся во власти дурных предчувствий, стала уговаривать мужа не сходить на берег. Но разве мог Гней показать, что чего-то боится? Чтобы успокоить жену и младшего сына Секста, рвавшегося сопровождать отца, Помпей процитировал им греческий стих: «Любой входящий в царский дом становится рабом».

Поцеловав на прощанье рыдающую Корнелию, Помпей прыгнул в лодку и сейчас же достал из складок тоги речь, которую собирался произнести перед царем Египта.

Они почти добрались до берега, и император уже поднялся на ноги, готовясь перейти на сушу. Он не успел сделать и шага. Один из воинов, сидевших в лодке, пронзил его мечом. Последним усилием воли закрыв лицо полой тоги, Помпей упал к ногам своих убийц.

Десять дней спустя, когда к берегам Перузия причалил корабль Цезаря, встречавшие его посланцы Птолемея почтительно вручили ему объемистый сверток. Раскрыв его, Гай Юлий увидел отрубленную голову Помпея. Чудовищный трофей был уже в таком состоянии, что римлянин потребовал дополнительных свидетельств смерти своего врага. Ему протянули принадлежавшее Гнею Великому кольцо с печатью —

такие кольца римские патриции и всадники носили всю жизнь, никогда не снимая.

Убедившись, что Помпей действительно мертв, Цезарь разыграл перед собравшимися целый спектакль, о котором, он знал, станет известно в Риме. Он осыпал мертвую голову поцелуями и поливал ее слезами, вспоминал своего «любимого зятя» и призывал богов ада отомстить трусам и предателям, посмевающим оборвать благородную жизнь благороднейшего из римлян... Но в душе он ликовал. Этот молодой дурак Птолемея оказал ему неоценимую услугу, и не его вина, что сделал он это так неуклюже, что ничего хорошего за свои труды не получит ^[51].

Весть о гибели Помпея добралась и до Лаодикеи. Она потрясла Брута. Как часто в прошлом, думая о своем отце, вероломно убитом по пути в Мутину в угоду Гнею Великому, он ловил себя на мысли, что желает такой же смерти вдохновителю этого убийства. Но, странное дело, теперь, когда кара над ним свершилась, он не чувствовал никакой радости. Только ужас, жалость и горячее желание избавить других своих сограждан, особенно друзей, от подобной участи.

Трагическая гибель Помпея не означала ни окончания гражданской войны, ни распада его партии. Сенаторы, за исключением Цицерона, готового на все, лишь бы не навлечь на себя гнев победителя, отнюдь не спешили вступать с Цезарем в переговоры. Одни — например, сыновья Великого Гней Младший и Секст — понимая, что им нечего терять, другие — такие, как Катон, — не в силах побороть неутолимую жажду мести.

Большая часть военачальников, избежавших гибели под Фарсалом, собралась в Диррахии. Самый опытный из них — Лабиев — сумел убедить остальных в необходимости покинуть город, не дожидаясь, пока

Цезарь вновь возьмет его в осаду, и на сей раз с большим успехом. К Лабиеву прислушались. Вскоре сенаторские войска оставили Диррахий, предварительно предав огню склады продовольствия, которое не могли увезти с собой. Погода стояла ветреная, и пожар перекинулся на жилые дома и портовые постройки. Сгорело даже несколько кораблей, не успевших сняться с якоря. Остальные взяли курс на Коркиру. Здесь под председательством Катона состоялся бурный военный совет. Сторонники примирения с Цезарем, представленные практически одним человеком — Цицероном, которого Гней Младший в припадке ярости назвал предателем и дезертиром, схлестнулись с экстремистами, призывавшими к продолжению войны любой ценой. Разумеется, каждый из них надеялся выступить в роли главнокомандующего — во всяком случае, до прибытия Великого, о гибели которого участники совещания еще не знали. Так ни о чем и не договорившись, они разделились, и каждый увел за собой часть войска. Цицерон в одиночестве удалился в Патры.

Гай Кассий Лонгин, всегда отличавшийся склонностью к независимости, во главе своего конного отряда двинулся к Понту Эвксинскому. Возможно, его манил Восток, который он хорошо знал, возможно, надежда встретиться с Брутом, вернувшимся в Лаодикею. Гней Помпей Младший выбрал Испанию, остальные вслед за Катоном и Лабиевом отправились в Африку. Эта богатая провинция по-прежнему хранила верность сенаторской партии, и здесь они надеялись набрать легионы для новой войны. По последним данным, Цезарь ради прекрасных глаз Клеопатры дал втянуть себя в династическую усобицу, раздиравшую Египет. Как знать, может, там он и сложит голову...

Приверженцы Помпея верили в эту возможность всю зиму 48/47 года. Но 27 марта Цезарь взял Александрию,

чем положил конец египетской войне. Затем он вместе с Клеопатрой пустился в продолжительное плавание по Нилу. Новая египетская царица ждала ребенка, и Цезарь, мечтавший о сыне, вероятно, имел основания считать себя его отцом. Если родится мальчик, возможно, думал он, будет кому передать власть над Востоком и Западом... [\[52\]](#)

Он относился к этому настолько серьезно, что оставался рядом с Клеопатрой до 23 июня, когда она разрешилась от бремени мальчиком. Лишь после этого он решил вернуться к более важным делам.

Главная опасность по-прежнему исходила от сохранившихся осколков помпеевской партии. Они развили кипучую деятельность в Африке и в Испании и в любую минуту могли обрушить на Италию массированный удар. Цезарь слишком долго отсутствовал в Риме, но знал, что в городе неспокойно. Его помощники Марк Антоний и Долабелла не столько боролись с беспорядками, сколько их усугубляли. Однако прежде чем наводить порядок в Италии, следовало разделаться с врагом за ее пределами, то есть на африканской и иберийской землях. Но и к решению этой проблемы он не мог приступить, пока не обеспечит свои позиции на Востоке.

Царь Понта Фарнак, сын того самого Митридата, который наводил ужас на римлян, счел, что гражданская война в Риме — превосходный предлог для отвоевания утраченных владений своего отца. Он уже вторгся в Каппадокию, которой правил Ариобарзан III, и в Малую Армению, вотчину галатского царя Дейората. Оба монарха в свое время поддерживали Помпея, следовательно, рассчитывать на защиту со стороны Цезаря не могли.

Но хитрый Фарнак упустил в своих расчетах одну маленькую деталь. Цезарь ни в коем случае не

согласился бы, чтобы пострадали завоевания империи, даже если заслуга их приобретения принадлежала Помпею. Он понимал, что соотечественники этого ему не простили бы.

С наступлением первых летних дней он прибыл в Тарс, по пути посетив прибрежные города и заручившись поддержкой их правителей. Тарс находился в Киликии. Сюда в сопровождении видных граждан восточных государств для встречи с Цезарем приехал и Брут.

За последние месяцы ему пришлось немало потрудиться. Исполняя обязанности наместника, он досконально изучил все местные проблемы. Изучил и обычаи населения провинции, в том числе сложный дипломатический этикет. Поэтому для Цезаря, как всегда, торопившегося побыстрее, до наступления осени, уладить восточный вопрос, Брут оказался ценным помощником.

Он внимательно выслушал доклад Марка и с необыкновенной легкостью, поражавшей всех, кто знал этого гениального человека, вынес свою оценку ситуации. Он одобрил многие из предложений Брута, и его окружение немедленно пришло к выводу, что полководец чрезвычайно любезен с новым помощником. И Брут решился.

Он просил милости для тех, кто, подобно ему самому, пошел за Гнеем Помпеем, но не сумел вовремя остановиться.

Цезарь провел в Тарсе всего несколько дней, после чего стремительно двинулся в Малую Азию для решающей схватки с Фарнаком. Брут последовал за ним. Днем они безостановочно скакали под безжалостным киликийским солнцем, ночами — неожиданно холодными — останавливались на краткий отдых. Марк не жаловался на усталость, он думал об

одном: как убедить Цезаря пощадить его бывших врагов.

Первым среди них он назвал имя Дейотара. С этим человеком дело обстояло непросто. В молодости друживший с Цезарем, в минувшем году он все-таки принял сторону Помпея и, что хуже всего, согласился лично возглавить конницу, предоставленную Великому, хотя в 61 год он вполне мог воздержаться от этого шага. Правда, после разгрома под Фарсалом он больше не поддерживал побежденного, но достаточно ли этого, чтобы ждать милости от победителя?

Защищая Дейотара, Брут не жалел красноречия. Цезарь внимал ему, не спуская с говорившего пронзительного взора, заставлявшего теряться и более самоуверенных людей. Губы его кривила саркастическая усмешка.

Марк знал его слишком плохо, чтобы догадаться, что означают все эти знаки. Чем больше времени проводил он с Цезарем, тем чаще ему казалось, что Гай Юлий не воспринимает его как взрослого, что для него он вечно остается сынишкой Сервилиии, которого так славно мимоходом потрепать за вихры. Взять хотя бы его привычку обращаться к нему не по имени, а со словами «сынок» или «малыш»... Приятно, конечно, что Цезарь относится к нему так дружелюбно, однако довольно трудно 38-летнему мужчине ощущать себя «малышом»...

Непроницаемый вид Цезаря все-таки смутил Марка. Он начал терять нить рассуждений, дважды приводил один и тот же довод, забывал привести другой... Наконец Цезарь, широко улыбнувшись, прервал его:

— Право слово, сынок, не пойму, чего ты от меня хочешь, но одно понимаю: ты хочешь этого всей душой!

Марк окончательно растерялся. Что это было — комплимент или насмешка? А Цезарь тут же спокойно заявил, что прощает Дейората. Мало того, вернет ему

Малую Армению, как только отберет ее у Фарнака. Значит, ему все-таки удалось убедить Гая Юлия?

Окрыленный успехом, Брут заговорил об Ариобарзане Ш. Правда, бессовестный царь Каппадокии в прошлом повел себя с ним довольно подло, но Марк не спешил осуждать его. Злые языки сказали бы, что им двигал трезвый расчет. Ведь если Ариобарзан навсегда потеряет престол, пока занятый одним из его братьев, сговорившихся с Фарнаком, Брут никогда не дожидется возврата ссуды. Как бы там ни было, он с жаром просил Цезаря не карать Ариобарзана. И снова добился своего.

В свите Гая Юлия все громче звучали голоса, твердившие, что Цезарь, похоже, не способен ни в чем отказать сыну Сервилии. Доходили эти разговоры и до Марка. Он морщился, но не оставлял своих попыток. Однажды, набравшись храбрости, он обратился к полководцу с еще одной просьбой. На сей раз речь шла о Гае Кассии Лонгине. Что ж, молодой флотоводец армии Помпея мог поздравить себя с тем, что оказался в родстве с Брутом, ибо Цезарь простил и его.

Неужели Брут в самом деле обрел такое влияние на Гая Юлия?

Цезарь никогда и никого не карал и не миловал просто так. И его снисходительность, и его суровость всегда преследовали политический интерес. Он и теперь с легкостью прощал своих бывших врагов лишь потому, что имел на то веские причины.

Он не стал мстить Дейорату и Ариобарзану, поскольку нуждался в союзниках. Помня о том, что и трон, и жизнью они отныне обязаны лично ему, они постараются сделать все от них зависящее, чтобы поддерживать порядок на Востоке. Восток манил Цезаря с юности. Он пока готовился добить остатки армии Помпея, но уже заглядывал далеко вперед и мечтал о дне, когда осуществит свое самое горячее желание — покорит Парфянскую империю и смочит с

Рима позор, принесенный поражением Красса. А потом... Потом он двинется в Индию и повторит путь, пройденный Александром. Вот когда ему понадобятся отважные галатские воины и выносливые каппадокийские кони...

Но почему он помиловал Кассия?

Потому что с его стороны было бы непростительной глупостью позволить этому отчаянному смельчаку пробираться в Африку, чтобы преподнести Катону в качестве подарка целую эскадру боевых кораблей. Делать своим врагом блестящего воинского командира, единственного, кто сумел выбраться живым из мясорубки под Каррами, разве это не верх идиотизма? Ну уж нет, ему самому нужен этот храбрец, имеющий опыт сражения с парфянами и как никто знающий, на что способны лучники, населяющие пустыню. Наконец, он зять Сервилии, а она очень дорожит семейными связями. Кассий женат на Тертулле, которая из прелестной малышки успела превратиться в роскошную женщину, так похожую на свою мать в молодости. Ах, молодая Сервилия... Цезарь никогда не забудет ее. Ну и, конечно, Кассий — друг Брута.

Лишь одно немного тревожило Цезаря. Если в сердце Марка Юния он читал как в открытой книге, то душа Гая Кассия оставалась для него загадкой. Следовательно, он мог быть опасен. Цезарю вообще не нравилась эта слишком тесная дружба между свояками, и он полагал, что Кассий имеет на Брута чрезвычайно сильное влияние. Чувствуя что-то вроде ревности, он забавлялся, мысленно представляя себе, как можно будет рассорить эту парочку. Гай Кассий легко подвержен гневу, а Марк такой гордец...

Тем временем отряды Цезаря приближались к цели. На холме близ Зелы состоялся бой, завершившийся разгромом Фарнака. Но битва оказалась невероятно

жестокой, и римские солдаты едва не дрогнули под натиском воинов понтийского царя.

Цезарь знал, что никогда и никому не признается в пережитом ужасе, когда на его порядки двинулись вражеские колесницы с приделанными к ним остро заточенными косами, разившими его пеших и конных воинов направо и налево. Неприятельской коннице даже удалось прорваться через выстроенную им оборону, которую он считал непреодолимой. Но теперь это все не важно. Значение имеет лишь то, что останется в памяти поколений. С невозмутимостью гения, в своем ясном и четком стиле, делающим его одним из лучших латинских писателей, Цезарь сообщил в Рим: «Пришел. Увидел. Победил».

Теперь в лучах его победы померкнет и слава Помпея — покорителя Митридата. В конце концов, Гнею понадобилось гораздо больше времени, чтобы справиться с отцом, чем Цезарю — чтобы разгромить сына.

Итак, Малую Азию удалось вернуть в лоно империи. В своем александрийском дворце Клеопатра нянчила новорожденного Цезариона, мечтая о том дне, когда Цезарь исполнит данное ей обещание и призовет ее вместе с сыном в Рим. Покоритель Востока мог вернуться в Италию.

В конце лета он отплыл из Вифинии. Вместе с ним уезжал Брут, без которого, как замечали окружающие, полководец решительно не желал обходиться. На самом деле в самое ближайшее время им предстояло расстаться, и надолго — Цезарь вовсе не намеревался держать Марка возле себя, если тот мог принести гораздо больше пользы в другом месте.

С какой бы искренней симпатией ни относился Гай Юлий к Бруту, он поступал с ним так же, как поступал со всеми своими друзьями — заставлял работать на себя. В настоящий момент он ждал от Марка важной

услуги и планировал поручить ему перетянуть на свою сторону видных деятелей партии Помпея, главным образом ее политическое руководство.

В первую очередь Цезарь думал о Катоне и надеялся воздействовать на него через племянника. Но Марк честно признался, что расстался с дядей в далеко не лучших отношениях. Марк Порций наверняка пришел в негодование, когда узнал о том, что сделал Марк после поражения под Фарсалом. Одним словом, он не годился в посредники.

Цезарь не стал настаивать и назвал две другие кандидатуры — консуляров Марка Клавдия Марцелла и Сервия Сульпиция Руфа. Хотя и тот и другой принимали самое активное участие в раздувании гражданской войны и всячески помогали Гнею Великому, после Фарсала они оба отказались поддерживать реваншистские замыслы Катона и сыновей Помпея, не веря в их успех. И Марцелл и Руф удалились в добровольную ссылку — один на Лесбос, другой — в Самос. Возможно, они просто боялись возвращаться в Рим, и таким доступным способом выражали протест против новой диктатуры.

Брут получил задание прощупать настроения обоих консуляров. Если они окажутся сговорчивыми, он предложит им от имени нового режима самые высокие посты.

Соглашаясь взять на себя миссию переговоров с двумя убежденными республиканцами, ненавидевшими Гая Юлия, Брут надеялся избавить их от незаслуженной ссылки и начать с их помощью процесс национального примирения. Если б ему удалось собрать воедино республиканскую элиту, все вместе они сумели бы повлиять на Цезаря и внушить ему уважение к законным институтам!

Марк Клавдий Марцелл сознавал, сколь велика доля его личной ответственности в зарождении конфликта,

расколовшего государство пополам. Ведь именно он в 51 году, в бытность консулом, настоял на возвращении в Рим проконсула Галлии и лишения его империя, а значит, и личной неприкосновенности. Теперь-то ему стало ясно, какую глупую ошибку он совершил.

В Диррахии он виделся с Брутом довольно часто и проникся к нему глубокой симпатией. Марк, выросшего без отца, всегда тянуло к людям старшего поколения, способным поделиться с ним жизненным опытом. С Марцеллом их к тому же связывала общая любовь к литературе и наукам. Оба эрудита с равной неприязнью относились к настроениям, царившим среди верхушки senatorской партии. Все эти бравые вояки только и делали, что с мстительным наслаждением рассуждали о будущих казнях и проскрипциях. Поэтому Марцелл впоследствии и откололся от прежних соратников. Он не желал участвовать в дальнейшей войне и выбрал уединенную жизнь на Лесбосе.

...До острова оставалось рукой подать, и Марк предложил Гаю Юлию высадиться вместе с ним, чтобы лично переговорить с изгнанником. Цезарь отказался, заявив, что не располагает лишним временем. Марк считал, что его спутником двигала стыдливость, неловкость предстать перед поверженным противником. Он заблуждался. Цезаря встреча с глазу на глаз с бывшим врагом ничуть не смущала. Он, конечно, спешил, потому что не умел не спешить, но не в этом была главная причина его нежелания спускаться на сушу. Он считал недостойным себя, своего величия и своего гения, унижаться перед Марцеллом. Брут все еще мыслил категориями классической римской системы, подразумевающей равенство всех граждан, при котором каждый мог свободно обратиться к каждому. Он еще не понял, что Гай Юлий положил конец подобным идеям и подобному образу жизни. Не зря же еще 12 лет назад он поклялся, что «пройдет у

них по головам»! Теперь срок настал. Не для того он бил их, чтобы позволить обращаться с собою как с равным. Юлию Цезарю нет равных. Догадайся Марк об этих мыслях своего спутника, он ужаснулся бы. Именно потому, что они показались бы ему чудовищными, он ни о чем не догадывался. Он слишком долго не понимал, чего добивается Цезарь, а когда наконец, одним из последних, понял и осознал размах катастрофы, то пережил настоящее потрясение.

Марцелл отличался большей прозорливостью, но он ничего не стал говорить своему наивному младшему товарищу. Зачем понапрасну омрачать его жизнь? Он показал Бруту свою виллу, с террасы которой открывался вид на весь прелестный греческий остров. Они прогулялись по саду, спускавшемуся к самому морю, наслаждались тенистой прохладой и любовались солнечными бликами, игравшими на воде. Марцелл говорил, что осуществил в этих местах мечту любого философа — жить вдали от мира, радоваться природе, читать, писать, размышлять... Отдав столько лет службе государству, он, наверное, имеет на это право?

Так, вежливо и любезно, гостю дали понять, что он проделал свой путь сюда напрасно — Марцелл никуда не двинется с Лесбоса. Пусть Гай Юлий побережет свои царские подарки для тех, кто помоложе и еще подвержен мирским искушениям.

Глядя с высокой террасы на плещущееся совсем рядом Эгейское море и слушая Марцелла, рассуждавшего о философии, Брут в какой-то момент почувствовал растерянность. Вот она, единственно достойная жизнь! Может, и ему остаться на Лесбосе? Или выбрать себе один из греческих островов и навсегда забыть про Рим с его страстями?

Марк испытал душевную боль, когда отогнал от себя этот сладостный мираж. Он не имеет права. Он — Брут. Он римлянин, а значит, живет не ради себя, а

ради Города. Он посвятит себя политике, борьбе и будущему Рима, и прав будет он, а не Марцелл с его философией и душевным покоем.

...Как бы там ни было, первую миссию он провалил — ему не удалось привезти Цезарю Марцелла. Зато в следующем пункте назначения — Самосе — его ждала удача.

Сервий Сульпиций Руф был консулом в один год с Марцеллом, но его враждебность к Цезарю никогда не выливалась в такие откровенные формы. Да и по характеру этот видный юрист и тонкий знаток понтификального права отличался большей гибкостью и осмотрительностью. Близко дружа с Цицероном, в самом начале гражданской войны он взял на себя роль его рупора и выступал в сенате с речами, на которые из-за страха перед Цезарем не решался Цицерон. Так, он заявил, что считает войну против испанских легионов Помпея губительной для государства. После этого ему ничего не оставалось, как только присоединиться к лагерю Помпея. Сражение под Фарсалом вернуло Руфу всю его прежнюю рассудительность, и не исключено, что он и сам уже нащупывал пути примирения с новым диктатором. Марка он принял с чрезвычайной любезностью и, сев на любимого конька, втянул его в бесконечную беседу о различиях между понтификальным и гражданским правом. Брут охотно поддержал разговор — и из вежливости, и из интереса. Расположив к себе хозяина, он передал ему предложение Цезаря. Руф не стал распространяться ни о добродетели, ни о философии, зато сразу сказал, что рассчитывает получить от союза с Цезарем кое-что для себя. Он готов стать полезным Гаю Юлию, если тот сумеет по достоинству оценить его услуги. Пообещав сообщить обо всем Цезарю, Брут покинул Самос.

Он добился, чего хотел, но проникнуться уважением к Сервию Сульпицию не сумел. Пожалуй, он не станет

упоминать его имени в «Трактате о добродетели», замысел которого обдумывал на протяжении последнего времени^[53].

В конце сентября Брут вернулся в Рим. Но если он рассчитывал задержаться здесь, его постигло разочарование.

Одной из сильных сторон Цезаря было полное презрение к привычке прекращать на зимние месяцы всякую деятельность. Его не смущало даже традиционное закрытие с началом ноября мореходного сезона. Он готовился отплыть на Сицилию, намереваясь превратить остров в плацдарм для вторжения в Африку, где укрылись Лабиен, Корнелий Метелл Сципион — последний тесть Великого — и Катон.

Пользуясь поддержкой нумидийских царьков, они, в свою очередь, планировали поход на Италию, согласовав срок выступления с сыновьями Гнея Помпея, пока занятыми формированием войска в Испании.

Цезарь не мог ждать, пока они сговорятся.

Ему хватило деликатности не заставлять Брута участвовать в войне против Катона, его дяди. Оставить же его в Риме без дела он не собирался. И Марк получил назначение легатом-пропретором в Цизальпинскую Галлию. И приказ — немедленно отправляться в Медиолан.

По сути дела, Марку предстояло взять на себя обязанности, аналогичные тем, что Катон исполнял на Кипре и в Византии. Правда, в отличие от дяди племянник располагал для этого всеми необходимыми средствами. Звание пропретора давало его обладателю полномочия наместника провинции с правом командовать войском. Заметим, что Бруту новая должность досталась в нарушение традиционной иерархической лестницы — почетной карьеры. Возможно, Цезарь намеренно пошел на этот шаг,

стараясь показать всем, что его желания — выше закона. В Риме вполголоса уже поговаривали, что, пожалуй, диктатор позволяет себе слишком много. Зачем он отдал имение Помпея Марку Антонию, который тут же демонстративно поселил в нем свою любовницу Кифериду? Имущество еще одного оппозиционера — Публия Понтия Аквилы, он передал в дар Сервилиии. Узнавшая в детстве, что такое бедность, она с тех пор пуще всего на свете боялась разориться и ухватилась за подарок обеими руками, не терзаясь угрызениями совести. Когда же стало известно о новом назначении Марка Юния, досужие языки с удвоенным пылом принялись судачить о том, какая же все-таки связь объединяет мать Брута с диктатором.

Отсылая Марка из Рима, Цезарь предусмотрительно лишал его возможности присоединиться к той или иной группировке, которые вновь начали образовываться в Городе, жадном до интриг и сомнительных сделок. Заодно и опыта наберется, рассуждал он. Он словно учил его жизни по собственным рецептам, чтобы, когда придет время, использовать по своему усмотрению. За этим шагом Цезаря крылся и еще один, более тонкий расчет: новость о сумасшедшем карьерном прыжке Брута заставила Гая Кассия Лонгина позеленеть от злости. Разве можно сравнить его опыт и энергию в политике и военном руководстве с деловыми качествами Марка? Так в дружбе, столь раздражавшей Гая Юлия, появилась первая трещинка. Расширить ее будет нетрудно, полагал Цезарь. Он еще превратит этих закадычных приятелей в смертельных врагов! Властвовать — это прежде всего разделять. Разве не так?

К моменту своего отъезда из Рима Брут в кругах, считавших себя информированными, обрел репутацию бесспорного фаворита, возможно, будущего преемника. Завистники молча взирали на его взлет, не решаясь

перечить властелину, те же, кто не потерял надежды свергнуть диктатора, получили пищу для размышлений.

Возглавил эту широкомасштабную кампанию Цицерон.

Марк Туллий имел в окружении диктатора по меньшей мере одного верного человека — своего зятя Долабеллу. Во многих отношениях это был ужасный негодяй, изводивший Туллию постоянными изменами. Она все еще любила своего слишком молодого и слишком красивого мужа и ждала от него ребенка, но всерьез помышляла о разводе, заранее оплакивая свою несчастную судьбу. Впрочем, Публий Корнелий Долабелла вовсе не собирался из-за такого пустяка ссориться с тестем. Очевидно, именно благодаря его хлопотам Цицерон смог покинуть Патры и вернуться в Италию, правда, пока только в Брундизий. Он провел в этом городе год и, хотя дочь приехала скрасить его одиночество, рвался в Рим и готов был рыть землю, лишь бы вырваться из глуши.

По всей видимости, это стремление и заставило его искать поддержки Брута, который к лету 47 года успел добиться помилования для многих ссыльных приверженцев Помпея.

Как складывались их отношения в эти годы?

Официально их знакомство состоялось благодаря переписке по делу кредитора Скаптия, начавшейся, когда Цицерон сменил Аппия Клавдия Пульхра на посту наместника Киликии. Закончилось оно ссорой, и Цицерон даже написал Аттику, что не желает дружбы Брута, ибо тот его разочаровал.

С тех пор прошло почти пять лет, и понемногу их взаимоотношения наладились. Они не стали теплыми, но оставались корректными.

Не исключено, что Брут по прямой или косвенной просьбе Цицерона участвовал в устройстве его встречи с Цезарем, имевшей место летом 47 года в Тарсенте. Во

всяком случае, едва получив разрешение вернуться в Рим, Цицерон начал активно искать сближения с Брутом.

Что им двигало? Хитрая политическая игра, в результате которой он надеялся повернуть Брута против его покровителя, повторить — на сей раз с успехом — тот же ход, что использовал в деле Веттия? Или он рассчитывал убрать Цезаря и восстановить прежние порядки, но так, чтобы самому остаться «чистеньким» — иными словами, заставить других таскать для него каштаны из огня?^[54]

Брут не принял этой игры. Слишком давно наблюдал он за Цицероном, видел, на что тот способен, и успел утратить к нему всякое уважение — и как к политику, и как к личности. Но он не мог не видеть в нем человека выдающегося ума, наделенного огромным жизненным опытом, мастера эпистолярного жанра, автора злых и тонких острот. О таком собеседнике можно только мечтать, если предстоит провести двенадцать бесконечных месяцев в дождливом и туманном Медиолане, в самом сердце Цизальпинской Галлии, которую римляне считали кельтской провинцией Италии.

Действительно, дни здесь тянулись долго, а работы было мало. Обстановка в провинции оставалась спокойной, с текущими заботами справлялись подчиненные Бруту чиновники помельче. Он в основном занимался тем, что вершил правосудие, стараясь учитывать интересы италийских галлов, но помня, что эта провинция в течение 10 лет находилась под управлением Цезаря, который прекрасно разбирался в местной обстановке, а значит, спросит с него со всей строгостью компетентного начальства. Получив свободу чинить суд и расправу, Брут быстро доказал окружающим, что он не зря приходится племянником

неподкупному Катону. Вскоре уже весь Медиолан знал, что новый легат-пропретор не из тех, кого можно склонить к чему угодно, сунув взятку^[55].

Свободного времени у него оставалось слишком много, тогда-то на горизонте его существования и возник Цицерон.

Все началось с нескольких рекомендательных писем. Хотя в бытность свою наместником Киликии Марк Туллий весьма неодобрительно относился к этому способу завязывать отношения, сам он, как свидетельствует его переписка, пользовался им так же широко, как и все остальные.

Первым с рекомендацией от Цицерона явился его клиент, квестор Марк Теренций Варрон. Из того же письма Марк узнал, что Варрон — тонкий знаток литературы, что, по мысли рекомендателя, должно было сразу расположить к нему Брута, скучавшего без интересных собеседников. Затем с такими же письмами явилась целая депутация из Арпина — как всем известно, города, имевшего высокую честь стать родиной Цицерона.

Брут любезно принял и квестора-литератора, и посланцев Арпина.

После этого Цицерон решил, что пора переходить в наступление и окончательно обворожить Брута.

Результатом стала книга — один из тех великолепных трактатов, которым Цицерон в известной мере и обязан своей славой. Пренебрегая возможными обвинениями в подхалимаже, автор озаглавил свой труд просто и со вкусом — «Брут».

Что же представляет собой «Брут»? Он написан в форме диалога — излюбленного философами жанра. За отправную точку Цицерон принимает визит к нему Брута и Аттика — событие, очевидно, действительно имевшее место осенью предыдущего года, когда все

трое находились в Риме. Начавшись с привычных банальностей — что новенького и тому подобное, разговор вскоре принимает серьезный оборот. Побуждаемый своими гостями, Цицерон, удобно расположившийся на травке, пускается в длинное рассуждение о римском красноречии, сопровождаемое разбором речей великих ораторов от древности до последних дней, не исключая, разумеется, и его самого.

Попутно он в самых хвалебных выражениях отмечает ораторский дар Марка Юния (хоть на самом деле не ставил его ни во что), упустив из виду, что до сих пор его собеседник имел единственную возможность блеснуть этим даром, выступив в защиту Клавдия Пульхра.

Но, может быть, весь пространный экскурс в историю римского красноречия понадобился Цицерону лишь для того, чтобы сравнением с великими мастерами прошлого польстить начинающему оратору? Нет, он преследовал совсем другие цели, и именно они дали основание ряду историков говорить о его «вероломной ловкости».

«Брут» — это вовсе не трактат об ораторском искусстве и истории римской литературы. Это произведение, полное намеков на животрепещущую политическую реальность.

Цицерон не просто перечислял достоинства ораторов прошлого; он подводил читателя к мысли о том, что в современном ему сенате подобных речей больше не услышишь. Старики умолкли навсегда, а молодежь, которая — как знать? — могла бы сравняться с ними в мастерстве, не имеет права говорить ни о чем серьезном, ограничиваясь славословиями в адрес хозяина Рима. Одной из первых и самых заметных жертв этого несчастья и стал, по мнению автора, Брут.

«Глядя на тебя, я задаюсь тревожным вопросом: какие пути открываются перед этим выдающимся

талантом, перед этим глубоким умом, перед этой редкостной энергией? Ведь едва ты обратил на себя внимание, выступая в самых шумных процессах, едва я, старик, приготовился уступить тебе место и склонить перед тобой фации, как на наш народ обрушились горести, обрекшие самых красноречивых из нас на молчание...

И сегодня, Брут, при виде тебя оживает моя старая боль. В то самое время, думаю я, когда ты со всем пылом молодости устремился к славе, твой порыв разбился о несчастную судьбу Республики. Вот что меня мучает, вот от чего страдаем мы с Аттиком. Ты один занимаешь наши мысли. Как бы нам хотелось воочию узреть, как ты собираешь плоды своей добродетели! Мы всей душой желаем, чтобы настал тот день, когда ты воспрянешь вместе с Республикой и приумножишь славу двух великих домов, к которым принадлежишь. Ты должен стать властелином Форума и царить на нем безраздельно. Увы, мы скорбим двойной скорбью: оттого, что Республика потеряна для тебя, и оттого, что ты потерян для Республики».

Еще не вполне уверенный в будущих восходах, Цицерон все же заронил в душу Брута семена сомнения и недовольства. Но самое главное, он снова напомнил ему о легендарных предках, пример которых и так всю жизнь стоял у Брута на пути, — Луции Юнии Бруте и Сервилии Агале.

И Цицерон был в этом не одинок. Словно в ответ на слухи о якобы незаконном рождении Брута Тит Помпоний Аттик составил подробнейшие генеалогические таблицы рода Юниев, из которых, если закрыть глаза на кое-какие натяжки и неувязки, явствовало, что Марк приходится прямым потомком основателю республики. Теперь уже никто не посмел бы извлекать на свет гнусные басни про дедушку-привратника.

Марка труд Аттика привел в восторг. Он уже решил, что по возвращении в Рим выставит генеалогические таблицы на почетном месте атрия, чтобы каждый входящий в его дом знал, к отпрыску какого славного рода привела его судьба. Если среди посетителей окажутся неграмотные, не беда — Марк закажет лучшим художникам две большие исторические фрески, на одной из которых будет запечатлен Луций Юний, свергающий Тарквиниев, а на другой — Сервилии Агала, пронзающий кинжалом претендента на диктатуру. Поскольку Атик уверял, что Марк и лицом и фигурой удивительно походил на своего дальнего прародителя, портрет первого Брута лучше всего писать с него самого, — придется только пририсовать бороду.

Чем же объяснить это наивное воодушевление Брута перед результатами изысканий Аттика? Может быть, он, всегда сомневавшийся в чистоте своего происхождения, просто радовался, что получил ей подтверждение? Или он придавал своей родословной значение политического манифеста? В самом деле, доколе ему, убежденному республиканцу, пользоваться благодеяниями Цезаря?

Между тем фортуна Цезаря, столь благосклонная к нему после Фарсала, теперь начала проявлять свой капризный нрав. Соппротивление сторонников Помпея не ослабевало. До Города дошли слухи о связи Гая Юлия с Клеопатрой. Римляне ханжески сочувствовали Кальпурнии и в один голос осуждали «египетскую потаскуху». Наконец принятие некоторых мер в области социальной политики, направленных на укрепление позиций популяров, среди имущего населения, вечно жившего в страхе перед революцией, пробудило уснувшие было опасения.

Но Брут и не помышлял о двойной игре. К тому же римские сплетни доходили до Медиолана с опозданием, частично утратив по пути свою остроту. Он по-

прежнему жил в плену иллюзии и верил, что Цезарь непременно восстановит законные институты, — просто сначала ему надо покончить с войной. Ведь отверг же он предложение сената на целых пять лет избраться единственным консулом! Разве диктаторы так себя ведут? Нет, если бы Цезарь действительно рвался к единоличной власти, Брут ясно сказал бы ему, что им не по пути.

Все эти заблуждения — во многом результат искренней благодарности — и задумали разрушить Цицерон с друзьями. Ближайшие же месяцы, полагали они, откроют наместнику Цизальпинской Галлии глаза на истинное положение вещей. Если Цезарь разобьет в Африке последователей Помпея, рухнет последняя преграда между ним и его безумной мечтой о власти. Тогда-то он и сбросит маску. И Бруту придется доказывать, что он подлинный Брут!

Сам Марк пока не думал об этом, поглощенный работой над «Трактатом о добродетели»^[56]. В этом классическом труде нашли выражение дорогие сердцу автора идеи греческих мыслителей: истинный мудрец черпает силы в собственных достоинствах; муж добра остается добродетельным вне зависимости от внешних обстоятельств жизни. Слава, успех, видимость счастья — все это вещи, которые в конечном итоге оказываются иллюзорными. Брут превозносил высшую мудрость Марка Клавдия Марцелла, который выбрал уединенную жизнь на Лесбосе в окружении книг, превыше всего ценя душевный покой. Поистине, этот человек постиг, что такое настоящая жизнь.

Автор трактата — вежливость обязывает — посвятил свою книгу Цицерону. Тот в ответ рассыпался в благодарностях и похвалах. Но в глубине души он все еще сомневался в способности наместника Цизальпинской Галлии с пренебрежением отмахнуться

от успеха и материальных благ. Менее самоотверженный Марк Туллий жаждал подвергнуть суровую добродетель Брута испытанию.

События меж тем на глазах ускоряли свой ход, приближая день, когда Марку Юнию придется сделать решающий выбор.

В начале января 46 года Цезарь высадился на африканском побережье, в Гадрумете (ныне Сус). Внезапно разыгравшийся шторм разметал его корабли, и вместе с полководцем на берег сумела высадиться только часть его войска, в основном новобранцы. Суда с легионами, составленными из ветеранов, все еще носило по бурным волнам, когда произошла первая стычка с отрядами Лабиена — блестящего военачальника, бывшего заместителя Цезаря по галльскому походу. Вместе с ним войском республиканцев командовал Петрей. Если бы не случайность — под Лабиеном убило коня, что помешало ему закрепить достигнутый успех, и взлет, и самая жизнь Цезаря, скорее всего, прервались бы в тот день на Руспинской равнине^[57].

После этого удача снова повернулась к нему лицом, точнее сказать, роль удачи взяла на себя его разведка. Соответствующие службы Цезаря догадались использовать старинную вражду между нумидийским царем Юбой — на его конницу и вспомогательные части серьезно рассчитывали сторонники Помпея — и мавританским царем Бокхом, чьи симпатии склонялись, скорее, к Цезарю. Улучив момент, когда Юба отбыл в Утику, где располагались основные силы республиканцев, Бокх учинил набег на его земли. Едва Юба узнал, что мавры грабят его царство, он бросил все и стал выручать своих. Главнокомандующий помпеевской армии Метелл Сципион лишился

значительной части своих сил и не решился атаковать Цезаря.

Четыре месяца обе армии не предпринимали никаких активных действий. Очевидно, ученики великого Помпея, хорошо усвоившие его уроки, намеренно тянули время, стараясь взять противника измором. Они рассчитывали, что воины Цезаря — отважные, но не признающие дисциплины, — устанут ждать и поднимут мятеж, как это не раз случалось в прошлом.

Цезарь не мог пойти на такой риск, и в начале апреля собрался дать Метеллу Сципиону, к которому успел вернуться Юба, бой. Он направился к Тапсу — одному из укрепленных городов страны — с явным намерением взять его штурмом. Помпеевским полководцам пришлось двинуться следом.

4 апреля легионеры Цезаря, опьяненные надеждой на богатую добычу, ринулись в атаку, даже не дождавшись, когда прозвучит сигнал императора. Они смяли противника, в рядах которого началась паника, усугубленная их собственными боевыми слонами, от страха вышедшими из повиновения. Сражение вскоре превратилось в кровавое побоище. Пленных не брали. Подобной жестокости еще не знала римская история, и, когда весть о сокрушительном поражении дошла до Утики, город охватило смятение^[58]. Местный сенат сейчас же поставил Катона в известность, что не намерен оказывать Цезарю сопротивление и распахнет перед ним городские ворота. Римлянам лучше подобру-поздорову убраться вон, пока не поздно. Тех, кто не успеет спастись бегством, жители Утики выдадут победителю.

Как всегда, внешне невозмутимый, Марк Порций принялся составлять послание Лабиену и Метеллу Сципиону, которым удалось с частью войска вырваться

из кровавой мясорубки под Тапсом^[59]. Он просил их не вести в Утику оставшиеся в их распоряжении войска. Затем он проследил за отправкой из города римских сенаторов и их семей, после чего вернулся к себе.

Только теперь Катон позволил себе сбросить маску холодного спокойствия и дать волю присущей ему нервной раздражительности. Он потребовал, чтобы раб принес ему меч. Несчастный слуга, прекрасно понимая, что задумал хозяин, отказался выполнять приказание, и тогда невозмутимый философ накинулся на него с кулаками, да так энергично, что сломал себе запястье. Получив в конце концов требуемое, он отправился в свою комнату и, не обращая внимания на стенания сына и прочих домочадцев, заперся и погрузился в чтение платоновского «Федона». Наконец в доме все уснули. Катон, сочтя, что достаточно овладел собой, приступил к самоубийству.

Убить себя нелегко. Убить себя с помощью меча, что среди римской аристократии считалось наиболее достойным способом ухода из жизни, способен лишь человек не только хладнокровный, но и свободно владеющий обеими руками. Катон же, как мы знаем, повредил себе правую руку. Удара нужной силы у него не получилось: вместо того чтобы проникнуть между ребер и вонзиться в сердце, клинок скользнул мимо и застрял в желудке. Прибежавший на шум сын нашел отца без сознания, лежащим на полу в луже крови. Вызвали врача. Тот определил, что рана не слишком глубока, и взялся ее зашить. Пока делали операцию, Катон пришел в себя. Осыпав ругательствами родных и врача, он содрал повязки и вырвал наложенные швы. Рана, конечно, открылась, кровотечение возобновилось, и вскоре Катон скончался. Когда Цезарь вошел в Утику, того уже не было в живых. Это известие невероятно

разозлило победителя. Марк Порций лишил его заслуженного удовольствия — отомстить. Или простить.

Представленное помпеевской пропагандой в нужном свете, самоубийство Катона стало крупным козырем в ее руках. Республика, все последние годы страдавшая нехваткой деятелей крупного масштаба, наконец нашла себе героя — пусть и мертвого. Пока еще робкой оппозиции против Цезаря он мог принести неоценимую помощь.

В мае весть о гибели дяди докатилась и до племянника, все еще сидевшего в Медиолане. Брута она потрясла. Горе, гнев, стыд и растерянность — все эти чувства нахлынули на него одновременно. Ему казалось, что дядя нарочно, из одного патологического упрямства, лишил себя жизни, лишь бы не быть ничем обязанным любовнику сестры. Этот неразумный, эгоистический поступок возмутил Марка. Он не верил в образ Катона Утического, героя-стоика, и, не таясь, говорил об этом с горячностью, о которой впоследствии не раз сожалел. Дядя словно еще раз давал ему понять, что сурово осуждает его союз с Цезарем. Ну почему он с таким упорством противился национальному примирению? Разве мало Риму разъедающей его ненависти? Говорят, стоя над телом Катона, Цезарь изрек:

— Ты завидовал моей славе. Я завидую твоей.

Значит, он был готов его простить. Но Катон не принял от него милости и предпочел эту бессмысленную смерть. Неужели Марк и в самом деле не понимал, почему его дядя выбрал самоубийство? Наверное, понимал. Но если бы он согласился считать поступок Катона актом протеста свободного человека против власти, посягающей на его свободу и гражданское достоинство, ему пришлось бы признать, что Рим уже гнется под игмом тирании, а он, Брут, терпит этот гнет. Самоубийство Катона всколыхнуло в

его душе все прежние сомнения. Если прав Катон, значит, ошибается Брут. Или прав все-таки он? Может быть, дело все-таки в том, что у Марка Порция был упрямый, ограниченный, мстительный и злобный характер?

Но не только о политике думал в эти дни Брут. С самого дня смерти Бибула он ждал подходящего момента, чтобы объявить Порции о своих чувствах. Он догадывался, что Катон ни за что не даст согласия на брак своей дочери с перебежчиком во вражеский стан, а Порция вряд ли посмеет послушаться воли отца. Он до последнего надеялся, что Катон пойдет на примирение с Цезарем. И вот теперь...

Как теперь отнесется к нему Порция? И как посмотрит Цезарь на его женитьбу на дочери человека, лишившего его возможности выступить в роли милосердного победителя? Поймет ли он, что Марк и Порция любят друг друга? Даже мертвый, Катон снова вставал между ними...

Похвальное слово покойному Марку Порцию Катону приходилось сочинять тоже ему. Никакого желания заниматься этим он не испытывал. Что хорошего он может рассказать о дяде, какими светлыми воспоминаниями поделиться? Как он ни старался, он не находил в характере покойного привлекательных черт. Подлинный Марк Катон был отвратительным человеком. И если сейчас он начнет лепить из него героя для подражания потомкам, не добьется ничего, кроме ненависти Цезаря.

Но что поделаешь, существует такая вещь, как моральный долг и семейная обязанность, в том числе и перед Порцией. Он представил, каково ей сейчас одной с маленьким Луцием — единственным из троих ее детей, оставшимся в живых после кончины Бибула.

Брут мучительно искал хоть какой-нибудь окольный путь, который позволил бы ему не нарушить долг, не

изображать фальшивых чувств и в то же время не дразнить Цезаря. А что, если попросить написать похвальное слово Цицерона? Подписанное старым консуляром, оно обретет совсем другой вес. Да и кто лучше Цицерона поведает о жизненном и политическом пути Катона, столь тесно пересекавшемся с его собственными путями?!

Остается убедить его взяться за это не слишком благодарное дело. Действительно, от опытного взгляда Цицерона не укрылось множество неприятностей, какими грозило ему это щекотливое поручение. Он даже заподозрил Брута в злонамеренности. Однако отмахнуться от этого предложения он не мог — не зря же он столько месяцев обхаживал его и расточал комплименты! Да и республиканская оппозиция не поймет его отказа. Наверняка найдется какой-нибудь умник, который напомним всем, как на Коркире, когда Цицерон отказался участвовать в дальнейшей войне против Цезаря, только Катон спас его от экстремистов, грозивших ему физической расправой.

Отделаться каким-нибудь нейтральным сочинением, которое не слишком скомпрометировало бы его в глазах Цезаря, тоже не удастся. Оппозиция немедленно обвинит его в неблагодарности к памяти покойного и назовет трусом. К тому же нет никаких гарантий, что самое спокойное изложение не вызовет гнев Гая Юлия...

Безвыходное положение! В письме к своему постоянному и доверенному корреспонденту Аттику Цицерон сокрушался:

«Вот задачка, достойная Архимеда! Даже если я буду говорить только о его мудрости и осмотрительности, кое-кто сочтет, что я говорю слишком много».

Но решение все-таки есть. Надо, чтобы Брут как инициатор всего предприятия разделил с ним его опасность. Если он действительно пользуется при дворе

Гая Юлия таким влиянием, как об этом твердят, он сумеет обезоружить гневливого Цезаря. Если же это влияние — выдумка, значит, у Цицерона появится удобный предлог, чтобы рассорить Брута с его покровителем.

И Цицерон дал согласие сочинить речь. Она получилась недлинной, но с первого и до последнего слова автору приходилось буквально передвигаться по лезвию бритвы. Тем не менее тем же летом он ее закончил. В этом сочинении автор гораздо подробнее останавливался на описании счастливого детства своего героя, нежели на его карьере государственного деятеля; заострял внимание на его моральном облике, оставляя в тени качества политика^[60]. Но как обтекаемо ни выражался Цицерон, Цезаря его опус все-таки задел за живое. И он опубликовал своего «Анти-Катона», в двух книгах желчно высмеяв апологетику старинных семейных ценностей, рьяным защитником которых выступал Марк Порций. В сочинении Цезаря нашлось место для всех грязных сплетен, бродивших тогда по Риму, так же как для малоизвестных семейных анекдотов, любезно поведанных ему Сервилией^[61]. Тем не менее он не рискнул открыто нападать на Цицерона, напротив, направил ему полное любезностей письмо:

«Одно только чтение твоих сочинений делает меня самого красноречивым!»

Вполне умеренная реакция Цезаря лишней раз утвердила Марка в мысли, что он не ошибся в выборе. Очевидно, Гай Юлий искренне стремится ко всеобщему примирению. Брут еще прочнее уверовал в иллюзию, что способен влиять на главу государства. К чему упорствовать в бесплодном противостоянии, если можно помочь Цезарю в обновлении Рима и переустройстве империи? Еще чуть-чуть, и обстановка окончательно упрочится. Тогда и придет пора

восстановления традиционной республики с опорой на молодых энергичных политиков, не подверженных застарелой болезни — коррупции.

Во власти этих настроений, Брут все-таки взялся за сочинение похвального слова дяде, словно забыв, что этот труд уже проделал по его просьбе Цицерон. В приливе вновь вспыхнувших родственных чувств Марк решил заострить внимание читателя на событии, о котором сотни раз слышал в кругу семьи — на деле Катилины.

Он совершенно упустил из виду, что до сих пор существовала единственная версия заговора Луция Сергия, изложенная Цицероном в его Катилинариях. По этой версии, заслуга раскрытия и ликвидации заговора принадлежала исключительно ему — лучшему консулу республики, его талантам и его гению. Заговорив о том, что и Катон сыграл свою роль в борьбе с Каталиной, Брут нанес Цицерону глубокое оскорбление.

Возмущение охватило Марка Туллия. Мало того что Брут втянул его в опасное дело восхваления умершего Катона, мало того что он посмел после него выступить на ту же тему, словно недовольный его трудом, он еще имеет бесстыдство предлагать собственную трактовку дела Катилины!

Негодование поведением «его дорогого Брута» он поспешил излить Титу Помпонию Аттику, которому привык жаловаться на своих обидчиков, если не хватало смелости обратиться к ним лично:

«Брут отмечает мои заслуги, но из его слов вытекает, что я всего лишь доложил об этом деле. Он не упоминает, что это я раскрыл заговор, что сенат действовал под моим влиянием, что я отдал приказ об аресте еще до голосования... Зато Катона он превозносит до небес! Он, очевидно, думает, что оказывает мне великую честь, называя меня «превосходным консулом». Скажите пожалуйста! Да

злейший из моих врагов постыдился бы употребить такое сухое выражение!»

Затем он добавляет, что книга изобилует грубыми ошибками — результат «постыдного невежества» ее автора. Цицерон уже высказывал Бруту подобный упрек после того, как обнаружил в его «Кратком изложении истории Фанния» — труде, в отличие от утраченного Полибия, увидевшем свет, — одну неточно указанную дату. Строго говоря, никакой вины за эту ошибку Брут и не нес, поскольку заимствовал дату у другого историка, предварительно заручившись подтверждением Аттика, что ей можно верить. Но разве это волновало Цицерона, в котором пылала авторская ревность? Она заставляла его обвинять конкурентов в научной недобросовестности, выставляя их жалкими любителями, не способными даже грамотно работать с источниками.

Аттик пересказал Бруту замечания Цицерона, а от себя добавил, что Марк так огорчил его друга, что тот, вероятно, больше никогда не напишет ни строчки.

Это, конечно, было преувеличение, причем выдержанное в чисто цicerоновской стилистике. Брута услышанное больше позабавило, чем расстроило, и с пафосом, достойным предмета обсуждения, он написал в ответ, что умоляет Марка Туллия не прекращать писательского труда и одарить сограждан «новыми шедеврами».

Цицерон любую, даже самую грубую лесть, всегда принимавший за чистую монету, вполне этим удовлетворился. По сути дела, он вовсе не стремился к ссоре с Брутом, особенно теперь. Забыв — или притворившись, что забыл, — нанесенную обиду, он начал новый труд, который, нимало не смущаясь, посвятил Марку Юнию. В сочинении, озаглавленном «Оратор», речь шла о Демосфене и его знаменитой речи «О короне» — политическом манифесте, направленном

против вмешательства Филиппа Македонского в жизнь Афинской республики. Цицерон знал, с каким огромным уважением относился Брут к греческому оратору, считая его одним из своих духовных учителей. Он обратился к примеру Демосфена с далеким стратегическим прицелом — вырвать Марка Юния из лагеря Цезаря.

Вскоре после этого их переписка прекратилась. Причина этого была проста: в марте 45 года срок полномочий Брута на посту пропретора Медиолана истек, и он вернулся в Рим.

Вероятно, первое, что бросилось ему в глаза по возвращении домой — внешне спокойная обстановка, царившая в Городе. Действительно, главные исторические события в те дни разыгрывались в Испании, где Цезарь добивал остатки помпеевской армии. И если весной предыдущего года кое-кто еще сомневался в его окончательной победе, сегодня иллюзий не осталось ни у кого. Отныне правила политической игры задавал один человек — Юлий Цезарь. Теперь диктатор мог позволить себе и великодушие. Минувшей осенью Цицерон набрался смелости и выступил в сенате с речью в защиту Марка Клавдия Марцелла, призвав победителя простить побежденного и не лишать Рим его великого гражданина. Цезарь счел благоразумным пойти навстречу общественному мнению и разрешил изгнаннику вернуться в Рим, на сей раз не требуя от него формального согласия примкнуть к его партии.

Но Марцелл не слишком торопился воспользоваться оказанной ему милостью. Лишь в мае он наконец решил покинуть свое уединенное жилище в Митиленах и сел на корабль, плывущий в Италию. В Городе его приезда ждали с нетерпением.

Увы, до Рима он так и не добрался. Во время стоянки в Пирее один из спутников и «друзей» Марцелла —

некто Публий Магий Цилон, по всей вероятности, вследствие внезапного помутнения рассудка набросился на него с ножом и нанес ему смертельную рану, после чего покончил с собой. Официальное расследование установило, что убийца действовал в припадке безумия, спровоцированном бурной ссорой с Марцеллом^[62].

Цицерон немедленно прокомментировал это трагическое происшествие по-своему:

— Не слишком доверяйте Цезарю. Если он прощает с такой легкостью, значит, его месть просто обретает другие формы...

Марк не собирался прислушиваться к заполнившим Форум слухам о том, что Публия Магия подослал к Марцеллу Цезарь. Римские сплетники всегда все знали. Если бы их спросили, зачем агенту, успешно выполнившему задание, убивать себя, они сейчас же с самым невозмутимым видом объяснили бы глупцу, что Цилин вовсе не убивал себя, но его в свою очередь «убрали».

Нет, не мог Цезарь отдать приказ об убийстве Марцелла. Какую опасность представлял для него удалившийся от мира философ? Не пожелай диктатор его возвращения в Рим, он так и остался бы на Лесбосе, в своем добровольном заточении. И сколько их еще, таких же изгнанников, которые тоскуют вдали от Города и тщетно ждут, когда их более удачливые друзья вымолят для них прощение! Но разве за это убивают?

Значит, за смертью Марцелла не стояло никаких политических махинаций, а Цезарь не имеет ничего общего с тем монстром лицемерия, каким кое-кто пытается его выставить.

Но, может быть, за этими рассуждениями Брута крылся самый обыкновенный расчет? Вряд ли. Он

никогда не соглашался с чужими оценками, если они шли вразрез с его нравственными убеждениями.

Он, конечно, видел, какое возмущение вызвали в Риме роскошные подарки, преподнесенные Гаем Юлием Сервилией. Но ведь он всегда делал ей подарки, даже в те времена, когда не располагал для этого широкими возможностями. Марк знал, что мать хранит в своем ларце огромную жемчужину, купленную у торговца камнями за шесть миллионов сестерциев. Чтобы расплатиться за это сокровище, Цезарь 15 лет назад буквально ограбил покоренных галлов... Теперь вот он отдал Сервилией все богатства Понтия Аквилы, но этот подарок, понимал Марк, будет прощальным. В свои 55 лет его мать уже не соперница двадцатилетней Клеопатре. Случилось именно то, что Сервилия считала невозможным: Гай Юлий встретил женщину, в которой молодость и очарование красоты сочетались с острым политическим умом. Да кроме того у египетской обольстительницы есть этот маленький Птолемей, о котором в Риме ходит столько разговоров...

Разрыв столь продолжительной дружбы требует компенсации.

Назначение Лепида — мужа Юнии Старшей — на завидную должность начальника конницы заметно усилило позиции рода Юниев и вызвало в Риме новую волну злословия. Но Брут не видел в возвышении Лепида ничего особенного. Конечно, Лепид — далеко не гений, но зато он с первых дней гражданской войны примкнул (по совету тещи) к Цезарю и служил ему с преданностью пса. Разве такая верность не заслуживает благодарности?

Ходят слухи, что в будущем году и ему, Бруту, достанется пост городского претора. В глубине души он считал, что вполне его достоин, хотя, если говорить откровенно, все это мало его волновало. В своем «Трактате о добродетели» он под влиянием греческих

мыслителей и бесед с несчастным Марцеллом написал, что добродетельный человек, то есть мудрец, равнодушен к почетной карьере и не придает никакого значения материальным, политическим и общественным успехам. Кое-кто из знакомых с насмешкой возражал на это, что для философа, презирающего мирские ценности, сам Брут что-то уж слишком ловко строит собственную карьеру, не боясь скомпрометировать себя в глазах окружающих. Ничего, скоро он докажет им всем, что Брут никогда не говорит и не пишет ничего, что не одобрял бы всем сердцем. И богатство, и блестящее будущее, и лакомую должность городского претора — все это он готов немедленно отдать за единственное в мире благо, которое ценит в тысячи раз больше, — любовь Порции.

При встрече с Порцией он предложил ей стать его женой. И она без колебаний ответила согласием.

Для бывшего помпеевского офицера, прощенного Цезарем, для человека, вся дальнейшая карьера которого целиком и полностью зависела от каприза всемогущего диктатора, женитьба на дочери Катона и вдове Бибула означала политическое самоубийство. Именно это и высказала взбешенная Сервилия сыну, когда он сообщил ей, что разводится с Клавдией Пульхрой и женится на Порции. Судьба Клавдии Сервилию несколько не занимала. Мало того, теперь, после поражения Помпея, когда Клавдии утратили былое влияние, она бы только одобрила расторжение этого брака. При условии, разумеется, что Марк поведет себя как трезвомыслящий человек и выберет себе в жены какую-нибудь богатую наследницу, которая принесет ему состояние, или дочку одного из твердых и убежденных сторонников Цезаря.

Но не Порцию же!

Сервилия никогда не любила свою племянницу. В воспитании, полученном Порцией, ей всегда чудилось

осуждение тех принципов, которые она сама всегда внушала своим трем дочерям. Своей суровой добродетелью Порция словно безмолвно укоряла склонных к кокетству и супружеской неверности сестер Марка. К тому же Порция умна, а значит, муж, обожествляющий ее, неизбежно подпадет под ее влияние. Тогда Сервилия утратит последнюю возможность хоть как-то воздействовать на сына.

Он что, ослеп? Зачем ему эта старуха, которой перевалило за тридцать? Она и ребенка-то ему родить не сумеет, зато приведет к нему в дом сына этого идиота Бибула! А у него достанет ума усыновить мальчишку, которому разорившийся к концу жизни отец не оставил почти ничего!

Сервилия кричала, угрожала, рыдала. Попыталась шантажировать Марка. Она не желает этой женитьбы и не допустит ее.

Но разве существовали на свете угрозы, способные поколебать решимость 39-летнего без памяти влюбленного мужчины, перед которым наконец замаячила надежда жениться на женщине, обожаемой с юности? Сервилия могла сколько угодно плакать и негодовать, она понимала: сын не отступится от своего. Ну почему, о боги, его железная воля проявляется только тогда, когда речь идет о совершении какого-нибудь глупого безрассудства?

Разговор сына с матерью вылился в бурную ссору. Марк знал, что таких ссор будет еще много, а он их не хотел. Он мучился и страдал, вынужденный отстаивать свою правоту перед Сервилией, которую не только горячо любил, но и уважал. Верно говорят, что победить женщину можно только одним способом — бежать от нее подальше. И, руководствуясь этой житейской мудростью, изобретенной мужчинами, в начале лета 45 года Марк спешно покинул Рим и двинулся в Кумы, откуда вскоре перебрался в Тускул.

Он давал Сервилиии время успокоиться, а себе... Наверное, время забыть, что, в сущности, он не очень порядочно повел себя с Клавдией.

Упрекал ли он себя в этом? Пытался, но это плохо у него получалось. Он ведь и согласился на этот брак только ради того, чтобы его оставили в покое. Он совершил ошибку, но понял это слишком поздно. Никогда он не любил Клавдию, да впрочем, никогда и не говорил, что любит ее. Они прожили вместе совсем немного, меньше двух лет. Клавдия просто поделила судьбу многих римских матрон, чьи мужья редко бывали дома, вечно занятые военной или административной службой в разных частях огромной империи. Конечно, Брут предоставил жене полную свободу, но, к сожалению, Клавдия ею ни разу не воспользовалась. Неизвестно, что было тому причиной — ее несокрушимая добродетель, отсутствие женской привлекательности или недостаток воображения. За все эти годы она не дала ни малейшего повода усомниться в ее верности супружескому долгу. И, ясное дело, теперь все в один голос жалели ее и так же дружно осуждали Марка.

Бруту все это не нравилось. Он всегда страдал, если чувствовал, что поступил несправедливо, не по совести. Теперь Город с благородным негодованием будет твердить, что он развелся с Клавдией без всякой на то причины. А смертельная скука, которая охватывает его всякий раз, стоит им оказаться лицом к лицу, — не причина? А ее пустые речи, от которых отчаяние берет, — не причина? А отсутствие любви, дружбы, нежности, доверия — не причина?

В стародавние времена в Риме всеобщим почетом пользовались мужья, всю жизнь прожившие с одной женой, и жены, никогда не имевшие второго мужа. Но ведь единственной женой Брута всегда была и остается Порция! Он женился бы на ней еще 18 лет назад, если

бы Катон и Сервилия не встали у них на пути, один — сделав несчастной свою дочь, другая — разбив мечты своего сына. Разве это преступление — вернуться к тому, что завещано судьбой, соединиться с родственной душой, обрести свою вторую, вечную, половину, о которой говорил еще Платон? Разве это преступление — любить?

Но Рим злословит, и Сервилия злится, и Цезарь будет негодовать. Пусть их. Влюбленному Бруту нет до них никакого дела. Для него во всем мире существует лишь она одна — Порция.

Конечно, он не собирался нарочно дразнить гусей. Время от времени из Тускула в Рим летели его письма Цицерону и Аттику. Он просил сообщать, что говорят в городе о его скорой женитьбе. И корреспонденты спешили его успокоить. Когда улеглись волнения, вызванные его неожиданным поступком, скандал понемногу сошел на нет. Слишком много случилось других событий, вытеснивших сплетни о личной жизни Брута. Цезарь одержал окончательную победу в Испании и двигался к Риму, который готовился встретить его триумфом. Погиб Гней Помпей — старший сын Помпея, предательски выданный укrywшим его человеком и немедленно казненный. В Городе ожидали приезда царицы Клеопатры. Скромное бракосочетание Марка и Порции теряло на этом фоне свою остроту. Осенью, когда они, уже вместе, вернутся в Рим, никто и не вспомнит о вызванном ими мимолетном скандале.

Совершенно успокоенный, в августе 45 года Марк Брут женился на своей кузине.

V. Брут, ты уснул!

*Брут, ты уснул: встань, на себя
взгляни!*

Иль Рим... Говори, рази, спасай!

Брут, ты уснул — восстань!

*Уильям Шекспир. Юлий Цезарь.
Акт II, сцена I*

Мучился ли Брут дурными предчувствиями? В разгар лета 45 года^[63] ему выпала неделя счастья — единственная за всю жизнь и слишком короткая. Но даже эту благословенную передышку омрачили семейные раздоры.

За несколько дней до свадьбы сына в Тускуле (ныне Фраскати) появилась Сервилия, сопровождаемая Тертуллой. Мать еще не потеряла надежды удержать сына от безрассудной женитьбы. С упрямством, унаследованным от отца, Марк стоял на своем. Тогда Сервилия бросилась в атаку на Порцию, но неожиданно для себя и здесь столкнулась с твердым сопротивлением. Под внешней мягкостью, под кажущейся холодностью, под невозмутимостью утонченной патрицианки²⁶ Порция таила бурное пламя слишком долго сдерживаемой страсти. Когтями и зубами она дралась за своего Брута, за их общее право на любовь.

Убедившись, что ей не одолеть решимости влюбленных, которые несмотря на далеко не юношеский возраст вели себя как пятнадцатилетние подростки, Сервилия смирилась. В Риме и так уже недопустимо много болтали о ее враждебном

отношении к новому браку сына. Не хватало еще, чтобы в осведомленных кругах пошли разговоры, будто она боится гнева Цезаря. Сервилия слишком хорошо разбиралась в политике, чтобы позволить себе стать причиной ненужных осложнений для карьеры сына. Она давно расставила по местам все необходимые пешки и знала, что ей нечего сверх меры опасаться недовольства Цезаря. Род Юниев опирался на многочисленных и могущественных союзников, от которых диктатору так просто не отмахнуться.

Боялась она совсем другого. Ее пугала новая невестка. Долгие годы Сервилии удавалось не допустить, чтобы она перешла дорогу Марку, и вот теперь Порция, в зрелости еще более опасная, чем была в юности, торжествует победу.

Очень скоро обстановка в доме пропиталась взаимной ненавистью обеих женщин. Тертулла подсознательно держала сторону матери, хотя, откровенно говоря, ее гораздо больше занимали собственные любовные дела, нежели семейная жизнь брата. В настоящее время ее волновала одна проблема: как бы невзначай не столкнуться где-нибудь с Публием Корнелием Долабеллой. Ее явное стремление избегать первого римского красавца уже вызвало в городе немало кривотолков. Первым заподозрил неладное Цицерон, охотно делившийся со своими корреспондентами соображениями о том, является ли его бывший зять любовником жены Кассия, был ли он таковым в прошлом или только мечтает об этой роли ^[64].

Марк и Порция несколько раз ужинали у Цицерона. Старый консуляр умел принять гостей и развлечь их восхитительной беседой. Хозяин, все еще считавший себя лидером республиканской партии, осыпал молодоженов пожеланиями счастья, надеясь, что они уловят скрытый в его словах глубокий подтекст.

Чувство, связавшее Брута с дочерью Катона, вообще не занимало его мысли — он придавал их союзу исключительно символическое значение. Сын основателя Республики берет в жены дочь героя Утики — какой великолепный образ!

Марк делал вид, что не замечает намеков, а Порция, как и подобает женщине, вообще предпочитала слушать, а не говорить. После их ухода Цицерон погружался в размышления. Действительно ли эта парочка настолько поглощена своей любовью, что напрочь забыла о всякой политике, или они умело ломали тут перед ним комедию? Ничего, он найдет способ заставить их оценивать события с правильной точки зрения, иными словами, с его собственной.

Пристальное внимание Цицерона с его задними мыслями, язвительность Сервилиии, всегда готовой отпустить колкость, — окружающая атмосфера не слишком располагала Марка и Порцию к тому, чтобы безмятежно радоваться своему счастью. Иногда Марк, весь во власти какой-то тревоги, запирался у себя в комнате, уверяя, что ему нужно поработать над книгой, и засиживался так допоздна. Порция чувствовала — любимого что-то беспокоит, и огорчалась, что не может окружить его покоем. О его любви она знала всегда, даже в ту пору, когда была замужем за Бибулом, а Марк был мужем Клавдии. Но теперь ей стало казаться, что в этой любви чего-то не хватает. Неужели и Марк, подобно Бибулу, видит в ней всего лишь хорошенькую женщину, способную скрасить жизнь, как украшают жилище красивые вещи и цветы? Неужели ее готовность делить с ним стол и постель — это все, чего он от нее ждет? Но ведь все это он мог бы получить и от преданной рабыни! Разве ради этого она стала женой Брута?

Порция задумчиво вглядывалась в черты дорогого лица и в принужденной улыбке мужа читала нежелание

отвечать на вопросы, которые она не смела задать вслух. Не часто бывает, чтобы люди, столь искренне привязанные друг к другу, до такой степени не понимали один другого, как это происходило с Марком и Порцией в первые дни их короткого супружества.

Да и что бы он ей ответил? Он ни на минуту не забывал, что женился на дочери Катона. В отличие от него самого Порция продолжала питать к памяти отца слепое и болезненное восхищение. И Брут ужасно, смертельно боялся ее разочаровать, оказаться в ее глазах недостойным высоких моральных принципов, которые она исповедовала. Он привык, что над ним с детства довлеет долг соответствия идеалу. Он жил под гнетом необходимости постоянно что-то кому-то доказывать. Сначала — что он сын своего отца, затем — что он племянник Катона, сын Сервилии, зять Клавдия, любимец Цезаря. Неужели ему снова предстоит играть роль — на сей раз мужа Порции, до безумия влюбленного в свою жену? Когда же наконец он получит право быть просто Марком Юнием, право быть собой?

Брут не смел признаться Порции, что книга, над которой он корпел по вечерам, была им задумана как гарантия их будущего счастья. Он надеялся завершить ее к возвращению Цезаря из Испании и отвести тем самым от себя и жены гнев диктатора. Книга посвящалась делу Марцелла и называлась «Защита Цезаря».

Разумеется, Марк ни на минуту не допускал, что убийство бывшего консула произошло в результате заговора, за веревочки которого якобы дергал Гай Юлий. Предлагая вниманию публики это сочинение, он просто излагал свое искреннее мнение. Вместе с тем он не мог не понимать, что, высказывая его, объективно выступает в поддержку партии диктатора. Не будет ли его позиция истолкована как проявление трусости?

Размышляя над причинами, заставившими его перейти после Фарсала в лагерь Цезаря, и сопоставляя их с тем, что он считал принципиальными убеждениями Порции, он приходил к мысли, что его жене они наверняка не покажутся весомыми. Со своей стороны Порция, мечтавшая об одном — забыть несчастья минувших лет и насладиться наконец простым человеческим счастьем, не смела сказать Бруту, что понимает его, что все ему прощает и будет только рада, если он сумеет защитить их обоих от новых опасностей. Брут полагал, что взял в жены героиню трагедии; Порция думала, что вышла замуж за последнего римлянина, достойного этого высокого звания. Каждый из них боялся оказаться не на высоте, и оба они во власти взаимного заблуждения продолжали молчать.

Про себя Брут давно решил, что есть границы, которых он не нарушит никогда. Он дал себе клятву, что будет с Цезарем до тех пор, пока тот не сломит барьер, отделяющий власть диктатора от тирании. И он свято верил, что Цезарь не намерен сокрушать этот барьер. Разве вера в лучшее — преступление?

В иды секстилия^[65] почта принесла письмо от Цезаря. Он подавил остатки сопротивления помпеевцев в Испании. Спасти удалось лишь Сексту Помпею с горсткой сподвижников — ничтожной и больше не представлявшей собой никакой опасности. Короткими переходами Гай Юлий двигался к Италии. В Нарбоне он рассчитывал сделать остановку и просил Брута прибыть в этот город для встречи с ним. Официальным предлогом послужило желание Цезаря высказать Бруту благодарность за труды по управлению Цизальпинской Галлией.

Вызывать к себе наместника в такую даль, чтобы похвалить его за хорошую работу? И это при том, что самое позднее через три месяца диктатор сам будет в

Риме? Впрочем, от Цезаря можно было ждать чего угодно. Он сам жил в бешеном ритме и требовал от подчиненных постоянно совершать чудеса умственного напряжения и физической выносливости. Не один Брут удостоился срочного вызова в Нарбон. Аналогичный приказ получили Гай Требоний и Марк Антоний.

Нельзя сказать, чтоб последнее обстоятельство успокоило Брута. Требоний, бывший легат Цезаря, не сумел с должным блеском исполнить порученную ему миссию и с тех пор пребывал в опале. С Марком Антонием дело обстояло еще хуже.

В отсутствие Цезаря именно он оставался править Римом и Италией и успел наломать здесь немало дров, частично из-за того, что постоянно ссорился с Долабеллой, которого люто ненавидел. Затем его угораздило влюбиться в Фульвию, вдову Публия Клодия, женщину редкой красоты и ума, известную, увы, беспутным поведением, и жениться на ней.

Цезарь резко осудил этот брак. Такую же реакцию вызвал у него отказ Марка Антония выплатить хотя бы самую символическую сумму за имущество Помпеев, которое он захватил себе, считая частью своей военной добычи. Цезарь настаивал на этой уплате, чтобы лишний раз не дразнить завистников, косо глядевших на взлет Антония, но тому это было невдомек. Вот уже почти год, как их личные отношения с Цезарем совершенно разладились.

Может быть, диктатор задумал собрать в Нарбоне всех провинившихся, чтобы устроить им взбучку? Терзаемый этим вопросом, Брут прервал свой медовый месяц и поспешил в Галлию. Всем известно.» нетерпеливый Цезарь ждать не любит.

К его удивлению, ничего страшного не произошло. Гай Юлий не выразил ни малейшего недовольства женитьбой Марка на Порции и искренне поздравил его с успешным ведением дел в Цизальпинской Галлии. Мало

того, он сообщил, что на будущий год намерен доверить ему должность городского претора. И намекнул, что через четыре года Брут может рассчитывать и на консульское звание.

Как восприняло эти новости республиканское ухо Брута? Цезарь обещал «доверить» ему претуру. Это значит, что карьерой он будет обязан воле хозяина и его личной дружбе. И как относиться к тому, что Цезарь за четыре года вперед планирует выборы консула?

Правда, ходили упорные слухи, что диктатор готовит новый восточный поход на парфян, который продлится три, а то и все четыре года. Очевидно, эта мысль несколько успокоила Марка, тем более что вскоре стало известно о предстоящих выборах новых консулов. Цезарь отказался от привилегии править единолично, и это, по мнению Брута, следовало расценивать как добрый знак. Теперь он почти уверовал, что Республика будет восстановлена. Не зря он всегда повторял: Цезарь сам из породы «мужей чести», и, как только ему удастся вернуть порядок и объединить достойнейших граждан, он откажется от диктатуры.

Читая полученное от Марка письмо, Цицерон не знал, хохотать ему или возмущаться. Цезарь, ступающий по следам Цинцинната или Суллы — диктаторов, добровольно сложивших с себя высокие обязанности, — да это же курам на смех! Или Брут наивен до умопомрачения, или он лжет. И он пишет Титу Помпонию Аттику:

«Похоже, наш Брут возвещает сближение между Цезарем и мужами чести. Ewangelia!^[66] Вот только где он их найдет? Придется ему добровольно сунуть голову в петлю, чтобы отправиться за ними в потусторонний мир. В этом мире власть его слишком прочна. Куда же подевался тот шедевр, который наш дорогой друг по

твоему совету выставил в своем семейном пантеоне? Где его великие предки — Брут и Агала?»

Итак, Цицерон весьма прозрачно намекнул, что Брут продался Цезарю, посулившему ему городскую претуру. Он не поверил в искренность Марка, с негодованием восклицавшего:

— Нет столь выгодного рабства, ради которого я свернул бы со стези свободы!

Городская претура представляла собой третий по значению пост в государственной иерархии. Изначально городской претор заменял консулов, находившихся с войском, и, когда он шествовал по городу, перед ним так же выступали ликторы, несущие фасции. Главной его обязанностью было вершить суд и расправу над римскими гражданами, и практически он олицетворял собой римское правосудие²⁷. Ему же принадлежало право созывать особый трибунал и контролировать деятельность гражданских судов. В отсутствие консулов он председательствовал в сенате и комициях, собирал народное собрание и даже предлагал законопроекты.

В конце октября Бруту должно было исполниться 40 лет. Он и так слишком замешкался с карьерой, так что некоторый рывок ему не помешал бы. Однако вовсе не мечта о должности городского претора переполняла его энтузиазмом. Марк словно ослеп — он не желал замечать, какую угрозу римской свободе несет Цезарь, и видел лишь то, что хотел видеть. Гай Юлий принял его со всей сердечностью и в отличие от Сервилии ни словом не упрекнул за безрассудный с точки зрения политики брак. Разве это не доказывает, что он сумел преодолеть в себе чувство гражданской ненависти? Само выдвижение зятя Катона на третий по важности государственный пост глубоко символично и служит подтверждением его готовности к национальному

примирению, разве не так? Мало того, он и Гаю Кассию предложил должность претора по делам иностранцев^[67]. Не благородный ли жест?

Все это Брут и имел в виду, говоря о сближении между Цезарем и «мужами чести». Если бы это действительно было так...

Цезарь не случайно вызвал к себе Требония и Марка Антония — для них, своих верных сторонников, он приберег консульство. Но и это было еще не самое худшее.

Пятнадцать месяцев назад все без исключения считали Брута любимчиком диктатора, практически его наследником. Эти времена прошли. Теперь в одних носилках с Гаем Юлием удобно расположился Антоний, тогда как Марк следовал за ними верхом. Ясно, на чьей стороне предпочтения Цезаря. Действительно, он уже разработал план политического переворота, который намеревался начать уже нынешней осенью и завершить до наступления весны, когда ему снова придется покинуть Италию. Марку Бруту в этих планах места не находилось. В каком-то смысле Цезарь демонстрировал по отношению к сыну Сервилии бесспорное уважение: что бы там ни говорил Цицерон об их сообщничестве, Гай Юлий прекрасно понимал, что в лучшем случае может рассчитывать на его нейтралитет, но никак не на искреннюю преданность.

Должность городского претора не имела ничего общего ни с наградой, ни с подкупом: таким элегантным способом Цезарь стремился изолировать Брута от оппозиции. Как только Марк осознает, каковы его истинные намерения, он восстанет против него. Но тогда будет слишком поздно. У городского претора уже не останется друзей среди оппозиционеров. Он окажется бессильным.

Ни о чем этом Брут не догадывался. Он не верил, что Цезарь способен на расчетливое милосердие, как не верил в то, что именно он приказал убить Марцелла. Как и многие его сограждане, Марк попался в сети пропаганды, умело расставленные Гаем Юлием. Человек, на другой день после своей победы под Фарсалом не читая бросивший в огонь все бумаги Помпея, чтобы не вынуждать себя к жестокостям против поверженных врагов, не может быть дурным — так думал не только Марк, так думали многие.

Примерно такие мысли бродили в голове Брута, пока он, глотая пыль, скакал за окруженными охраной носилками диктатора по дорогам провинции и Италии. Он пребывал в отличном настроении и даже изменил своей привычной сдержанности, чтобы перекинуться словечком-другим с приближенными Цезаря. И с удивлением обнаружил, что Марк Антоний, скандально известный своими попойками и любовными похождениями, оказался отличным парнем, открытым и дружелюбным. Брут старался лишней раз подбодрить улыбкой худенького прыщавого подростка, который глядел на всех исподлобья, говорил вкрадчиво и неотступной тенью следовал за Цезарем. Мальчика звали Октавием, и он был внучатым племянником Гая Юлия, внуком его сестры Юлии^[68]. Марк испытывал к нему сочувствие — Октавий, осиротевший в четыре года, как и он, рос без отца...

Кто мог тогда подумать, что пройдет совсем немного времени, и все эти мужчины, сегодня делящие трапезу и дружно поднимающие кубки с вином, поубивают друг друга к вящей выгоде бледного подростка, не спускающего с них завистливого взгляда?^[69]

Брут вернулся в Рим в начале самой долгой в истории человечества осени, длившейся целых пять

месяцев. Он все еще находился под приятным впечатлением от совместного путешествия с Цезарем, а мысль о том, что уже в январе он вступит в должность городского претора, неожиданно сильно грела ему сердце. Ему так хотелось верить в будущее, что даже напряженная домашняя обстановка не могла до конца развеять его воодушевления. Отношения между Порцией и Сервилией по-прежнему оставались натянутыми, и Марк страдал, не в силах побороть взаимную неприязнь обеих женщин. Он все так же не смел открыть жене свои потаенные мысли, и все его мучения возобновились с новой силой. Единственным, с кем он хотя бы намеками решался поговорить, оставался Луций Кальпурний Бибул — сынишка Порции, всей душой полюбивший приемного отца^[70]. Последней каплей, переполнившей чашу свалившихся на него неприятностей, стала ссора с Гаем Кассием Лонгином, мужем его сестры и самым близким из всей родни человеком^[71].

Кассия больно задело известие о том, что Брут будет назначен городским претором, тогда как ему самому достанется гораздо более скромная должность претора по делам иноземцев. По возрасту они оба, почти ровесники, годились для этих постов, однако Кассий, в отличие от Брута последовательно преодолевший все ступени классической почетной карьеры, накопил, конечно, больше опыта, чем брат его жены. Обо всем этом он прямо заявил Цезарю, который в ответ лишь загадочно улыбнулся:

— Не спорю, Кассий, твои слова справедливы, но, видишь ли, я хочу, чтобы городским претором стал Брут...

И Кассий пришел к выводу, что Марк и в самом деле заключил с диктатором постыдную сделку. Он высказал ему все, что думал, не выбирая выражений.

Оскорбленный Марк не остался в долгу. В результате вчерашние друзья вообще перестали разговаривать друг с другом.

Поразительно, но ни Гай, ни Марк, поддавшись гневу, так и не поняли, что Цезарь умело натравил их друг на друга. А догадаться было не так уж трудно...

Гай Юлий неспроста отдал два важнейших государственных поста своим недавним недругам, которые к тому же, как он точно знал, непозволительно близко стояли к Цицерону — противнику, всегда предпочитавшему действовать не напрямую, а в чьей-нибудь тени, и оттого тем более опасному. Он сознательно стремился скомпрометировать их в глазах республиканцев. Но этого ему показалось мало. Цезарь слишком хорошо знал обоих друзей; знал, что им достанет отваги бросить вызов кому и чему угодно, если будут задеты их принципиальные убеждения. Стоит им обоим выказать непокорность диктатору, римские граждане немедленно убедятся: оба претора по-прежнему остались нестигаемыми республиканцами. И тогда ничто не помешает им возглавить оппозицию. Ни подкупить, ни подчинить их своей воле он не мог — и решил их перессорить. Кассий и Брут представляли для него реальную угрозу только вместе, в тесном единстве. Гай Кассий... Нет, это был не тот человек, который способен внушить другим слепую веру, абсолютную преданность, восторженное восхищение, наконец, любовь — все то, без чего невозможно увлечь за собой людей на смертельно опасное дело. Что же до Брута... Да, он в избытке обладал всеми этими достоинствами, зато совсем не умел быстро принимать решения, пользоваться малейшей подвернувшейся случайностью, а при надобности — создавать ее. Кассий мог стать мозгом республиканской оппозиции, душу которой олицетворял бы Брут. По отдельности они были бессильны.

Осыпая милостями обоих будущих преторов, Цезарь в то же время настраивал против них своих приближенных. Однажды, когда кто-то из них попытался предостеречь диктатора против Марка Антония и Долабеллы, слишком рьяно взявшихся отстаивать требования плебса, Гай Юлий, указав на Кассия и Брута, произнес:

— Бояться надо не сытых и прилизанных. Бояться надо вот этих — худых и бледнолицых...

Действительно, Кассий, и без того не слишком упитанный, отдавшись во власть мстительной обиды, совсем потерял аппетит. Он без конца вспоминал то время, когда, несмотря на молодость, командовал целым республиканским флотом. Он так и не сумел полностью изгнать из сердца чувство стыда за то, что перешел в другой лагерь. Иногда его охватывала непереносимая тоска. Он горевал не о том, что они потерпели поражение. Он сожалел, что не сумел погибнуть. Катон пронзил себя мечом. Гней Помпей Младший бился до последнего и пал от руки врагов. Счастливчики! Прагматик до мозга костей, Кассий не питал иллюзий относительно истинной сущности сторонников Помпея и в прошлом сурово критиковал многих из них. Но все же... Лучшая часть его души, прибежище идеализма, твердила ему, что он не должен был сворачивать с раз избранного пути, но идти по нему до конца. И в сердце Кассия закипала ненависть к Цезарю. Зачем он сделал его жизнь невыносимой? Лучше бы просто отрубил ему голову!

Вспоминал он и еще один эпизод, в сущности, пустяковый, но приобретающий в его израненной душе значение важного события.

Кассий верил, что рано или поздно добьется высокой магистратуры, и, будучи человеком предусмотрительным, приобрел по случаю для будущей избирательной кампании, непременно включавшей

устройство зрелищ для народа, прекрасных львов, уплатив за них бешеные деньги. Он держал животных в Мегаре, полагая впоследствии переправить их в Рим. Увы, вскоре на Мегару напало войско Цезаря, и перепуганные жители города не придумали ничего умнее, как выпустить хищников из клетки. Очевидно, львы в душе оказались цезаристами, потому что бросились они не на захватчика, а на самих горожан. В конце концов легионеры Гая Юлия изловили своих неожиданных четвероногих союзников и преподнесли их в дар императору для грядущего триумфа.

Унижение, пережитое из-за предложенной второстепенной претуры, всколыхнуло в душе Кассия воспоминание о том, как Цезарь украл у него львов. Поделиться своими огорчениями с близкими он не мог — его заподозрили бы в обыкновенной зависти. Да, Кассию было от чего потерять аппетит и утратить цвет лица...

С Брутом происходило то же самое, но по причинам куда более серьезным, чем у Кассия. Заблуждения последних месяцев понемногу начали рассеиваться, и настала горькая пора крушения иллюзий. Он все еще отказывался верить зловещим предсказаниям Цицерона, считая его просто желчным стариком, но события последних недель заставили его на многие вещи взглянуть по-новому.

Марк с ужасом осознавал, что произошло одно из двух: либо он жестоко просчитался в оценке Цезаря и его целей, либо Цезарь резко изменился.

На самом деле целиком ставить Бруту в вину его недавнее ослепление было бы несправедливо: после возвращения из Испании с Цезарем действительно произошла крутая перемена. Он больше не считал необходимым притворяться перед возможной оппозицией. Он сбросил маску, и за ликом вдохновителя

национального примирения проступили ненавистные Бруту черты тирана.

Метаморфозы начались в октябре 45 года.

Цезарь праздновал пятый триумф — в честь победы над Испанией. Предыдущие четыре, состоявшиеся годом раньше, вылились в истинное ликование: римляне славили победу над Галлией и Востоком. На сей раз, однако, все обстояло иначе, ведь речь шла о победе в гражданской войне. Римский император справляет триумф победы над другими римскими императорами... Какое уж тут национальное примирение...

Именно тогда Брута впервые посетили сомнения. В хвосте процессии, там, где обычно ведут побежденных и где год назад шагали закованный в цепи Верцингеториг и сестра Клеопатры Арсиноя, теперь несли карикатурный бюст Катона и таблички с оскорбительными надписями. Марку стало дурно. Он, кажется, только теперь понял, почему в свой последний вечер в Утике его дядя милости победителя предпочел смерть. Самоубийство Катона, прежде казавшееся ему жестом упрямого глупца, вдруг предстало перед ним в новом свете — как протест гордой души против низости окружающего мира. Пусть боги и удача на стороне Цезаря, он, Катон, все равно останется на стороне Рима и Свободы. Неужели его дядя, этот сварливый педант с отвратительным характером, в решающую минуту жизни действительно повел себя как настоящий герой?

Сегодня и ему открылась истина, которой владел его умерший дядя — никакая смерть, никакая боль не сравнятся с душевной мукой римского гражданина, которого волокут в цепях по улицам Рима.

Как Цезарь допустил такое? Когда Марк вернулся домой и взглянул в полные слез глаза Порции и ее сына, он почувствовал, как в его душе поднимается мощная волна протеста.

Впрочем, не один он вознегодовал при виде диктатора, празднующего победу над согражданами.

Когда колесница Цезаря проезжала мимо возвышения, на котором сидели народные трибуны, все они поднялись и стоя приветствовали его. Все, кроме одного. Публий Понтий Аквила не пожелал рукоплескать диктатору.

Аквила никогда не скрывал своей приверженности Помпею и после поражения его партии лишился почти всего, чем владел. Конфискованное у него имущество (очередной скандал!) досталось Сервилиии. Остановив колесницу напротив непокорного трибуна, Цезарь тем же резким голосом, каким привык отдавать боевые команды, прокричал:

— Что же ты молчишь, трибун Аквила?! Выпроси у меня что-нибудь, хотя бы Республику! И с перекошенным от злобы лицом двинулся дальше.

Вскоре произошел еще один случай.

Цезарь заказал самому модному тогда драматургу Лабьеру²⁸ театральную пьесу. Этот 60-летний всадник пользовался всеобщим уважением. Его возмутил приказ Гая Юлия лично выступить со сцены с монологом. Роль простого гистриона не могла не показаться оскорбительной человеку его возраста и общественного положения. Тем не менее Лабьер согласился исполнить волю диктатора, но не потому, что боялся его гнева. Он кое-что замыслил. Закончив чтение монолога, он обратился к зрителям с такими словами:

— Римляне! Отныне мы утратили свободу. Но знайте: тот, кого боятся многие, сам должен бояться многих!

Фактически Лабьер во всеуслышание обвинил Цезаря в стремлении к тирании, но тот не посмел его наказать, иначе ему пришлось бы признать, что драматург прав. С мелочной мстительностью, приступы

которой ему порой случалось испытывать, он всего лишь лишил автора пьесы положенного денежного вознаграждения.

Зловещее предупреждение старого всадника не прошло мимо ушей Брута. Неужели Рим и в самом деле утратил свободу? А он, потомок первого консула, не сделал ничего, чтобы этому помешать...

От сомнений и тревог он потерял не только аппетит, но и сон. По ночам, устав ворочаться в постели, он уходил в свой кабинет. Жалея рабов, сам зажигал лампу и подолгу сидел над книгой или рукописью. С каждым днем ему все яснее становилось, что его недавние мечты — обман. С каждым днем всевластие Цезаря делалось ощутимее. Остановится ли Гай Юлий? Или кто-то должен его остановить? Занималась заря, и измученный бессонницей Брут вновь и вновь вглядывался в запечатленные на портретах лица своих славных предков-тираноборцев. Цицерон ошибался: он вовсе не выбросил на помойку эти картины. Страшные мысли бродили у него в голове. Много лет назад, еще юношей, он так же размышлял о достойном отпоре Помпею. Но он уже давно не юноша. Ему сорок лет. У него есть жена, которую он любит, и мальчик, которого он считает своим сыном. И теперь ему ведомо то, чего он не знал в молодости — ужас, который испытываешь, протыкая мечом живую плоть другого человека.

Иногда ему чудилось, что Луций Юний и Сервилий Агала смотрят на него с презрением, как на жалкого отпрыска великого рода. Их души, казалось, шепчут ему свои проклятия. Может, он просто сходит с ума? Но наступал новый день, и призраки исчезали, уступая место яви, едва ли не такой же зловещей, как самый жуткий ночной кошмар. Странно! Он, всегда легко заболевавший от нервного перенапряжения, теперь физически чувствовал себя крепким. Душа его страдала, а тело, закаленное в заботах последних лет,

оставалось выносливым. Его как будто поддерживал какой-то внутренний жар. Ему уже стало ясно: речь идет об исполнении долга.

Гай Юлий сосредоточил в своих руках огромную власть. Кроме звания диктатора, он добился провозглашения пожизненным цензором и трибуном, что гарантировало ему личную неприкосновенность. Возродив старинный обычай, отныне он носил пурпурную, расшитую золотом тогу, красные с золотом кожаные сандалии и восседал не в обычном курульном, а в обитом золотом кресле. Всем желающим он объяснял, что соблюдает этрусскую традицию, но Брут понимал истинное значение всех этих атрибутов. Тога, обувь, трон — все это были символы царской власти, той самой власти, которую сверг его далекий предок после преступления, совершенного над Лукрецией.

Цезарю и этого казалось мало. Тарквинии носили царский титул, но даже они не смели считать себя богами. Гай Юлий пошел и на это.

Он уже добился того, чтобы в его честь ежегодно устраивались официальные публичные молебствия. Затем основал пятилетние игры, начал сооружение храма. Поначалу шли разговоры, что это будет храм, посвященный богине Милосердия и воздвигнутый в знак национального примирения. Однако вскоре выяснилось, что строится храм Милосердия Цезаря. Брут вспомнил о нем, когда наблюдал, как во время триумфального шествия воины тащили бюст его дяди, и рассмеялся горьким смехом, незаметно перешедшим в глухое рыдание.

Цезарь также начал перестройку святилища Венеры Победоносной, покровительницы рода Юлиев. В городе болтали, что рядом со статуей богини диктатор задумал поставить еще две: одну — собственную, а вторую — Клеопатры, той самой «египетской потаскухи», которая уже во второй раз приехала в Рим. В довершение всего

он потребовал, чтобы народ признал его божественное происхождение и почитал его под именем Юпитера Юлия. Это означало, что любые его приказания, подобно воле богов, должны отныне исполняться безоговорочно.

Все эти затеи могли бы показаться смешными, если бы не их глубокая политическая подоплека, которую прекрасно видел Брут, как и многие другие римские граждане. Все, что предпринимал в эти дни Цезарь, имело вполне определенную цель. Он вовсе не стремился к восстановлению римской монархии, нет, он мечтал установить в империи монархию восточного типа — нечто среднее между правлением фараонов, с которым подробно ознакомился благодаря Клеопатре, и эллинистическими царствами. Гай Юлий уже вполне серьезно мнил себя одним из царей-богов, которые не подчиняются никому. Перед их тронном подданные падают ниц, не смея даже глядеть на земное воплощение божества.

Чудовищность происходящего настолько потрясла Брута, что порой он начинал сомневаться, не сходит ли с ума. Или это Цезарь утратил рассудок?

О нет, Гай Юлий знал, что делает. Умело и четко он перестраивал всю государственную систему, обеспечивая себе полный контроль над каждым ее винтиком. Он уже держал в руках и торговлю, и казну, и чеканку денег. Появилась новая золотая монета, украшенная его профилем. Не безумие, а тонкий ум помогли ему превратить римский сенат в собрание говорунов, лишенных реальной власти. Он отнял у сенаторов даже право составлять списки кандидатур перед выборами консулов и преторов. Он единолично решал вопросы войны и мира, управления провинциями и колониями, взаимоотношений с союзниками. Отнюдь не глупец, он вызвал из Александрии лучших звездочетов и приказал им разработать реформу

календаря, в котором теперь появился високосный год. Так же тщательно он готовился к весеннему военному походу, намереваясь отомстить за разгром Красса, пройти путем Александра, покорить Парфию и по широкой дуге вернуться через Германию и Галлию, мимоходом завоевав пока неведомые страны Центральной Европы.

И он ни секунды не сомневался, что заставит всех вокруг плясать под свою дудку, потому что видел в людях лишь послушное орудие своей воли.

Впрочем, он имел на это все основания. Ни один человек, кроме старика-драматурга Лабьера и гордого трибуна Аквилы, не смел ему перечить. Но даже к этим смельчакам он испытывал высокомерное презрение. После стычки с Аквиллой, появляясь на заседании сената, он взял привычку насмешливо склоняться в сторону, где сидел Публий Понтий, и издевательским тоном говорить:

— Если трибун Аквила позволит, я сообщу вам, отцы-сенаторы...

И трусы-сенаторы угодливо хихикали в ответ.

Давно миновали времена, когда полководец Марк Петрей, разгромивший войско Каталины, мог бросить Цезарю, попытавшемуся арестовать Катона:

— Будь добр, Цезарь, арестуй и меня. Я предпочитаю быть в темнице с Катонем, чем в сенате с тобой.

Да, давно миновали времена Катона и славные дни Республики. Брут все чаще ловил себя на мысли, что без конца вспоминает своего дядю. При жизни он не только не уважал, он ненавидел его. Теперь же ему внезапно начало открываться все мрачное величие этого человека. Видно, чтобы побороть охватившее всех вокруг безумие, требовался деятель именно такой закалки.

Между тем происходили совсем уж дикие вещи. Трибун Гельвий Цинна предложил народному собранию проект закона, по которому диктатор, не разводясь с Кальпурнией, имел бы право взять в жены еще одну, а то и нескольких женщин, дабы обзавестись наконец наследником. И никто не осмелился протестовать...

На самом деле, за этой скандальной попыткой узаконить лично для Цезаря полигамию стояли вполне серьезные причины: диктатор мечтал о сыне.

В Риме в это время находилась Клеопатра. Вместе с маленьким Птолемеем, которого она вопреки запрету Цезаря публично именовала Цезарионом, ее с царскими почестями устроили прямо в доме верховного понтифика, служившем официальной резиденцией главы государства. И Кальпурнии приходилось делить кров с любовницей мужа и его незаконнорожденным сыном и выслушивать насмешки египтянки над своим бесплодием.

Оскорбление, наносимое высокородной римлянке и к тому же безупречно добродетельной супруге, переходило грань обычного скандала. За спиной Цезаря все громче звучал недовольный ропот его сограждан. Пятидесятилетний диктатор слишком легко попал под каблук двадцатидвухлетней красавицы, ради ее восточных чар он предал Рим. Может быть, он готов пойти еще дальше? Может быть, дело не только в тоске стареющего человека, похоронившего единственную дочь и жаждущего испытать радость отцовства? Может быть, он, мечтающий сравняться славой с Александром, уже видит себя основателем династии, и ему нужен не просто сын, но кровный наследник, которому он передаст с таким трудом завоеванную власть?

Рим никогда не признает Птолемея Цезариона — это Цезарь понимал. А что, если он задумал разделить империю, отдав сыну Клеопатры Восток и оставив Запад другому отпрыску, пока еще не рожденному?

Поведение диктатора позволяло строить самые смелые догадки. Он с каждым днем становился все раздражительнее, все самоувереннее, все высокомернее. О своих грядущих планах он рассуждал теперь с таким откровенным цинизмом, что приводил окружающих в изумление. Он больше не скрывал своего презрения к республиканскому строю, считая его устаревшим. «Я вам не Сулла, — холодно улыбаясь, говорил он. — От меня вы отречения не дождетесь».

Слыша подобное, Брут чувствовал, как его охватывает смятение. Теперь он больше не сомневался в том, что совершил ужасную ошибку. Как последний болван, он поверил хитрому махинатору, стал его невольным сообщником и помогал ему — нет, не очистить от грязи авгиевы конюшни Римской республики — но разрушить ее.

Как хотелось бы Марку убедить себя, что все не так уж страшно, что крайности, допускаемые Цезарем, — всего лишь срывы не очень здорового человека. Диктатор ведь и в самом деле выглядел в последние недели неважно — похудевший, изможденный, с заострившимися чертами лица. Он почти совсем облысел, и приближенные с усмешкой шептались у него за спиной, что диктатору повезло — как триумфатор, он имеет право повсюду ходить в лавровом венке, скрывая от любопытных взоров огромную плешь на голове. Да, Цезарь болен, в этом больше не приходилось сомневаться.

Брут знал, что в последние полтора года у диктатора участились припадки священной болезни — эпилепсии, которую он больше не мог скрывать от окружающих. Он боялся, что недуг настигнет его на публике, и с ужасом прислушивался к себе, каждую минуту готовый уловить признаки надвигающегося приступа — головную боль и дурноту. Этим частично объяснялись и его озлобленность, и его вспышки гнева,

и его агрессивность. Иногда он вдруг начинал предвещать, что дни его сочтены. Первое, что он сделал по возвращении в Рим, — составил завещание и по патрицианскому обычаю вручил его на хранение старшей весталке. Правда, в другие дни его неожиданно охватывало воодушевление, и тогда он делился с близкими грандиозными планами, словно забыв, что ему уже давно не 30 лет. Врачи в один голос твердили ему, что лучшее средство избавиться от припадков — физическая активность, и уверяли, что утомительный военный поход — это именно то, что ему нужно^[72]. Может быть, избавившись от болезни, Цезарь снова станет самим собой?

Обо всем этом и размышлял Брут бессонными ночами, пока весть о новой затее Цезаря не лишила его последних иллюзий и не заставила осознать, что очень скоро ему придется сделать решающий выбор.

Мысль об убийстве диктатора в это время у него даже не мелькала. Когда Марк говорил себе, что близится пора совершить самый важный в своей жизни шаг, он имел в виду необходимость покончить с собой. Какой бы ужасной ни представлялась ему смерть, особенно когда он смотрел на мирно спящую Порцию, наверняка не догадывающуюся, какие бури бушуют в сердце ее мужа, она меньше страшила его, чем политическое убийство. При всем своем идеализме Марк не мог не видеть за маской тирана живого человека, убийство которого всегда ужасно, даже если человек этот заслуживает смерти. Впрочем, ему, вечному мечтателю, никогда не удалось бы разработать план реального политического преступления. Искать соучастников, продумывать детали нападения — нет, этими талантами он не обладал. Единственный выход, к которому он примеривался, был навеян не образом героического предка Сервилия Агалы, а образом

погибшего Катона. Да, Марк рассматривал свой меч и прикидывал, как вонзит его в тело. Не Цезаря. В свое собственное.

Если пробудить уснувшую совесть римлян способен только мертвый — что ж, он готов умереть.

Настал январь 44 года. Брут подумывал о самоубийстве, но кое-кто из его соотечественников уже замышлял убийство.

В краткое отсутствие Цезаря, отбывшего на отдых в Кампанию, сенат, желая подольститься к диктатору, принял целый ряд необычных постановлений, возвеличивающих его сверх всякой меры. Посреди этого когда-то достойного собрания мужей раздался всего один голос протеста, и этот голос принадлежал Гаю Кассию Лонгину.

Весть о смелом выступлении шурина вселила в Марка двойственное чувство. Он восхищался отвагой Гая, но в то же время испытывал недовольство. На протяжении последних трех месяцев Кассий слишком часто позволял себе резкие высказывания в адрес диктатора, поэтому многие восприняли его бунтарство не как акт политической воли, а всего лишь как выражение личной неприязни. У Кассия, сожалел Брут, прямо-таки талант испортить самое лучшее начинание. Впрочем, какое он имел право его критиковать? Он считал подобные действия глупыми и бессмысленными, но что сделал он сам? Всего лишь демонстративно не явился на заседание сената. Что им двигало? Разумная осторожность? Или трусость?

Вскоре Цезарь вернулся в Рим. Сенаторы устроили ему торжественный прием и сообщили о результатах голосования. Он не снизошел до благодарности. Но самое главное, он слушал доклад отцов-сенаторов сидя. Кое-кому из них это показалось уж слишком, и несколько человек покинули зал заседаний в разгар церемонии.

Гай Юлий не хотел скандала. Он поспешил объяснить сенаторам, что не смог подняться с кресла только из-за того, что у него отнялись ноги. Пожалуй, Марк и поверил бы этому, если своими глазами не видел, как лучший друг диктатора испанец Бальб удержал того в кресле, и своими ушами не слышал, как он ему говорил:

— Гай, вспомни, кто ты таков, и не вздумай вставать!

Часом позже Марк наблюдал, как Цезарь, чудесным образом исцелившийся, преспокойно шагал домой через весь Форум.

Это означало только одно: Цезарь намеренно нанес оскорбление сенату, а все его извинения не более чем уловка. Он никогда не любил идти напролом, если чувствовал сопротивление, и предпочитал обходные пути.

Январские события породили в городе волну самых разноречивых толков. Правда ли, что Цезарь рвется не только к царской власти — ее он практически получил, но и к царскому титулу? Правда ли, что он, как начали подозревать многие и как позже будет утверждать Сенека, одержим тем, что греки называли *hubris* — утратой чувства меры, этим бичом всех обладателей слишком большой власти? Забывая о пределах, положенных человеку, такие люди навлекают на себя гнев богов, и конец их бывает страшен... Что, если Цезарь и в самом деле задумал переворот, который разрушит все традиционные римские устои — и политические, и духовные, и философские, и религиозные? Или это его противники нарочно раздувают подобные слухи, чтобы вызвать в согражданах ненависть к пожизненному диктатору и погубить его? Пройдет всего несколько недель, и Марк Антоний охрипшим от рыданий голосом будет уверять толпу, что Цезарь никогда не стремился к царской

власти, а те, кто испугался этого, совершили жестокую ошибку. И глупая толпа ему поверит.

Однако это будет позже, а пока, в последние дни января, диктатор еще вел свою игру, выстроенную с четкостью военной кампании, и те, кто сумел разгадать ее скрытые пружины, действительно ужаснулись.

Все началось с незначительного, казалось бы, эпизода.

Однажды утром горожане обнаружили, что статую Цезаря, незадолго до того воздвигнутую перед ростральными трибунами, венчает царская диадема. Что бы это значило? Неужели плебс, мечтающий о царе, выразил таким образом свои чаяния? Тот, кто организовал эту акцию, пытался создать именно такое впечатление. Но кто же он, как не сам Цезарь? К этому бесспорному выводу пришли трибуны Гай Эпидий Марулл и Луций Цезетий Флав. На сей раз и им, как тремя месяцами раньше Аквиле, показалось, что диктатор зашел слишком далеко. Явившись на площадь, они с негодованием сорвали со статуи царский венец, а собравшейся вокруг толпе объяснили, что неизвестные злоумышленники хотели нанести оскорбление Юлию Цезарю. Диктатор разозлился, но сделать ничего не мог.

В конце января, как и каждый год, на Альбанской горе состоялись традиционные празднества — Латинские игры. Председательствовал на них Цезарь. 26 января он возвращался в город, как всегда, в своей пурпурно-золотой тоге. Народ встречал его овацией, скромной формой триумфа. Как обычно в таких случаях, на улицы согнали многочисленную клаку, в ряды которой затесались и обыкновенные зеваки. Они еще не знали, что их ожидает сюрприз. Как только толпе показалась фигура всадника, из разных ее концов раздались громкие крики «Ave Rex! Ave Rex!», что означало «Да здравствует царь!».

Лицо Цезаря, уже готовое расплыться в широкой улыбке, внезапно омрачилось. Он надеялся, что толпа подхватит приветственные крики, но вместо этого увидел, что горожане настороженно молчат. Впрочем, скоро они опомнились и заглушили голоса платных агентов возмущенными воплями. Диктатор понял, что его попытка провалилась. Верный своему принципу не форсировать события, он мгновенно обуздал свое недовольство и, обращаясь к толпе, произнес:

— Вы ошибаетесь, друзья. Меня зовут Цезарь, а не Рекс.

У него действительно были дальние родственники по материнской линии, носившие имя Марциев Рексов. Все вокруг засмеялись, и напряжение спало.

Флав и Марулл, те самые трибуны, что неделей раньше сорвали венец со статуи Цезаря, этим не удовлетворились. Уверенные в своей неприкосновенности, они отдали приказ арестовать самого шумного крикуна. Им оказался известный агент Цезаря.

Если диктатор встанет на его защиту, рассуждали они, всем станет ясно, кто организовал эту выходку. Если он сделает вид, что не причастен к случившемуся, его сторонникам это очень не понравится. Казалось бы, беспроектный ход.

Однако трибуны не учли, что расклад сил в государстве давно изменился, и не в их пользу. Действуя через еще одного трибуна, своего верного Гельвия Цинну, Цезарь арестовал Марулла и Флава, предъявив им обвинения в клевете на диктатора и подстрекательстве плебса к мятежу против законной власти. За такие преступления полагалась одна кара — смерть.

Парализованные ужасом сенаторы послушно утвердили приговор.

Но Цезарь вовсе не жаждал крови трибунов. Убедившись в своей всемогущести, запугав всех хорошенько, он объявил, что дарует виновным жизнь и заменяет смертную казнь на ссылку с конфискацией имущества. Вот оно, милосердие божественного Юлия!

Потрясенный, Брут наблюдал, как разыгрывалась эта гнусная комедия. Он снова пропустил заседание сената, что в сложившихся обстоятельствах выглядело уже чуть ли не героизмом, но он не чувствовал удовлетворения. Ему было стыдно.

Как они посмели обвинить Марулла и Флава? Вся вина трибунов заключалась лишь в том, что они исполнили свой долг. Вступая в должность, каждый из них принес священную клятву хранить римскую политическую систему и защищать сограждан от угрозы тирании. Судилище над ними — вопиющая несправедливость.

Брут терзался, не зная, что предпринять. Пойти к Цезарю, высказать ему в лицо все, что он о нем думает? Увы, это стало невозможно. Вот уже месяц, как Гай Юлий, одержимый страхом перед заговорщиками, не принимает ни друзей, ни знакомых. Он теперь покидает дом в окружении целого эскорта из вооруженных ветеранов-испанцев, готовых по первому знаку хозяина перерезать глотку кому угодно.

Эта охрана сама по себе — дурной признак. Каждый римлянин знает, что «сателлитами», вооруженными воинами, окружали себя греческие тираны. В свободном государстве, в городе, живущем нормальной жизнью, правитель не нуждается в охране: его защищает все население, и если какой-нибудь сумасшедший, иноземец или подосланный вражеский агент, попытается причинить ему зло, любой гражданин, не задумываясь, прикроет его своим телом. Еще во времена Каталины, злосчастного соперника Цицерона на выборах консула, весь сенат хохотал над Марком

Туллием, который явился на заседание под охраной, а под тогу надел кольчугу.

Как там говорил Лабиер в своей пьесе? «Тот, кого боятся многие, сам должен бояться многих». Очевидно, именно это и происходит с Гаем Юлием. Человеку с чистой совестью нечего опасаться своих сограждан. Если он и в самом деле не стремится к тирании, зачем ему бояться тираноубийц?

Нет, разговор с Цезарем ничего не изменит. Да и Брут уже давно выпал из круга его приближенных. Эти убежденные сторонники диктатора, никогда особенно не доверявшие Марку Юнию, наверняка обсуждали между собой его нарочитое отсутствие на обоих скандально известных заседаниях сената. Возможно, кто-то из них уже попытался насторожить Гая Юлия против него, потомка тираноборцев. Если б только они знали, какая жестокая борьба шла в его сердце, они поостереглись бы попусту болтать. Но никто об этом даже не догадывался. На людях Брут, как всегда, держался спокойно, а лицо его хранило непроницаемое выражение. Он, конечно, выглядел усталым, но не более того. Впрочем, и Цезарь в последние дни заметно сдал. Как-то раз, с неудовольствием разглядывая свои исхудавшие руки, он пробормотал:

— Недолго Бруту осталось ждать... Скоро это старое тело само обратится в прах...

Что он имел в виду? Не верил в опасность, исходящую от Брута, потому что не считал его достаточно отважным, или он полагал, что своими милостями купил его с потрохами?

«Нет столь выгодного рабства, ради которого я свернул бы со стези свободы!» — Брут не уставал повторять про себя эти слова. Он никогда не согласится стать рабом, даже если ценой свободы будет жизнь. Вот только Порция... А разве с утратой свободы он не

потеряет и Порцию? Дочь Катона никогда не будет женой раба.

Дух самопожертвования все сильнее завладевал мыслями Марка. Если ему суждено умереть, он умрет. Но он не собирался умирать глупо, не собирался раньше времени выдавать свои тайные побуждения.

Назавтра после позорного судилища, устроенного над трибунами Маруллом и Флавом, поздним вечером, под покровом темноты, к дому Брута тихо подошли несколько человек. Это были члены сената. Марк принял их. Оказалось, они принесли с собой петицию, в которой содержалось предложение выдвинуть кандидатами на консульские выборы будущего года обоих изгнанных трибунов.

Какое благородство! Какое уважение к законности! И какая непроходимая глупость!

Брут наотрез отказался подписывать документ, и просители удалились в убеждении, что Брут — настоящий перебежчик, если только не отъявленный трус.

Он не стал им ничего объяснять. Если людям хочется верить, что с помощью петиций можно противостоять тирану, что ж, это их право. Он не намерен включать свое имя в список и подставлять себя под удар.

Брут сознавал, что должен действовать иначе, хотя еще не очень хорошо представлял, как именно. Во всяком случае, участвовать в идиотских затеях он не будет. Он постарается сохранить свое важное преимущество: его пока ни в чем не подозревают.

Да, после ухода сенаторов он с особенной остротой ощутил свое одиночество. Да, он прочел в их глазах почти не скрываемое презрение. Да, он не смел открыться даже Порции и избегал оставаться с ней наедине, лишая себя единственной радости в жизни.

Он еще не знал, что сделает. Он лишь понимал, что должен остановить Гая Юлия Цезаря.

Последствия его отказа подписать петицию в защиту сосланных трибунов не заставили себя долго ждать. Начиная со следующего дня, являясь по утрам в здание претории для отправления служебных обязанностей, он стал находить в своем кабинете записки примерно одного и того же содержания. «Ты спишь, Брут, а Рим уже примеряет цепи», — говорилось в одной, найденной под стулом. «Нет, ты не из породы истинных Брутов!» — укоряла другая, ловко засунутая между свитками с судебными делами.

«Ты спишь, Брут...» Это он-то, который уже долгие недели мучится жестокой бессонницей! Но еще более ранили его записки, в которых подвергалось сомнению его право носить имя Брутов. В этих посланиях ему чудились оскорбительные намеки на сомнительность его происхождения, на добродетель его матери. Если бы только сочинявший их знал, каким грузом всю жизнь висело над Брутом его собственное имя! Каким легким и приятным стало бы его существование, если бы не тени великих предков!

Он догадывался, что за развернутой против него таинственной кампанией должен кто-то стоять. Чего же от него добиваются? Чтобы он совершил глупость? Чтобы под влиянием гнева и оскорбленного самолюбия допустил непоправимую ошибку? Может быть, это тонко продуманная провокация? Но кто ее организатор? Оппозиция? Или окружение Цезаря? Недоброжелателей у него хватало. Каждый из тех, кто завидовал свалившимся на него милостям, с удовольствием поставил бы ему ловушку.

Внешне Брут ничем не выдавал своего волнения. Он даже не выспрашивал у писцов, кто заходил в кабинет в его отсутствие и мог подбросить записки. Со свойственной ему добросовестностью он продолжал

отправлять правосудие. Если кто-нибудь из помощников участливо интересовался, отчего он выглядит таким бледным и изможденным, он ссылался на дурное самочувствие, не слишком заботясь о том, насколько правдоподобно звучат его слова.

Между тем Брут и в самом деле был болен, хотя пожирающий его недуг носил не физический, а нравственный характер. К ежедневной порции укоризненных записок добавилось еще кое-что. На пьедестале статуи ниспровергателю Тарквиниев Луцию Юнию Бруту каждое утро стали появляться надписи: «Вернись, консул!», «Если бы ты был жив!», «Нам тоже нужен Брут», «Да ниспошлют нам небеса нового Брута!» и т. д.

Марк стал избегать публичных мест. Он устал ловить у себя за спиной возбужденный шепот, в котором неизменно слышались имена его героических предков. Тем не менее городской претор никак не мог позволить себе не появиться на празднествах в честь Луперка, с древних времен ежегодно устраиваемых в Февральские иды^[73], в конце зимы и в преддверии весны, и непременно включавших очистительные обряды, в том числе обряд изгнания лемуров — духов усопших, нуждавшихся в помощи живых, дабы обрести вечный покой.

По традиции во время луперкалий жрецы культа — луперки, в большинстве своем молодые и сильные мужчины, совершали пробежку через весь город. Бежали они почти обнаженными, в набедренных повязках, сделанных из меха. Луперки служили олицетворением возрождающейся природы, ее вечного обновления и в то же время воплощением неподвластных человеку стихий, возникших задолго до появления человеческой культуры. Символика луперкалий подразумевала двойственность, в ней

сплетались добрые и злые силы, жизнетворное начало и элемент хаоса. С добрым началом был связан обряд плодородия. Молодые бездетные женщины собирались тесной группой на пути движения жрецов бога Фавна, которые на бегу размахивали ремнями козловой кожи. Женщина, которой коснется хотя бы краешек такого ремня, могла быть уверена: наступающий год подарит ей счастье материнства.

Цезарь явился на празднества вместе с Кальпурнией. Многие слышали, как он грубо сказал жене:

— Постарайся хотя бы занять место получше, когда мимо будут пробегать луперки!

И тут же, обращаясь к Марку Антонию, три месяца назад вошедшему в коллегию жрецов учрежденного Цезарем юлианского культа, добавил:

— Смотри же, Марк, не забудь ее коснуться!

Как выяснилось позже, он поручил Марку Антонию не только это.

Приблизившись к трибуне, где сидел Цезарь, луперки-юлиане возложили к его ногам царскую диадему. Затем один из них, жрец по имени Лициний, забрался на возвышение, поднял диадему и водрузил ее на плешивую голову диктатора вместо лаврового венка. Цезарь старательно разыграл удивление. Он вопрошающе воззрился на своего начальника конницы, Марка Эмилия Лепида, но тот, заранее отрепетировавший свою роль, стоял не двигаясь и молча рукоплескал. Рассеянные в толпе клакеры громкими криками выражали свой восторг.

Пораженные римляне наблюдали за разыгравшейся на их глазах сценой в полном молчании. На всех как будто напал какой-то ступор. Никто не возмущался, никто не протестовал. Казалось, еще несколько секунд, и случится непоправимое — Цезарь будет провозглашен царем Рима.

Кассий тоже сидел на трибуне, сразу за диктатором, как и полагалось претору по делам иноземцев. Он смотрел не на Цезаря. Его гневный взгляд буравил Лепида и Брута, его родственников. Лепид выглядел довольным, а Брут просто застыл, словно охваченный внезапным параличом. Тогда Кассий вскочил со своего места, снял диадему с головы Цезаря и опустил ее ему на колени. Зубы его при этом скрипели, и каждому становилось ясно — с ним лучше не шутить²⁹.

Гай Кассий Лонгин еще раз доказал, что смелости ему не занимать. Но почему Брут не опередил его и сам не сдернул с Цезаря царский венец? Потому что это было бы ошибкой. В какой-то момент он вдруг понял, что Кассий, сам того не сознавая, играет в этой комедии заранее отведенную ему роль. Нет, не сегодня Гай Юлий Цезарь жаждет быть провозглашенным монархом. Пока это не более чем репетиция. Так и оказалось. Прошло несколько мгновений, и на трибуну поднялся Марк Антоний. Он взял корону и снова возложил ее на голову Цезаря. Тот снял ее, выражая мимикой недоумение. Но Антоний знал, что делает. В помощь ему из первых рядов толпы неслись уже знакомые возгласы: «Ave, Rex! Ave, Rex!» Он снова завладел короной и попытался нацепить ее на диктатора. На сей раз Гай Юлий выхватил у него корону и отшвырнул ее от себя со словами:

— Ступайте лучше в храм Юпитера и венчайте его!

Он произнес это не случайно, ведь все знали, что Юпитер Юлий — это он сам. Цезарь, поджав тонкие губы, уже отдавал приказание своему писцу:

— Внеси в анналы, что сегодня мне трижды была предложена царская корона и трижды я от нее отказался!

Действительно, отказался. Но вот надолго ли?

Вернувшись домой, Брут еще раз обдумал все происшедшее и снова пришел к выводу, что присутствовал нынче на обыкновенной репетиции. Он слишком хорошо знал Цезаря, знал о его патрицианской гордыне. Разве того удовлетворит монарший венец, полученный из рук плебса? Он считался вождем партии популяров, в случае надобности заигрывал с плебсом, еще чаще использовал его в своих целях, но в глубине души глубоко презирал. И пусть Гай Юлий практически разрушил сенат, превратив его в послушное орудие своей воли, но он нуждался в этом органе власти, чтобы придать своему возвышению законный вид. Последний акт драмы будет разыгран не на Форуме, а в курии. И ждать его недолго — Цезарь уже сообщил, что намерен отправиться на Восток сразу после Мартовских ид.

Значит, остался всего один месяц.

Надо действовать. Как? Какими силами? С чьей поддержкой?

Больше всего Марку хотелось сделать все в одиночку, как когда-то сделал Сервилий Агала. Но он понимал, что это невозможно, ведь Цезаря постоянно сопровождает испанская охрана. Любое покушение в этих обстоятельствах станет всего лишь крайней формой протеста. И, конечно, самоубийством.

Брут не убьет Цезаря и даже не ранит его, это очевидно.

Зато сателлиты диктатора растерзают его на месте. В самом крайнем случае его схватят и казнят.

Что от этого выиграет Рим? Возможно, у людей откроются глаза на истинную природу нынешней власти. Возможно, начнется восстание. Возможно, он подаст другим пример.

Как знать, быть может, ему удастся даже пронять самого Цезаря и он откажется от своих честолюбивых планов? Каждый тиран живет в постоянном страхе перед тираноборцами. И если один из его близких

обернулся мстителем за Свободу, неужели он не поймет, что отныне никогда и нигде не сможет чувствовать себя в безопасности? Каково ему будет существовать под таким дамокловым мечом?

За это не жалко и умереть. Вот только неизвестно, случится ли то, на что он надеется. Есть ли еще в Риме люди, способные поднять восстание? Есть ли еще в Риме истинные римляне?

Если же искать поддержку, то где? Среди сенаторов, приходивших к нему с петицией? Печальный опыт в деле Веттия и неожиданная измена Куриона (Марк так никогда и не узнал, толкнула ли его на предательство трусость или он с самого начала служил Цезарю)^[74] научили его не доверять любителям и опасаться двойных агентов. Впрочем, после холодного приема, который он оказал сенаторам, вряд ли они согласятся поверить в искренность его намерений. Так что этот путь отпадает.

Может быть, Цицерон? Но ведь и он в деле Веттия повел себя далеко не блестяще. Этот человек обладал потрясающим талантом толкать других на глупости, в которых сам он никогда не принимал участия. Ни для кого в Риме не было секретом, что храбрость не относилась к числу добродетелей Марка Туллия. При малейших признаках опасности он легко впадал в панику и утрачивал даже свой несомненный ораторский дар. Единственный раз в жизни он, казалось бы, сумел подняться над своей слабостью и проявить себя в полном блеске, когда разоблачил заговор Каталины. Впрочем, по поводу этого заговора кое-кто в Риме намекал, что Цицерон нарочно сфабриковал дело против Каталины, в котором видел самого опасного противника из партии популяров. Да, в выдуманном заговоре, за ниточки которого дергал он сам, Марк Туллий мог проявлять чудеса храбрости... Но в реальной

жизни... К тому же он болтлив, как старая баба, от нечего делать проводящая часы возле фонтана. Он ни за что не сумеет держать язык за зубами, даже если от его молчания будет зависеть жизнь друга. Да и есть ли у него истинные друзья? В недавнем прошлом он отвернулся от Клодия и даже дал согласие свидетельствовать против него в суде. Дело еще одного своего друга, Тита Анния Милона, он проиграл, а потом воспользовался его ссылкой в Массилию и задешево выкупил втихомолку принадлежавшие тому владения. Нет, Цицерон не вызывает доверия. Особенно в последние недели, когда он, потеряв всякий стыд, изо всех сил старается подольститься к Цезарю. Именно он первым из сенаторов предложил воздать диктатору совершенно умопомрачительные почести. Конечно, в кругу близких он не устает повторять, что пошел на это с благородной целью — показать городу и миру, сколь далеко простираются тщеславие и гордыня Гая Юлия. Но Марк не обязан ему верить. Простая осмотрительность подсказывает, что в серьезном деле Марка Туллия лучше оставить в стороне.

Кассий? Но он так откровенно высказывает свои оппозиционные взгляды, что за ним наверняка следят. Да и не забыл еще Марк обидных слов, услышанных от друга во время ссоры из-за претуры. Почему он первым должен идти на примирение? Хотя, конечно, жалко, что не удастся опереться на силу и отвагу Гая Кассия Лонгина... Впрочем, есть еще одно соображение, по которому Кассия лучше пока не трогать. Если Марк погибнет, кто-то должен будет взять на себя заботу о Порции, маленьком Бибуле и Сервилии. И хотя у Гая полно недостатков, включая его несносный характер, на свете нет другого человека, которому Брут мог бы доверить защиту жены и матери. Значит, Гай обязан остаться в живых. Нет, он ничего не узнает о замыслах своего шурина.

Кто же остается еще? Пожалуй, всего двое. Его близкий друг Статиллий, эрудит и выученик «Сада»^[75]. С ним Марк с удовольствием вел долгие беседы о философии и рассуждал о различиях между учением Эпикура, которого придерживался Статиллий, и идеями Платона и Стои, близкими ему самому. И еще сенатор Марк Фавоний, друживший в свое время с Катоном. Именно он в самом начале гражданской войны на заседании сената нетерпеливо кричал Помпею, хвалившемуся, что, стоит тому топнуть ногой, ему на помощь явятся многочисленные легионы: «Топай ногой, Помпей! Топай, не мешкай!»

В эти тревожные дни Марк не случайно вспомнил о близком друге своего дяди. Его политические, философские и нравственные убеждения уже претерпели существенную эволюцию, и мысль о самоубийстве, которое принесет пользу Риму, все чаще искушала его.

Брут переговорил с обоими, но встреча не принесла ему ничего, кроме горького разочарования.

Разумеется, он вел себя осторожно. Ни словом не упоминая о своих истинных планах, он завел отвлеченный разговор о том, что такое тирания и какими способами можно ей противостоять. По всей видимости, его друзей эта хитрость не обманула. Слишком хорошо они оба знали Марка, и оба не на шутку перепугались. Статиллий всегда считал себя ученым, кабинетным затворником, и ни за какие блага в мире не согласился бы променять свой мир чистых идей на необходимость действовать. Что касается Марка Фавония, то он за эти годы заметно постарел, а после смерти Катона и вовсе сдал. Неизвестно, что именно двигало Статиллием и Фавонием — нежелание ввязываться в опасную затею, стремление отвратить молодого претора от напрасной, на их взгляд, и

бессмысленной жертвы, недооценка реального положения вещей, — но только оба они отказались обсуждать опасную тему.

Марк Фавоний, все еще не забывший ни Диррахий, ни Фарсал, ни Тапс, ни другие кровавые схватки, в которых римляне бились против римлян, тяжело вздохнул и сказал:

— Теперь-то я знаю, что любая власть, даже незаконная, даже монархическая, в сотни раз лучше, чем гражданская война.

И это говорил республиканец высшей пробы, едва ли не второй Катон!

А осторожный философ Статиллий глубокомысленно изрек:

— Мудрый и здравомыслящий человек, мой милый Марк, не станет подвергать себя опасностям и беспокойству ради блага людей глупых и ничего не стоящих.

Да, Статиллий не зря причислял себя к последователям Эпикура! Внутренний покой, личную безмятежность сторонники этого учения всегда ставили выше гражданского долга. Брут никогда не смог бы стать эпикурейцем...

Только юный Публий Антистий Лабен, также присутствовавший на встрече, с пылом, напугавшим его более старших друзей, принялся рассуждать о том, что нет ничего незаконного в применении силы против тирании и всякое восстание против нее оправданно.

Марк молча выслушал речи друзей, старательно пряча разочарование. Но когда стали расходиться, он долгим взглядом проводил Лабена. Может быть, может быть...

Впрочем, нет. Если придется действовать, он будет действовать в одиночку. Ни к чему рисковать чужими жизнями. И говорить он больше ни с кем не станет. Особенно с Порцией. Все последние недели он то и дело

ловил на себе ее взгляд, исполненный тревоги и печали...

К концу февраля Брут пребывал в убеждении, что он одинок, но он ошибался.

Если бы он не отгораживался с таким тщанием от людей, если бы обманчивые милости Цезаря не создали вокруг него пустоту, если бы он не внушил себе, что в городе, кишасщем агентами диктатора, никому доверять нельзя, он наверняка заметил бы, что оппозиция существует. Притязания Цезаря стали слишком явными, и далеко не все в Риме принимали их с восторгом.

Среди истинных римских патриотов находились и те, кто вчера поддерживал Помпея, и те, кто сражался на стороне Цезаря. Но независимо от своих политических пристрастий эти люди не могли безучастно взирать на то, что творилось вокруг, считая происходящее изменой римской традиции.

Во главе их стоял Гай Кассий Лонгин.

Под впечатлением недавней ссоры с шурином Брут не слишком серьезно воспринимал последние шаги Кассия, убежденный, что за этим крикуном наверняка ведется постоянная слежка. Однако провокационное поведение Кассия, шумно выражавшего свое недовольство диктатором, и последнего заставило недооценить исходящую от него опасность. Цезарь, определивший Кассия как лидера «официальной» оппозиции, не предполагал, что тот способен решиться и на тайную деятельность. И тем самым развязал ему руки.

В отличие от Брута Гай Кассий Лонгин не терзал себя нравственными исканиями и не задавался философскими вопросами о праве на убийство тирана. Он так ненавидел Цезаря, что и сам не сумел бы объяснить, что преобладает в его чувстве — политическое убеждение или личная вражда. Размышляя о возможном покушении, он не рисовал в

своим воображением грандиозных картин самопожертвования, но планировал операцию с расчетом на успех. Если не произойдет непредвиденной катастрофы — этой вероятности он не сбрасывал со счетов, — он надеялся выйти из переделки целым и невредимым.

Прощупывая окружающих на предмет их отношения к диктатору, Кассий и не думал прибегать к иносказаниям. Он напрямую заявлял, что ищет помощников для организации заговора против Цезаря. Разумеется, собеседников он подбирал с большой осмотрительностью, ибо глупцом Кассий не был ни в коем случае.

Этот способ действий оказался весьма эффективным. Очень скоро он убедился, что его готовы поддержать несколько десятков человек. Те же, кто отказался участвовать в заговоре, дали слово хранить молчание^[76].

В этом отличном плане оставалось единственное слабое место — личность самого Кассия.

Будущие заговорщики высоко оценивали его военные таланты, но заблуждались относительно побудительных мотивов своего лидера. Хотя Кассий и кричал на всех углах о том, что Цезарь несправедливо отдал другому должность городского претора, а в недавнем прошлом украл у него львов, на самом деле им двигали совсем другие, более благородные побуждения. Увы, убедить в этом остальных ему удавалось не вполне.

Между тем настрой общественного мнения, считали заговорщики, играл огромную роль. Каждый из них имел ту или иную личную причину ненавидеть Цезаря, но им меньше всего хотелось, чтобы их предприятие, задуманное как акт справедливости и патриотизма, приравнивалось согражданами к заурядной мести. Ни

один из них не мог похвастать безупречной репутацией, способной отмести прочь любые намеки и подозрения. Они нуждались в таком вожде, который стоял бы выше всякой критики.

В Риме, да и во всей империи был всего один человек такого замеса, и этого человека звали Марк Юний Брут. Еще когда он, вопреки личной неприязни, примкнул к Помпею, он доказал, что ставит общие интересы выше всего на свете. Напротив, к Цезарю он не питал никакой личной вражды. Следовательно, все его поступки, как в прошлом, так и в будущем, определялись и будут определяться лишь одним — благодеянием Рима.

Устранение Гая Юлия ни в коем случае не должно стать обыкновенным убийством. Его казнь будет выражением воли всего города. И только Марк Юний Брут — глава всей римской судебной системы, человек с незапятнанной репутацией — способен придать заговору вид законности и облагородить его.

— Здесь нужны не ловкость и отвага, а доброе имя Брута! — твердили Кассию друзья. — С ним все наше дело будет выглядеть правым. Если же его не будет с нами, значит, скажут люди, он отказался нас поддержать, потому что не верил в чистоту наших помыслов.

Слушая эти речи, Гай Кассий болезненно морщился. Он привык во всем считать себя выше Марка, и его самолюбие страдало, вынужденное мириться с моральным превосходством шурина.

Впрочем, Кассий колебался недолго. Какое значение имеют их личные взаимоотношения перед лицом столь великой цели! Ведь речь идет даже не о Юлии Цезаре как человеческой личности, речь идет о спасении Рима. Если они не вмешаются, Цезарь погубит Рим.

Для них Цезарь прежде всего оставался не гарантом спокойствия и величия Города, а его разрушителем.

Пусть история впоследствии назвала его великим государственным деятелем, в глазах Кассия и других участников заговора он совершил недопустимое: посягнул на Республику, обычаи и традиции целого народа. Цезарь мыслил мировыми категориями и мечтал о новых завоеваниях. Заговорщики не видели ничего кроме своего бесценного Города. Возможно, и они понимали, что существующий строй изжил себя и не годится для управления гигантской империей, но Рим значил для них слишком много. Может быть, грядущие судьбы мира и в самом деле будут решаться в Александрии, Пергаме и Афинах, у них же есть только Рим, и им не нужно ничего кроме Рима. Римские граждане до мозга костей, они не хотели превращаться в хозяев космополитической империи. Рим был их силой, их гордостью, ради Рима они жили, ради него, не дрогнув, пошли бы на смерть. Пусть сгинет империя, лишь бы сохранились Рим, римские граждане и римская свобода!

Цезарь давно перешагнул узкие рамки подобных рассуждений. Когда-то и он, воюя с галлами, думал лишь о том, какое впечатление произведут его победы на собравшуюся на Форуме толпу, с помощью которой он добьется нового консульства и проведет кое-какие преобразования. Но с тех пор многое изменилось. Он успел побывать в совершенно другом мире и проникся его очарованием. Образ Александра, неотступно занимавший его мысли, толкал его к смелым мечтам о завоевании мира. Он чувствовал, что Рим ему тесен. Его пленила не только прелестная Клеопатра, его без остатка захватил Восток — с его жизненным укладом, с его философией. Нет, когда он покорит мир, он не станет делить его между своими согражданами. И вовсе не Рим станет центром новой вселенной^[77]. Цезарь давно перестал ощущать себя римлянином, мало того,

он понемногу переставал ощущать себя просто человеком. Сознание собственного превосходства заставляло его взирать на остальных с космических высот. Какая разница, как они себя называют, эти копошащиеся внизу людишки, — римлянами или греками, египтянами или сирийцами? Для него они не больше чем стадо, во всем послушное его воле.

Для Кассия признать вероятность такого будущего означало отречься от всех принципов, обеспечивших величие Рима и завещанных предками. Чтобы не допустить этого, он согласился бы на что угодно, включая необходимость забыть о ссоре с Брутом. Он не кривил душой, когда утверждал, что не видит, в чем состоит превосходство Брута над ним самим, но если все вокруг наперебой твердят, что так оно и есть, что ж, он не станет больше спорить.

Удобного предлога не пришлось и выдумывать. В будущем месяце старший сын Кассия готовился впервые надеть мужскую тогу. Для римских юношей это событие знаменовало вступление в возраст совершеннолетия. Согласно обычаю, на торжественную церемонию, сопровождавшую первое появление нового римского гражданина на Форуме, собирались не только все его родственники-мужчины, но и друзья, и клиенты семьи. Чем внушительнее выглядел праздничный кортеж, чем больше видных граждан находилось среди гостей, тем больше чести полагалось фамилии юноши. И разве мог Кассий отказать сыну в удовольствии пригласить на его праздник городского претора?

Несмотря на свой неуживчивый характер, Гай Кассий Лонгин обладал одним несомненным талантом: он умел искренне каяться в своих ошибках и легко добивался прощения. Стоило ему лишь заговорить с Марком, как тот уже бросился его обнимать, уверяя, что давно забыл обо всех глупостях, сказанных в минуту гнева. Разумеется, подтвердил он, он непременно

придет поздравить племянника с обретением мужской тоги. Когда это будет?

В Мартовские иды, рано утром.

День был выбран не случайно. По официальным данным, 18 марта, на заре, Цезарь собирался покинуть Рим и двинуться во главе войска к парфянской границе. Кассий ожидал, что диктатор прикажет ему участвовать в походе — все-таки он оставался единственным легатом, уцелевшим после разгрома при Каррах. Кто лучше него знал страну и разбирался в военном искусстве противника?

Однако никакого приглашения он не получил. Впрочем, в своем качестве претора по делам иноземцев он не имел права покидать город до окончания срока полномочий. Но кампания продлится по меньшей мере три года, а то и все четыре, если не пять, и, может быть, Цезарь вызовет к себе Кассия позже, когда армия дойдет до Сирии и начнется подготовка к боевым действиям? Похоже, в планах диктатора, которых начиная с февраля он больше не скрывал, для Кассия места не нашлось. Заслуженно гордившийся своей отвагой, проявленной в прошлой парфянской войне, он воспринимал это как еще одну обиду.

Заговорщики определили Мартовские иды как крайний срок, после которого будет поздно что-либо предпринимать, еще по одной причине. На этот день Цезарь назначил заседание сената. По поводу речи, которую он собирался на нем произнести, в городе ходили самые невероятные слухи. Говорили, что в начале заседания выступит его двоюродный брат Луций Аврелий Котта, который потребует от отцов-сенаторов присвоить диктатору царский титул, поскольку в «Сивиллиных книгах» — самом авторитетном источнике предсказаний авгуров — якобы найден оракул, утверждающий, что победить парфян сможет только царь. Правда, для смягчения шока будет подчеркнута,

что указанный титул останется действительным только за пределами Италии и послужит просто средством покорения варварских народов, ведь известно, что на Востоке не признают другой власти, кроме царской.

В последнее уточнение никто не поверил. Во время луперкалий Цезарь осмелился примерить царскую диадему, вовсе не покидая городских стен. Он приказал внести в римские анналы ложное сообщение о том, что «римский народ трижды поднес ему царский венец», тогда как все видели, что сделал это не народ, а Марк Антоний. Царский титул, предназначенный для чужеземцев, быстро превратится в атрибут «внутреннего пользования».

Если Цезарь отбудет на Восток удостоенным греческого звания басилевса, значит, по возвращении в Рим его будут чествовать как царя. И что он успеет натворить в промежутке? Закон о двоеженстве для диктатора, предложенный Гельвием Цинной, пока не стал предметом обсуждения в сенате, но его истинный смысл ни для кого не представлял загадки. Цезарь намерен расколоть мир надвое. Рим, как несчастная бесплодная Кальпурния, отодвинется на второе место, а настоящей столицей станет Александрия, подобно тому, как Клеопатра стала хозяйкой в доме Цезаря, а ее статуя украсила храм Венеры Победоносной.

Наконец, если заговорщики не успеют разделаться с Цезарем до сенатского заседания и допустят, чтобы его провозгласили царем, дальнейшая борьба станет бесполезной. По римским религиозным представлениям, царский титул сообщал его носителю священную неприкосновенность, и человек, посягнувший на его жизнь, автоматически превращался в святотатца. И так все невероятно осложнилось, когда Цезарь добился для себя титула отца отечества, что, кстати сказать, вызвало бешеную ярость Цицерона, удостоенного такого же звания после дела Катилины и убежденного,

что он — единственный, кто носит его заслуженно. Покушение на отца отечества ставило заговорщиков в положение отцеубийц, и сторонники Кассия не собирались сверх меры дразнить религиозные чувства сограждан.

С практической точки зрения день 15 марта подходил как нельзя лучше. Многолюдное собрание в доме Кассия никого не насторожит — ведь все будут знать, что нынче его сын впервые надевает мужскую тогу и люди собрались на семейный праздник.

Тем не менее Кассий не спешил посвящать шурина во все подробности намечавшегося дела. Вопреки заверениям своих друзей, твердо веривших в республиканские и патриотические убеждения Брута, Кассий все еще не освободился от некоторых сомнений. Одна из сильных сторон Цезаря как раз и состояла в том, что он сумел установить в городе атмосферу всеобщей подозрительности, заставив даже самых близких людей настороженно приглядываться друг к другу.

И Кассий начал разговор с Брутом издалека. Первым делом он спросил, собирается ли Марк идти 15 марта на заседание сената. Нет, не собирается, услышал он в ответ. Он тоже не считал нужным сообщать, что у него на этот день намечены совсем другие планы. Кассий, неодобрительно нахмутив брови, продолжал:

— Но ведь мы с тобой преторы. Нас могут вынудить пойти на заседание. Что ты на это скажешь?

Брут понял, что больше не может таиться. Слишком хорошо он помнил, с каким презрительным видом покидали его дом сенаторы, предлагавшие ему подписать петицию. Он не хотел, чтобы Гай ушел от него с таким же чувством. В конце концов, он принадлежал к тому крайне ограниченному кругу людей, мнением и уважением которых Марк хоть в какой-то мере дорожил. С неохотой признавая

неизбежность произнесения громких слов, до неприличия затертых ораторами и политиками, он тяжело вздохнул и проговорил:

— В этом случае я исполню свой долг и не стану молчать. Я встану на защиту свободы и умру ради нее.

Они оба терпеть не могли высокопарных речей. Но главное было наконец сказано. Все сомнения Кассия улетучились без следа. Он помнил, что у Брута слова, как бы громко они ни звучали, никогда не расходились с делом. Он внезапно догадался, какие безумные мысли все последние недели мучили его друга, который в отличие от него не решился поделиться ими с другими. Он понял, что все это время Марк терзался, разрываясь между чувством долга и чувством признательности Цезарю, которому он был обязан и жизнью, и состоянием. И он нашел выход из этого тупика — смерть! Бедный Марк, неисправимый добряк, не способный даже наказать провинившегося раба! Решиться на такое, когда ты только-только обрел настоящее счастье — ведь Кассий знал, как Марк любил Порцию. И этого человека, изможденного бессонницей, друга Кассия упрекали в том, что он спит!

Только теперь до него с трудом начало доходить, почему заговорщики предпочли, чтобы их дело возглавил не он, а Брут. Да, он с увлечением готовил покушение на диктатора, к которому, что греха таить, питал ярую вражду, но разве думал он при этом о собственной смерти? Он допускал, что может погибнуть, однако, в общем-то, не придавал этому особенного значения. Марк на все смотрел иначе. Он заранее приготовился принести в жертву все, чем обладал, включая жизнь, ради высокой цели и при этом рассчитывал на одного себя. Не это ли и зовется в Риме подлинной доблестью?

Гай опустил руку на плечо Марка и тихо сказал:

— Ни один римлянин не допустит твоей смерти. Неужели ты до сих пор так и не понял, кто ты такой, Брут? Уж не думаешь ли ты, что надписи, которыми каждый день украшается твой пьедестал, оставляют ткачи или виноторговцы? Тебе не приходило в голову, что их пишут лучшие и сильнейшие из граждан? От любого другого претора народ не ждал бы ничего кроме раздачи хлеба, представлений и гладиаторских боев! Но от тебя он требует, чтобы ты исполнил семейный долг и низверг тирана! И за одно это многие и многие пойдут на смерть вместо тебя.

В свои долгие бессонные ночи Марк не раз и не два молил небеса ниспослать ему какой-нибудь знак. В отличие от эпикурейца Кассия, который, если и верил в богов, то считал их великими эгоистами, нисколько не озабоченными делами человечества, он хотел думать, что существует божественное провидение и это провидение посылает людям испытания, чтобы проверить их на прочность. И он молил провидение подсказать ему, что он должен делать. Но небеса молчали. И вот теперь слова Кассия показались ему тем знаком, которого он так долго ждал.

Значит, в городе сложилось целое движение, которое видит в нем, Бруте, наследника великой традиции, вождя партии, борющейся за свободу и честь Рима.

Кассий не сводил глаз с его лица. К волнению, которое он испытывал в эту минуту, примешивалась изрядная доля изумления. Брут не задал ему ни одного вопроса, сразу поверив ему на слово. Что это, как не всосанная с молоком матери гордыня римского аристократа, всегда хранящего в душе уверенность, что он рожден для великих свершений? Цезарь крупно просчитался, упустив из виду эту особенность римского характера. Он вообразил себя греческим басилевсом, окруженным толпой послушных рабов. О нет, должно

пройти еще немало времени и смениться много поколений, прежде чем сливки римского общества согласятся на эту унижительную роль. Теперь же Бруту понадобилось не больше секунды, чтобы осознать себя вождем тираноборцев. И ни следа сомнений или колебаний. Отныне всем его существом завладела одна мысль: не обмануть доверия тех, кто сделал на него ставку. Он должен доказать им, что в его жилах течет кровь подлинных Брутов? Очень хорошо, он им это докажет.

Вместе с осознанием своего долга к Бруту немедленно вернулись спокойствие и хладнокровие. Этот нервный и впечатлительный человек в действительно серьезных ситуациях умел демонстрировать железную выдержку. Перед взором пораженного Кассия словно по волшебству возник тот самый Марк Юний Брут, который накануне битвы под Фарсалом, сидя под палящим солнцем, невозмутимо переводил Полибия, не обращая внимания на творившуюся вокруг суету. Непостижимый человек!

Он уже начал отдавать приказы. Кассий должен собрать своих людей, а он, Марк, соберет своих. Гай, слишком стремительно низведенный до роли простого исполнителя, молча кивнул, ничем не выдав своего недовольства. Ничего, он наверстает свое, когда придет пора планировать конкретные действия. Боевой командир пока еще он. Пусть говорят, что сегодня чистая душа важнее, чем твердая рука. Когда настанет время нанести решающий удар, мы посмотрим, как они обойдутся без твердой руки!

Кассий ушел, оставив Брута в одиночестве. И вся его безмятежность в тот же миг куда-то исчезла. Прежнему Бруту, равнодушному мужу Клавдии Пульхры, нетрудно было без страха смотреть в будущее. Но сегодня, когда с ним горячо любимая Порция...

В следующие дни Марк, встречаясь с Кассием и другими друзьями, старался, чтобы никто из них не заметил его внутренней неуверенности в успехе задуманного дела. В глубине души он не сомневался: никому из них не выйти живым из этой переделки.

Цицерона в тайну заговора решили не посвящать. Вслух говорилось, что не стоит тревожить покой 63-летнего старика; на самом деле, ему просто не доверяли. По той же самой причине не стали привлекать и самых видных сенаторов — в последнее время они вели себя настолько жалко, что всерьез рассчитывать на их поддержку не приходилось. Статиллия и Фавония настороженный Марк также исключил из числа будущих сообщников, но вот молодой Лабен, на его взгляд, заслуживал внимания. Он пребывал в том возрасте, когда душой владеют высокие идеалы, а самопожертвование представляется благом. И действительно, стоило Бруту лишь заикнуться о подготовке заговора, юный Лабен изъявил восторженную готовность присоединиться.

Кого еще он мог привлечь? Большинство знакомых Марка одновременно дружили и с Кассием, который уже успел с ними переговорить. Оставался, пожалуй, только Квинт Лигарий, в прошлом один из ближайших сподвижников Помпея. После битвы под Фарсалом он укрылся в Африке, где воины Цезаря взяли его в плен. К тому времени пески Нумидии столь глубоко пропитались римской кровью, что Гай Юлий не стал казнить поверженного врага, сочтя, что пришла пора выступить в образе великодушного правителя. Но, даровав ему жизнь, он вовсе не простил его. Лигарию пришлось отправиться в ссылку. Она продолжалась долго, несмотря на многочисленные просьбы о помиловании родственников изгнанника и даже горячую речь Цицерона в его защиту.

Лигарий знал, в чем тут дело. Цезарь питал к нему давнюю личную вражду. Когда он говорил о нем «негодяй», это определение воспринималось как самое мягкое из всех прочих. Чтобы затянуть наказание, диктатор с помощью Туберона, известного своей недоброжелательностью к изгнаннику, затеял против Лигария судебный процесс.

Когда он все-таки получил позволение вернуться в город, в его отношении к Цезарю, прежде лишенному предвзятости, произошли разительные перемены. Теперь он откровенно ненавидел Гая Юлия. В то же время, как ни странно, Лигарий принадлежал к числу тех редких сторонников Помпея, в ком переход Марка Брута на сторону Цезаря не вызвал злобы.

Сблизиться с Лабеоном не представляло трудностей. Из-за своей молодости он еще не успел «засветиться» в политических схватках, а потому не привлекал внимания соглядатаев. Установить контакт с Лигарием оказалось не в пример сложнее. Визит городского претора к известному оппозиционеру не мог остаться незамеченным и наверняка вызвал бы пересуды.

Впрочем, Лигарий был нездоров и не вставал с постели. Почему бы старинному знакомцу не провести его? Жест простой вежливости, ничего более... Войдя в комнату к больному, Брут не сдержал вдоха:

— Плохое время выбрал ты, чтобы хворать, Квинт Лигарий! По всей видимости, в этих словах заключалась волшебная сила, ибо в ту же минуту Лигарий вскочил с постели, пожал протянутую ему руку и, сияя от удовольствия, проговорил:

— Если ты задумал достойное дело, Брут, не волнуйся, я чувствую себя превосходно!

Столь непосредственное проявление доверия со стороны Лигария еще сильнее укрепило Марка в мысли,

что ему и в самом деле выпала высокая и опасная миссия — спасти Рим и Республику.

Заговорщики не могли позволить себе роскоши легкомыслия — слишком густой сетью шпионов окутал город Цезарь, слишком умело делали свое дело его агенты. В конце февраля, обычно знаменовавшего наступление весны, в нынешнем году выдавшегося на удивление дождливым и ветреным, они несколько раз собирались вместе, соблюдая самые жесткие правила конспирации. Непроглядной ночью к дому одного из них бесшумными тенями скользили закутанные в непромокаемые галльские плащи фигуры. Такие плащи вошли в Риме в моду после завоевания Галлии, и заговорщики по достоинству оценили преимущества новой одежды, делавшей всех людей похожими друг на друга.

Сколько их было, посвященных в тайну, которая каждому из них могла стоить жизни? Не меньше шестидесяти человек, а то и все восемьдесят. Много. Чересчур много. Предательства в своих рядах они не боялись, они боялись неосторожности. Слово, случайно вырвавшееся в присутствии родственников, раба или любовницы, могло обернуться бедой^[78]. Разумеется, далеко не всем участникам заговора принадлежала одинаково важная роль, тем более что для непосредственной подготовки убийства такого количества народу вовсе не требовалось.

Поэтому на тайные встречи у Кассия, Брута или еще кого-нибудь собиралось три-четыре десятка человек.

Кто именно? Во-первых, конечно, бывшие сторонники Помпея, такие, как Кассий и Брут или чудом выздоровевший Лигарий, как трибун Понтий Аквила, как сенаторы Цецилий Буцилиан и его брат Секстий Назон, Марк Спурий и другие. Во-вторых, те, кто до последних пор вел себя политически нейтрально —

молодой Лабен, Тит Туруллий, Гай Кассий Парменсий, дальний родственник Кассия Лонгина. В-третьих, и это, бесспорно, было самым удивительным и настораживающим, несколько человек, никогда не менявших убеждений и на протяжении всей карьеры выступавших ближайшими сподвижниками Цезаря^[79].

В их числе оказалась и такая неожиданная фигура, как двоюродный брат Марка Децим Юний Брут Альбин.

Пятнадцатью годами раньше, когда Марк демонстративно отказался делать карьеру, лишь бы не быть заподозренным в поддержке любовника матери, Децим поступил совершенно иначе и сделал ставку на знаменитое везение Цезаря. Он последовал за ним в Галлию и довольно быстро дослужился до чина военного трибуна. По необходимости преобразившись во флотоводца, он сумел разгромить корабли венецов в заливе Морбиган, чем обеспечил Риму полный контроль над мятежной Ареморикой. Галльский поход Децим Юний завершил уже в звании префекта. Именно ему в начале гражданской войны Гай Юлий поручил захват Массилии. Нет слов, Децим Юний был талантливым военачальником, может быть, одним из лучших в окружении Цезаря. Но он не был бы истинным римлянином, если бы не обладал способностью с равным блеском заниматься управлением и в мирной жизни. В те годы, когда Марк служил проконсулом в Цизальпинской Галлии, его кузен исполнял аналогичные функции в Трансальпийской Галлии. Будущее виделось ему совершенно ясно — через два года его ждала консульская должность.

Почему заговорщики задумали перетянуть на свою сторону этот столп Цезарева режима?

Тому было сразу две причины. Во-первых, Децим Юний Альбин оставался одним из немногих, кто вплоть до последних недель, когда диктатору отовсюду стали

чудиться подосланные убийцы, сохранил право свободного доступа к Цезарю в любое время дня и ночи. Во-вторых, Децим Юний владел крупной гладиаторской школой, и его рабы — могучие тренированные воины — представляли собой грозную силу.

Что же заставило их предположить, что этот образец преданности Цезарю согласится повернуть оружие против своего благодетеля и лучшего друга? Неоспоримый патриотизм Децима Брута. Едва вернувшись из Цизальпинской Галлии, бразды управления которой он на год принял после Марка Брута, Децим испытал глубокое потрясение при виде того, какие перемены произошли и в городе, и в самом Цезаре. И понял, что нужно, не мешкая, остановить диктатора. Кое-какие высказывания Децима дошли до ушей Кассия, и в компании с юным Лабеоном, превратившимся в одну из шестеренок заговора, он нанес ему визит и предложил присоединиться. Согласен, ответил Децим, при одном условии: если в заговоре примет участие его двоюродный брат Марк Юний Брут.

Не исключено, что это заявление в очередной раз больно кольнуло самолюбие Кассия, однако он отбросил личные обиды в сторону и сообщил, что Марк Юний возглавляет заговор. Осторожный Децим решил убедиться в этом лично. Переговорив с братом, он совершенно успокоился. Действительно, тот подтвердил ему, что активно поддерживает заговор.

Почему Децим Юний придавал такое значение роли Марка? Как и многие до него, он рассудил: действуя заодно с Брутом, он заранее снимает с себя любые обвинения в корысти, в том числе политической.

Остальные цезаристы, присоединившиеся к заговорщикам, тоже всячески подчеркивали, что к устранению тирана их толкают лишь благородные

побуждения. К сожалению, их слова далеко не всегда совпадали с делами.

Одному из них, Луцию Муницию Базилу, принадлежала добрая половина Сабины и Пицена. Эти гигантские земельные владения он унаследовал от усыновившего его дяди по материнской линии, чье имя стал носить. Как и Децим Юний, он доблестно сражался в Галлии, а затем и в битвах гражданской войны. Благодаря ему в сражении под Диррахием войскам Цезаря удалось избежать полного разгрома. За свои военные подвиги в 45 году он получил пост городского претора и рассчитывал вскоре вознестись еще выше, мечтая о консульстве или хотя бы хорошей провинции себе в управление. Ни того ни другого ему не досталось. Разъяренный Базил объявил голодовку. Она продолжалась несколько дней, после чего он смирился и отказался от своих требований, удовлетворившись крупной суммой денег. Выглядело все это не слишком красиво.

Гай Требоний... Это он минувшим летом в Нарбонне выпытывал у Марка Антония, согласится ли он поддержать его в борьбе против Цезаря. Еще полгода тому назад поведение Гая Требония можно было объяснить страхом возможной опалы, но теперь, когда ни о какой опале для него и речи не шло, оставалось предположить, что им руководили другие, более высокие побуждения.

Братья Сервилии Каска, трибун Гай и сенатор Публий, казалось бы, не имели никаких оснований питать к Цезарю личную неприязнь — тот оказал обоим немалую услугу, когда помог разделаться с долгами, этим бичом римской аристократии. Зато Луций Тиллий Цимбер не мог простить диктатору ссылки родного брата.

Так в мотивах, которыми руководствовались все эти люди, смешивалось личное и гражданственное,

мелочное и высокое.

Вглядываясь с лица своих единомышленников, Брут предпочитал не задумываться над их потаенными помыслами. Разумеется, он понимал, что у многих из них есть личные причины ненавидеть Цезаря. Высшее римское общество всегда являло собой микрокосм, в котором все знали друг о друге все. Давно не юноша, Марк не питал иллюзий относительно своих товарищей. Однако он твердо верил: все они, явившиеся под покровом ночи к нему в дом, — сторонники партии Помпея, партии Цезаря или хранящие нейтралитет, — пришли сюда с одной целью, той, что вела и его, — спасти Рим.

Ведь не случайно они избрали его своим вождем. Каждому из них известно: Брут не станет покрывать негодяев, прячущих за высокими словами желание свести с Цезарем личные мелкие счеты.

Это выяснилось сразу, на первом же собрании. Кое-кто из заговорщиков предлагал вместе с Цезарем убрать наиболее опасных из его приближенных, в первую очередь Марка Антония — консула года, вне всякого сомнения, посвященного во все, что затевал диктатор.

Бруту понадобился весь его моральный авторитет, чтобы отстоять Антония. Ликвидация Цезаря, убеждал он друзей, будет благом. Другое дело — его помощники. Пролить их кровь значило бы совершить банальное убийство.

— Убив одного Цезаря, мы покроем себя славой тираноборцев. Но стоит нам поднять руку на его друзей — и на нас станут смотреть как на помпеянцев, ведомых жаждой личной мести.

Кажется, только вчера Марк в своем качестве новоиспеченного союзника Цезаря изо всех сил старался спасти жизни сторонников побежденного Помпея; нынче он с тем же пылом защищал соратников

диктатора. И в том и в другом случае им двигали уважение к человеческой жизни, ужас перед гражданской войной и проскрипциями. В том очистившемся, идеальном Риме, образ которого он видел в мечтах, найдется место и для Антония, и для многих других...

Один из собравшихся заметил, что сильный как бык и отчаянно храбрый Антоний — не зря же враги наградили его кличкой Гладиатор — наверняка бросится к Цезарю на помощь, после чего и судьба заговора, и судьба самих заговорщиков будет решена, и, конечно, не в их пользу. Надо убрать хотя бы Марка Антония... Брут тяжело вздохнул, но остался непреклонен: довольно будет в нужный момент задержать Антония где-нибудь в другом месте.

Кассий, Децим Юний и прочие, понимая, что Брут витает в облаках, пытались втолковать ему, что оставлять Антония в живых — настоящее безумие, непростительная политическая ошибка, способная обернуться катастрофой. Может, Марка ввел в заблуждение добродушный вид Антония, этакого рубахи-парня? Но они-то прекрасно знали, что под его внешностью гуляки и пьяницы скрываются острый ум, железная воля и завидная выдержка. И при этом — полное отсутствие моральных принципов. Если они пощадят Антония, они не пощадят.

Как показало будущее, они были совершенно правы, но переубедить Марка не смогли. Тем более что его горячо поддержал Требоний. В минувшем секстилии он поделился с Антонием собственным планом устранения Цезаря, и тот его не выдал. Может быть, ближайший сподвижник диктатора вовсе не так уж безоговорочно хранил ему верность? Во всяком случае, Требоний чувствовал к нему искреннюю благодарность.

Что касается Брута, то для него дело было ясно. Убийство Цезаря необходимо, но это не делает его

менее отвратительным. О том же, чтобы посягать еще на чью-либо жизнь, просто не может идти и речи.

Итак, решено. Никаких массовых убийств, никаких проскрипций. Устранение диктатора должно стать исполненным глубокого, почти религиозного смысла жестом. Теперь следовало продумать все детали осуществления этого плана.

День был выбран давно, задолго до того, как Брут присоединился к заговору. Мартовские иды — последний рубеж, после которого обстоятельства изменятся столь кардинально, что больше нечего будет рассчитывать на успех замысла. Ни грядущие игры в цирке, на которые римская знать традиционно являлась во всеоружии, ни ближайшие комиции, во время которых кое-кто предлагал устроить на Цезаря засаду в узком проходе к Марсовому полю, не подходили.

Остается 15 марта. Может быть, напасть на носилки Цезаря по дороге в сенат, где-нибудь на Священной дороге, пересекающей Форум? Нет, это опасно. Обитатели Рима — ранние пташки. Поутру здесь уже соберется густая толпа. Правда, после скандала во время луперкалий диктатор, не желая излишне злить оппозицию, разогнал свою знаменитую испанскую охрану, сплошь состоявшую из фанатичных ветеранов, что, по мнению Децима Юния и некоторых других близких к Гаю Юлию лиц, означало лишь, что последний полностью утратил чувство меры. После того как его доверенный писец-грек Филемон, неизвестно кем подкупленный, попытался его отравить, Цезарь не на шутку испугался. И вдруг он распускает свою личную охрану. Он возомнил себя неуязвимым, вот в чем дело! Божественный Юлий, Юпитер Юлий, не нуждается в воинах-телохранителях! Его хранит сама судьба! Если это действительно так, рассудили заговорщики, им тем более следует поторопиться. Кто знает, на что способен начавший терять разум тиран?

Как бы там ни было, Священная дорога — не лучшее место для покушения. Поведение толпы непредсказуемо. Обыватели могут наброситься на поверженного диктатора, но могут и кинуться на его защиту.

Значит, сенат.

Сенатом Брут и его современники называли не здание, а прежде всего собрание. Разумеется, у отцов-сенаторов имелось в распоряжении определенное место собраний — юлианская курия, воздвигнутая взамен старой курии, восемь лет назад сгоревшей в огне пожара. Но с тем же успехом они могли собираться где угодно: на Марсовом поле, в храме Марса, в храме Юпитера Капитолийского, возле Капуанских ворот, а то и в Помпеевом портике — величественном сооружении, внутри которого выставляли напоказ произведения искусства. Этот портик непосредственно примыкал к прекрасному зданию театра — первой в Риме каменной постройке, возведенной Гнеем Помпеем десять лет назад.

Когда здесь проходили заседания сената, доступ к портику перекрывали. Впрочем, совершенно не важно, где именно соберутся отцы-сенаторы в Мартовские иды. Главное, чтобы покушение на Цезаря состоялось у них на глазах. Сенаторы должны убедиться, что заговорщики действуют из высоких побуждений, и обеспечить дальнейший ход событий.

Именно в этом состояло все величие и вся глупость плана. Он сводился к убийству Цезаря и этим ограничивался. Что случится дальше, заговорщиков совершенно не интересовало. Физическое устранение Цезаря, верили они, разом решит все проблемы. Стоит уничтожить диктатора, и традиционное государственное устройство возродится само собой. Снова воцарится Республика, и дела пойдут даже лучше, чем прежде, потому что уроки гражданской

войны не прошли даром для римских политиков и многому их научили.

По этой же причине Брут настаивал на том, чтобы сохранить жизнь Марку Антонию — именно ему, консулу года, предстояло взять на себя управление государством вплоть до ближайших выборов.

К началу марта план полностью сложился. Теперь заговорщикам оставалось лишь хранить внешнее спокойствие и молиться небесам, чтобы до 15-го числа их никто не выдал.

Две недели тревожного ожидания, прожитые в постоянном страхе нечаянно совершить роковую ошибку, стали для каждого из них суровым испытанием. Братья Каска вели себя нервно, вздрагивали от резкого слова, от чужого взгляда. Даже бесстрастный Кассий, не поддавшийся панике под градом парфянских стрел, чувствовал страх. Он боялся потерпеть поражение и не мог не думать о том, что их всех в этом случае ждало. Впрочем, боялись все.

Самым спокойным выглядел Брут. Каждое утро он по-прежнему являлся в преторию, принимал жалобщиков, рассматривал текущие дела. За последние годы он стал опытным юристом. Теперь уже никому не удалось бы провести его, как когда-то Цицерону, позволившему саламинцам отвертеться от уплаты долга.

Да, внешне он казался невозмутимым. Но что творилось в его душе?

Ему приходилось скрывать свои истинные мысли и чувства не только от посторонних, но и от Порции. Всегда такой внимательный к жене, он почти перестал с ней разговаривать. Сидя с ним за трапезой, она пыталась втянуть его в беседу, задавала ему вопросы, а он, погруженный в себя, молчал, словно ее не слышал. Он почти перестал спать.

Брут и прежде спал мало — ровно столько, сколько необходимо, — считая такую добровольную аскезу делом чести. Но теперь его терзала самая настоящая бессонница. Он спал не больше четырех часов в сутки, и что это был за сон — тревожный, без конца прерываемый кошмарными видениями! Если Порции случалось проснуться среди ночи, она видела, что Марк сидит на краю постели, не шевелясь, чтобы не разбудить ее, и лишь время от времени испускает тяжкий, рвущий сердце вздох. Потом он неслышно поднимался и уходил. Куда? В кабинет, в сад? Зачем? Кто его там ждал?

Поначалу она решила, что Марк болен. Потом поняла, в чем дело, хотя муж ни словом не обмолвился с ней о своих заботах. Этот настороженный вид, эти ежеутренние отлучки, это мелькание осторожных теней в саду, этот взгляд, полный нежности и боли, который она то и дело ловит у себя за спиной... Эти приметы говорят яснее слов: Брут готовит заговор.

Это открытие ввергло Порцию в отчаяние.

Став женой Брута, она осуществила свою самую заветную мечту, потому что никогда и никого не любила кроме Марка. Ради этой любви она не побоялась выступить против Сервилии, не испугалась гнева Цезаря и злословия римских обывателей. И надеялась на счастье. Никогда она не требовала от Марка героизма. Ее отец, несгибаемый Катон, пошел до конца и погиб, а Марк примкнул к Цезарю. Она знала, что он сделал это отчасти и ради нее. Но и она сделала свой выбор. Ее муж поступил совершенно правильно, считала она.

Что же за безумие охватило его теперь? Другая женщина на месте Порции стала бы плакать и молить мужа отказаться от своих ужасных планов, подумать о ней, об их с таким трудом завоеванном счастье. Другая, да только не Порция.

В ее словаре было два слова, значивших для нее неизмеримо больше, чем все остальные, — честь и долг. Она никогда не любила своего первого мужа, но в отличие от подавляющего большинства своих современниц, столь же несчастливых в браке, как и она, и без труда находивших себе утешение на стороне, хранила Бибулу верность, убежденная, что, изменив ему, в первую очередь изменила бы себе. Добродетель женщины порой бывает тяжелой ношей.

Мужчины — другое дело. Свою доблесть они проявляют не в семье, а в государстве. И случается, эта доблесть требует от них ужасных, едва ли не бессмысленных поступков. Тогда льются реки крови и все кругом обращается в руины. Но Порция вовсе не относилась к числу женщин, считающих, что мир и личное благополучие надо защищать любой ценой. Есть вещи похуже, чем война и смерть. Это рабство и бесчестие. Если кто и осудит Марка за то, что он не в силах смириться с позорным существованием, то только не она.

Вчера она одобрила его переход на сторону Цезаря. Сегодня она так же твердо поддерживала его намерение выступить против диктатора. Обстоятельства изменились. То, что вчера было благом, сегодня стало позором.

А что, если его убьют? Даже мысль об этом причиняла ей нестерпимую муку. Одно она знала твердо.» его гибели она не переживет. Никогда больше не заглянуть ему в глаза, не услышать его голоса? Нет, она убьет себя.

В день свадьбы она произнесла слова старинной клятвы: «Ubi, Gaius, ubi Gaia» — «Куда ты, Гай, туда и я, Гая». Для нее это были не просто слова. Напрасно Марк тревожится — она не станет помехой его замыслам. Она всегда будет рядом, всегда будет за него, что бы ни случилось.

А случиться может многое... Порция задумалась. Как она поведет себя перед лицом смерти? Брат и другие родственники откровенно рассказали ей, какие муки претерпел перед кончиной ее отец Катон. Сможет ли она вынести боль? Мальчиков и юношей Древнего Рима воспитывали как доблестных воинов, они с детства учились терпеть физические страдания. Но она-то не воин, она женщина...

Порция трижды рожала и о том, что такое физическая боль, знала не понаслышке. Неужели меч ранит больше? Впрочем, что толку гадать...

Среди туалетных принадлежностей у нее хранился маленький нож для ухода за ногтями — изящная и модная вещица, снабженная чрезвычайно острым лезвием. Именно то, что нужно.

Порция удалила из комнаты служанок, сжала крепче зубы и со всего размаху вонзила острый нож себе в бедро. По самую рукоять.

Сомнений не осталось — это ужасно, невероятно больно. Кровь хлестала из раны. Надо позвать кого-нибудь. Рабыни и лекарь-грек, конечно, решат, что она сошла с ума. И они не так уж ошибутся. От любви к мужу и страха за него Порция и в самом деле почти обезумела.

Вернувшийся домой Марк нашел жену в постели. Ее била лихорадка, и она тихо стонала от боли. Он ничего не понимал и только горестно смотрел, как она страдает.

— Зачем, Порция? Скажи, зачем ты это сделала?

Наверное, он тоже подумал, что у нее помутился рассудок. Измученной болью, потерявшей слишком много крови Порции изменила ее обычная выдержка. Схватив Марка за руку и пристально глядя ему в глаза, она проговорила:

— Ты хочешь знать, зачем? Слушай же меня, Брут, слушай внимательно. Я — дочь Катона. Дочь Катона

входит в дом своего мужа не только за тем, чтобы делить с ним стол и постель. Я стала твоей супругой, чтобы делить с тобой горе и радости. Но ты не веришь в мою любовь, не веришь, что я способна хранить тайну. Знаю, Марк, мужчины считают женщин слишком слабыми. Но и женщина, если ее правильно воспитали, может обладать силой духа! Я дочь Катона, Марк! И я твоя жена. Я жена Брута!

Она произнесла эти слова страстно и гордо.

— Порция! Ради всех богов, что ты хотела мне доказать?

Что она могла ему ответить? Что любит его больше жизни? И она просто рассказала, что сомневалась в себе, что не знала, хватит ли ей смелости быть достойной того, что их ожидает, что готова разделить его судьбу до конца, до могилы. Брут заплакал. Он плакал от нежности, сострадания и горькой жалости, что не может защитить их обоих от грозящих им опасностей. Теперь она утешала его, утешала молча, без слов, и он понимал ее. Кончилось их одиночество. Больше ничего не надо скрывать друг от друга.

Брут не знал, чем кончится то, что он задумал, но одну награду он уже получил. Несколько дней безоглядной любви, которую надвигавшаяся катастрофа заставляла ощущать с особой пронзительностью.

VI. Мартовские иды

*Уйди; пусть отвечают за деянье
Свершившие его.*

*Уильям Шекспир. Юлий Цезарь.
Акт III, сцена I*

В год от основания Города 709-й^[80] весна запаздывала. От бесконечных дождей римские улицы превратились в грязную клоаку, а атрии домов напоминали бассейны. Небо, затянутое тяжелыми черными тучами, не пропускало солнечного света; то и дело бушевали грозы. Дни стояли холодные, и в воздухе как будто сгустилось предчувствие катастрофы.

Город полнился самыми зловещими слухами. На рынках взахлеб болтали про каких-то женщин, якобы родивших детей-уродов, про козу, окотившуюся чудовищем. В здании базилики вдруг сами собой столкнулись священные щиты, хотя никаких признаков землетрясения не наблюдалось. Как-то вечером разразилась гроза и посыпал густой град. Припозднившиеся прохожие клялись потом, что своими глазами видели среди туч тени двух призрачных армий, схватившихся друг с другом в жестокой битве. Снова пошли разговоры о грядущей гражданской войне. Однажды целая толпа, собравшаяся на Марсовом поле, стала свидетелем совсем уж странного явления. У какого-то солдата внезапно вспыхнула огнем рука. Пламя горело довольно долго, а потом погасло, не оставив на руке ни малейших следов ожога. Нет, шептались обыватели, не принесет парфянский поход счастья ни Цезарю, ни Риму.

Память о разгроме Красса все еще оставалась живой, и Парфия внушала ужас. Никто не верил в возможность победы над царством, в войне с которым уже бесследно сгинули три легиона. Но Цезарь снова вознамерился повести тысячи молодых римлян и италийцев в эти пустынные пески. Народ роптал. Застарелую вражду к Востоку подогревало присутствие в городе царицы Клеопатры и ее сына. Правда, Цезарь все-таки соизволил переселить любовницу с бастардом из дома верховного понтифика в другое жилище, но упорное стремление «египетской потаскухи» держаться как можно ближе к диктатору невероятно раздражало жителей Рима. Не только патриции опасались переноса столицы в Александрию. Плебс, живущий подачками государства, боялся этого ничуть не меньше. Если верховная власть переберется в Египет, Цезарь начнет кормить нильских феллахов. А что станет с сыновьями Волчицы?

Понемногу слухи и предзнаменования все настойчивее концентрировались вокруг фигуры Цезаря. Он оскорбил богов своими нововведениями, и теперь добра не жди...

Однажды утром на Форуме стая воробьев насмерть заклевала королька. Неужели и теперь Цезарь, пожелавший объявить себя царем, не поймет смысл этого зловещего предзнаменования? Но Цезарь только посмеивался.

Он смеялся, когда ему сообщили, что священные кони, принесенные в дар речному божеству в память о переправе через Рубикон, умерли от голода перед полными кормушками. Перед смертью они плакали, как часто плачут лошади, предчувствуя гибель всадника...

Он смеялся, когда ему рассказали, что в недавно найденной могиле основателя Капуи обнаружена старинная табличка, в которой говорится о скорой кончине одного из потомков Юлия...

Даже когда авгур Спуринна предостерег его: «Цезарь, опасайся Мартовских ид», он в ответ лишь пожал плечами.

Цезарь не верил в приметы. Ему казалось диким, что судьба человека, особенно такого, как он, может быть записана на птичьих кишках, даже если это кишки священной курицы. Он верил только в собственную Фортуна, а на все остальное не обращал внимания. В день сражения под Мундой он получил сразу два дурных предзнаменования, и что же? Он вступил в бой с армией Помпея и выиграл его!

Знаки, посылаемые небесами, его не тревожили, но не больше веры придавал он и предупреждениям смертных. О заговоре знали 80 человек, а при таком количестве посвященных избежать «утечки информации» было почти невозможно. И кое-какие сведения действительно просочились за пределы кружка заговорщиков, причем просочились из самого, казалось бы, надежного места — из дома Брута.

Марк поддерживал дружбу с несколькими греческими риторам и философам, обучавшими римскую молодежь, в том числе со своим бывшим учителем, неким Артемидором Книдским. Многие ученики Артемидора стали в городе видными людьми и охотно принимали у себя мудрого грека. Они не знали, что философ давно служил Цезарю шпионом^[81].

От глаз и ушей Артемидора не укрылись некоторые тревожные признаки, замеченные им в доме Брута. Он сделал из своих наблюдений верные выводы и прямо заявил Цезарю, что против него зреет заговор. Гаю Юлию и раньше приходилось слышать в адрес Брута подобные обвинения. Он в очередной раз отмахнулся от них, повторив свои же слова, произнесенные несколько месяцев назад:

— Брут подождет, пока я сам не умру...

Всегда такой проницательный, Цезарь будто ослеп. Он заметно изменил свое мнение о Марке. От его бывшего пренебрежения не осталось и следа. Теперь, отзываясь о нем, он говорил:

— Счастье еще, что этот парень из принципа стремится только к добру, потому что, если он чего-нибудь хочет, то своего добивается^[82].

Но разве мог Брут считать «добром» огромную власть, какую сосредоточил в своих руках диктатор? По всей видимости, Цезарь не сумел преодолеть внутреннего презрения, которое он, как человек действия, испытывал к созерцателям. Так убежденные реалисты склонны презирать идеалистов. Мягкий, добрый, отзывчивый Марк — убийца? Невероятно!

Впрочем, Артемидор не привел в подтверждение своих обвинений ни одного доказательства. И Цезарь не стал его слушать. Не посмеют, заявил он. Он твердо верил, что никто не осмелится поднять на него руку. Не зря же он принял все мыслимые меры предосторожности. Он добился для себя священной неприкосновенности, какой пользовались только трибуны. Отныне каждый римлянин из страха навлечь на себя проклятие обязан защищать его и оказывать ему любую помощь. Думал ли он, рассуждая об этом, что за последние годы сам дважды нарушил закон о священной неприкосновенности, открыто посягнув на народных трибунов? Гордыня застила ему глаза. Он не какой-нибудь плебейский трибун, он — Цезарь! Но более всего он уповал на свою удачу. Хорошая Фортуна — вот единственное, во что он искренне верил. Пока она с ним, ему нечего бояться. Он не был бы римлянином, если бы в глубине души не верил еще и в фатум — рок, определяющий судьбу каждого человека. Борьба против рока бесполезна. Может быть, этот фатализм

тоже сыграл свою роль в поведении Цезаря накануне покушения.

11 марта он еще раз подтвердил, что заседание сената состоится в портике Помпея, поутру ид, то есть через четыре дня. Именно в этот день в Риме проходили весенние празднества в честь древнеиталийской богини Анны Перенны. В театре, примыкавшем к портику, будет дано представление. На заседании двоюродный брат диктатора Луций Аврелий Котта предложит отцам-сенаторам во исполнение пророчества «Сивиллиных книг» венчать Цезаря званием *Rex extra muros* — царя за пределами городских стен. Ведь сказано: «Персию победит царь».

Цезарь несколько не волновался перед заседанием. С какой стати ему ждать подвоха от сенаторов, в последние месяцы ни разу не посмевших послушаться его воли? Подавляющее их большинство на его стороне, не зря же он под предлогом достижения равновесия между Римом и провинциями увеличил число магистратов до девятисот человек. В сенате теперь заседали убежденные цезарианцы, новые люди и даже чужеземцы, потому что диктатор сумел внедрить в его ряды своих галльских и испанских помощников. Эти люди всем обязаны ему и будут поддерживать его во всем. Что касается остальных... Пусть себе исходят злобой от зависти и скрытой ненависти. Эти трусы и пикнуть не посмеют. А потом... Потом уже будет поздно. Прав авгур Спуринна: в Мартовские иды надо быть бдительным. Этот день станет началом свершения самых дерзких его мечтаний.

И все-таки он чувствовал себя неуютно. Усталость последних месяцев, вечный страх перед очередным приступом эпилепсии, а особенно перед тем, что припадок может случиться, когда он будет на людях, лишили его привычной самоуверенности. И тут еще эти нелепые слухи, эти тревожные донесения шпионов... Не

будь он Цезарем, сыном богов и царей, он, пожалуй, назвал был свое недовольство предчувствием... А мудрые люди не отмахиваются от предчувствий.

Но он слишком велик, чтобы думать о таких пустяках, слишком горд, чтобы придавать значение туманным приметам.

Накануне ид, за несколько дней до предполагаемого выступления в военный поход, Лепид пригласил Цезаря на обед, дававшийся в его честь. В числе приглашенных оказался и Децим Юний Брут Альбин. Гостеприимный хозяин предоставил Гаю Юлию право избрать «царя пира». Этот греческий обычай, ставший знаменитым благодаря Платону, нашел широкое распространение среди римской знати. Царь пира не только руководил раздачей вина после трапезы, но и направлял философскую беседу. На сей раз выбор Цезаря пал на Децима Брута. Он любил этого храброго командира, в верности которого не сомневался. Любил настолько, что включил его в свое завещание в качестве приемного сына и наследника второй линии. Если с его внучатыми племянниками, в первую очередь с Октавием, что-нибудь случится, его состояние перейдет к Дециму Бруту. Сам Децим Брут об этом, разумеется, не знал. Впрочем, даже знай он последнюю волю тирана, вряд ли это знание что-либо изменило бы [\[83\]](#).

В тот вечер Децим пребывал в мрачном расположении духа, что не укрылось от глаз присутствующих. Но вот Цезарь предложил ему выбрать тему философского спора. И Децим угрюмо произнес:

— Какова лучшая из возможных смертей?

Уже завтра участники банкета будут говорить, что Цезарь получил последнее предупреждение, однако не сумел его понять. Пока же они не усмотрели ничего

странного в предложенной Брутом теме, справедливо считая ее классической и вполне уместной на пиру эпикурейцев. Один за другим они пустились в ученые рассуждения, обильно перемежаемые греческими цитатами. Настала очередь Цезаря. Загадочно улыбнувшись, он изрек:

— Что до меня, то я бы предпочел самую внезапную и самую неожиданную смерть.

Децим сидел, не поднимая глаз от кубка с вином. Возможно, в эту минуту он думал, что завтра мечта Цезаря сбудется.

Пока Брут Альбин пировал с диктатором, остальные участники заговора заканчивали последние приготовления к покушению. Было решено, что непосредственными исполнителями замысла станут 25 человек, остальные будут следить, чтобы никто из сенаторов не вздумал броситься Цезарю на помощь. Они же успокоят магистратов и объяснят им, что заговорщики вовсе не намерены устраивать кровавую резню.

Решающий удар нанесут три или четыре человека. Конечно, остальные будут присутствовать при убийстве, которое должно стать священнодействием, однако, если все пройдет, как задумано, Цезарь умрет быстро и без мучений. На этом настоял Брут. Он же категорически отверг предложение протащить тело убитого диктатора по городу и сбросить его в Тибр.

По римскому обычаю оставить мертвого без погребения означало лишить его права на вечный покой. Ни свобода Рима, ни честь римских граждан вовсе не требуют, чтобы заговорщики преследовали тень Цезаря до самых берегов Стикса. Правда, кое-кто из друзей поспешил напомнить Бруту, что именно таким образом всегда поступали с тиранами, вспомнить хотя бы братьев Гракхов. Но Марк сделал вид, что не расслышал этих слов. Сознал ли он, насколько

непоследовательна его позиция? Если Цезарь — тиран, с его прахом следует поступить так, как велит традиция. Если нет...Значит, они задумали гнусное убийство, сродни отцеубийству. Простая логика, к доводам которой Брут остался глух, как, впрочем, и к политическим расчетам, на ней основанным. После требования оставить в живых Антония это была его вторая ошибка. В отличие от своих друзей он полагал, что огромная опасность, которой подвергали себя заговорщики, сама по себе служит знаком доблести и благородства.

Поздно вечером они еще раз повторили все детали предстоящего покушения. Каждый помнил, что ему предстоит делать.

Завтра поутру все собираются в доме Кассия, откуда двинутся к Форуму, якобы сопровождая его сына. Счастливый парень! Если все пройдет как надо, он наденет мужскую тогу в день освобождения республики! Мысль о том, что убийство Цезаря вовсе не обязательно повлечет за собой немедленное восстановление традиционных институтов, от них как-то ускользала.

Под тогой каждый из них спрячет кинжал, какие носят легионеры — его легче скрыть, чем меч.

Как только покажется Цезарь, Гай Требоний — тот самый, кто вместе с Брутом отстоял жизнь Марка Антония, — воспользуется каким-нибудь предлогом, чтобы увести Антония от диктатора и задержать его подальше от курии. После Нарбонна, когда Требоний имел неосторожность поделиться с Антонием своими затаенными мыслями, они стали приятелями.

В зале заседаний к Гаю Юлию приблизится Луций Тиллий Цимбер. Он упадет перед диктатором на колени и в который раз обратится к нему с мольбой простить его брата, бывшего помпеянца, живущего в далекой ссылке. Поскольку Цезарь не любит менять своих

решений, можно не опасаться, что он вдруг простит изгнанника. Услышав отказ, Луций должен проявить настойчивость и схватить диктатора за складки одежды, чтобы проверить, нет ли под тогой кольчуги. Наконец, он с силой дернет тогу Цезаря на себя — таким приемом часто пользуются борцы, чтобы на мгновение обездвигнуть руки противника. Это и будет сигналом. Публий Сервилий Каска вонзит кинжал в ямку между плечом и шеей, метя в подключичную артерию. После такого удара — гладиаторы приканчивают им поверженного на землю противника — Цезарь не проживет и нескольких секунд. Остальные заговорщики нанесут уже мертвому диктатору еще несколько ритуальных ударов.

Если сразу прикончить Цезаря не удастся, его добьют Гай Сервилий Каска, Гай Кассий и Децим Юний. Марк Юний Брут будет как можно дольше оставаться в стороне от убийства.

Ночь для заговорщиков пролетела быстро. Мало кому из них удалось заснуть хоть ненадолго. Перед самым рассветом на Рим обрушилась невиданной силы гроза с порывами шквального ветра. Всеобщая нервозность достигла пика.

Марк совсем не ложился в эту ночь. Страх он не испытывал. Как всегда перед опасным делом, на него нисходило спокойствие. Волновался он только за Порцию, которая ожидала завтрашнего дня с паническим ужасом. Как ни силилась она скрыть тревогу, ее побледневшее, измученное лицо говорило без слов. Успокаивать ее ложью, что ему ничего не грозит, Марк не хотел и не стал. Он лишь крепче прижал к себе жену. Когда настала пора идти, Порция чуть слышно спросила, можно ли ей в начале четвертого часа послать раба узнать новости^[84]. Если заговор удастся, к этому часу все будет кончено. Цезарь

будет мертв. Если нет, будут мертвы заговорщики. Во всяком случае, для Порции мука ожидания закончится. Подумав, Брут дал жене такое разрешение, хоть и понимал, что поступает неосторожно. Порция никогда не беспокоила его во время заседаний в суде или сенате, и ее необычная озабоченность может возбудить подозрения. Однако, глядя в полные слез глаза любимой, Марк не нашел сил отказать ей в просьбе.

Он торопливо вышел из дома, с особенным тщанием следя, чтобы не ступить за порог с левой ноги, не перешагнуть через ступеньку, не обернуться. Все эти предосторожности давно вошли у него, как и у любого другого римлянина, в привычку. Более суеверный человек, случись ему нарушить одно из этих правил, не задумываясь, повернул бы обратно. Он не сомневался, что Кассий, Каска, Требоний, Цимбер и остальные его друзья, громогласно заявлявшие, что не верят в подобные глупости, в это утро постараются любой ценой избежать дурных примет.

Цезарь тоже провел ужасную ночь. Зная, что назавтра его ожидает трудный день, на пиру у Лепида он старался не увлекаться ни едой, ни вином. И хотя он пил умеренно, голова отяжелела, во рту появился отвратительный вкус и хмель все никак не проходил. Едва вернувшись домой, он сразу улегся спать, но уснуть не смог — ноги без конца сводило судорогой. Потом начала болеть голова, хотя и не слишком сильно, но Цезарь испугался: неужели приближается припадок? Не хватало еще завтра на глазах у всего сената хлопнуться в конвульсиях на землю! В этот момент неожиданно проснулась и Кальпурния, делившая с ним ложе. Ей приснилось, что на голову ей обрушилась крыша дома, и от ужаса она громко закричала. Гай Юлий выбрал супругу: зачем ей понадобилось рассказывать ему дурной сон? Крушение официальной резиденции верховного понтифика могло означать

лишь одно — катастрофу. Не об этом ли предупреждал его и Спуринна? Чума на женщин и авгуров, раздраженно подумал Цезарь. Вечно лезут со своими глупыми суевериями!

Незаметно он уснул. Сколько он спал, пять минут или два часа, он не знал, когда его разбудил оглушительный грохот. На улице бушевала гроза, и порыв ветра с силой распахнул окна и двери комнаты. Тут же ветер стих, и в воздухе повисла тяжелая духота.

Кальпурния тоже не спала. Ей было страшно. Чтобы отвлечь жену, Гай Юлий стал рассказывать свой сон. Ему снилось, что он вознесся к небесам и увидел Юпитера, который сидел на облаках, словно на троне. И тут Юпитер дружески пожал ему руку. К чему бы это?

Он склонялся к мысли, что сон хороший, потому что сулит ему невиданный успех, даже обожествление.

Кальпурния тихо проговорила:

— Гай, чтобы человека причислили к сонму богов, ему сначала надо...

Хорошо еще, она вовремя остановилась и не произнесла роковое слово — умереть^[85]. Но все равно благостное настроение от вознесения к Олимпу безвозвратно улетучилось.

Кальпурния тут же снова заснула беспокойным сном, без конца вздрагивая и издавая стоны. Цезарь, к которому сон все не шел, долго терпел, наконец не выдержал и потряс жену за плечо. Кальпурния открыла глаза, вцепилась ему в руку и разразилась безудержными рыданиями:

— Гай, никуда нынче не ходи! Умоляю тебя, никуда не ходи!

Этого еще не хватало! Что она там бормочет?

— Гай, я видела ужасный сон! Ты лежал мертвый, Гай, слышишь? Мне снилось, что ты умер! И все вокруг было в крови...

Впервые в жизни Цезарь испытал нечто вроде растерянности. Он всегда гордился тем, что презирает суеверия³⁰, однако на этот раз дурных предзнаменований скопилось вокруг него что-то слишком уж много. В душе шевельнулось сомнение. Может быть, действительно не стоит спорить с судьбой? И потом, Кальпурния все-таки произнесла запретные слова. Она вслух говорила о смерти, о крови... Плохо. Послушать жену? После вчерашних возлияний и бессонной ночи он ведь и в самом деле чувствует себя нездоровым. Если он объявит, что заболел, это даже не будет ложью. Но тут же он одернул себя. Что за глупости! Не тот сейчас момент, чтобы отступить. Нет, он пойдет до конца.

А Кальпурния, тесно прижавшись к мужу, сквозь рыдания все бормотала слова любви, которых прежде ни разу не смела произнести вслух. Он так привык унижать ее, насмеяться над ней в присутствии слуг и чужих людей, что гордость не позволяла ей признаться, как сильно она его любит. Тронутый силой ее отчаяния, злясь на самого себя, что поддается женским уговорам, Цезарь в конце концов дал обещание, что, прежде чем идти в сенат, погадает, стоит ли это делать.

Результаты гадания оказались не просто дурными — они ясно указывали, что его ждет нечто ужасное. Цезарь сухо бросил гадальщикам:

— Повторите!

Бесполезно. И вторая, и третья попытки говорят о том же: предзнаменования крайне неблагоприятны. Цезаря охватила дурнота. Голова закружилась, перед глазами заплясали мушки. Позвали врача. Никуда выходить не следует, вынес он свой приговор, лучше пойти прилечь. Конечно, прислушаться к совету лекаря не так позорно, как поддаться панике испуганной женщины. Со вздохом чуть разочарованного облегчения

Цезарь отдал приказ: сообщить сенаторам, что он заболел, а потому заседание переносится. Солнце к этому часу уже высоко поднялось и заливало своими лучами римские крыши. Первый по-настоящему теплый весенний денек!

Сенаторы, собравшиеся в саду и под портиком, примыкавшим к театру Помпея, поодаль от толпы горожан, торопившихся попасть к открытию гладиаторских игр в честь Анны Перенны, начали проявлять первые признаки нетерпения. Час, назначенный для заседания, давно минул, а Цезаря все нет. В разрозненных группках магистратов все громче раздавался ропот. Слишком уж вольно обращается Цезарь с отцами-сенаторами, слишком явно отказывает им в знаках уважения. Бывшая правящая верхушка Рима, когда-то управлявшая политикой города, давно утратила рычаги власти и дала превратиться себя в совещательный орган, но сенаторы смирились с новой ролью — при условии, что Гай Юлий все-таки будет соблюдать хотя бы внешние приличия. Сенаторы понимали, что он презирает их за это лицемерие и раздражались еще больше. По правде сказать, в своих парадных тогах с широкой пурпурной полосой, в своих красных с золотом кожаных туфлях с загнутыми мысами — столь же красивых, сколь неудобных, эти высшие сановники, топтавшиеся без дела перед зданием курии в ожидании, когда соизволит появиться хозяин, производили впечатление и смешное, и жалкое одновременно. А толпа все прибывала. Сквозь ряды зевак, стекавшихся к началу игр, пробивались просители, мечтавшие увидеть Цезаря и успеть сунуть ему жалобу. И все они беспокойно переговаривались и сновали туда-сюда.

Но еще беспокойнее чувствовали себя заговорщики.

Торжество в честь юного Кассия, впервые надевшего мужскую тогу, давно завершилось. Мальчик

уже сделал круг почета по Форуму, поднялся на Капитолий, выслушал предсказания гадателей и внес свое имя в списки взрослых граждан. Рабы проводили его домой, чтобы отпраздновать событие в кругу семьи, — ждали только возвращения отца и прихода гостей. Впрочем, Гай Кассий не слишком рассчитывал, что нынче удастся попить: если заговорщики победят, им будет чем заняться, если же проиграют... Но где же Цезарь, всегда такой пунктуальный? Может быть, он вообще не придет? Может, их кто-то предал и сейчас за ними явится стража? В конце концов Децим Юний заявил, что сам сходит в дом верховного понтифика и узнает, что случилось. Брут решил, что, пока суть да дело, отправится в городской суд, где ему и надлежало быть. Пусть все идет, как обычно. Неодобрительно сжав челюсти, Кассий смотрел, как они уходят. Сам остался на месте.

До здания суда, располагавшегося буквально в нескольких шагах от портика Помпея, Марк добрался быстро. Ни один человек, глядя на него в эти минуты, не догадался бы о страшном напряжении, в котором он пребывал. Он не смутился и тогда, когда ему сообщили, что от Порции уже трижды прибегал раб узнать, все ли у него в порядке.

Спокойно и невозмутимо городской претор начал прием жалобщиков. Внимательно выслушивал каждую сторону — за эту его серьезность над ним немало потешался Цицерон, — обдумывал суть дела и твердым голосом выносил решение.

— Я буду жаловаться на тебя Цезарю, претор! — воскликнул один из обиженных спорщиков. — Я этого так не оставлю! Вот увидишь, Цезарь найдет на тебя управу!

— Никакой Цезарь никогда не мешал и не помешает мне судить так, как велит закон, — слегка улыбнувшись, тихо отвечал ему Брут.

Недовольный посетитель вышел вон, изрыгая проклятия и угрозы, а любопытные зрители, набившиеся в зал суда, наградили претора громом аплодисментов. Слава о Марке Юнии Бруте, справедливом судье, которого нельзя ни подкупить, ни запугать, успела распространиться от Рима до Медиолана, сделав его имя популярным.

Все с той же невозмутимостью Марк пригласил следующего жалобщика. Цезарь так и не появился.

В доме верховного понтифика, куда вскоре добрался Децим Юний, царил настоящий кавардак. Его провели к Цезарю, и тут он узнал, что диктатор решил нынче не покидать дома, потому что гадатели предрекли ему неблагоприятный день, а жене ночью приснился дурной сон. Стоя рядом с мужем, Кальпурния с тревожным недовольством смотрела на Брута Альбина. Неужели женская интуиция успела подсказать ей, что под маской верного друга скрывается убийца? В эту минуту он, пожалуй, больше боялся проницательной Кальпурнии, чем грозного Цезаря.

Тем не менее с дерзким вызовом, на которое ему давала право старая дружба, он насмешливо произнес:

— С каких это пор божественный Цезарь начал верить гаданиям и женским снам? Весь Рим будет смеяться над тобой, Гай Юлий, когда узнает, что ты сидишь дома только потому, что жена твоя плохо спала!

Оправдываясь, Цезарь объяснил, что нездоров и врач опасается приближения припадка. Это, конечно, более веская причина, согласился Децим Брут, но не лучше ли будет, если диктатор сам выйдет к отцам-сенаторам и сообщит, что заседание переносится по причине его болезни? Почтенные магистраты ведь еще не забыли о его оплошности, допущенной на январском заседании, когда он по глупому совету Бальба принял их сидя. Так стоит ли понапрасну злить их еще раз?

Не выдержав, Кальпурния закричала, что не выпустит мужа из дома. Децим Юний криво усмехнулся. «Вот уж не думал, — говорила его улыбка, — что в доме Цезаря командуют женщины...» Цезарь поднялся и, оттолкнув рыдающую жену, велел слугам готовить носилки. Решено. Он отправится в сенат.

Все время, пока длился разговор, Децим Юний оставался спокойным и бесстрастным. Угрызения совести его не мучили. Он видел перед собой не человека по имени Гай Юлий, а тирана, готового покуситься на свободу Рима и честь римских граждан. А когда имеешь дело с тираном, даже такие святые понятия, как дружба и кровное родство, теряют свой смысл.

И вот четверо рабов уже подняли носилки и двинулись вперед. Цезарь отказался от своих знаменитых телохранителей-испанцев, но это не значит, что он передвигался в одиночку. Вокруг него плотной толпой теснились слуги, писцы, клиенты. Чтобы пробить себе путь через запруженную народом Священную дорогу, кортежу пришлось немало потрудиться. Было начало четвертого часа.

Волнение заговорщиков, все еще ждавших под портиком Помпея, достигло к этому времени предела, когда вся затея чуть было не сорвалась из-за Публия Сервилия Каски. К нему вдруг подошел один из сенаторов и, заговорщически шурясь, проговорил:

— Что, Каска, думал, никто ни о чем не узнает? А вот Брут мне все рассказал!

Лицо Каски приняло какой-то зеленоватый оттенок, а глаза наполнились диким ужасом. Между тем сенатор, посмеиваясь, продолжал:

— Ну-ка, счастливчик, открой нам, откуда на тебя свалилось столько денег, чтобы метить в эдилы?

Каска и в самом деле выставил свою кандидатуру на эту должность на будущий год, правда, не слишком об

этом распространялся. Что же касается денег, то их предоставил ему не кто иной, как сам Цезарь. Для манипуляций на выборах диктатор широко использовал своего рода «черную кассу», ничуть не опасаясь, что его методы могут показаться отвратительными даже тем, кому они несли прямую выгоду.

Среди заговорщиков оказалось немало таких, кто знал о своем грядущем назначении на тот или иной пост в обход мнения сенаторов и воле римского народа, но для них самих все эти мошеннические проделки служили только лишним доказательством того, что Цезарь полностью подмял под себя всю политическую систему и все стремительнее превращался в тирана. Поэтому собственное поведение вовсе не казалось им черной неблагодарностью, напротив, они хранили убеждение, что ими движет подлинный патриотизм.

Каска с трудом выдавил из себя некое подобие улыбки. Пережитый шок мешал ему вымолвить хоть слово. Но сенатор, так ни о чем и не догадавшись, уже повернулся к нему спиной и отошел, довольный удачной шуткой.

Где же все-таки Цезарь?

Вот и Брут закончил в суде рассмотрение текущих дел и вновь присоединился к друзьям. Беседа с Кассием, он обратил внимание, что тот без конца прячет руку в складках тоги, проверяя, на месте ли кинжал. Еще раньше двоюродный брат говорил ему, что в случае провала заговора ни за что не дастся врагу живым и заколет себя. Но что-то он уж слишком нервничает. Если он сейчас же не возьмет себя в руки, заговору действительно может угрожать провал...

К ним приблизился пожилой сенатор Попилий Ленат — один из тех любителей нейтралитета, о которых никогда нельзя сказать, на чьей они стороне. Схватив Брута и Кассия за руки, он громко и взволнованно

заговорил, явно подражая какому-то комедийному персонажу-предателю:

— Молю богов, чтобы вам удалось все, что вы задумали, но поспешите! Не тяните дольше, ибо слухи ползут быстро!

— Нас выдали... — прошептал Кассий Бруту на ухо.

Он был прав. Их действительно выдали, и сделал это учитель философии и платный осведомитель Артемидор Книдский. Постоянно бывая в домах у заговорщиков и внимательно наблюдая за всем, что происходит, грек пришел к выводу, что заговор если и состоится, то нынче утром, в курии. Еще раз взвесив свои подозрения, он послал раба с письмом к Цезарю.

Увы, Фортуна решительно отвернулась от Гая Юлия. Когда посланец философа прибежал в дом к верховному понтифику, носилки с Цезарем уже покинули двор. Раб не посмел последовать за ними и присел в атрии, решив дождаться, когда адресат вернется домой.

По крикам и оживлению толпы сенаторы поняли, что наконец-то появился Цезарь. Медленно, с трудом прокладывая себе путь сквозь густое скопление народа, носилки диктатора продвигались к курии. Ему навстречу пытался пробиться Марк Антоний, но даже этому здоровяку не удавалось растолкать зевак.

В этот миг к Бруту подскочил раб — тот самый, которого уже трижды за сегодняшнее утро видели на Форуме. «Хозяин! Хозяин, твоя жена умерла!» — громко и испуганно прокричал он.

Вокруг Брута немедленно выросла толпа любопытных, жадных до чужого несчастья.

Его всегдашняя бледность скрыла от посторонних, как сильно он побледнел. Кассий молча опустил руку ему на плечо. Но Брут не нуждался в утешениях. Если Порция, не в силах выдержать страшной тревоги за мужа, от отчаяния наложила на себя руки, он будет

вечно оплакивать ее, но не сейчас. Сейчас он не имеет на это права. Он знал, чего больше всего на свете хотела Порция: чтобы он исполнил свой долг.

Носилки Цезаря остановились возле самого портика. Спуститься на землю диктатору не давали многочисленные просители, сгрудившиеся вокруг. Со всех сторон к нему тянулись руки с жалобами, прошениями, рекомендательными письмами. Заметил ли он среди других Артемидора? В самом деле, не дождавшись посланного раба, обеспокоенный грек решил сам предупредить Гая Юлия. Извернувшись, он сунул прямо в руки диктатору свое письмо — точную копию того, что отослал с рабом. Рассеянно взяв письмо, Цезарь протянул его одному из писцов. Но жалобный голос Артемидора воззвал к нему из толпы: «Прочти, Цезарь, молю тебя! Прочти, это важно!»

Наконец-то диктатор узнал своего философа-шпиона. Кивнул ему и не стал отдавать письмо. Увы, к огорчению грека, и читать не начал, а просто сунул в складку тоги, служившую карманом, и двинулся вперед.

Возле самого входа в курию стоял авгур Спуринна. По обычаю, прежде чем диктатор войдет в зал заседаний, авгур возносил жертву богам. Цезарь, которого шуточный тон Децима Брута заставил забыть про ночные страхи, с недовольным видом обратился к Спуринне:

— Ты говорил, чтобы я остерегался Мартовских ид. Ну вот иды настали, а со мной ничего не случилось!

Но Спуринна был из тех предсказателей, которые верят в свое ремесло. Согнувшись в низком поклоне, он тихо проговорил:

— Будь осторожен, Цезарь. Иды еще не прошли. Авгур заколол священную курицу. Пристально изучив дымящиеся внутренности жертвенной птицы, он еще раз предостерег диктатора. Предзнаменования очень

неблагоприятны. В печени не хватает доли, а это верный знак смерти. Но Цезарь лишь пожал плечами:

— То же самое мне пророчили в день битвы под Мундой. Говорили, что в бою я погибну. Но я начал сражение и одержал победу.

Он уже не помнил, что в тот день его воины, не ожидавшие столь доблестного натиска верных Помпею легионов, поддались панике и в беспорядке бросились отступать, оставив его едва ли не один на один с врагами. Если бы не отчаянно храбрый прорыв нескольких штабных командиров, заставивший трусов устыдиться, ему не избежать бы гибели. Вечером того дня из его щита извлекли две сотни стрел...

— Верно, — отвечал Спуринна, — под Мундой у священной курицы тоже не хватало доли в печени. И в тот день, Цезарь, ты едва не погиб.

Гай Юлий не желал прислушиваться к словам прорицателя. Он уже шел к лестнице, ведущей в зал заседаний. По рядам заговорщиков пронесся вздох облегчения. А если бы Цезарь поддался уговорам авгура? Но нет, Цезарь слишком велик, чтобы верить приметам.

От группы сенаторов отделилась фигура Попилия Лената, того самого, что совсем недавно желал успеха Бруту и Кассию в их начинаниях. Он приблизился к диктатору, фамильярно взял его под руку и горячо зашептал ему что-то на ухо, бросая красноречивые взгляды в сторону заговорщиков. Кассий напрягся. Каска, Децим, Цимбер, все остальные потянулись руками под складки тоги, где прятали кинжалы. Очевидно, покушение сорвалось. Что ж, они готовы покончить с собой...

Только Брут не дрогнул. Все с тем же невероятным спокойствием, которое, кажется, не покинуло его ни на минуту, он обернулся к Цезарю и Попилию Ленату и как ни в чем не бывало улыбнулся обоим. И они улыбнулись

ему в ответ. Значит, говорят они о чем-то постороннем. Впрочем, Цезарь явно торопится покончить с этой беседой.

Марк легко коснулся руки Кассия. Ложная тревога. Теперь надо действовать быстро, очень быстро, иначе все пропало.

С решимостью, которой никто за ним и не подозревал, Брут берет руководство операцией в свои руки. Он незаметно подает сигнал Требонию: пора!

Гай Требоний сейчас же двинулся к Антонию, взял его под руку и с воодушевлением начал ему о чем-то рассказывать. Слова Требония настолько заинтересовали Антония, что он не обратил ни малейшего внимания на то, что Цезарь, не дождавсь его, уже перешел в зал заседаний. И здесь вокруг него немедленно тесно сгрудились заговорщики. Цезарь остался с ними один на один. Рядом ни рабов, ни помощников — обычай запрещал входить в зал сената кому-либо кроме самих сенаторов.

Диктатор не выглядел обеспокоенным. Да и с чего ему было бояться этих трех десятков мужчин, каждого из которых он прекрасно знал? Тем более что здесь же, на скамьях, сидели девять сотен сенаторов, обязанных ему всем — и карьерой, и богатством.

Цезарь прошествовал мимо статуи Гнея Помпея — помпезного сооружения, запечатлевшего Великого обнаженным, в образе греческого героя, не удостоив изваяние даже мимолетным взглядом. Его бывший коллега по триумвирату проиграл свою битву и пал от руки предателей, а он, Цезарь, одержал полную и окончательную победу и теперь достиг зенита славы...

Зато Гай Кассий Лонгин, прежде чем сделать шаг с правой ноги, на мгновение задержался на пороге и задумчиво посмотрел на безмятежное каменное лицо Помпея. Когда-то, в разгар гражданской войны, когда армия Помпея отступала все дальше к югу Италии,

Кассий не питал к своему полководцу теплых чувств и нередко вслух осуждал его действия. Но трагическая гибель Гнея в Египте стерла все ошибки и слабости этого человека. В памяти Кассия, как и в памяти многих других легатов армии Помпея, он навсегда остался живой легендой — непобедимым императором, сумевшим подчинить Риму весь Восток. И разве не пришла пора отомстить диктатору за его смерть?

Кассий огляделся. Совсем близко от него Цезарь уже придвигал к себе кресло, проверял, на месте ли восковые таблички и стиль, чтобы делать заметки.

В этот миг в игру вступил Цимбер.

Упав перед Цезарем на колени, он вытянул вперед руки, опустил их на колени диктатора и громко заговорил:

— Молю тебя, Цезарь, яви милость моему брату! Позволь ему вернуться в Рим!

Цезарь нетерпеливо оттолкнул просителя — как он, право, не ко времени! За его спиной уже плотной шеренгой выстроились остальные заговорщики, совершенно загородившие диктатора от глаз сидящих сенаторов. И они тоже хором убеждают диктатора проявить снисхождение к изгнаннику. На лицо Гая Юлия набежала тень — предвестие столь свойственных ему вспышек холодной ярости. Он терпеть не может назойливости. Между тем Цимбер, как и положено просителю, положил руки на плечи Цезарю. И в ту же минуту легким движением век подал сообщникам знак: все в порядке, он без кольчуги и не вооружен.

Наверное, слишком резкая настойчивость Цимбера и остальных показалась Цезарю подозрительной. Он поднялся с кресла с явным намерением выбраться из плотного кольца обступивших его людей. Но руки Цимбера уже с силой дергали застежку его пурпурной, шитой золотом тоги: одеяние скользнуло вниз, обнажив

шею и плечи. Неужели он наконец понял, что происходит?

— Довольно! — слышался резкий крик диктатора. — Ты позволяешь себе слишком много!

Но звук его голоса потерялся в общем шуме. А за его спиной уже вырос Публий Сервилий Каска с кинжалом в руках. Прицелившись в ключицу, он нанес удар. Но Цезарь сумел отпрянуть, и оружие, не задев артерии, лишь расцарапало ему спину. От гнева и ужаса силы его удесятились, и, круто повернувшись, он схватил своего обидчика за горло.

— Ты, Каска?! — раздался негодующий вопль. — Да как ты посмел, предатель?!

Публий Сервилий разом утратил способность двигаться.

— На помощь, Гай! — простонал он, ища глазами брата. Но младший Каска не шелохнулся, парализованный страхом. А Цезарь, охваченный яростью раненого хищника, уже наносил Публию Сервилию удар за ударом, за неимением лучшего оружия размахивая стилем для письма. Каждый удар он сопровождал громовым возгласом. Неужели сенаторы до сих пор не догадались, что творится у них перед глазами? А если крики Цезаря услышит Антоний, которого Требонию пока удается удерживать в соседнем помещении?

К дерущимся одним прыжком подскочил Кассий. Коротко замахнувшись, он кинжалом рассек Цезарю лоб. («Бейте в лицо!» — так когда-то напутствовал Гай Юлий своих ветеранов перед схваткой с согражданами-патрициями. Как видно, не все забыли его совет.) Но Кассий не убил его этим ударом; хлынувшая из раны кровь лишь на миг ослепила диктатора. А Цезарь ничуть не утратил самообладания. Шаг за шагом отступая от надвигавшихся убийц, он уже добрался до

статуи Помпея и прижался к ней спиной, защищаясь от нападения сзади.

Молниеносное устранение врага, которое планировали заговорщики, все больше напоминало кровавую бойню, а с минуты на минуту могло обернуться полной катастрофой — если к Цезарю подоспеет помощь.

Хватит тянуть! Вперед выступил Децим Юний Брут. При виде этого человека, с которым он ужинал вчера вечером, этого верного товарища, не раз выручавшего его в битве, Цезарь на миг поверил, что спасение близко. Но в руке Брута Альбина сверкнул кинжал. Невозможно! Ведь он вписал его имя в свое завещание, назвал его приемным сыном...

Значит, спасения нет? Медленно, очень медленно Цезарь обвел взглядом столпившихся перед ним мужчин. В какой момент он перестал понимать, о чем думают люди, которых, как ему казалось, он видел насквозь? В какой миг он перешел черту, которой, по их мнению, переходить не следовало? Слишком долго он позволял себе верить, что вертит ими, как хочет. Слишком долго смеялся над ними. Значит, пришел час расплаты.

Чуть поодаль, не смешиваясь с остальными, стоял Марк Юний, еще более бледный, чем обычно. В его темных глазах Гай Юлий прочитал ужас и отчаяние, сострадание и печаль и вместе с тем — беспощадную решимость.

— И ты, Брут?^[86]

Кому он это сказал — сыну Сервилиии или своему родственнику и верному боевому соратнику?

Этого никто никогда не узнает. И, как бы там ни было, не Марк, а Децим сделал решительный шаг и нанес своему другу смертельный удар. Пораженный в область печени, Цезарь медленно сполз на пол^[87]. Его

последние силы ушли на то, чтобы закрыть руками лицо — так же в свое время поступил умирающий Помпей.

Как только диктатор упал, в рядах заговорщиков началось какое-то безумие. Два или три десятка человек, не находившие в себе мужества сдвинуться с места, пока тиран был жив, теперь, увидев перед собой его бездыханное тело, набросились на него с кинжалами и били не глядя...

К ним подошел Марк. Он вряд ли смог бы сказать, что в тот миг творилось в его душе. Раньше он думал, что, исполнив долг, почувствует облегчение, но эта кровавая казнь превзошла жестокостью самые худшие его опасения. И потом, сам он так и не нанес удара...

Он понимал, что обязан это сделать, чтобы до конца остаться главой и вдохновителем заговора, совершенного во имя свободы родины. Прочь сомнения! Брут поднял кинжал и опустил его в бесчувственное тело. Цезарю было уже все равно.

В тот же миг его пронзила страшная боль. Это Кассий, опьянев от вида крови, вслепую размахнулся кинжалом и по самую рукоятку вонзил его в руку Марка. И тут же словно протрезвел. И все остальные вместе с ним. Они стояли молча, не смея взглянуть друг на друга. Выглядели они и в самом деле устрашающе — одежда порвана, руки в крови, в глазах — безумие.

Но теперь-то все кончено? Они сделали то, к чему стремились. Они убили Цезаря.

Неужели понадобилось всего три-четыре минуты, чтобы превратить владыку Рима и мира в жалкий труп, лежащий на полу в луже собственной крови? Почему же им эти минуты показались бесконечными? С высоты своего поста на них взирал каменный Помпей — величественный и смешной в своей наготе. Впрочем, нет, он смотрел не на них, а на противоположную стену. Месть свершилась, но ему, устремленному в вечность, не было до этого никакого дела.

С трудом оторвавшись от созерцания мертвого тела, Брут повернулся лицом к сидящим в зале сенаторам. Боль, терзавшая руку, показалась ему благом, она словно вырвала его из состояния прострации, в котором он пребывал последние мгновения, и вернула к реальности.

Не задумываясь, о том, каким он выглядит со стороны — в запачканной своей и чужой кровью одежде, с рукой, сжимающей обнаженный кинжал, — он громко провозгласил:

— Отцы-сенаторы!³¹

Свою речь он заготовил заранее, хотя и не мог быть уверенным, что останется в живых, чтобы ее произнести. Но... слушать его речь некому. Все девять сотен сенаторов, наконец-то осознавших, что произошло, объятые ужасом, толкаясь и вопя, бросились вон из зала. За ними бежали заговорщики, на ходу пытаясь втолковать насмерть перепуганным людям, что никто не намерен причинить им ни малейшего зла. Напрасный труд. Сенаторы видели лишь кровь на руках убийц, а теперь эти убийцы преследовали их по пятам. Никаких разъяснений им не требовалось.

В одно мгновение зал опустел. И вот уже с улицы слышны дикие крики. Толпа узнала, что Цезарь убит. От портика Помпея паника перекинулась в соседний театр, зрители моментально покинули свои места. Никто не понимал, почему и от кого убегает, но все поддались общей беспорядочной суматохе. Масла в огонь подлил отряд принадлежавших Дециму Юнию Бруту гладиаторов. Предполагалось, что они явятся к курии на всякий случай, защитить заговорщиков в случае опасности. Но в памяти римских граждан еще слишком прочно жил ужас перед восстанием Спартака, и от

одного вида вооруженных рабов они утратили последние остатки здравого смысла.

Постепенно новость о смерти Цезаря расползлась по городу, подогревая панические настроения. Торговцы, по опыту знающие, что любые волнения в городе всегда кончатся грабежами, спешно закрывали ставнями окна лавок. Настал поддень.

Улицы Рима обезлюдели. Город словно вымер.

Брут с друзьями остались в зале курии одни с убитым Цезарем, о теле которого никому из бежавших не пришло в голову позаботиться. Никто из них не был готов к такому повороту событий.

Они рассчитывали, что Каска одним ударом прикончит диктатора, и тогда Брут произнесет перед отцами-сенаторами, которые еще просто не успеют испугаться, аргументированную речь. Выслушав ее, высшие сановники республики проголосуют за то, чтобы признать убийство Цезаря мезтью за поруганную свободу. Дальше все пойдет само собой. Республиканские институты заработают, как прежде, поддерживаемые сенатом и народом.

Но своим позорным бегством сенаторы спутали заговорщикам все карты. Планируя заговор, они хотели одного — вернуть законный порядок, но теперь, когда законные представители власти попросту сбежали, они оказались в полнейшей растерянности.

Чтобы покончить с неопределенностью, следовало действовать. Предвидеть и задавить возможный отпор со стороны цезарианцев, отдавать конкретные приказы, объявить созыв сената. Ни один из них не имел для этого мужества. И Брут, и Кассий, и Требоний, и остальные — все они исповедовали традиционные взгляды и любые активные меры по захвату реальной власти сочли бы мятежом. Попытка овладеть ситуацией означала бы для них отказ от высоких принципов, ради которых они и пошли на убийство. Они искренне

считали себя спасителями Республики, Рима и Свободы и не собирались повторять ошибок прошлого. На протяжении последних ста лет город перевидал немало деятелей, которые намеревались разом покончить со всеми проблемами, но вместо этого втягивали народ в кровавые братоубийственные авантюры. Не к этому стремились Брут и его сторонники.

Сознавали ли они, что, отказываясь от дальнейшей борьбы, лишили убийство Цезаря всякого смысла? Скорее всего, нет. Они верили в римскую доблесть, в старинные традиции, во все то, благодаря чему и возник Рим. Да, сейчас все в растерянности, но пройдет всего несколько часов и недоразумение рассеется, а в город вернется порядок.

Именно в эти несколько часов, проведенных в бездействии, и решилась судьба заговорщиков, каждого из них приведшая к преждевременной и трагической гибели.

Постепенно ими овладело нетерпеливое беспокойство. Надо было куда-то идти, что-то делать.

Может быть, отправиться на Капитолий?

Капитолий — сердце политической, исторической и религиозной жизни римлян — представлял собой еще и естественную крепость, то есть место, в котором заговорщики могли чувствовать себя защищенными. Кроме того, именно здесь стояли статуи древних афинян-тираноборцев и Луция Юния Брута.

Заговорщики покинули портик Помпея и под мощной охраной гладиаторов Децима Брута двинулись вверх по Священной дороге, дошли до храма Сатурна и свернули к единственной проезжей улочке — остальные пути к вершине холма вели по лестницам.

Чтобы их шествие как можно меньше походило на бегство, они шагали, гордо размахивая кинжалами и водрузив на шест войлочную шапку — символ освобождения. Никто не встретился им по пути, лишь

зияли выломанные двери лавок, открывая взору перевернутые прилавки, — кое-кто в городе уже сообразил, как безнаказанно поживиться чужим добром.

Однако понемногу стали возникать первые робкие свидетели происходящего. То прячась за колонной, то осторожно выглядывая из-за портика, более или менее важные политические деятели, державшиеся в стороне от покушения, но теперь почуявшие запах победы, спешили присоединиться к заговорщикам.

Одним из первых явился Фавоний — тот самый друг Катона, с которым Брут около двух месяцев назад рискнул завести философский диспут о законности тиранубийства. Тогда он высмеял эту затею, однако сейчас, обнаружив Брута во главе удачливых тираноборцев, прибежал высказать свое восхищение.

Марк его не слушал. Он все еще не избавился от пережитого потрясения, у него страшно болела рука, но главным образом его снедала тревога за Порцию. До покушения он не позволял себе даже думать о жене, а как только все было кончено, немедленно послал домой раба. Но почему его так долго нет?

Он, кажется, даже не заметил, когда к их группе присоединился еще один известный персонаж — бывший зять Цицерона, отъявленный цезарианец, непотопляемый Публий Корнелий Долабелла. Красавец Долабелла во всех случаях жизни признавал одну-единственную линию поведения — ту, что кратчайшим путем вела к успеху и богатству. К своим двадцати пяти годам этот неисправимый игрок успел промотать несколько состояний и утопал в долгах — после развода с Туллией он даже не смог вернуть отцу жены ее приданое. Цицерон горько сокрушался по этому поводу, но тем не менее продолжал дарить его симпатией и называл милым пройдохой.

Чтобы поправить дела, Долабелла серьезно рассчитывал на Цезаря и имел на то все основания. Особенно порадовал его последний подарок диктатора: после отъезда в Персию тот обещал назначить его консулом, на пару с Антонием. Для человека его возраста это была бы поистине блистательная карьера^[88].

Внезапная гибель Цезаря означала, что действующими консулами становятся Долабелла и Антоний. Казалось бы, простая порядочность должна была удержать его от попрания праха вчерашнего благодетеля, но тот, кто так думал, слишком плохо знал Публия Корнелия. Горячо пожимая заговорщикам руки, Долабелла благодарил их за избавление от тирана, сожалел о том, что его не позвали участвовать в покушении, и уверял, что мысленно все время был с ними.

Как ни противно было слушать этого перевертыша, Кассий не сдержал одобрительной улыбки. Все-таки Долабелла теперь консул, а с точки зрения закона совсем неплохо, что консул примкнул к заговорщикам. К тому же всем известно, что Долабелла и Марк Антоний терпеть друг друга не могут. Почему бы не сыграть на взаимной вражде обоих консулов? Кассия эта перспектива так обрадовала, что он даже не вспомнил о ходивших по Риму скабрезных слухах, намекавших на связь его жены Тертуллы с Долабеллой.

Брут не разделял энтузиазма Кассия. Он не верил в пользу сделки с прохвостами. Если все возвращается на круги своя, стоило ли убивать Цезаря?

Так же холодно встретил он Лентула Спинтера, отметив, однако, что тот позаботился прицепить на пояс точно такой кинжал, какими вооружились заговорщики. Впрочем, Марк давно утратил уважение к Публию Лентулу, в прошлом одному из самых

воинственных сторонников Помпея, накануне битвы под Фарсалом мечтавшему, что отберет у Цезаря сан верховного понтифика.

К ним прибились еще два-три человека, правда, не имевших в городе особого влияния. Массовой поддержкой тут и не пахло. Но самое неприятное выяснилось, когда они поднялись на вершину Капитолийского холма. Оказалось, что Долабелла дорогой испарился. Очевидно, он в очередной раз решил, что разумнее будет сопровождать заговорщиков мысленно.

Колебался не только Долабелла. Мало кто в городе решился в эти послеполуденные часы занять твердую позицию: неизвестно ведь, чего хотят тираноборцы, неизвестно, что предпримут сторонники Цезаря. Даже те, кто поддерживал Брута с друзьями, предпочитали делать это с оглядкой и на расстоянии, как Долабелла или его бывший тесть Цицерон.

Примерно неделю назад Цезарь отругал рабов, все утро продержавших в приемной Марка Туллия, явившегося к диктатору с визитом.

— Он и так терпеть меня не может, — выговаривал он слугам, — зачем же создавать для его ненависти подлинные причины³².

Цицерона наверняка обрадовала смерть Цезаря, которому он всегда завидовал. И он не мог не понимать, что в какой-то мере и сам приложил к ней руку. Его долгие провокационные беседы, его тонкие намеки на героического предка Брута принесли свои плоды. И никто не удивился бы, если старый консуляр разделил бы с заговорщиками моральное бремя покушения.

Но... он не торопился это делать. А ведь Брут в своей речи, которую ему так и не дали произнести, намеревался воззвать к Цицерону как к символу

республики и пригласить его вместе с сенаторами взять на себя преобразование государственного порядка.

Напрасно тираноборцы ждали, что совесть республики примкнет к их рядам. День клонился к вечеру, а Цицерон так и не объявился. Марк Туллий ограничился тем, что послал Базилу — одному из бывших сторонников Цезаря, не игравшему в заговоре сколько-нибудь заметной роли, коротенькую записку, составленную в несвойственной его обычной велеречивости лаконичной манере:

«Поздравляю. Радуюсь. Слежу за твоими делами. Хочу, чтобы ты явил мне свое расположение и рассказал, что происходит».

Все это звучало настолько туманно, что, случись неприятность, Цицерон с легкостью доказал бы, что вовсе не имел в виду убийство Цезаря. Впрочем, стоило ли удивляться? И Брут, и его друзья слишком хорошо знали, чего стоит этот тщеславный говорун, охотно изображающий из себя героя, если ему лично ничто не грозит, и празднующий труса при малейших признаках реальной опасности. Именно по этой причине они и держали его в стороне от заговора, с улыбкой повторяя друг другу, что мужество — не то качество, которое приходит с возрастом.

И если они ждали поддержки от Цицерона, то лишь потому, что верили: с гибелью Цезаря опасность окончательно миновала, а значит, Цицерон не замедлит встать на сторону победителей. Его осторожность заставила их взглянуть в лицо действительности и осознать факт, над которым им меньше всего хотелось размышлять: никакой победы они не одержали.

Итак, Цезарь убит. Что дальше? Они, его убийцы, сгрудились на Капитолийском холме, отрезанные от города, отрезанные от людей. Они надеялись, что вслед за покушением само собой вспыхнет массовое движение в их поддержку. И просчитались.

Но, может быть, еще не поздно его подтолкнуть? Конечно. Надо только развить бешеную активность и перетянуть на свою сторону народ. Надо запустить в ход самую бессовестную пропаганду, используя наиболее весомый из всех аргументов — деньги. В Риме все решают две силы — армия и плебс, и эти силы надо обернуть к себе, а не против себя.

Армия? Они о ней даже не вспомнили. Разве они замыслили военный переворот? И потом, среди них нет никого, кто хоть чем-то напоминал бы Мария или Суллу, Помпея или самого Цезаря. Рваться к власти, опираясь на легионы. Да такая возможность среди них даже не обсуждалась. Добиться расположения ветеранов галльских, британских, испанских и восточных походов, беззаветно преданных своему императору, — само по себе почти невысказуемо, но если подойти к делу с умом... Наобещать воинам, что их ждут награды и земли... Люди слабы, а звон золота нередко глушит голос совести...

Да что там говорить, достаточно было подкупить одного-единственного человека — Марка Эмилия Лепида, приходившегося Кассию и Бруту зятем. Лепид всю жизнь лелеял сокровенную мечту — занять должность верховного понтифика. После смерти Цезаря пост освободился. Стоит отдать его Лепиду, и о солдатских мятежах можно не волноваться — начальник конницы сумеет с ними справиться. Но ни Бруту, ни Кассию эта мысль даже не пришла в голову. Еще бы, ведь это значило грубо нарушить закон!

Плебс таил в себе опасность иного рода, отнюдь не меньшую. Не то чтобы чернь очень уж любила Цезаря, просто она являла собой огромную массу, целиком находящуюся во власти переменчивых настроений и готовую за подачки поддерживать кого угодно. Сумеют тираноборцы подольститься к толпе — она сделает из них триумфаторов, не сумеют — втопчет в пыль.

Чтобы найти общий язык с плебсом, следовало войти в сговор с вожаками, щедрой рукой сыпать деньги главам жреческих коллегий, которым подчинялись ремесленники и торговцы. Впрочем, Долабелла выразил готовность взять этот труд на себя — у него в этих кругах имелись свои связи, унаследованные от его предшественника Клодия.

Этого-то как раз и опасались заговорщики. Брут, Кассий и все остальные всю свою жизнь, с раннего детства, наблюдали, как бессовестные политики манипулируют огромными плебейскими массами. И они знали, на что способна обезумевшая толпа. Знали и боялись ее. Как знать, быть может, они уже пробудили силу, обуздать которую у них не хватит умения?

Брут и его друзья, выходцы из патрицианских семей, организовали заговор от имени и во имя народа. Но смысл, который они вкладывали в понятие «народ», имел очень мало общего с грубой реальностью. Тот человеческий муравейник, который копошился внизу, на площади Форума, ничем не напоминал прекрасный образ, сложившийся в их мечтах под влиянием прочитанных книг. Разве эти тысячи бездельников, отпущенников, дезертиров, чужеземцев хоть в чем-нибудь походят на воинов и землепашцев, свободу которых они жаждали отстаивать?

Идеальный народ их грез никогда не существовал. Правда, они могли бы попытаться создать его, если бы достаточно сильно в него верили. Но их охватили уныние и усталость. Бруту внезапно открылась простая истина: в эти самые минуты повсюду в Риме — и в роскошных домах патрициев, и в жалких хибарах Субурры — каждый житель города думает лишь о том, как бы целым и невредимым пережить смуту, а если повезет, то и заработать на ней. Марк и его друзья совершили убийство именем отчизны, чести и свободы. Но они ошиблись эпохой. С тех самых пор, как в городе

стало не протолкнуться от чужеземцев, прибывавших со всех концов Италии и других провинций, слово «родина» начало утрачивать свой смысл, вытесняемое спесью завоевателей. Что же до чести и свободы, то римляне давным-давно обменяли их на нечто более существенное — корзинку с подарками от патрона, а то и теплое местечко. Нет, если они хотели достучаться до сердец соотечественников, их надо было соблазнять деньгами и роскошью, легкой и беззаботной жизнью.

Свобода — это прекрасно, но борьба за нее требует жертв. Разве случайно то, что почти все честные люди прозябают в бедности? И кого теперь интересуют политические идеалы? Столетие гражданских войн, проскрипций, подстроенных выборов и продажных политиков истощили волю народа к возмущению. Тысячи и тысячи италиков охотно поддержали бы поэта Тибула, который вскоре с откровенным цинизмом заявит: «Не желаю умирать молодым ради пустяков».

Именно такая судьба и ждала Брута и его друзей. Не ради народа они были готовы отдать свои молодые жизни — ради собственной чести и личной свободы. Примером им служил Катон.

Очевидно, они хорошо понимали это, стоя на вершине Капитолийского холма в ожидании развития событий. Впрочем, из всех заговорщиков только трое — Брут, его двоюродный брат Децим и его свояк Кассий — представляли собой самостоятельные фигуры. Остальные предпочитали действовать по чужой указке, что и доказало их поведение нынешним утром.

Децим и Кассий были воинами, а не политиками. Они привыкли сражаться мечом, в открытом бою, тогда как ситуации, подобные теперешней, ввергали их в растерянность. Подлинным «мозгом» операции оставался Марк Юний, идеалист Марк Юний с его высокими принципами, не позволявшими предпринимать шаги, которые могли бы выглядеть

бесчестными. Теперь же, смертельно усталый, раненный в руку, обеспокоенный судьбой Порции, и он утратил способность принимать быстрые решения, тем более что никогда не любил решать впопыхах.

Опасная неопределенность их положения усугублялась с каждым часом.

Вскоре с Форума прибыл гонец от Долабеллы, сообщивший, что народ более или менее подготовлен, кое-кто должным образом «подмазан» и можно спускаться. Новость не вызвала особого воодушевления. Разве Долабелла заслуживает доверия? Обратиться с речью к народу? Да это самоубийство! Остаться в бездействии тоже нельзя, ибо это смахивает на трусость.

Брут еще раз огляделся вокруг, пожал плечами и решительно двинулся к спуску с холма. За ним последовал Кассий. Уж его-то никто не упрекнул бы в недостатке мужества. К тому же он ясно видел, что Марк один просто не дойдет, от боли и изнурения он едва держался на ногах.

В его выступлении не осталось ничего от торжественной речи, приготовленной для сенаторов. Собравшиеся вокруг ростральной трибуны люди — крайнее крыло партии популяров, бывшие товарищи незабвенного Клодия, — с холодным равнодушием внимали его словам о тирании царской власти и свободе, об отваге, проявленной Кассием и Децимом Брутом. О себе он не говорил, зато вспомнил своего великого предка Луция Юния Брута. Но какое дело плебсу до древней истории! После Марка на трибуну поднялся Кассий. Он попытался придать своей речи политический характер и начал излагать программу, практически в те же минуты рождавшуюся у него в голове. Обещал вернуть в город Цезетия и Марулла — плебейских трибунов, изгнанных Цезарем, требовал амнистии для Секста Помпея — младшего сына

Великого, бежавшего неизвестно куда, наконец, призывал к полному восстановлению свободы.

Толпу же меньше всего волновала судьба ссыльных трибунов и сына Помпея. Она жаждала услышать совсем другие обещания — золота, зрелищ, поблажек, и все это как можно скорее. Правильно поняв намерения этих бездельников, заговорщики, все еще находившиеся на Капитолии, принялись швырять вниз деньги, какие имели при себе. Началась давка, из-за каждой монеты вспыхивала потасовка. Увы, монет слишком мало, чтобы обеспечить Бруту и Кассию единодушную народную поддержку.

Между тем на город опускался вечер. С моря задул ветер, принесший мелкий занудливый дождик. Из-за боязни пожаров римские улицы не освещались по ночам, и Кассий решил, что им пора вернуться на холм, под защиту крепости, пока окончательно не стемнело. Толпа, убедившись, что на сегодня с подачками покончено, понемногу потянулась прочь с Форума.

Брут выглядел гораздо спокойнее. Он наконец получил весточку из дома. Порция не умерла, просто из-за тревожений последних часов с ней случился глубокий обморок, переполошивший слуганок.

Дрожа от холода в своих легких тогах, укрываясь от дождя под храмовыми портиками, мучаясь голодом — никто не догадался принести им еды, — заговорщики провели еще одну бессонную ночь. Внизу, на площадях и перекрестках, пылали костры — безошибочный признак того, что в городе происходит нечто необыкновенное. Приказ освещать ночью улицы отдали Лепид и Антоний.

К этому часу стало очевидно, что тираноборцы проиграли свою партию, упустили Фортуну. Все рычаги власти по-прежнему оставались в руках сторонников Цезаря.

Марк Антоний провел нелегкий день. Со ступеней лестницы, ведущей в зал заседаний, втянутый Требонием в какой-то пустой разговор, он, конечно, слышал крики Цезаря и понял, что происходит. Но его дружба к диктатору не простиралась настолько далеко, чтобы рисковать своей жизнью в попытке помешать покушению. Он поспешно удалился из курии, содрав с себя парадную тогу консула, а свою изящную тунику обменял у какого-то раба на его отрепья. В таком виде он незаметно пробрался домой и велел покрепче запереть все двери. Позже он объяснит Лепиду, что поступил так в полной уверенности, что заговорщики и его намерены лишить жизни. Дома, поразмыслив, он пришел к убеждению, что лично ему бояться нечего — иначе зачем Требоний так старался не пустить его в зал заседаний? Настроение его значительно улучшилось.

Когда же к нему явился Лепид, он и вовсе успокоился.

Лепида в тот день вообще не было в Риме. Начальник конницы находился с войсками, стоявшими за городскими стенами, и занимался последними приготовлениями к восточному походу. Узнав о гибели диктатора, он, как и положено дисциплинированному воину, первым делом отправился к консулу — Антонию. Рассказал ему, что заговорщики в полной изоляции засели на Капитолии, что сенат в растерянности, зато армия целиком на стороне партии Цезаря. О лучшей возможности захватить власть и занять место покойного диктатора трудно было и мечтать. Только слепец вроде Брута мог думать, что Марк Антоний станет заниматься восстановлением республики. Его интересовала власть и, по возможности, единоличная.

Прежде всего, решил он, нужно идти в дом великого понтифика. Три раба — единственные, кто не бросил Цезаря, — уже перенесли сюда его тело и уложили на

ложе. Над ним рыдала Кальпурния. Клеопатра, опасаясь народного гнева, успела исчезнуть из города.

Не тратя времени на утешения, Антоний потребовал у Кальпурнии ключи от сундука, в котором Гай Юлий хранил самые важные документы. Убитая горем вдова не посмела спорить, и консул забрал себе все, включая деньги — четыре тысячи талантов, или сто миллионов сестерциев, которые являлись личной собственностью покойного.

Он знал, на что потратить эти миллионы. Всю ночь его и Лепида рабы, отпущенники и клиенты носились по городу, раздавая деньги выборщикам и главам жреческих коллегий, тем самым людям, которых Долабелла попытался склонить на сторону заговорщиков. Только у них имелись в руках весьма весомые аргументы в виде звонкой монеты, а пославший их Антоний отнюдь не мучился угрызениями совести, снедавшими Брута. Вот для чего всю ночь в Риме горели костры.

Из города во все италийские муниципии — в Латий, Кампанию, Этрурию — были отправлены гонцы с вестью о смерти Цезаря. Они получили задание везде рассказывать о покушении как о злодействе, совершенном горсткой недобитых сторонников Помпея, лишенных какой бы то ни было поддержки в политических кругах. Имена Децима Брута и других бывших цезарианцев упоминать запрещалось. Зато следовало созвать в Рим ветеранов, колонов и друзей Цезаря, убедив их, что партия Помпея намерена отобрать у них земли и богатства, пожалованные императором.

Покончив с этими, самыми срочными делами, Лепид и Антоний принялись обсуждать устройство торжественных похорон убитого диктатора.

...Брут совершил две непоправимые ошибки: оставил в живых Антония и не позволил бросить тело

Цезаря в Тибр. Но, даже знай он, чем это чревато, ничто на свете не заставило бы его пожалеть о проявленной человечности.

Наступало утро 16 марта. Первые лучи солнца коснулись капитолийских статуй и разбудили заговорщиков, которые в конце концов задремали, уронив головы на руки. Город внизу казался таким же пустым и безразличным, как накануне. Наконец явился Цицерон.

Они ждали его вчера, когда публичное вмешательство старого консуляра еще могло повернуть ход событий в их пользу. Он пришел слишком поздно... Менторским тоном он принялся разъяснять им, что именно они сделали неправильно. Его привела сюда застарелая ненависть к Антонию. Без труда догадавшись, чем тот занимался ночь напролет, он пришел в ужас, представив себе город под пятой Гладдиатора. Надо, пока не поздно, перерезать горло Антонию, вещал Цицерон. Как все трусливые люди, он умел бывать чрезвычайно жестоким: вспомнить хотя бы, как, будучи консулом, он без суда и следствия предал казни друзей Каталины. И почему они не созвали сенат? Если бы его пригласили раньше, возмущенно продолжал он, этих ошибок удалось бы избежать.

Неужели тщеславный старец уже забыл о паническом бегстве сенаторов, в числе которых, кстати сказать, находился и он сам? Теперь, чтобы собрать отцов-сенаторов, нужен особый декрет. Кто его вынесет?

С трудом подняв на Цицерона глаза, заговорил Брут. По закону только Антоний, объяснял он, имеет право принять такое решение, — ведь он консул. Марк Антоний? Цицерон не сдержал желчного смеха. Признать законность его власти? Да вы хоть догадываетесь, что он с вами сделает?

С упрямством, достойным его покойного отца, Марк стоял на своем. Они должны действовать строго в рамках закона, иначе убийство Цезаря теряет всякий смысл. Нельзя приступать к восстановлению республики, попирая самые священные ее основы.

Кто из них прав, а кто нет? Марк Туллий назвал позицию Брута ребячеством. Ведь он — городской претор, то есть третье лицо в государстве, значит, может и сам созвать сенат. Только в случае отсутствия обоих консулов, не соглашался Марк Юний.

Какие консулы, кипятился Цицерон. Каждому известно, что Марк Антоний занимает должность незаконно, поскольку его никто не избирал. Но ведь и Брут стал претором по прямому назначению диктатора... Спорщики явно вступили в порочный круг, из которого не виделось выхода.

Оставался единственный выход — воззвать к народу. Но никто из них не сомневался, как поведет себя народ: он пойдет за тем, кто больше заплатит. И тут Цицерон еще подлил масла в огонь, рассказав о ночных демаршах Антония. А в город уже начали понемногу прибывать ветераны из Латия и Этрурии. Шансы тираноборцев таяли с каждым часом.

Цицерон был политиком, Брут — фанатиком веры. Первый строил свою тактику исходя из реальной обстановки, согласно линии, которую вскоре облечет в чеканную формулу: «Пусть лучше погибнет Республика, чем наше добро!» Второй защищал догму, которую считал незыблемой, и скорее умер бы, чем отрекся от прекрасного идеала римской доблести. Заговорщики действовали во имя народа, значит, народ и должен решить их судьбу. Очевидно, в душе Брут все еще надеялся достучаться до сердец соотечественников.

За минувшую ночь римляне убедились, что в городе спокойно, никаким насилием и не пахнет, так почему бы им не выслушать тиранобийца?

Друзья-заговорщики, такие же идеалисты, как Брут, полностью его поддержали. Крайне раздосадованный, Цицерон удалился, бормоча, что напрасно они пренебрегли его советами.

Пока посланцы тираноборцев обегали город, созывая граждан к подножию Капитолия, Брут занялся переделкой речи. Он старался найти слова, которые заденут за живое вновь прибывшую публику — ветеранов Цезаря, на которых сделали ставку Антоний и Лепид^[89].

Вскоре вокруг Капитолия собралась толпа, в которой и в самом деле оказалось немало бывших участников знаменитых походов Цезаря. Никогда еще Марку не приходилось выступать перед столь многочисленной аудиторией.

Главную свою задачу он видел в том, чтобы оправдать заговор с точки зрения закона. Цицерон предупредил его, каких упреков со стороны Антония следует опасаться в первую очередь. Каждый римлянин принес Цезарю клятву верности, следовательно, подняв на диктатора руку, Брут и его друзья совершили клятвопреступление. Смыть с себя это позорное обвинение — вот к чему стремился Брут, начиная речь.

— После того как Гай Цезарь вернулся из Галлии и привел с собой вражеские войска^[90], — говорил он, — после того как Помпея — лучшего из республиканцев — постигла жестокая участь, после того как многие и многие честные граждане нашли кончину в африканском и испанском изгнании, Цезарь все еще не избавился от опасений. Установив свою тиранию, он объявил амнистию. Мы приняли ее и присягнули ему. Но если бы те, кто приносил ему клятву, тогда знали, что он потребует от них не просто стоически смириться с прошлым, но и стать в будущем его рабами, что бы они тогда сделали? Будь они истинными римлянами, они, я

уверен, предпочли бы тысячу раз умереть, чем присягнуть на верность человеку, вознамерившемуся обратить их в рабство.

Если бы Цезарь всего лишь стремился обратить нас в рабов, возможно, мы и в самом деле выглядели бы клятвопреступниками. Но разве он вернул народу право избирать городских магистратов, наместников провинций, командующих войсками, преторов и управителей колоний? Разве он не забрал себе все почести? Сенат перестал что-либо решать, а от народа никто не ждал одобрения этих решений.

Цезарь всем распоряжался по собственному усмотрению, и не похоже было, что эта достойная сожаления манера его угнетала. Вспомним Суллу. Даже он в какой-то миг понял, что с него довольно, и, раздавив врага, отдал власть в ваши руки. Другое дело Цезарь. Готовясь выступить в новый длительный поход, он предпочел на пять лет вперед лишит вас права избирать магистратов. Так что же за свободу он нам оставил, если сумел отнять даже надежду стать свободными?

Вспомним и народных трибунов Цезетия и Маруллу. Они исполняли свой долг, пользуясь правом священной неприкосновенности, но Цезарь поправил это право, вынудив их к изгнанию. Все мы знаем закон предков, запрещающий судить народных трибунов. Но Цезарь и не думал предавать их суду, он своей волей покарал их без всякого суда!

Так кто же повинен в нарушении закона неприкосновенности, мы или Цезарь?

И была ли его собственная неприкосновенность священной? Она была бы таковой, если бы мы присягнули ему добровольно. Но он вынудил нас к этому, явившись на родину с оружием в руках и уничтожив многих из лучших сограждан.

И разве власть трибунов не более священна? Разве напрасно наши предки навеки провозгласили ее неприкосновенность, завещав нам клятвы и проклятия? Вспомним же, как Цезарь грозил смертью другому народному трибуну, осмелившемуся встать на его пути и не дать завладеть государственной казной. И он завладел ею, несмотря на народное возмущение^[91].

Вы спросите, какие еще нужны клятвы, чтобы сохранить мир? Но если в будущем у нас не будет тиранов, нам не нужны никакие клятвы! Наши предки прекрасно обходились без тиранов. Если же когда-нибудь найдется еще кто-нибудь, мечтающий о тирании, римляне должны знать: нет клятвы, которую они обязаны хранить из верности тирану! Мы не боимся во весь голос говорить об этом, хотя подвергаем себя опасности. Но когда речь идет о спасении родины, об этом нужно говорить громко! Да, при Цезаре многие из нас занимали важные посты, но мы принесли свое благополучие в жертву ради спасения родины.

Аргументация Брута строилась на одной фундаментальной посылке: если Цезарь был тираном, значит, его убийцы не только не нарушили закон, но и восстановили его священность. Они и в самом деле считали именно так. Открытием для них оказалось другое — соотечественники вовсе не торопились с ними согласиться. Пусть тираноборцы повели себя как герои и разрушили беззаконие, но многим из их сограждан это беззаконие приносило немалую личную выгоду. И хотя для Брута подобные соображения никогда не имели веса, он понимал, о чем думает толпа. И попытался ее успокоить, прежде всего ветеранов:

— Я знаю, что вас пугают, предрекая, будто мы намерены отобрать ваши земельные наделы. Если здесь есть люди, получившие или ожидающие получения такого надела, пусть они покажутся!^[92]

Над толпой взметнулись десятки рук. Лепид и Антоний не теряли времени даром. Брут не растерялся:
— Хорошо, что вы пришли сюда сами.

И начал излагать свою программу. Разумеется, говорил он, ветераны галльских, британских и испанских походов, послужившие отечеству, имеют полное право на награды. Правда, потом многие из них, последовав за своим мятежным императором, повернули оружие против Рима и Республики. Но мы готовы простить им участие в гражданской войне и не намерены отнимать у них то, что они уже получили.

Здесь Брут вступал на весьма зыбкую почву. Дело в том, что только часть земель, розданных ветеранам, располагалась в удаленных провинциях, где от конфискаций в пользу воинов пострадали греки, азийцы и кельты (сам Брут, кстати сказать, не одобрял практики грабежа покоренных народов). Но значительную долю земельных наделов Цезарь отобрал у побежденных сторонников Помпея, и эти наделы находились в Италии. Как поступить с ними? Очень просто. Надо возместить пострадавшим ущерб, выплатив им соответствующие денежные суммы.

— Вы вступили во владение этими землями? — продолжал Марк. — Владейте же ими! Ни Брут, ни Кассий, ни один из тех, кто рисковал своей жизнью ради вашей свободы, на них не посягнет!

Марку казалось, что он нашел прекрасный выход, успокоив и воинов Цезаря, и обездоленных земельных собственников. Разумеется, это был чистой воды идеализм. Никакими средствами, чтобы заставить сенат принять закон о возмещении убытков помпеянкам, ни он, ни его друзья не располагали. Но он верил в осуществимость своих обещаний — конечно, при условии, что всю клику Антония удастся отстранить от власти. И, гордясь своей репутацией кристально

честного человека, полагал, что его слова будет достаточно.

Марк Юний Брут слишком плохо знал людей. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, они ждали от него не каких-то туманных посулов, а немедленных подачек. Цезарь отлично разбирался в этих вещах и постоянно устраивал для народа всевозможные раздачи. Так и теперь увесистый кошелек с сестерциями привлек бы к тираноборцам больше симпатий, чем сотня самых лучших речей. Но ни Брут, ни другие заговорщики не обладали богатствами. Впрочем, они могли бы подкупить ветеранов простым обещанием добиться для них разрешения перепродать выделенные наделы. Бывшие воины приняли бы эту идею с восторгом. В большинстве своем городские жители, они совсем не жаждали становиться земледельцами, и, очевидно, не без оснований. Как показал опыт прошлого, воины Суллы, оказавшись в аналогичной роли, разорились уже через несколько лет и пополнили собой мятежные отряды Каталины. Однако Брут считал политику колонизации благороднейшим делом: она способствовала сокращению числа городских бездельников и одновременно препятствовала скоплению земельных богатств в руках крупных владельцев. И поступиться своими убеждениями он не мог и не хотел.

Он закончил выступление, довольный собой, — в отличие от своих слушателей, которые уже искали взглядами Антония. Прагматик явно нравился им гораздо больше идеалиста. Тем более что минувшей ночью он уже успел доказать: ему прекрасно известны чаяния народа.

Марк Антоний и в самом деле не терял времени зря. На раннее утро 17 марта он назначил заседание сената, предложив высшим магистратам собраться в храме

богини земли Теллурии, который располагался на Эсквилине, в квартале Карены.

Выбор этого места был далеко не случаен. В римском пантеоне Теллурия идентифицировалась с Церерой, богиней плодородия. Считалось, что убийца, проливая невинную кровь, наносит оскорбление земле-кормилице, то есть самой богине. Вот почему, прежде чем свершить над телом убитого погребальный обряд, римляне непременно приносили очистительную жертву оскорбленной земле. Именно этим и намеревался в первую очередь заняться Марк Антоний накануне похорон Цезаря, из чего следовало сразу два вывода: Гай Юлий не был тираном (иначе его не стали бы хоронить с соблюдением обряда), его же убийцы — клятвопреступники и святотатцы.

Сенат понадобился Антонию не только для этого. Сомневаясь в умонастроениях политической верхушки, он хотел прощупать их пульс и найти какой-то законный выход из создавшегося положения, чреватого, как он прекрасно понимал, новой гражданской войной. Еще накануне вечером он собрал у себя дома наиболее твердых сторонников Цезаря и воочию убедился, что даже среди них нет единодушия.

Лепид заявил, что армия целиком на их стороне. Начальник конницы знал, о чем говорил. Он уже ввел войско в Рим под предлогом необходимости поддерживать в городе порядок во время похорон диктатора. Разумеется, это шло вразрез с законом, но все еще слишком хорошо помнили похороны Клодия, которые закончились беспорядками, грабежами и пожарами, так что вряд ли эта мера вызвала бы в ком-нибудь возражения. Заодно, как, посмеиваясь, добавил Лепид, одной-двух когорт вполне хватит, чтобы разделаться с тираноборцами. И никакой суд не нужен. Перерезать им глотки, вот и вся недолга.

Неужели никто не удивился кровожадности Лепида? Ведь речь как-никак шла о двух его свояках. Заметим, что, когда заговорщики недели две назад обсуждали план покушения, кто-то здравомысляще предложил убрать также Антония и Лепида: первого — потому, что он консул, а второго — потому, что за ним стоит армия. И если, отстаивая жизнь Марка Антония, Бруту пришлось долго убеждать друзей, то против предложения устранить Марка Эмилия возмутились практически все. Его гарантами выступали именно его родственники, и не потому, что питали к нему теплые чувства, а потому, что он приходился отцом их племянникам. Как видно, сам Лепид подобной сентиментальностью не отличался. Впрочем, он уже сообразил, что воспользуется ситуацией, чтобы без хлопот развестись с Юнией Старшей.

Марк Антоний решительно отверг план Лепида. Он не забыл, с какими неприятностями столкнулся Цицерон, когда без суда и следствия расправился с Каталиной. А сейчас речь шла о судьбе высокородных патрициев, представителей лучших римских фамилий.

И тут подал голос сенатор Гиртий. Почему бы не согласиться с заговорщиками, сказал он, и не восстановить республику?

Антоний оказался перед выбором из двух взаимоисключающих возможностей и решил переложить бремя ответственности на сенаторов. Он ничем не рисковал — вокруг храма толкалась целая толпа ветеранов, и вряд ли в этих условиях сановитые магистраты изменят своей привычной трусости и бросятся защищать заговорщиков. Разумеется, Брут с друзьями на заседание не явились. Все, что они пока могли — писали сенаторам записки с просьбой о поддержке.

Впрочем, организаторы заговора поступили вполне разумно, не торопясь спускаться с Капитолийского

холма. Наводнившая город солдатня не стеснялась в выражении злобы в адрес сенаторов, склонных стать на сторону тираноборцев. Претора Луция Корнелия Цинну они встретили градом камней и вынудили искать убежища в ближайшем доме. Цинна приходился родным братом Корнелии, первой супруге Цезаря и матери Юлии, той самой «неблагонадежной» Корнелии, с которой молодой Гай Юлий отказался развестись в угоду Сулле. Цинна, конечно, не забыл, как отважно и достойно повел себя муж его сестры в той давней истории. Однако речь Брута произвела на него такое сильное впечатление, что он не удержался и тоже выступил с трибуны с гневной диатрибой против убитого диктатора. Затем он сорвал с себя знаки преторского отличия и заявил, что не желает занимать должность, полученную милостью тирана. И на следующий же день стал жертвой уличного нападения.

Очевидно, на страх сенаторов перед ветеранами и рассчитывал Антоний, задумав их руками расправиться с заговорщиками. Но он ошибся в своих расчетах. Запуганные Цезарем, эти римские политики после его смерти почувствовали прилив отваги. Вчерашние подхалимы мгновенно сделались яркими республиканцами. Что же касается убежденных приверженцев диктатора, составлявших в сенате изрядную долю, то большинство из них предусмотрительно покинули город, едва стало известно о гибели их благодетеля. Таким образом, утром 17 марта в храме Теллурии собрались либо сторонники Брута, либо беспринципные двурушники, готовые пойти за тем, кто сильнее.

Обе партии выжидали, что предпримет Антоний. Охотно уступающий противнику в мелочах, консул не стал спорить против предложения республиканцев разрешить Бруту и его друзьям присутствовать на

заседании. Он знал, что им хватит здравого смысла не показываться на римских улицах.

Эта по существу мелкая уступка воодушевила бывшего соратника Помпея Тиберия Клавдия Нерона, который выступил с предложением провозгласить участников заговора «благодетелями родины» и «тираноборцами». Именно об этом мечтали Брут и Кассий в утро Мартовских ид. Другой сенатор пошел еще дальше и заявил, что их необходимо наградить и осыпать почестями. Это показалось слишком даже тем, кто искренне поддерживал Брута: разве ради наград и почестей они подняли руку на тирана?! Между тем партия цезарианцев понемногу поборол растерянность.

— Отцы-сенаторы! — воззвал к коллегам один из них. — Вы оскорбите память Цезаря, если согласитесь чествовать его убийц!

— Цезарь мертв, — тут же раздался рассудительный голос, — зато мы живы. И мы против того, чтобы ставить интересы мертвого выше интересов живых.

Человек, произнесший эти слова, явно принадлежал к нейтральной середине. Как оказалось, он был не одинок. Его поддержали многие из присутствовавших. Может быть, поступить самым простым способом: не награждать заговорщиков, но и не наказывать их?

И республиканцы, и их противники подняли негодующий вой. Друзья Брута не желали для своих героев прощения из милости. Цезарианцы ни за что не соглашались признать убитого диктатора тираном.

Наконец, нашелся сенатор, сумевший внести в бурный спор ясность. Либо Цезарь был тираном, сказал он, и тогда его убийцы достойны звания благодетелей родины, либо он тираном не был, и тогда его убийцы должны понести кару. Третьего не дано. Поэтому вопрос стоит именно так: был ли Цезарь тираном? Давайте голосовать.

Антоний уже жалел, что позволил обсуждению зайти столь глубоко, ибо потерял над ним контроль. Кое-кто из магистратов уже начал настаивать на принятии особого закона, снимающего с них ответственность за прежние решения, вынесенные под давлением Цезаря.

На самом деле сенаторы не испытывали особенных колебаний. В глубине души все они ненавидели Гая Юлия. И пусть лишь двадцать пять из них нашли в себе мужество схватиться за кинжал, о его смерти мечтали сотни. Правда, это не мешало им принимать от него подачки.

На этом и решил сыграть Антоний. Напустив на себя самый сокрушенный вид, консул поднялся со своего места, потребовал тишины и заговорил:

— Отцы-сенаторы! Вы требуете голосования по поводу Цезаря. Но прежде чем голосовать, подумайте вот о чем. Если Цезарь был законным магистратом и главой государства, то все его указы и законы должны остаться в силе. Если вы решите, что власть он захватил силой, значит, он был тираном. Тогда тело его должно остаться без погребения и быть выкинуто вон с родной земли.

Действительно, так гласил римский закон, который предписывал, как следует поступать с тираном после его смерти: протащить тело по городским улицам и сбросить в Тибр. Римляне считали, что, оставляя тело мертвого без погребения, они лишают его душу вечного покоя. Брут верил в бессмертие души, и простое сострадание не позволило ему столь жестоко расправиться с останками поверженного врага. Но далеко не все из присутствовавших в храме разделяли его высокие убеждения. Между тем Антоний, заготовивший свою «парфянскую стрелу», понял, что пришла пора ее выпустить.

— Если вы решите, что Цезарь был тираном, — продолжал он, — значит, все его указы должны быть отменены. В их числе есть такие, что касаются всей земли и моря, и, нравится нам это или нет, отменить их мы не в силах. Есть и такие, что касаются только нас. Взглянем на себя, отцы-сенаторы! Почти все мы получили свои должности при Цезаре, и многие из нас занимают их до сих пор или готовятся занять, ибо он распределил магистратуры на пять лет вперед. Желаете ли вы от них отказаться? Это в вашем праве!

Накануне днем Брут уже обсуждал эту проблему с Цицероном. Антоний не может считаться законным консулом, твердил тот, как и сам Брут не может считаться законным претором. Впрочем, Брут не дорожил своим назначением. Ему ли, рисковавшему жизнью, цепляться за звания и посты! Но он был Брут, иными словами, человек исключительной чести — это качество безоговорочно признала за ним и вся последующая история. Исключительной, потому что среди шести или семи сот сенаторов, собравшихся в тот день в храме Теллурии, не нашлось ни одного, кто согласился бы пожертвовать своими личными благами ради общего дела. Они, не дрогнув, позволили бы черни протащить тело Цезаря через весь город, но при одной лишь мысли, что кто-то посмеет лишить их теплых местечек, ими овладевала ярость. На это и сделал ставку Антоний.

Краткий миг настороженной тишины, и зал взорвался криком. Ничего мы не отдадим, вопили сенаторы. Ни должности, ни звания, ни имени, ни деньги! Божественный Цезарь вручил их нам на законных основаниях!

Больше всех бесновался Долабелла. Вчерашний сторонник Брута и Кассия, занимавший кресло второго консула, вдруг осознал, что устроился в нем слишком

рано — по меньшей мере, на 17 лет раньше, чем диктовал закон.

— Осыпать почестями убийц Цезаря — значит обесчестить римских сановников! — поднявшись во весь рост, выкрикнул он.

Присутствующие встретили его слова дружным гулом одобрения.

Один из близких к тираноборцам сенаторов попытался успокоить коллег, заявив, что каждый из них получит все свои должности назад с одобрения комиций, которые проведут голосование. Но Долабелла слишком хорошо понимал, что никакие комиции не добавят ему 17 недостающих лет, и наотрез отказался выслушивать трезвомыслящего сенатора.

Антоний с Лепидом обменялись заговорщическим взглядом. Они выиграли.

На всякий случай Антоний решил выйти, посмотреть, что творится снаружи и как ведут себя ветераны. Те встретили его приветственными криками.

— Будь осторожен, консул, — обратился к нему один из воинов. — Берегись убийц, не то разделишь судьбу Цезаря!

Антоний, всегда любивший театральные эффекты, а в последние дни буквально открывший в себе недюжинный актерский дар, демонстративным жестом откинул тогу и отстегнул пряжку туники, чтобы все, кто стоял вокруг, убедились — под одеждой на нем надета тонкая кольчуга.

— Не бойтесь! Я сумею за себя постоять!

В ответ в толпе начал подниматься рокот. Но ни Антоний, ни Лепид пока не желали открытого выступления солдатни. Они стремились не столько к физическому устранению Брута и его друзей, сколько к их политическому уничтожению. От поддержки воинствующей массы цезарианцев они, конечно, не отказывались, но вместе с тем понимали, что не

следует чрезмерно нагнетать страсти среди будущих избирателей, более всего опасавшихся новой гражданской войны и, в общем-то, не питавших к тираноборцам никакой особенной вражды.

Консул и начальник конницы не собирались совершать опрометчивых поступков. Если б речь шла только об их личных чувствах, они — лучшие друзья Цезаря, и это известно каждому в Риме, — отомстили бы за него немедленно. Им же приходится думать не о себе, а об общественном спокойствии... Сначала — интересы государства, и лишь затем — собственные порывы...

И ведь Цезарь искренне считал эту парочку никчемными людишками и твердо верил, что без него они не способны ни на что серьезное...

Между тем Лепид и Марк Антоний вернулись в храм. Там свара продолжалась по-прежнему. Впавший в истерику Долабелла, перекрикивая остальных, горланил, что все указы божественного Цезаря законны, что он не позволит...

И тут зоркий глаз Антония заметил нечто новое в поведении Лепида. Дело же объяснялось просто: начальник конницы успел переговорить кое с кем из родственников, и те предложили ему отличный выход из положения. Если Брут и Кассий, оба его свояки, останутся при своих должностях и полномочиях, что им стоит при выборах нового верховного понтифика замолвить за него словечко?

Автора этой интриги, столь точно знавшей о тайной мечте Лепида, долго искать не приходилось. Разумеется, в дело вмешалась Сервилия. Едва ей сообщили о безрассудном поступке сына и зятя, мать Брута, как и 16 лет назад, во время истории с Веттием, не стала сидеть сложа руки. Она не думала ни о чем, кроме одного: спасти жизнь Марка.

Современники и историки наговорили о Сервилиии много нелестного. Ее называли рассудочной и бездушной, обвиняли в неумеренной страсти к наживе. Однако всепоглощающей страстью в жизни этой незаурядной женщины всегда был и оставался ее сын. Материнская любовь легко взяла верх над былой привязанностью к Цезарю. Сервилия не собиралась проливать слезы над прахом убитого любовника. Но ради спасения Марка она без колебаний ринулась в бой, мобилизовав все свои резервы: друзей и должников, родственников и знакомых политиков.

Лепид, сам входивший в один из кланов, прекрасно знал, сколь велика реальная сила семейных связей. Выслушав посланцев тещи, он быстро утратил бравый вид и стал напоминать перепуганную весталку.

— То, о чем вы просите, — отвечал он, — бесчестно и незаконно, но я сделаю это. Не забудьте только о своих обещаниях, когда придет пора их выполнять.

Что ж, Марк Эмилий Лепид еще раз блистательно подтвердил, что он — человек чести и долга. Предпринятая Сервилиией попытка подкупа удалась и расстановка сил между партиями цезарианцев и республиканцев частично уравновесилась. Именно мать Брута сумела отвести от заговорщиков угрозу кары и дала им еще один шанс упрочить свое политическое положение.

Это мгновенно поняли два человека: Марк Антоний и Цицерон.

Марк Туллий, еще вчера негодовавший против незаконного назначения консулов, заметно сбавил тон, осознав, что могут быть затронуты интересы Долабеллы. Помимо странного пристрастия, которое он питал к бывшему зятю, им руководили и другие соображения. Если он надеялся хоть когда-нибудь вернуть приданое Туллии, приходилось поддерживать ее прежнего мужа. В то же время его застарелая

ненависть к Цезарю ставила его в весьма двусмысленное положение, выход из которого он нашел с присущей ему ловкостью тертого юриста-крючкотвора. Попросив слово, старый консуляр произнес:

— Отцы-сенаторы, в былые времена жители греческих городов в подобных обстоятельствах поступали так...

Действительно, изобретатели демократии — греки, на собственном опыте не раз убеждавшиеся в недостатках этого строя, разработали особую процедуру, позволявшую избежать неотвратимой, казалось бы, гражданской войны. Процедура называлась амнистией, а смысл ее состоял в том, что обе враждующие стороны взаимно прощали друг другу ошибки.

Итак, пусть сенат объявит Цезарю посмертную амнистию, простив ему авторитарный, чтобы не сказать тиранический, стиль правления. Тогда все его указы сохранят законную силу, а его прах будет достойно погребен. Одновременно следует амнистировать и тираноборцев, освободив их от любых преследований за совершенное убийство.

Это было решение, которое никоим образом не снимало остроты проблемы. Ни римское право, ни римская судебная практика никогда не прибегали к подобному способу решения конфликтов. Сама сущность римского права требовала четко квалифицировать каждый поступок. Если он считался хорошим, за ним следовала награда; если дурным — наказание. Греческая амнистия являла собой грубое искажение этой логики. Предложение Цицерона попирало римскую мораль и превращало убийство Цезаря в бессмысленную затею.

Антоний быстро понял, какие выгоды оно ему сулило. Теперь его заботило одно: повернуть дело

таким образом, чтобы объявление амнистии оказалось как можно более оскорбительным для тираноборцев.

— Дорогие собратья! — провозгласил он. — Я дал вам высказать все, что вы думаете, о наших соотечественниках, совершивших убийство. Когда вы хотели голосованием решить вопрос о правлении Цезаря, я напомнил вам лишь об одной стороне его деятельности, и какую же бурю споров это вызвало среди нас! И тому есть свои причины... Ведь если мы откажемся от своих постов, мы тем самым признаем, что все мы — как бы много нас ни было и каким бы уважением мы ни пользовались — получили их незаслуженно.

Но давайте посмотрим немного дальше. Давайте вспомним о наших городах и провинциях, об их царях и правителях. Цезарь силой оружия завоевал эти страны, простирающиеся с Запада на Восток, и силой присоединил их к нашему государству. Затем он дал этим странам законы и милости. Какая же из них согласится лишиться этих милостей? Вы хотите спасти жизнь людям, повинным в мерзостном преступлении, и защитить свою ослабевшую родину, но не посеете ли вы тем самым семена войны по всей нашей империи? Впрочем, оставим пока эти рассуждения, они кажутся слишком далекими. Нам есть чего опасаться и здесь, в городских стенах...

Марк Антоний намекал на толпы ветеранов, окруживших храм. Дав сенаторам время осознать грозящую им опасность, он продолжал:

— Вы заслужите ненависть людей и богов, если позволите надругаться над памятью человека, простершего нашу империю до океана и проникшего в неведомые прежде земли. И какими предстанем мы перед миром, если, с одной стороны, осыпем почестями тех, кто убил консула в зале сената, убил

неприкосновенного сановника в священном месте^[93], на которое взирали сами боги, а с другой — покромом позором того, кого за его доблесть почитают даже наши враги? Мы выставим себя святотатцами, да мы и не вправе поступать так. Вот почему я громко призываю отказаться от самой мысли об этом и предлагаю, напротив, одобрить все указы и деяния Цезаря. Мы не должны превозносить виновников его убийства — это значило бы выступить и против богов, и против справедливости, и против свершений Цезаря. Но жизнь мы им оставим — из жалости. Во всяком случае, если вы пойдете на это ради их родных и друзей.

В рядах республиканцев поднялся глухой ропот. На общем фоне особенно выделялись гневные голоса представителей клана Юниев. И если Лепид твердо полагал, что ссориться с ними ни к чему, Антоний не разделял его точки зрения. Небрежно отмахнувшись рукой от возможных возражений, он продолжал настаивать на том, чтобы сохранить заговорщикам жизнь именно из милости, и одновременно давал понять, что может и передумать. И республиканцы уступили. Они не чувствовали за собой никакой народной поддержки и не знали, хватит ли им сил противостоять ветеранам Цезаря и популистам, действовавшим по наущению жреческих коллегий. Единственное, чего им удалось добиться, это требования объявить, что амнистия объявлена не из уважения к закону, а в силу необходимости, «ради блага и интересов Города». Тем самым подчеркивалось, что на отказ признать Цезаря тираном, а его убийц — героями их вынудила чернь, что отчасти соответствовало действительности.

Сервилия в общем осталась довольна. Она отвела угрозу смерти от сына, зятя, двоюродного брата и их друзей. Женщина практичная и опытная, она за свою

жизнь наблюдала такое множество резких политических поворотов, что не имела привычки впадать в отчаяние.

Между тем для Брута и его соратников решение сената стало ярким доказательством того, что они потерпели поражение. Теперь переломить ситуацию мог бы, пожалуй, лишь настоящий государственный переворот, но на такое они не пошли бы ни за что.

Хорошо хоть теперь они могли спуститься с Капитолийского холма, на котором провели три нелегких дня. Нашелся и благовидный предлог: на будущий день, 18 марта, сенаторы снова намеревались провести заседание, теперь уже посвященное обсуждению погребения Цезаря.

Первым об этом заговорил тесть покойного Луций Кальпурний Пизон. Этот человек, во всем, что касалось его привилегий, твердый как скала, потребовал самых торжественных похорон, достойных если не диктатора, то верховного понтифика. Он же объявил, что намерен публично огласить завещание Цезаря и осуществит свое намерение любой ценой. Оппозиция возмутилась, утверждая, что имущество Цезаря должно быть конфисковано. Вспыхнул спор. Тогда-то и было решено созвать еще одно заседание сената, пригласив на него и заговорщиков.

Брута и Кассия эта новость несколько не воодушевила. Трое суток глухой изоляции на Капитолии, невеселые слухи, проникавшие из города, и огромное пережитое разочарование исчерпали в них запас оптимизма. Весть о предложении Цицерона объявить им амнистию, охотно подхваченном Антонием, они восприняли как оскорбление. Марк с горечью признался самому себе, что за все время своей не слишком типичной карьеры он так и не научился выступать на Форуме, что даже политикам средней руки легко давалось благодаря опыту. Он ошибся,

пытаясь подходить к оценке Антония с собственными мерками, забыл о его изворотливости и теперь попал впросак. Он понял, насколько глубоко вся правящая римская верхушка поражена коррупцией. Доблесть, честь, чистота устремлений давно потеряли в Риме свою ценность.

Жизнь требовала от него активных действий. Теперь, когда Цезарь исчез с политической арены, все-таки стоило попытаться переломить ход событий. Значит, пришла пора возвращаться в город.

Между тем слухи о том, что заговорщики приглашены на заседание сената, успели облететь Рим. На площадь Форума начали стекаться сторонники Цезаря. Они вели себя воинственно. Толпа не скрывала, что жаждет расправиться с убийцами диктатора. Многие вспоминали судьбу братьев Гракхов, буквально растерзанных разъяренной чернью, их тела были вышвырнуты в Тибр. Гонцы, отправленные заговорщиками к ним домой, возвратились с тревожной вестью: возле их жилищ заметно скопление подозрительных личностей. Кое-где соседи, прежде всего озабоченные собственной безопасностью (Рим в массе своей все еще оставался деревянным), даже поймали нескольких поджигателей...

Решение покинуть Капитолий требовало мужества. Кое-кто из заговорщиков предложил потребовать гарантий безопасности, например, в лице детей Антония и Лепида в качестве заложников. Разумеется, детям ничто не угрожало. Дети Лепида приходились Марку родными племянниками, и он не позволил бы и волоску упасть с их головы. Успокоенный этой мыслью, Марк Эмилий действительно отправил на Капитолий своих сыновей вместе со старшими сыновьями Антония.

Все же это было слабой защитой и не могло заставить толпу меньше бесноваться. Не слишком преуспели здесь и сенаторы. Тогда за дело взялся

Антоний, весьма довольный ходом событий и теперь старательно разыгрывавший комедию под названием «примирение патриотов». Лепид, напротив, не проявлял горячего желания принять в ней участие. Поначалу он отказался пожать руку Бруту и лишь после долгих уговоров и напоминаний о том, что должность великого понтифика все еще вакантна, протянул свояку кончики пальцев, скроив при этом самую кислую мину. Брут оскорбился, и дело едва не пошло прахом. Наконец родственники обнялись и дали друг другу слово, что все забыто и прощено.

Брут с трудом скрывал отвращение. Ему сейчас хотелось одного: вернуться домой, к Порции, и хоть на время выкинуть из головы тяжкие мысли о понесенном поражении. Он знал, что делать этого нельзя, чтобы не подвергать смертельной опасности близких. Со своей стороны Сервилия уже все устроила. Кассий, передала она, проведет ночь в доме Антония — огромном и роскошном особняке, украденном у Помпея. Марк отправится к Юнии Старшей, то есть в дом Лепида. Возможно, в глубине души Сервилия злорадствовала, еще на несколько часов отдаляя встречу сына с его женой. Она не любила Порцию и считала ее ответственной за безумства, совершенные Марком.

Вечер, проведенный у Лепида, ни в малейшей степени не согрел Марка домашним теплом. Гостю Антония пришлось еще хуже. Когда настал час вечерней трапезы, консул с усмешкой спросил Кассия, не прячет ли тот под туникой еще один кинжал. Ведь, кажется, именно так поступил Сервилий Агала? Кассий слыл остроумным человеком и обычно спокойно реагировал на шутки, но события последних дней лишили его чувства юмора. Он без улыбки взглянул в лицо Антонию и с гневом в голосе промолвил:

— У меня и в самом деле припрятан кинжал. Насколько он хорош, ты узнаешь в тот день, когда сам

попробуешь занять место тирана.

Нет, ни о каком примирении говорить не приходилось.

Подспудное противостояние стало явным на следующий же день. Вопреки сенатус-консульту об амнистии республиканцы не собирались опускать руки.

К сожалению, вопрос, подлежавший обсуждению 18 марта, носил второстепенный, хотя политически чрезвычайно важный характер, напрямую затрагивая религию. Речь шла о погребении Цезаря.

Республиканцы надеялись добиться отмены результатов вчерашнего голосования и не допустить, чтобы тирана хоронили с высшими почестями. В крайнем случае они намеревались припомнить сенаторам, какими беспорядками сопровождалась восемь лет назад торжественные похороны Публия Клодия: тогда в огне пожара сгорело здание курии. Цезаря надо похоронить, а не выбрасывать его труп в реку — пользуясь формулировкой самого Антония, «ради его фамилии и вдовы», — но сделать это надо скромно и без шумихи — вот какого решения добивались тираноборцы.

Пизон, защищавший права своей дочери и оттого выступавший естественным союзником Антония, стоял на своем. Исполнитель завещания покойного зятя, он получил нужный документ у верховной весталки и намеревался во что бы то ни стало исполнить волю умершего слово в слово. Он даже ловко намекнул присутствовавшим сенаторам, что многих из них при ознакомлении с текстом завещания ждет приятный сюрприз. Это сообщение было встречено нетерпеливым гулом. Луций Кальпурний понял, что достаточно укрепил свои позиции, и начал речь:

— Те, кто называет убитого Цезаря тираном, пока доказали нам лишь одно: что вместо одного тирана мы получили сразу многих. Да, отцы-сенаторы, вы

распоряжаетесь погребением Цезаря, зато я — распорядитель его завещания, и, клянусь, никто не посмеет его нарушить! Если только и мне не перережут горло...

Разумеется, Антоний во всем поддержал Пизона. Недостаточно пышные похороны, сказал он, вызовут бурю народного возмущения, не говоря уже о ветеранах. И этот последний аргумент оказался самым убедительным для нейтрально настроенной массы сановников — бунта черни боялись все.

Кассий попытался было опровергнуть сказанное Пизоном и Антонием, но его слушали невнимательно. Сенаторы не сводили глаз с того, кто являл собой душу заговора. Друзья-республиканцы тоже обернулись к Бруту. Все ждали, что же скажет он.

Впрочем, разве мог Брут им сказать что-нибудь новое? Он ведь был не из тех людей, которые меняют убеждения в зависимости от обстановки. Он с самого начала выступал против надругательства над прахом Цезаря, считая недостойным мстить мертвому. В повседневной жизни он старался поступать в соответствии с заповедями школы стоиков: учился владеть собой и не давать воли страстям, воспитывал в себе равнодушие к страданию и смерти. Но разум его принадлежал платоновской метафизике. Он верил в бессмертие души и даже душу врага не мог предать посмертному поруганию.

Это благородство мыслей и чувств и стало самой главной из совершенных им политических ошибок, даже более серьезной, чем требование оставить в живых Антония. Напрасно Кассий бросал на него исполненные отчаяния взгляды — Брут оставался Брутом. Никакие соображения выгоды не смогли бы заставить его отречься от высоких принципов. И если бы на протяжении последних ста лет Рим демонстрировал больше уважения к этим принципам, считал он, им не

пришлось бы устраивать сейчас позорную свару из-за того, что делать с несчастным телом. Брут чувствовал, что его буквально тошнит от происходящего. И это сенаторы! Сцепились, как рыночные торговки! Попросив слово, Брут кратко сообщил, что согласен с консулом, что верховному понтифику должны быть оказаны все подобающие почести, а его завещание должно быть оглашено.

Оценил ли кто-нибудь в зале величие его жеста? Друзья не скрывали огорчения. Остальные, облегченно вздохнув, приступили к голосованию. Брута это уже не интересовало.

Погребение назначили на 20 марта, поскольку на предыдущий день выпадал праздник. Таким образом, Антоний получил в свое распоряжение больше двух суток.

Консул уже сожалел, что не дал Лепиду сразу же расправиться с тираноборцами. И если Брут покидал заседание сената с ощущением политического поражения, Антоний чувствовал себя не намного увереннее.

Марк Антоний ловко управился с отцами-сенаторами, играя и на алчности, и на тщеславии этих людей, и на их страхе перед ветеранами Цезаря. Но он хорошо понимал, что все его успехи пока слишком иллюзорны. Он ведь видел, какое впечатление производил на окружающих неподкупный Марк Юний Брут. Ему понадобится совсем немного времени, чтобы собрать вокруг себя большинство правящей римской верхушки. Его поддержит Цицерон, а следом за ним и Долабелла. Даже Лепид, тесно связанный с родом Юниев, в конце концов переметнется к нему. Жреческие коллегии не пойдут против Долабеллы. Этим плебеям нравится думать, что самые высокородные патриции зависят от них. Что касается ветеранов, то не вечно же им толкаться в Риме? Да и наверняка среди

заговорщиков найдется хоть кто-нибудь, кто умеет разговаривать с бывалыми вояками, тот же Децим Брут, например. Они слушались его в Галлии, почему бы им не прислушаться к нему теперь? Ну а остальную массу черни можно и вовсе не принимать в расчет, ей, как всегда, все равно. Антоний успел обратить внимание, что с римских улиц исчезло немало статуй Цезаря. И что, кто-нибудь в народе возмутился?

Пройдет еще пара дней, и возбуждение, вызванное убийством Гая Юлия, уляжется. С легкой руки Брута и Цицерона республиканские институты худо-бедно возобновят свою работу. А консул Антоний, который спал и видел себя диктатором, обратится в ничто. И никакой народ его не поддержит.

Вот почему из предстоящих двух суток ему нельзя было терять ни минуты. Если осуществить политическое устранение Брута и его друзей с помощью сената не удалось, значит, надо обратиться к улице. Будут бессмысленные жертвы, прольется кровь? Ну и что? Он не Брут, он не станет церемониться.

От Пизона он уже получил свиток с завещанием Цезаря и намеревался огласить его перед комициями под тем предлогом, что приходится покойному дальним родственником. Законный наследник Гай Октавий, тот самый прыщавый юнец, которого усыновил Цезарь, сейчас находился в Иллирии, наблюдая за последними приготовлениями перед восточным походом. Он, конечно, еще и не подозревает о смерти двоюродного деда и на похороны никак не успеет. Ну а второй наследник, Децим Юний Брут, запятнал себя участием в заговоре, так что претендовать на наследство не имеет права. Значит, все в его, Марка Антония, руках.

Ранним утром 20 марта жители города стали свидетелями еще одной комедии под названием «национальное примирение». Подбадриваемые Цицероном, Антоний и Брут обнялись под

приветственные крики толпы. Затем состоялось оглашение сенатус-консульта об амнистии.

Вперед выступил Антоний, сжимавший в руках свиток с завещанием. Начал он, разумеется, с самого выигрышного пункта. Каждому гражданину, громко читал он, щедрый Цезарь жертвует по 300 сестерциев — ровно столько, сколько выдавал своим воинам в день битвы. Многие из собравшихся на площади бездельников сразу же почувствовали себя богачами.

Этим дело не ограничилось. По примеру других богатых римлян Цезарь завещал передать городу свои пышные сады, куда отныне всем желающим будет открыт доступ. Толпа ликовала. Добрый Цезарь, щедрый Цезарь, слышалось вокруг.

И такого великого человека убили... Это шептали агенты Антония, заранее внедренные в толпу. Когда ее настроение от благодушного перешло к откровенно враждебному, Антоний бесцветным голосом назвал имя второго наследника — Децим Юний Брут, участник заговора, а затем и первого — Гай Октавий, внучатый племянник убитого.

Впрочем, это все была лишь подготовка к грандиозному спектаклю, который и разыгрался сразу после чтения завещания.

Носильщики торжественно пронесли прах Цезаря, покоящийся на украшенном золотом и пурпуром ложе слоновой кости, до ростральных трибун. Впереди процессии шествовал Пизон. Тело покойного возложили в специально воздвигнутый по такому случаю храм Венеры Победительницы, вернее, его макет. Сам храм Цезарь построил в честь хранительницы Рима и покровительницы рода Юлиев богини Венеры.

Поднявшись на трибуну, Антоний дождался, пока смолкнет грохот барабанов и стук мечей, и во внезапно упавшей тишине прокричал:

— Граждане Рима! Вознося похвальное слово Цезарю, я говорю как консул говорит о консуле, как друг о друге и родственник о родственнике. Но этого мало! Хвалу столь великому человеку должна воздать вся наша отчизна!

Антоний намеренно отступил от классического жанра похвального слова умершему, с каким выступали на похоронах любого римского патриция. Вместо этого он начал один за другим зачитывать все изданные сенатом указы в честь одержанных Цезарем побед. Это бесконечное перечисление триумфов и наград, казалось, возносило покойного прямо к небесам, поднимая над толпой на недостижимую высоту. Сделав паузу, оратор продолжал:

— Мы почтили его этими наградами, ибо он был милосерден. Мы почтили его священной неприкосновенностью, и он принял это звание, ибо хотел, чтобы все, кому нужна будет его защита, получили ее...

Толпа уже бесновалась, вся во власти охватившей ее истерии. Снова застучали барабаны, на сей раз совсем тихо, приглушенно, и начали голосить женщины.

Антоний, убедившись, что достаточно подогрел публику, бросил упрек сенаторам, проявившим снисхождение к убийцам, и тут же объявил, что смерть Цезаря свершилась волею не людей, но богов, и отдал приказ нести тело к погребальному костру. После сожжения прах диктатора, согласно его последней воле, закончил консул, будет смешан с прахом его дочери Юлии.

Едва сойдя с трибуны, Антоний, встав так, чтобы его видело как можно больше народу, вдруг помрачнел лицом и, с силой рванув тогу у себя на груди, рухнул к подножию погребального ложа, бормоча бессвязные слова, перемежаемые громкими стонами скорби:

— Сын богов... Единственный... Никто не смог победить... Ты один... Отомстил диким галлам... Триста лет держали в страхе и жгли Рим... Ты победил...

За спиной рыдающего Антония заиграла тихая музыка. Певец начал свою песню: «Я спас вам жизнь, а вы пронзили мое тело ударами кинжалов... Я пощадил ваших родных и близких, но вы меня не пощадили... Ты, Брут, и ты, Кассий...»

Толпа сомкнулась еще теснее, и в этот момент Антоний резко вскочил на ноги, воздев над головой окровавленную тогу, в которой был Цезарь утром Мартовских ид. А певец все тянул имена заговорщиков...

По рядам вдруг пронесся стон ужаса. С погребального ложа медленно поднималась фигура Цезаря — бледная мертвенной бледностью, с кровоточащими ранами...

Эту восковую куклу Антоний велел изготовить заранее и использовал в самый подходящий момент. Разумеется, вся его скорбь была притворной, он просто играл свою роль, как настоящий комедиант. Толпа уже не видела, что ей подсовывают раскрашенного болвана. Людям казалось, что сам Цезарь восстал из мрака Гадеса и взирает на них.

Несколько человек подхватили погребальное ложе и понесли к площади Форума, чтобы там, в самом сердце города, зажечь костер. Но для костра нужны дрова. И начался погром. Обезумевшие горожане сдирали ставни с окон окрестных домов, выламывали заборы, выносили мебель из лавок. Вскоре вокруг тела выросла груда деревянных обломков. Кто-то поднес к ней факел, огонь занялся и повалил густой жирный дым. При виде языков пламени толпа распалилась еще больше. Отталкивая друг друга, к самому костру пробивались женщины, швыряя в огонь драгоценности и украшения. Некоторым этого казалось мало, и они тащили к костру детей, на

ходу срывая у них с шеи буллу — золотой шарик, который свободнорожденные римляне носили в детстве и который служил им талисманом. Пример оказался заразительным. Вскоре у костра сгрудились воины, а в огонь полетели боевые награды и праздничное оружие.

Весь день и часть ночи пылало пламя в центре Рима. Поодаль несли службу ночные стражи, следившие, чтобы огонь не перекинулся на жилые дома Форума и близлежащих улиц.

Поздно вечером наконец случилось то, чего Антоний ждал все эти часы. Самые отъявленные городские подонки — бывшие подручные Клодия и Милона, ворье с Субурры, профессиональные громилы и просто любители подраться, сбившись тесной ватагой, вооружившись горящими факелами, двинулись к домам, где жили заговорщики. По дороге они орал: «Смерть убийцам Цезаря! Смерть Бруту! Смерть Кассию!»

Впрочем, почти никого из тираноборцев к этому часу в Риме не оставалось. Прекрасно зная, чем обычно кончаются беспорядки подобного рода, они еще днем благоразумно перебрались на свои загородные виллы, подальше от народа, во имя которого они действовали. Из всех участников заговора лишь Брут и Кассий не сочли нужным спасаться бегством.

Оба они были преторами, а по закону претор имел право покидать Рим не больше чем на десять дней и лишь с разрешения сената. Свято веривший в силу закона, Брут, разумеется, не стал бы его нарушать. И Кассий с ним согласился.

Согласился, ибо понимал, что бегством они окажут великую услугу цезарианцам. Заместителем Брута по городской претуре был младший брат Марка Антония Гай Антоний. Стоит ему узнать, что должность хоть на несколько дней вакантна, он немедленно ее займет и больше уже не отдаст. Кроме того, и Брут, и Кассий еще

не забыли, что такое честь. Руководители заговора не имеют права на трусость.

И они оба остались дома — живые мишени для распаленной толпы. Но неужели Антоний допустит, чтобы их растерзал городской сброд? Почему бы и нет? Потом он будет оплакивать их так же, как оплакал Цезаря...

Но... события развивались непредсказуемо: в тот вечер погромщики не добрались до Брута с Кассием. Они уже приближались к их домам, когда путь им пересек народный трибун Гай Гельвий Цинна, один из близких сподвижников Цезаря.

Со дня гибели друга Цинна не знал покоя ни днем ни ночью. Особенно дурно он провел нынешнюю ночь. Во сне он видел Гая Юлия. Тот явился к нему и звал его с собой. Проснувшись, Цинна не мог вспомнить, куда тянул его Цезарь, помнил лишь, что долго и безуспешно пытался стряхнуть с себя холодную, как камень, руку умершего.

Ему пришло на память легкомыслие, с каким Гай Юлий отмахивался от дурных предзнаменований, и он решил, что будет вести себя осторожнее. Во всяком случае, из дому никуда не выйдет — ни сегодня, ни в ближайшие дни. Но при солнечном свете ему стало стыдно за свои ночные страхи. Неужели он допустит, что его друга погребут без него? Нет, он должен пойти на Форум.

— Гляди-ка, Цинна! — услышал он голос за спиной.

Гай Гельвий Цинна, сказал бы он, если бы успел сообразить, что происходит. Да разве в Риме один Цинна? Есть еще, например, Луций Корнелий Цинна, первый зять Цезаря. Тот самый, что третьего дня, после речи Брута, заявил, что слагает с себя полномочия претора, не желая исполнять должность, полученную от тирана. Весть об этом его поступке успела разлететься по всему Риму. И, услышав имя Цинны, погромщики

даже не подумали, что перед ними народный трибун и друг диктатора, а вовсе не коварный претор.

Теперь, когда несчастный Гай Гельвий испугался по-настоящему, он попытался объяснить нападавшим, что он совсем не тот, кто им нужен. Его уже никто не слушал. Удары сыпались на него со всех сторон, в лицо и спину летели камни и палки. Из-под туник показались и кинжалы, носить которые в черте города было запрещено. И трибун Цинна погиб вместо претора Цинны. Один из негодяев отсек от тела мертвую голову и насадил ее на пику. С криками и воплями шайка двинулась дальше, пока до них вдруг не дошло, что они казнили не просто невинного, а друга и союзника Антония. Всю их смелость моментально как ветром сдуло. Через считанные мгновения вся ватага рассеялась без следа.

Брут и Кассий остались живы, невольные спасенные одним из самых ярых своих противников. Надолго ли?

Негодующая Сервилия, полуживая от тревоги Порция и Тертулла, беременная на первых месяцах и недомогающая, мать, жена и сестра Брута не строили иллюзий относительно дальнейшей судьбы Марка и Гая Кассия. Они трое не особенно любили друг друга, но когда Марку понадобилась защита, сумели объединиться. Именно они убедили его потребовать от сената десятидневного отпуска и уехать на это время в Антий, где Юнии владели поместьем. Пусть и Кассий уезжает, настаивали женщины. За пределами города они будут в большей безопасности. Среди земельных собственников, крупных и помельче, наверняка найдутся такие, кто ради сохранения мира и спокойствия согласится их поддержать, а может быть, поможет собрать средства, необходимые, чтобы утихомирить плебс. К тому же в Кампании, вдали от ловких происков Антония, легче будет договориться с

ветеранами и попытаться перетянуть их на сторону республиканцев.

Неужели Марк и Гай уверовали в эти радужные планы? Вряд ли. Но они не могли не сознавать, что по меньшей мере в одном женщины правы: в Риме находится слишком опасно. Повторить пример несчастного Цинны ни одному из них не хотелось.

А через десять дней они вернутся. Лучше, чем многие, они знали, что Рим постоянно живет на грани народного бунта. И если Антоний и Долабелла сумели спровоцировать беспорядки, они же сумеют их подавить — быстро и жестоко, как уже не раз случалось в прошлом. Брут и Кассий все еще недооценивали Марка Антония. Казалось бы, последние дни дали им возможность убедиться, как ловко умеет действовать этот человек. Они видели это своими глазами, но в глубине души по-прежнему считали его безответственным гулякой, неспособным долго удерживать власть. Через девять месяцев истечет срок его консульских полномочий, думали они, и ситуация коренным образом переменится. Все нынешние магистраты, включая и их самих, будут вынуждены оставить свои посты. Тогда, в соответствии с законом, они получат должность проконсулов и империй — право командовать войском. А это, как доказали Помпей и Цезарь, великая сила.

Собственно говоря, проконсулов на следующий, 43 год, Цезарь уже назначил, да и не только проконсулов. Он отдал распоряжения относительно всех важных государственных постов на все время своего отсутствия^[94]. Четыре из них достались участникам заговора: Требоний получил наместничество в Азии, Децим Юний Брут — в Цизальпинской Галлии, Кассий — в Сирии и Брут — в Македонии. Это были действительно высокие назначения, ведь речь шла о четырех самых

богатых провинциях империи. Мало того, в Галлии, хотя и завоеванной Цезарем, но крайне беспокойной, а также в Сирии, над которой постоянно висела угроза персидских набегов, размещались хорошо вооруженные легионы. Римское войско стояло и в Македонии, поскольку именно здесь Цезарь собирал силы для нового похода.

Могли ли Брут и остальные заговорщики рассчитывать, что получат свои посты, если ничего не изменится? Разумеется, нет. Судя по тому, как они вели себя в Мартовские иды и позже, тираноборцы не хотели добиваться восстановления республики путем военного переворота. Однако события последних дней понемногу склонили их к мысли, что, возможно, без этого не обойтись. Многие римские политики прибегали к тактике, которая заключалась в том, чтобы заставить противника хвататься за самые последние средства. Класс подобной игры показал Цицерон в деле Катилины, которого он под страхом смерти вынудил бежать из Рима и собирать войско в Этрурии. Аналогичным образом действовал Помпей, когда при поддержке сената буквально загнал в угол Цезаря. Дело, как известно, кончилось переходом через Рубикон.

Однако, сравнивая себя с Каталиной или Цезарем, Брут не мог не видеть огромной разницы: ведь он считал, что отстаивает легитимность власти. Даже если ему придется взять в руки оружие, защитником Рима будет он, а не Антоний, который и есть самый настоящий мятежник. Вот когда пригодятся легионы. И у Марка, Децима Юния и Гая Кассия они будут, если удастся заполучить проконсульство. А пока надо выиграть время и прежде всего остаться в живых.

По всей вероятности, уже 22 марта Брут вместе со свояком покинули Рим. Их путь лежал в Антий. Еще до отъезда они разработали особую систему переписки с

семьей и Цицероном, который, как человек, близкий к Долабелле, обещал дважды в день сообщать им обо всем, что творится в городе. Возвращение они наметили на первые числа апреля.

Что касается обстановки в Риме, то в этом отношении родственники Брута оказались правы: Антоний и Долабелла не собирались долго терпеть бесчинства городской черни. Оба консула особенно обеспокоились, когда выяснилось, что у погромщиков появился вожак — некто Эрофил, если верить имени, грек. Отлично разбираясь в психологии городских низов, падких на легенды о похищении царских детей, Эрофил сочинил себе красочную легенду и уверял всех, что происходит из древнего латинского рода и приходится родным племянником самому Марию, вождю популяров и, вопреки всем своим жестокостям, народному любимцу. В Риме Эрофил предпочитал именоваться Аматием и охотно рассказывал на всех углах, что недруги оттерли его от власти из зависти и, конечно, боязни революционных преобразований, которые он готовил.

От всей этой истории за версту несло фальшивкой, и недаром Цезарь — действительно племянник Мария — объявил своего лжеродственника вне закона. Однако, узнав о смерти диктатора, Эрофил-Аматий поспешил вернуться в Рим. Напрочь забыв о том, как относился к нему Гай Юлий, он теперь громко взывал к мести за его гибель и предлагал расправиться с тираноборцами. Разумеется, все прекрасно знали, что тех нет в городе. Но громил это мало смущало. Главное — под шумок погреть руки на чужом добре. Для начала можно и в самом деле спалить дом Брута или Кассия и почему бы потом не перейти к соседнему, пусть даже в нем живет самый убежденный цезарианец?

Антонию подобный план действий понравиться ни в коем случае не мог. Ему стоило великих трудов

завладеть роскошным домом, прежде принадлежавшим Помпею. Отдать это богатство на разграбление какому-то сброду, провонявшему потом и чесноком? Ни за что.

Не вникая в суть родственных отношений Аматия с Марием, Антоний велел арестовать возмутителя спокойствия и казнил его без суда и следствия. Затем Долабелла отдал Лепиду приказ вывести на римские улицы боевые легионы, которые быстро задавили начинавшиеся беспорядки. Были схвачены десятки бунтовщиков. Тем из них, кого судьба наделила римским гражданством, еще относительно повезло — их просто сбросили с Тарпейской скалы, подарив быструю смерть. Чужеземцам и рабам пришлось хуже — их ждала казнь на кресте. В течение нескольких следующих дней зеваки могли наблюдать за мучительной агонией несчастных, распятых вдоль Аппиевой дороги.

Разумеется, у остальных недовольных охота бунтовать после этого быстро сошла на нет, и великий мыслитель и филантроп Цицерон восторженно писал Титу Помпонию Аттику: «Что за прекрасные дела творит здесь у нас мой милый Долабелла! Я теперь называю его милым. Ты знаешь, некоторое время назад я испытывал на его счет кое-какие сомнения, но то, что он совершил сейчас, кому угодно послужит примером. Этих — в пучину, с Тарпейской скалы! Тех — на крест! [...] Нет, что ни говори, а это подлинный героизм. Мне думается, что своими решительными действиями он положил конец всяким сожалениям, которые ширились с каждым днем и, продлись они дольше, оказались бы губительными для наших блестящих тираноборцев. Но отныне я целиком разделяю твое мнение и начинаю питать самые радужные надежды»^[95].

Даже когда события вскоре приняли совсем другой ход, он все еще продолжал утверждать, что теперь

Брут может безо всяких опасений появиться на улицах Рима.

В начале апреля, едва истек срок законного отпуска, Брут и Кассий действительно вернулись в Рим. Вспышка народного возмущения, слегка подкрашенная симпатиями к убитому Цезарю, была окончательно погашена.

Этим обстоятельством все хорошие новости и исчерпывались. Цицерон, настроение которого поминутно менялось от осторожного недоверия к восторженным надеждам и от глубокого пессимизма к жажде реванша, ошибся в своих прогнозах. В целом дела тираноборцев обстояли далеко не блестяще.

У них оставалось одно вполне верное средство побороть враждебность ветеранов: добиться для них разрешения продать свои земельные владения до истечения обязательного 20-летнего срока. Конечно, на этой сделке бывшие воины неминуемо проиграли бы, обманутые покупателем, но даже небольшая сумма денег в звонкой монете казалась им гораздо предпочтительнее права на владение каким-то клочком земли, обрабатывать который они не имели ни малейшей склонности, да к тому же расположенным далеко от Рима. Трудно сделать человека счастливым помимо его желания.

И Брут — претор по делам римских граждан — поддержал это предложение, хотя хорошо понимал, к чему приведет его осуществление. Земли ветеранов скупают крупные землевладельцы, с аграрной политикой которых начали борьбу еще братья Гракхи. Снова восстановятся гигантские латифундии, на которых будут трудиться армии рабов. Их владельцы начнут внедрять самые выгодные для себя культуры, скорее всего, развернут широкое производство оливкового масла.

Больше всего пострадают при этом простые римские земледельцы, они не выдержат конкуренции.

Какой бы циничной ни выглядела эта акция, она имела яростных приверженцев в лице ветеранов и крупных землевладельцев, а ведь они составляли немалую долю избирателей... Может быть, позже, с тоской размышлял Брут, удастся как-нибудь изменить положение... Пока же приходилось думать о сегодняшнем дне.

Именно это без устали внушал Цицерон тем, кого он теперь именовал не иначе, как «наши герои». Ловкий политик, превосходно разбиравшийся в действии скрытых пружин власти, он сформулировал проблему кратко и точно: «Нам нужны деньги и войска, а у нас нет ни того ни другого».

Ни Брут, ни Кассий не принадлежали к числу богачей. Каждый из них владел некоторыми средствами, но они берегли их на лето, когда им как преторам придется устраивать для народа Аполлоновы игры. От успеха их проведения напрямую зависело, будет поддерживать их плебс или нет. Значит, нужно будет нанимать лучших гладиаторов, лучших авторов пьес, лучших актеров и мимов, покупать хищников, а все это стоило денег, и немалых.

Может быть, занять? Например, у Тита Помпония Аттика, который не раз сам предлагал Бруту ссудить его любой суммой. Богатый, как Крез, Аттик никогда не прикидывался бедным.

Но Брут уже достаточно пожил на свете, чтобы знать: одно дело предлагать деньги другу, который в них, в общем-то, не нуждается, и совсем другое — выручать того же друга в крайней нужде. Даже если Аттик не откажет, заем будет обставлен унижительными условиями. Нет, этот путь не годится. И Брут придумал другой выход. Он обратится к Аттику с просьбой, но не о личном одолжении, а с предложением

организовать для него заем у владельцев крупных состояний. В этих кругах у Аттика масса друзей в Риме и провинциях. И пусть каждый из них внесет не слишком большую сумму, они будут кровно заинтересованы в том, чтобы получить ее обратно с процентами, следовательно, станут поддерживать республиканцев.

В этом хитроумном раскладе оказалась всего одна слабая сторона — позиция самого Аттика. Вот уже три столетия род Помпониев числился среди богатейших в Риме, а теперь и во всей империи. Ни войны, ни иноземные нашествия, ни восстания рабов, ни народные мятежи не смогли пошатнуть их финансового могущества. Секрет подобной неуязвимости объяснялся просто: во все времена Помпони неукоснительно блюли строгий политический нейтралитет. Представители этого рода давным-давно могли перейти в сословие патрициев и получать претуры, консульства и наместничества, однако они предпочитали оставаться простыми всадниками и никогда, ни при каких обстоятельствах, не принимали участия в политических ссорах.

Аттик очень хорошо относился к Бруту и любил его, как сына. Но, конечно, он не стал бы ради него предавать образ жизни и мыслей, унаследованный от предков. И Гаю Флавию, обратившемуся к нему от лица Марка, он дал именно такой ответ, какого и следовало ожидать:

— Я всегда готов оказать услугу друзьям, но ни за что не стану вмешиваться в партийные дрязги — от них я держался и держусь в стороне. Если Бруту нужна моя помощь, я готов ради него опустошить свои сундуки, однако ни встречаться, ни разговаривать с кем бы то ни было я не стану.

Умный человек, Аттик не мог не понимать, какими последствиями обернется для Брута его отказ. Без

денег республиканцы окажутся бессильны, тогда как Антоний, успевший запустить руку в сокровищницу Цезаря, на четыре тысячи талантов развернется во всю ширь. В этом деле был и еще один аспект, гораздо более серьезный. Новости в Риме распространялись быстро, и тот факт, что могущественнейший финансовый магнат не пожелал примкнуть к республиканцам, наверняка стал бы здесь известен очень скоро, хотя бы через того же Цицерона, близко дружившего с Аттиком. На римскую политическую верхушку, пока пребывавшую в колебаниях, это оказало бы самое негативное воздействие. Делать ставку на республиканцев бессмысленно, решили бы они. Так всего в нескольких строках самого любезного письма доброжелательный и чуткий Тит Помпоний обрек своего молодого друга на гибель [\[96\]](#).

Бруту открылась печальная истина: нет на свете предательства горше, чем предательство друзей.

Он все еще не терял надежды. Летом, всего через четыре месяца, пройдут Аполлоновы игры, а через полгода он станет проконсулом и наконец-то получит бесценный империй.

Что же предпринять, пока это время не настало? И Брут, и Кассий чувствовали себя крайне неудобно. Цицерон утверждал, что с казнью Эрофила-Аматия и других бунтовщиков цезаризм в городе окончательно подавлен. Он жестоко заблуждался. Цезаризм никогда не был народным движением, хотя Цезарь, как никто, умел играть на настроениях плебса. И республиканцы с каждым днем все яснее видели, что идеи, рожденные в голове Цезаря, по-прежнему живы.

Десятки маленьких цезарей рвались к власти, готовые осуществить политическую программу убитого диктатора. Ими двигала отнюдь не любовь к Риму и не

забота о всеобщем благе — они мечтали о мировом господстве. И первым из них был Марк Антоний.

Разделавшись с беспорядками в городе, ибо они стали угрожать его собственному благополучию, он решил, что настала пора покончить и с заговорщиками. Его неприятно удивило, что законопослушные Брут и Кассий вернулись в Рим — он так надеялся, что они навсегда исчезнут с его пути. Что ж, не вышло сразу, выйдет позже.

В тот день, когда оба претора явились на Форум, чтобы приступить к исполнению своих обычных обязанностей, на площади откуда ни возьмись вдруг собралась громко горланящая толпа. В адрес Брута и Кассия полетели самые откровенные угрозы. Вернувшись домой, оба нашли подброшенные анонимные письма такого же содержания. На стенах домов красовались наспех накорябанные надписи: «Отцеубийца! Скоро мы спустим с тебя шкуру!», «Отомстим за Цезаря!», «Смерть предателям!» и прочее в том же духе.

Свалить их появление на Аматая теперь вряд ли удалось бы — его обезображенный труп давно догнивал у подножия Капитолийского холма.

Разумеется, за всей этой кампанией по устрашению противников стоял Антоний. Вскоре Брут уже вообще не мог выйти из дому. У дверей его жилища день и ночь несли охрану вооруженные слуги. На положении осажденных оказались также Кассий и Децим Юний.

Если бы речь шла только о нем, Марк ни за что бы не сдался. Но все тяготы жизни делила с ним Порция. Жена Брута уже давно чувствовала себя на пределе физических и моральных сил. Не исключено, что она ждала ребенка^[97]. В свои 35 лет она нуждалась в заботах и покое. Разве мог Марк поставить под угрозу жизнь и безопасность любимой женщины? Самым

мудрым в их положении было бы махнуть на все рукой и уехать. Но... это значило без боя уступить победу этому мерзавцу Антонию. Порция и слышать об этом не хотела.

Тем временем Антония начало всерьез раздражать это бессмысленное, на его взгляд, сопротивление. 8 или 9 апреля Антоний прислал к Дециму Юнию Бруту одного из своих приближенных, Гиртия, с важным заданием.

О содержании состоявшейся беседы Децим написал двоюродному брату в письме: «Сейчас расскажу, как обстоят у нас дела. Вчера вечером ко мне явился Гиртий. Он и поведал мне, что задумал Антоний. Хуже и подлее и представить себе нельзя. Он говорит, что не может отдать мне провинцию [Цизальпинскую Галлию], но и обеспечить каждому из нас безопасность, пока мы в городе, тоже не в силах. И войска, и плебс — все настроены к нам предельно враждебно... Не сомневаюсь, что вы понимаете: это совершенная ложь. Зато из слов Гиртия мне стало ясно кое-что другое: мы пользуемся известным уважением, и Антоний боится, что мы получим большую поддержку. Тогда ни ему, ни его друзьям власти не видать.

Положение трудное, вот я и решил истребовать для себя и всех наших должностных свободных легатов, которая позволила бы нам покинуть город под благовидным предлогом. Гиртий обещал, что обо всем договорится. Я, конечно, несколько не верю, что он сдержит слово. Бесстыдство этих людишек соизмеримо с глубиной ненависти, которую они питают к нам. Но если все же они согласятся на наши требования, я думаю, в самое ближайшее время нас объявят врагами народа и подвергнут запрету на воду и огонь ^[98].

Ты спросишь, что же нам делать. Полагаю, придется покориться злой Фортуне. Надо уезжать из Италии в изгнание, может быть, на Родос, может быть,

куда-нибудь еще. Если положение улучшится, мы вернемся. Если ухудшится... что ж, станем жить на чужой земле. И если поймем, что возвращение невозможно, станем искать другие средства. Кто-нибудь из вас наверняка возразит мне: «Зачем же ждать? Почему не искать эти средства теперь же?» Потому что нам нужна поддержка, а ее у нас нет, если не считать Секста Помпея и Басса Цецилия^[99]. Мне кажется, весть о смерти Цезаря должна поднять их боевой дух и вселить в них новые силы. Впрочем, мы всегда успеем к ним присоединиться, когда узнаем, как идут у них дела. Что касается тебя и Кассия, то я готов вести переговоры от вашего имени — как раз об этом и просил меня Гиртий.

Прошу ответить мне как можно скорее. Не сомневаюсь, что еще до четвертого часа Гиртий принесет мне хорошие вести. Нам надо увидеться, так что укажите мне место встречи. Когда я в следующий раз буду говорить с Гиртием, скажу, что мы хотим остаться в Риме и потребую для нас телохранителей. Разумеется, я не заблуждаюсь на этот счет — никто их нам не даст. Одно наше присутствие делает этих людишек большими негодьями, чем они есть на самом деле. Но, как бы то ни было, я считал своим долгом предъявить все требования, которые нахожу справедливыми...»

Итак, Децим Юний на какое-то время отказался продолжать начатое дело, но не потому, что разуверился в его правоте или поверил в рассказанные Антонием басни. Просто он очень хорошо видел, что заговорщики оказались в полной изоляции и в этих условиях становились легкой жертвой любого убийцы. Все свои возможности они упустили в день гибели Цезаря, что и стало причиной их политического

поражения. Теперь, по его мнению, следовало попытаться хотя бы спасти лицо.

Получив письмо брата, Марк сначала изумился. Но постепенно доводы Децима начали казаться ему все более убедительными. То же самое твердила ему и Сервилия. 12 апреля он покинул Рим, прихватив с собой Порцию и юного Бибула. Путь его лежал в Ланувий. Децим уехал еще два дня назад, собирался в дорогу и Кассий, которого не остановила даже тяжело протекавшая беременность Тертуллы. Требоний отбыл в Азию, наместником которой числился. Правда, уезжал он под чужим именем.

Гиртий от лица Антония пообещал Дециму, что бегство заговорщиков будет обставлено законными приличиями, однако исполнять свое обещание отнюдь не спешил. Сознание того, что противник целиком находится в их власти, наполняло цезарианцев чувствами, далекими от благородства.

...Брут жил в Ланувии уже полтора месяца. Делать здесь было решительно нечего. Письма приходили редко, полученные новости противоречили одна другой. Никаких миссий из Рима не поступало. Но Брут все еще надеялся получить обещанную должность проконсула. Вскоре до него дошел слух, что отцы-сенаторы будут решать этот вопрос не раньше, чем в Июньские ноны^[100]. Ожидание становилось невыносимым, тем более что и семейные дела шли далеко не блестяще.

У измученной переездом и тревожностями последних месяцев Тертуллы случился выкидыш. Суеверный Кассий сейчас же истолковал это несчастье как зловещее предзнаменование грядущих бед. Некоторое время спустя к родным приехала из Рима Юния Старшая. Лепид наконец-то осуществил давнюю мечту и избавился от жены, обставив развод самыми оскорбительными для нее условиями. Даже не

дожидаясь ее отъезда, он уже во всеуслышание объявил, что женится на юной Антонии — старшей дочери Марка Антония.

Брут не падал духом. Вопреки пораженческим настроениям, охватившим все семейство, он по-прежнему продолжал верить, что власть Антония недолговечна. Скоро и сенаторы, и народ поймут, что он из себя представляет, и призовут тираноборцев назад, ибо с ними связаны все надежды на возрождение города. То же самое, кстати, утверждал и Цицерон: «Спасение Республики зависит от Брута и его партии». Правда, Марк не знал, что старый политик, в своих письмах называя его не иначе как мстителем за отчизну, другим корреспондентам жаловался на его нерешительность в дни Мартовских ид и желчно укорял его в ребячестве и незрелости. По его мнению, Брут, если он мужчина, просто обязан был лично явиться на заседание сената 3 июня, когда будет решаться вопрос о его назначении.

Да, Марк Туллий частенько позволял себе в один и тот же день в письмах разным людям излагать взаимоисключающие соображения. Брать таких людей в советчики опасно. Однако Брут чувствовал такую растерянность, что малейшие признаки симпатии принимал за чистую монету. Все-таки Цицерон не забыл о нем...

Какую игру вел старый консуляр? Все ту же, в какой поднаторел со времени своего изгнания, когда он понял, как важно уметь быть гибким и не идти против течения. Если он о чем и сожалел, то не о республике, а своей роли в ней. Над ним будет стоять хозяин? Ну и пусть, лишь бы не вредил его интересам и льстил его тщеславию. Не зря он так сердечно принял юного Октавия, только что вернувшегося в Италию. Наследник Цезаря, в знак траура отпустивший жидкую бороденку, которую поклялся не брить, пока не отомстит за «отца»,

пользовался гостеприимством Цицерона, очевидно, не подозревая, что тот регулярно шлет восторженные письма убийцам диктатора.

Вся эта двойная игра не укрылась от зоркого взора Сервилии. Она никогда не питала приятных чувств к Марку Туллию, и теперь ее бесило, что ее сын верит каждому слову старого лицемера и связывает с ним свои надежды.

Брут действительно отправил Цицерону текст своей речи, произнесенной на Капитолии вечером Мартовских ид, с просьбой просмотреть ее перед публикацией. Какого отзыва он ждал от критика, чей ораторский и литературный стиль решительно расходился с его собственным? Свое мнение о речи Брута Цицерон поспешил сообщить Аттику:

«Ты желаешь, чтобы я разобрал речь Брута? Изволь, милый мой Аттик, я расскажу тебе все, что о ней думаю, а опыт у меня в этом деле немалый. Нет на свете оратора или поэта, который не был бы убежден в собственном превосходстве над прочими. Это относится и к самым никудышным, что же сказать о Бруте, который и умен, и образован? С той поры, как он обнародовал свое заявление, мы знаем, как к нему относиться. Ты ведь попросил меня написать эту речь для него, что я и сделал, и, полагаю, неплохо, однако он счел, что его собственное творение гораздо лучше. Мало того, когда, поддавшись на его уговоры, я сочинил трактат о красноречии, он написал мне, как, впрочем, и тебе, что наши с ним вкусы расходятся. Так что, нравится это тебе или нет, в деле сочинительства — каждый сам за себя! Как говорится, вкус вкусу не образчик!^[101]»

Получив от Брута упомянутую речь, он раскритиковал ее в пух и прах, постаравшись, однако, спрятать желчный тон под внешней любезностью:

«Дражайший Брут прислал мне свою capitoлийскую речь с просьбой, забыв о снисхождении, внести любые исправления. И по содержанию, и по стилю сие творение являет собой верх изящества, хотя, будь я его автором, я бы добавил в него огня. Личность сочинителя рисуется в его строках во всей своей полноте, поэтому я воздержался от каких бы то ни было исправлений. Зная, к какому стилю тяготеет Брут и какой род красноречия он считает идеальным, должен сказать, что он достиг совершенства. Что до меня, то, прав я или заблуждаюсь, но я привержен другой школе, пусть даже числюсь единственным ее защитником. Во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы ты сам прочитал ту речь, если только ты с ней уже не ознакомился, и сказал мне, что ты о ней думаешь. Правда, если судить по твоему имени, ты, возможно, не годишься на роль беспристрастного судьи!^[102] Впрочем, вспомним пламенного Демосфена! Его пример показывает, что вполне можно быть аттическим оратором и хранить весь свой темперамент...»^[103]

И к этому человеку, злобная натура которого с годами проявлялась все заметнее, Брут обращался за утешением и советом! Его пытливый ум настоятельно требовал пищи — споров, обмена идеями, и лишь этим можно объяснить, почему вопреки своему злопыхательству и мелким предательствам Цицерон сохранял над ним столь сильное влияние.

Разумеется, ядовитые замечания Цицерона достигли слуха Марка, и ему снова припомнилось, как с самого раннего детства его без конца упрекали в недостатке решительности. Но почему же теперь он слышал эти упреки от людей, которые сами не предприняли ровным счетом ничего, напротив, заняв трусливо выжидательную позицию, свели на нет все усилия заговорщиков?

Временами на Брута накатывало такое отчаяние, что он всерьез намеревался последовать совету Децима и уехать в Грецию. Разумеется, он этого не сделал, чем заслужил очередной упрек со стороны Цицерона. Очевидно, Марк Туллий полагал, что перед Брутом осталось всего две возможности: либо немедленно вернуться в Рим, подвергнув свою жизнь смертельному риску, либо так же немедленно отбыть в изгнание.

Между тем Марк назначил себе крайний срок, после которого примет решение, — Аполлоновы игры. Они всегда проходили в иды первого летнего месяца квинтилия, который кое-кто из бывших прихлебателей Цезаря уже открыто именовал июлем^[104]. Если разорительные зрелища, которые он предложит горожанам, не склонят к нему народные симпатии, он действительно навсегда покинет Рим.

Жизнь в Ланувии протекала невесело. Кассий то впадал в тоску, то давал волю раздражению, женщины болели и жаловались на судьбу. Брут на несколько дней вырвался от домашних и съездил в Неаполь. Этот город, гордившийся своими греческими корнями, славился строителями зрелищ и актерами.

Со списком имен в руках Марк ходил по улицам Неаполя, разыскивая комедиантов, поэтов и певцов, рекомендованных ему знатоками. Это выглядело необычно — преторы не имели обыкновения лично договариваться с гистрионами. Знаменитому трагику Канутию он предложил заглавную роль в пьесе «Брут» великого драматурга Акция, верного клиента рода Юниев, умершего за пять лет до рождения Марка. Цицерон в юности успел познакомиться с Акцием, и, по всей видимости, это он выбрал пьесу к постановке. Но Канутий, сильно сомневаясь, что Антоний позволит в день закрытия игр показать спектакль о свержении тирана, ответил отказом. Ни личное обаяние Марка, ни

его блестящее владение греческим языком, ни доскональное знание классической драматургии не смогли убедить актера. Друзья, у которых Марк жил в Неаполе, советовали ему надавить на Канутия, пригрозив будущими неприятностями, но разве способен влюбленный в Грецию тонкий ценитель искусства унизиться до грубого давления на артиста?

Упрямство Канутия на фоне поведения всех остальных мало что значило.

В Риме сенаторы демонстрировали чудеса трусости. Долабелла, в руки которого его страстный поклонник Цицерон передал судьбу тираноборцев, явно не собирался шевельнуть ради них и наманикюренным пальцем. В преддверии Июньских нон, когда сенату предстояло решить вопрос о новых назначениях, в город продолжали стекаться ветераны Цезаря, но это ни у кого не вызывало протестов. Гиртий, обещавший заговорщикам поддержку, просто потихоньку исчез из Рима.

Брут не обольщался: если на заседании не окажется хотя бы нескольких верных и надежных друзей, их дело погибло. И он дни напролет писал письма видным горожанам, симпатизировавшим заговорщикам, и умолял их проявить мужество.

Вспомнил он и про Гиртия. Как же заставить его сдержать данные обещания? Цицерон как-то хвастал, что он в самых лучших отношениях с этим подручным Антония, впрочем, с кем он только не в лучших отношениях... Тем не менее Брут и Кассий обратились за помощью к Марку Туллию. Тот счел просьбу неуместной и в сильном раздражении писал Аттику:

«Вернулся гонец, которого я посылаю к Бруту, с письмом от него и еще одним — от Кассия. Они все просят у меня советов. Брут прямо спрашивает, «что ему делать». Вот несчастье-то! Ну что я могу ему посоветовать? Так что я вообще не стану ему отвечать,

как ты думаешь? Если у тебя вдруг мелькнет какая-нибудь идея, поделись со мной, ладно? Что до Кассия, то он прямо-таки умоляет меня «внушить Гиртию лучшие чувства». Умом он тронулся, что ли? Легче упротить угольщика не замарать белоснежных одежд!

Мое письмо ты, полагаю, уже получил. Ты писал, что по поводу провинций, предназначенных Бруту и Кассию, сенат примет особый указ. То же подтверждают Бальб и Гиртий. Гиртия теперь нет в Риме, он уехал в Тускул, где, наверное, пребывает и поныне. Он всячески отговаривает меня показываться в сенате. Говорит, что для меня это будет опасно. Он и сам подвергся опасности. Но даже если никакая опасность мне не грозит, меня несколько не заботит, что Антоний может подумать, будто я спасаюсь от него. Впрочем, именно потому, что я видеть его не желаю, я и покинул Рим, и ноги моей в нем не будет.

Наш друг Варрон передал мне недавно полученное от некоего лица письмо; от кого именно, мне неизвестно, ибо он счистил имя; но в письме говорится, что ветераны настроены весьма злобно и тот, кого они считают своим противником, серьезно рискует, показываясь в Риме.

Так могу ли я туда ехать? Могу ли вернуться? Могу ли показаться народу? И как вести себя с подобными людьми?^[105]»

Разумеется, Цицерон рисковать не собирался — личное мужество никогда не было его сильной стороной. Тем не менее он интересовался, согласен ли с ним Аттик в том, что «наши друзья, приверженцы Цезаря, считают себя храбрее, чем они есть на самом деле».

Значит ли это, что он вел игру еще более лукавую, чем казалось на первый взгляд?

Отказавшись вести с Гиртием переговоры в пользу Брута и Кассия, он охотно взял на себя другую миссию: повлиять — в нужном направлении — на обоих вождей республиканцев. Об этом прямо и недвусмысленно просил его Гиртий, действовавший по указке Антония:

«Мне хотелось бы, чтобы ты удержал Брута и Кассия от крайних мер. Ты сообщаем, что они написали тебе перед отъездом. Но куда и почему они уезжают? Славный мой Цицерон, очень тебя прошу, не давай им наломать дров! Не позволяй им окончательно сгубить государство, и так потрясаемое грабежами, пожарами и убийствами. Если они боятся, пусть ведут себя осторожно, но не более того! Приняв надлежащие меры и следуя советам умеренных людей, они скорее достигнут желаемого, чем если ввяжутся в опасную авантюру. Пусть держатся в стороне от бурлящего потока. Он скоро иссякнет, но тот, кто станет у него на пути, будет сметен. Напиши мне в Тускул, что они намерены предпринять».

Цицерон обещал сделать все, чтобы Брут и Кассий не показывались в Риме и отказались от попытки организовать вооруженное сопротивление, впрочем, маловероятное. Не желая дразнить Антония, тираноборцы прекратили вербовку войска, едва начатую в муниципиях Кампании. Они видели, что всякие проявления доброй воли исходят исключительно с их стороны. Не приведет ли их нынешняя мягкость к тому, что потом тот же Цицерон ядовито упрекнет их в «недостатке мужества»? Может быть, настала пора показать зубы?

В конце мая Брут и Кассий отправили Антонию письмо. Вежливо, но твердо они давали консулу понять, что прекрасно видят его игру и не намерены с ней мириться:

«Мы не стали бы тебе писать, не будь мы уверены в твоей честности и в добром к нам расположении. Зная,

как хорошо ты к нам относишься, мы уверены, что ты правильно нас поймешь. Нам сообщают, что в Риме уже скопилось огромное множество ветеранов, а к Июньским календам их станет еще больше. С нашей стороны было бы неуместным питать на сей счет какие-либо подозрения или испытывать опасения, все-таки мы целиком и полностью доверились твоей власти. Своих друзей из муниципий мы выпустили.

Мы дали тебе залог верности и заслуживаем, чтобы ты держал нас в курсе дела, которое напрямую касается нас.

Не думаешь ли ты, что, оказавшись в толпе ветеранов, про которых говорят, что они вознамерились восстановить святилище Цезаря^[106], мы окажемся в безопасности? Ни один человек не поверит, что ты можешь одобрить намерения, столь пагубные для нашей безопасности и для нашей чести. С самого начала мы стремились лишь к свободе и общественному спокойствию. И ты — единственный, кто в силах злоупотребить нашим доверием. Разумеется, сама мысль об этом противна всему, что мы знаем о твоей честности и доброй воле. Но при этом ты все-таки остаешься единственным, от кого мы зависим, ибо мы поверили тебе. Наши друзья пребывают в тревоге. Даже не сомневаясь в тебе, они полагают, что столь многочисленная орда ветеранов способна так быстро перейти к насилию, что ты просто не успеешь ее остановить. И мы просим у тебя объяснений. Только не говори, что ветераны собрались из-за того, что в июне сенат должен принять решение в их пользу, — это будет слишком легкомысленный ответ. Что может грозить сенату, если мы отказались ему противостоять? И не думай, что мы так уж цепляемся за жизнь. Размысли лучше о том, что, если нас постигнет злая судьба, во всем государстве начнется полный раздор».

Антоний, конечно, оставил это письмо без ответа. Не зря же он так старался удалить тираноборцев из Рима. Их присутствие на заседании сената 3 июня никак не входило в его планы.

30 мая главные вдохновители республиканской партии собрались в Ланувии. Обсудив положение, они пришли к выводу, что любая их попытка показаться в Риме будет равнозначна самоубийству. Сервилия, Порция, Тертулла и Юния Старшая, которые участвовали во встрече наряду с мужчинами, горячо их в этом поддержали. Теперь оставалось одно — ждать результатов сенатского заседания.

В Ланувии они стали известны вечером 3 июня. Полученные вести превзошли худшие опасения Брута. Отцы-сенаторы соизволили выделить им государственные посты, но под давлением Антония и городской черни остановили свой выбор на самой унижительной из должностей, которую обычно поручали отъявленным ничтожествам и возмутителям спокойствия, ибо это позволяло удалить их из Рима, не подвергая ссылке. Речь шла о снабжении Рима хлебом.

Будь здесь Катон, он наверняка сказал бы, что истинный римлянин обязан исполнить любое решение сената, каким бы оскорбительным оно ни казалось. Однако, согласись Брут и Кассий с волей сенаторов, им пришлось бы отправиться в Африку и Сицилию, поскольку именно эти две провинции поставляли в Рим зерно. На деле это означало вечную ссылку, потому что ни о каком наместничестве в провинциях после такой службы они не смели бы и мечтать.

Что было делать? 6 июня в Антии состоялась еще одна встреча, которую почтил своим присутствием и Цицерон. Он кипел негодованием.

— Это неслыханный позор! — восклицал он. — Во всем государстве нет более гнусной должности!

После такого заявления все ждали, что он начнет убеждать Брута и Кассия не повиноваться решению сенаторов и переходить к отчаянным мерам. Но Цицерон всегда в первую очередь помнил о собственных интересах. Впрочем, если бы его республиканская совесть возмутилась, он легко успокоился бы, сказав себе, что все советы — пустой звук для Брута, который слушает одну Сервилию. Едва прибыв в свое имение в Антии, он испытал неприятное удивление, обнаружив, что мать, жена и сестра Брута участвуют в обсуждении. И не терпящим возражений тоном Марк Туллий провозгласил: следует прежде всего оставаться республиканцем, а значит, неукоснительно подчиняться закону и воле сената. Так что героям надо садиться на корабли и ехать закупать пшеницу у нумидийцев, азиатов, сицилийцев и любого, кто пожелает ее продать. Кстати, таким путем они вернее всего сохранят себе жизнь, а Риму — спокойствие.

При этих словах Сервилия издала возмущенный вскрик. Никто на свете так не пекся о жизни ее сына, но терпеть для него такое бесчестье! Если Марку так уж необходимо покинуть Италию, он должен сделать это под благовидным предлогом. Да, мужчинам показываться в Риме опасно, но у нее еще остались кое-какие связи, в том числе среди цезарианцев, и она готова пустить их в ход, чтобы добиться пересмотра позорного решения.

Марк Туллий и Сервилия испытывали друг к другу застарелую ненависть, и неизвестно, в какую склоку превратился бы их спор, если бы в этот момент в зал не вошел опоздавший Кассий, которого пришлось срочно вводить в суть дела.

Какой бы злостью ни пылала Сервилия, ее гнев показался бы невинной шуткой по сравнению с чувствами, охватившими Кассия. Зять Сервилии отличался взрывным характером, унаследованным от

матери. При виде яростно загоревшихся глаз Гая, его искаженного от негодования лица, Цицерон растерялся. Ему вдруг почудилось, что перед ним сам бог войны, и он испугался. Войны он не хотел ни в коем случае, ведь ее ход нарушил бы спокойное течение его уютной старости.

Кулак Кассия с грохотом опустился на стол.

— Нет, нет и нет! — не сказал, а прорычал он. — Ни в какую Сицилию я не поеду! Мне наносят оскорбление, а я еще должен за него благодарить?

— Что же ты намерен делать? — подал голос Цицерон. Немного подумав, Кассий ответил:

— Отправлюсь в Ахейю.

Именно к этому призывал их Децим Брут два месяца назад, и именно этого так боялись Антоний и его друзья. Вряд ли Кассий, прибыв в Грецию, посвятил бы себя изучению философии эпикурейцев. Ясно, что за пределами Италии он собирался продолжить дело, начатое Помпеем. На Востоке стояло немало легионов, и многие римские юноши учились в Афинах, на Родосе, в других местах. Из них, пожалуй, получится неплохое войско для новой гражданской войны...

Цицерон сделал вид, что не расслышал последней реплики Кассия.

— А ты, Брут? — перевел он взгляд на Марка.

Греция... Отъезд туда будет означать либо безвозвратную ссылку, либо начало новой братоубийственной войны. И потом, ведь в первые дни квинтилия^[107] должны начаться Аполлоновы игры, на которых по традиции председательствует городской претор.

Марк медленно поднял голову.

— Я возвращаюсь в Рим, — промолвил он. И, отдавая дань уважения возрасту и сану Цицерона, повернулся к нему и добавил: — Если у тебя нет возражений.

Как раз возражений Марк Туллий мог привести десятки. Он долго перечислял их и в завершение изрек:

— Я был бы только рад, если бы вы с Кассием остались в Италии — и сейчас, и тогда, когда истечет срок вашей претуры. Но мне кажется, что показываться в Риме тебе пока слишком опасно.

И он принялся в очередной раз многословно излагать, что именно следовало сделать в Мартовские иды и чего заговорщики так и не сделали.

Первой не выдержала Сервилия.

— Нет, вы только послушайте! — возмущенно произнесла она. Цицерон ответил ей в том же тоне, в спор вступил еще кто-то, и вскоре все вокруг уже шумели, стараясь перекричать друг друга. Так и не придя ни к какому согласию, участники совещания решили выждать. Сервилия пообещала, что добьется для сына и зятя других, более достойных их назначений, и Кассий дал слово, что примет свое. Убедили и Брута воздержаться от поездки в Рим. Пусть на играх председательствует кто-нибудь из его друзей — лишь бы его заместитель по городской претуре, младший брат Антония Гай, не обернул дело в свою пользу.

Верный своей роли дурного советчика, в письме к Аттику Цицерон так прокомментировал эту встречу: «Из всей поездки я извлек лишь одно удовольствие — сознание того, что действовал в согласии с собственной совестью. Мне бы не хотелось, чтобы Брут покинул Италию без моего ведома^[108], потому что это было бы не по-дружески. Итак, я вполне мог бы задать себе вопрос: «Ну, и что принес тебе поход к оракулу?» Я убедился, что корабль поломан, точнее говоря, разбит в щепы. В том, что они делают, нет ни осмотрительности, ни смысла, ни порядка. Потому я, как никогда, исполнен решимости удалиться хоть куда-нибудь, где я больше

не услышу ни о злодеяниях этих сыновей Пелопа, ни самих их имен»^[109].

Брут с горечью в сердце внял совету. Июнь приносил одну неприятную весть за другой. Сначала Цицерон категорически отверг предложение взять на себя роль председателя на Аполлоновых играх, затем такой же отказ последовал от остальных друзей, к которым обращался Марк. По Риму ходили слухи, что Антоний не позволит играм пройти успешно. Консул уже запретил постановку «Брута» Акция, заменив его другой пьесой того же автора — «Фиестом». Братоубийственная распря микенских царей казалась Антонию более подходящим, чем история тираноборца, сюжетом.

Еще один болезненный укол Брут испытал, когда ему прислали из Рима афишу с расписанными по дням зрелищами. Месяца квинтилия больше не существовало — его сменил июль. Самое унижительное, что под афишей красовалась подпись самого Брута — ведь он все еще числился городским претором...

Марк отправил в Рим возмущенное письмо, на которое, конечно, не получил ответа.

Аполлоновы игры лета 44 года прошли с блеском. Марк вложил в их устройство немалые деньги. Из Африки прибыли экзотические животные, каких римским зевакам еще не приходилось видеть. Другьям Брута казалось, что настал самый благоприятный момент, чтобы хоть немного поднять в народном мнении акции республиканцев. Во время театрального представления нанятые ими клакеры начали скандировать: «Верните нам претора Брута! Верните нам претора Брута!»

С мест тотчас же раздались еще более многочисленные голоса, кричавшие: «Смерть убийцам Цезаря!» Поднялся всеобщий гвалт, и в конце концов

публика, которой не терпелось досмотреть пьесу, потребовала тишины.

Попытка республиканцев не удалась. Атмосфера, царившая в городе, постепенно напитывалась все большей враждебностью к тираноборцам. В июле, незадолго до дня рождения Цезаря, в небе появилась комета. Племянник и наследник диктатора Октавий во всеуслышание объявил, что то душа его покойного приемного отца поднимается, чтобы присоединиться к бессмертным...

Вряд ли Октавий искренне верил в эту выдумку, однако приходится признать, что, с его точки зрения, комета появилась как нельзя более кстати. На плебс она произвела нужное впечатление. Жертвенник Цезарю, еще в марте воздвигнутый на Форуме Аматием и затем разрушенный по приказу Антония, снова возник на том же самом месте, и на сей раз никто не смел к нему прикоснуться. И племянник божественного Юлия-Юпитера — худосочный юнец с прыщавыми щеками — почувствовал себя гораздо увереннее. Он добился хотя бы того, что Антоний больше не отмахивался от него как от назойливой мухи, а захотел его использовать.

И Октавий выступил главным противником тех, кого он отныне именовал убийцами своего отца. Он призывал все кары на головы тираноборцев и громко протестовал против присуждения им наместничества в провинциях.

Антоний потирал руки от удовольствия. Вот уже четыре месяца он искал способ лишить Брута и его сторонников законных прав, но, зная, что за ними стоят определенные влиятельные силы, конечно, предпочел бы, чтобы их устранение свершилось чужими руками. Октавий вмешался в дело весьма своевременно. Если его расчеты не оправдаются, рассуждал Антоний, ему будет легко избавиться от молодого честолюбца.

Пожалуй, для своих юных лет он успел отрастить слишком острые зубы...

На всякий случай консул напомнил Октавию, что на заседании 18 марта сенат, принимая решение об амнистии, гарантировал в будущем личную безопасность тираноборцам.

Но юный Цезарь только рассмеялся. Его двоюродный дед поступал с отцами-сенаторами без церемоний. Что помешает ему последовать этому мудрому примеру?

20 или 22 июля по новому стилю Антоний добился от сената принятия закона о так называемой передаче провинций. По этому закону Децим Юний Брут лишился звания проконсула Цизальпинской Галлии и получал взамен Македонию, прежде обещанную его двоюродному брату Марку Юнию Бруту. Стоявшие в Македонии легионы получили приказ двигаться к Медиолану. Проконсулом в Цизальпинскую и в Косматую Галлию — на целых пять лет — должен был отправиться сам Антоний, консульство которого подходило к концу.

Несколько последующих дней Рим бурно обсуждал эту новость. Несколько сенаторов, в их числе старик Пизон, отец Кальпурнии, набрались храбрости и вслух выразили свое негодование. Увы, их возмущенные голоса звучали слишком тихо. Кроме того, главные заинтересованные лица также промолчали.

На самом деле Брут все еще надеялся, что Антоний не решится идти до конца. Все происходящее он считал войной нервов. Наверняка консул ждет, пока кто-нибудь из республиканцев не совершит явную глупость, и старательно подталкивает их к этому. Но должен же в конце концов здравый смысл восторжествовать! Стоит сенату отдать им обещанные провинции, и призраки гражданской войны растают без следа.

Что касается Кассия, то он уже миновал стадию напрасных надежд. Цезарь назначил его наместником в Сирию, и если кто-нибудь попытается отобрать у него эту провинцию, он возьмет ее силой! Кассий уже начал собирать флот. Он поддерживал связь с Требонием и Буцилианом Цецилием, теми из мартовских заговорщиков, кто успел отбыть в свои восточные провинции. Кассий убеждал их готовить войска к выступлению. Со своей стороны Децим Брут объявил, что ни в какую Македонию не поедет, а направится напрямиком в Цизальпинскую Галлию, как бы это ни огорчило Антония. Так начал вырисовываться контур будущей гражданской войны.

А что же Брут? Он, который столько сделал, чтобы не дать разгореться ненависти между согражданами, неужели и он возьмет в руки оружие?

Но разве у него оставался выбор? Да, он все еще цеплялся за пустую надежду, все еще старался предостеречь остальных от трагической ошибки. В исполненном достоинства письме к Антонию он сообщил консулу, что готов добровольно покинуть Италию, если только ему будет предоставлена почетная должность. В качестве жеста доброй воли он перебрался на островок Несиду (ныне Кавалла) близ Неаполя, где заранее нанял несколько судов.

Кассий призывал его к решительным действиям, он в ответ советовал набраться терпения. Единственным «воинственным» шагом, который он себе позволил, стала встреча с дельцом Марком Скаптием, к тому времени добившимся некоторого процветания, с целью получения кредита для двоюродного брата.

Скаптий отнесся к идее благосклонно, по всей видимости, этот практичный человек по-своему готовился к войне. Что касается Брута, то он остался в буквальном смысле слова без гроша и уже подумывал о том, чтобы продать свои имения. И здесь ему на помощь

пришел Аттик. Насколько твердо он придерживался политического нейтралитета, настолько же щедро он вел себя по отношению к друзьям, оказавшимся в стесненных обстоятельствах. Еще весной он дал Марку знать, что тот может во всем рассчитывать на его поддержку и в доказательство своих слов послал ему кругленькую сумму в сто тысяч сестерциев, этих денег хватило бы на многие месяцы безбедной жизни в Афинах.

Однако Брут не спешил с отъездом. Он все еще ждал новостей из Рима. Цицерон корил его за медлительность, не догадываясь, что за ней могут стоять и иные причины, кроме политики. Дело же заключалось в том, что Порция сопровождать мужа не могла. События последних месяцев заметно подорвали здоровье жены Марка, к тому же, как мы уже упоминали, она, возможно, ждала ребенка. Отъезд означал для Брута долгую разлуку с Порцией.

Между тем оба они хорошо понимали, что могут вообще больше не увидеться. Слишком много опасностей подстерегало обоих, да и смертность от родов оставалась в Древнем Риме очень высокой. Так что каждый день отсрочки был для Марка прежде всего еще одним днем, проведенным рядом с любимой женщиной.

Но всему есть предел. Брут честно старался найти пути примирения с Антонием и исчерпал для этого все возможности. За пять дней до наступления нон секстилия^[110] сенат, вопреки противостоянию Пизона и друзей Сервилии, изменил под давлением консула и без того жесткий закон о назначении наместников. Правда, Брута и Кассия освободили от унижительной обязанности следить за продовольственным снабжением города, однако обещанных провинций они

так и не дождалось. Кассию вместо Сирии достался Крит, Бруту вместо Македонии — Киренаика.

Но что это были за провинции! Остров царя Миноса, когда-то известный как одно из могущественных государств Средиземноморья, давным-давно превратился в выжженную солнцем полупустыню, на просторах которой паслись стада одичавших коз. Еще более печальное зрелище являла собой Киренаика — населенная бедуинами засушливая земля с редкими римскими торговыми поселениями, разбросанными вдоль прибрежной полосы. Из всех римских провинций, не считая, пожалуй, Корсики, Бруту и Кассию достались наихудшие. Никогда еще ни один правитель не исхитрился собрать со здешнего населения хоть какие-нибудь подати. С яйца шерсти не настрижешь, говорили в таких случаях римляне.

Если бы сенат просто лишил заговорщиков провинций, это выглядело бы менее оскорбительно. И ответ возмущенных магистратов не заставил себя ждать.

«Преторы Брут и Кассий — консулу Антонию. Приветствуем тебя. Мы счастливы, если ты здоров^[111]. Письмо твое мы прочитали; оно вполне соответствует твоему же указу^[112]. Ты повторяешь все те же угрозы и все те же оскорбления, недостойные такого человека, как ты, когда он обращается к таким людям, как мы. Вспомни, Антоний, ведь мы ни разу не допустили по отношению к тебе ни оскорблений, ни подстрекательств. [...] Ты уверяешь, что вовсе не корил нас ни за то, что мы якобы вербуем отряды, ни за то, что мы требуем предоставить нам средства, ни за то, что мы пытаемся посеять смуту в войсках, ни за то, что мы шлем гонцов за море. Мы верим тебе и считаем это утверждение доказательством твоих добрых намерений. Что касается нас, то мы решительно

отрицаем все вышеперечисленное. И мы находим странным, что ты, не упрекая нас во всех этих неблагоприятных действиях, попал под власть слепого гнева и обвиняешь нас в смерти Цезаря^[113]. Подумай, и ты поймешь, насколько недопустимо, чтобы из любви к согласию и свободе преторы особым указом отказались от своих прав. Подумай, должен ли консул по этой причине воззвать народ обернуть против них оружие.

Не льсти себя надеждой, что тебе удастся нас запугать. Не в нашем характере и не в наших привычках гнуться под действием страха. И не тебе, Антоний, отдавать приказы людям, которые подарили тебе свободу. Если бы мы считали, что есть веские причины к развязыванию гражданской войны, твое письмо нас не остановило бы. Свободное сердце не подвластно угрозам. Ты ведь знаешь, что нас невозможно принудить к чему бы то ни было, значит, ты намеренно принимаешь грозный вид, чтобы другие подумали, будто наша осторожность — следствие испуга. Вот как нам это видится.

Нам хотелось бы, чтобы ты жил окруженный почестями и почитанием в свободной республике. Мы не ищем ссоры с тобой. Но твердо заявляем: мы гораздо больше дорожим свободой, нежели твоей дружбой. Поразмысли хорошенько и реши, что ты хочешь сделать и что ты можешь сделать. Не думай о том, как долго прожил Цезарь — подумай лучше, как недолго он царствовал.

Молим богов внушить тебе решения, спасительные и для общего блага, и для тебя самого. Если же ты пойдешь иными путями, желаем, чтобы они не оказались более пагубными, чем те, что требуют честь и спасение отчизны.

Будь здоров.

Писано накануне нон секстилия»^[114].

Вот теперь настала пора отбывать в изгнание, чтобы вернуться с оружием в руках.

Брут, держась побережья, медленно продвигался к югу. Он все еще оттягивал момент разлуки. В Велии он решил, что все-таки пора расстаться с Порцией — из-за удушающего зноя дальнейшее путешествие стало бы для нее непереносимым.

Дочь Катона, достойная имени своего отца, до последней минуты держалась стойко, скрывая сведавшую ее печаль. В Велии, в доме, где Марк поселил жену, отправляясь дальше, оказалась редкой красоты картина, изображавшая сцену из Илиады — прощание Гектора с Андромахой. Сын троянского царя собирается на войну. Он протягивает руки, чтобы обнять маленького сына, но ребенок пугается, видя отца в боевом шлеме, и тогда Гектор снимает с головы шлем и старается рассмешить ребенка, поигрывая султаном. На них обоих смотрит Андромаха, и сквозь слезы на ее лице проступает гордость.

Порция хорошо знала, что история Андромахи закончилась вдовством и рабством. И потому она не сумела сдержать рыданий, в последний раз обнимая Марка. Сын Порции Бибул, которого отчим брал с собой, радовался предстоящему путешествию и не понимал, отчего так горько плачет мать.

Неизвестно, как долго длилось бы это скорбное прощание, если бы присутствовавший здесь же друг Марка Ацилий не начал декламировать вслух знаменитый отрывок из Гомера, в котором Андромаха умоляет Гектора не покидать ее.

Брут посмотрел на залитое слезами лицо жены:

— Я не стану повторять перед Порцией то, что Гектор сказал Андромахе. Он велел ей заняться домом и присмотреть за служанками и не мешать мужчинам исполнить свой воинский долг. Не стану, потому что, если женская слабость не позволяет Порции совершать

подвиги, посильные мужчинам, готовностью послужить родине она поспорит с любым из нас.

Порция медленно подняла голову. Глаза ее были сухи. Ни слова не говоря, она освободилась из объятий Марка и выпрямила спину. Так же молча она провожала его взглядом, пока он шел к дверям. Из суеверного страха перед дурной приметой Марк ни разу не оглянулся назад, чтобы запечатлеть в памяти высокую стройную фигуру, закутанную в белую stole — излюбленную одежду римских женщин, верных обычаям прежних времен.

VII. Встреча в Филиппах

*Нет, Кассий, нет, мой Римлянин,
не думай,
Чтоб Брут пошел в оковах в Рим.
На это
Он слишком горд душой. Но этот
день
Пусть то, что началось на иды
марта,
Кончает. Свидимся ль с тобой, не
знаю.
Итак, простимся здесь в
последний раз:
Навек, навек будь счастлив ты,
мой Кассий.*

*Уильям Шекспир. Юлий Цезарь.
Акт V, сцена I*

Куда же направлялся Брут, вместе с Кассием решивший покинуть Италию, быть может, навсегда? Неужели он действительно плыл в Киренаику, отказавшись отстаивать свои права, смиренно покорившись необходимости уйти с политической сцены и тем самым избавить сограждан от опасности новой братоубийственной войны? Именно такое впечатление сложилось у Цицерона, который случайно столкнулся с Брутом в Велии в самый день его отплытия^[115]. Во всяком случае, старый консуляр поверил, что Марк Юний окончательно сложил оружие. Нет, не напрасно начиная с марта он корил его за вялость...

На самом деле Цицерон и сам намеревался переправиться в Грецию, где его сын заканчивал обучение. Он не скрывал, что планирует задержаться там на длительный срок, хотя бы до тех пор, пока в Риме не улягутся страсти. Однако ветер в тот день переменился, развернув корабль Цицерона к италийскому берегу, и Брут уговорил его не спешить с отъездом, уверяя, что его присутствие в городе необходимо Республике. Слова Марка польстили тщеславию старика. Теперь он мог с еще большим превосходством взирать на бегство Брута и Кассия.

Он и не подозревал, как далек от истины!

Если Брут и испытывал серьезные колебания, то их время прошло. Взяв курс на Грецию, он принял решение, как всегда, тщательно обдумав и взвесив все его последствия. Он больше не сомневался, что Антоний рвется занять освободившийся трон тирана, и видел свой долг в том, чтобы не допустить этого. Война? Что ж, это будет справедливая война, в которой тираноборцы встанут на защиту закона, истории и традиций Рима. Он твердо верил, что найдет на Востоке поддержку и войска. Именно за этим он и отправлялся в путь. И не приходится удивляться, что он не счел нужным посвящать в свои планы Цицерона: бывший консул уже не пользовался с его стороны доверием.

Когда небольшой флот, собранный Брутом и Кассием, вышел в море, непосвященные полагали, что корабли направляются к Криту и Киренаике. Но вновь назначенные наместники вовсе не торопились в свои провинции. В начале сентября они высадились в Пирее. Все римские проконсулы, отправляясь на Восток, обязательно на несколько недель останавливались для отдыха в этом афинском порту. Однако Брут и Кассий об отдыхе не помышляли: они искали средства, чтобы попасть в Сирию и Македонию.

Причины, заставлявшие их стремиться именно в эти провинции, обещанные им еще Цезарем, очевидны: там стояли войска, там были сосредоточены огромные богатства. Планируя поход против парфян, покойный диктатор стянул в Сирию и Македонию лучшие легионы. Правда, Антоний перевел часть этих войск в Цизальпинскую Галлию, куда собирался перебраться и сам, оттеснив Децима Юния Брута. Все же в этих землях оставались весьма значительные военные силы. Их вполне хватило бы, чтобы, даже проиграв схватку в Риме, выиграть ее в масштабе всей империи.

Разумеется, Брута, принципиального противника гражданской войны, такая перспектива не радовала. Но грязная политическая игра, затеянная Антонием, не оставляла ему другого выбора. И он принял ее неизбежность, моля небеса, чтобы это была последняя в истории Рима гражданская война. Победа тираноборцев вымела бы с Форума последние остатки продажной власти, оказавшейся недостойной свободы. Если же их ждет поражение... Нет, не стоит искушать Фортуну, думая о поражении, ведь пока все складывается не так уж плохо...

Афиняне оказали Бруту и Кассию замечательный прием. Жители Афин все еще хранили в душе смутную ностальгию по давно минувшим временам, когда их город был овеян славой, а в умах его мыслителей рождались оригинальные политические идеи. Такие слова, как «республика», «тирания» и «свобода» все еще оставались наполненными смыслом для поколений людей, чья жизнь отныне протекала под гнетом римского владычества. И события Мартовских ид многие из них восприняли одобрительно. Брут и Кассий предстали в их глазах не потерпевшими поражение борцами с режимом, а прежде всего доблестными последователями греческих тираноборцев, о чем

свидетельствовали статуи обоих римских магистратов, украсившие афинскую агору.

Однако следовало следить, чтобы бдительный Антоний не насторожился раньше времени. Среди постоянно проживавших в Греции римских граждан находилось немало осведомителей, а в теплое время года новости доходили в метрополию очень быстро. Поэтому в первые недели своего пребывания в Афинах Брут и Кассий старались вести себя незаметно.

С помощью молодого Цицерона они сняли хороший дом, в котором принимали римских юношей, обучавшихся в Афинах, делили с ними трапезу и вели долгие философские беседы. Брут, кроме того, посещал вместе с ними лекции двух модных в те годы философов — представителя Академии Теомнаста и сторонника школы Ликея Кратиппа. С виду все это выглядело совершенно невинным.

Надо сказать, Брут и в самом деле получал от этих занятий искреннее удовольствие. В последние двадцать лет он постоянно возвращался мыслью к годам своего ученичества в Афинах и всей душой мечтал вновь окунуться в его атмосферу. И теперь он предался любимому делу с усердием человека, который знает, что отпущенная ему передышка долго не продлится. Репутация оригинала, страстно влюбленного в философию, служила ему надежной защитой от любопытных взоров. Никто из непосвященных и не догадывался, что римские эфебы, собираясь на дружеский ужин к Бруту, обсуждают отнюдь не только мудрые высказывания Теомнаста и Кратиппа.

Многие отмечали, что еще в молодые годы Марк Юний Брут оказывал на окружающих заметное влияние. Живя в продажном мире, он умел оставаться чистым; сталкиваясь с развратом, умел хранить целомудрие; на фоне всеобщего наплевательства выделялся серьезным отношением к важным вещам. Без нарочитости,

присущей его дядюшке Катону, он самым естественным образом стал для большинства современников живым воплощением идеалов римской доблести, которых мало кто из них придерживался в повседневной жизни, но продолжал уважать в душе. Не удивительно поэтому, что римская молодежь, учившаяся в Афинах, взирала на него с почтением.

Воспитанные греческими наставниками в неприятии тирании, эти юноши видели в Бруте идеал истинного римлянина. Ни в курии, ни на Форуме Брут не встречал такого восторженного приема. Среди его юных товарищей оказались отпрыски лучших римских фамилий, имевшие все основания гордиться своими предками, прославившимися во времена республики. Младший брат Порции Марк Порций Катон, после самоубийства отца так и не вернувшийся в Италию, его двоюродный брат и сын помпеянского полководца, погибшего под Фарсалом, Домиций Агенобарб, молодой Цицерон, к счастью, не унаследовавший от отца ни трусости, ни склонности к панике, — все они с готовностью предложили Бруту свою помощь. И пусть им не хватало опыта, зато их сердца переполняли отвага и страстное желание восстановить Республику. Даже те из них, кто не мог похвастать древней родословной, разделяли общий энтузиазм.

В этом кружке Марк познакомился с внуком отпущенника из Венузии (ныне Веноза) Квинтом Горацием Флакком^[116]. Двадцатилетний юноша далеко не во всем соглашался с образом мыслей Брута, однако и он поддался царившему в кружке воодушевлению и принял звание военного трибуна армии, которой пока не существовало даже в первом приближении.

Таким образом, два первых осенних месяца, на протяжении которых, казалось бы, не происходило никаких значительных событий, стали временем

интенсивной подготовки к гражданской войне. Как только наступившие холода прервали морское сообщение между Грецией и Италией и поступление свежих новостей затруднилось, она пошла полным ходом [\[117\]](#).

Многие обитавшие в Афинах римские граждане поверили в шансы Брута: обстановка в городе настолько накалилась, что стали возможны любые крутые перемены.

На протяжении нескольких месяцев после Мартовских ид Марку Антонию приходилось нелегко, но пока он справлялся с трудностями. В этом человеке, пользовавшемся репутацией не слишком умного лентяя, раба своих дурных привычек, неожиданно проснулись такие качества, как умение лавировать и плести сложные политические интриги. Действуя чрезвычайно ловко, он сумел удалиться за пределы Италии Брута и его друзей, добиться для себя должности проконсула в Галлии и Цизальпинской Галлии на целых пять лет, а управление Македонией передать своему брату Гаю Антонию — заместителю Брута на посту городского претора.

Однако, избавившись от присутствия в городе тираноборцев, он решил, что у него полностью развязаны руки и перестал сдерживать свои честолюбивые устремления и личные пристрастия. Очень скоро внимательные наблюдатели поняли, что он, не считаясь со средствами, метит на место Цезаря. Не больше и не меньше. Отцы-сенаторы, привыкшие за годы диктатуры к послушному молчанию, утвердили под давлением Антония несколько эдиктов, которые консул выдавал за подготовленные Цезарем. На три четверти это были фальшивки, сфабрикованные Антонием в собственных интересах, в том числе указы, принимаемые к вящей выгоде третьих лиц — из них

консул устроил откровенный торг. Все знали, что к марту 44 года Марк Антоний успел совершенно разориться и погряз в долгах. Но уже в июне он расплатился со всеми кредиторами, а его состояние приближалось к кругленькой сумме в четыреста миллионов сестерциев. Поистине, он не терял времени даром.

Подобное бесстыдство начинало всерьез беспокоить римскую верхушку. Кроме того, Антоний собрал вокруг себя людей особого сорта — тех, кого Цицерон именовал *Mali Viri*^[118] — всевозможных бунтовщиков и мятежников, привыкших ловить рыбку в мутной воде. Их засилье угрожало порядку в государстве и общественному спокойствию.

В это же время в гонку за обладание наследством Цезаря включился и еще один персонаж — внучатый племянник и приемный сын диктатора Гай Октавий. Весной, когда Октавий прибыл в Рим из Иллирии, никто не воспринял всерьез притязаний этого 19-летнего юнца. Но уже три месяца спустя стало ясно, что от «мальчишки», как его презрительно называли более зрелые политики, так просто не отмахнешься. Умный и осторожный, он начал с того, что поддержал Антония, когда речь шла об изгнании из Италии убийц его «отца». Однако затем он выступил против консула, обвинив его в незаконном присвоении его наследства. Ходил даже слух, что Октавий готовил убийство Антония, а когда это не удалось, воспользовался популярностью имени Цезаря в армии, чтобы поднять против него вызванные с Востока легионы. Антоний вовремя узнал об этом и учинил над неверными жестокую расправу, казнив каждого десятого командира. И... испортил дело, разрешив присутствовать на казни своей жене Фульвии, большой охотнице до зрелищ этого рода. Народ охотно простил

бы консулу гибель нескольких десятков центурионов, но одна мысль о том, что он сделал это по капризу жестокой женщины, приводила римлян в негодование.

Противостояние Антония и Октавия приняло открыто враждебные формы. Наиболее опасным пока казался действующий консул. Цицерон, издавна ненавидевший его ^[119], воспользовался одной из речей, произнесенных Антонием в сенате против заговорщиков, и ответил на нее целой серией гневных диатриб, в насмешку названных автором «Филиппиками» — намек на знаменитые выступления Демосфена, направленные против Филиппа Македонского. Своими «Филиппиками» Цицерон преследовал вполне определенную цель — добиться политического, а еще лучше и физического уничтожения Антония.

Итак, в Риме произошли события, изменившие расклад сил в благоприятном для Брута направлении. Сумеет ли он извлечь из них пользу?

Первым делом следовало раздобыть денег. От суммы, предоставленной Титом Помпонием Аттиком, остались одни воспоминания. В Афинах тираноборцы вели достаточно скромный образ жизни, порой обращаясь за поддержкой к молодому Цицерону, которого отец обеспечивал щедрым содержанием. В качестве ответной услуги Кассий обучал юношу греческому языку, которым владел в совершенстве. Однако долго так продолжаться не могло. Брут твердо решил отправиться в Македонию, а Кассий — в Сирию. Значит, необходимо было собрать войско, а для этого требовались немалые средства. Время торопило: весной в указанные провинции придут вновь назначенные наместники — Гай Антоний и Публий Корнелий Долабелла.

В конце сентября Кассий выехал в Сирию. Он знал о богатствах этой провинции и рассчитывал собрать нужные суммы на месте. Брут, не чинясь, отдал ему весь нанятый на деньги Аттика флот и остатки наличности, а сам остался в Афинах без единого асса в кармане.

И здесь ему улыбнулась Фортуна. В начале октября проконсул Азии Гай Требоний сообщил, что его квестор Марк Апулей ведет в Рим эскадру кораблей, в трюмах которых упрятаны 16 тысяч талантов — подати, собранные в провинции. Апулей намеревался сделать остановку в греческом порту Каристе, на южной оконечности Эвбеи.

Брут по достоинству оценил важность этого сообщения. Никаких угрызений совести он не испытывал, уверенный, что эти деньги в любом случае попадут не в государственную казну, а в личные сундуки Антония. В сопровождении нескольких друзей он бросился в Карист. Апулей, действовавший заодно со своим проконсулом, не стал чинить Бруту никаких препятствий и, кроме ценного груза, передал в его распоряжение корабли вместе с находившимися на борту воинами. Казалось, впервые за много лет судьба повернулась к Бруту лицом. Увы, случившийся вскоре неприятный инцидент, расцененный как дурное предзнаменование, значительно отравил его радость.

«Подарок» Апулея свалился на него как раз в те дни, когда он собирался отпраздновать свой сорок первый день рождения^[120]. Сразу два приятных повода подвигли Марка устроить банкет. В конце пирушки, согласно обычаю, Брут поднял кубок с вином, чтобы совершить жертвенное возлияние. Он выпил за Фортуны Рима, за победу своего дела, за возрождение Республики, за кару подлецам, за свободу города и его граждан, а затем решил прочитать гостям греческие

стихи. Не слишком задумываясь, он принялся декламировать первое, что пришло в голову — отрывок из песни XVI Илиады, последние слова Патрокла, гибнущего под мечом Гектора: «В том, что я гибну, повинна лишь ты, злая судьба, и ты, сын Лето...»^[121]

Еще не закончив декламацию, Марк уже понял, что неудачно выбрал стихи, однако было поздно. Дурные предчувствия охватили гостей, от веселого настроения не осталось и следа. С пира они расходились опечаленными.

Впрочем, пока еще боги, включая и сына Лето, им явно благоволили.

Спустя несколько дней квестор Сирии Гай Антистий Вет, разделявший убеждения заговорщиков, причалил в Греции с несколькими судами, также перевозившими в Рим собранные в провинции подати. Он вручил Бруту два миллиона сестерциев. Теперь в распоряжении Марка появилась весьма значительная сумма денег. Пришла пора переходить к решительным действиям.

События последних месяцев заставили его жестоко разочароваться в свойствах человеческой природы. Он понял, что неподкупные люди — большая редкость. И стал играть по общим правилам.

Первым его внимание привлек легат Луций Пизон, командир одного из шести легионов, оставленных Антонием в Македонии. Посланный к легату молодой Цицерон выложил перед ним внушительную горку талантов, и великолепный Пизон сейчас же почувствовал себя убежденным сторонником тираноборцев. Так у Брута появился первый легион.

Действуя в те же дни и теми же методами, Домиций Агенобарб переманил на сторону Брута конный эскадрон, двигавшийся к Сирии накануне прибытия нового наместника Долабеллы.

В ноябре Марк отправился в Фессалию. Он хорошо знал этот край, где сражался в армии Помпея. По пути к его небольшому войску присоединялись римские ветераны, когда-то воевавшие под знаменами Гнея Великого.

Если в гражданской жизни Марку случалось проявлять нерешительность, то в армии он совершенно преобразился. Даже не имея за плечами богатого командирского опыта, он на глазах превращался в умелого полководца. Казалось, какой-то врожденный инстинкт подсказывал ему, что и когда следовало предпринять. Справедливости ради следует отметить, что военную школу он прошел под руководством лучших полководцев своего времени — сначала Помпея, а затем Цезаря — и усвоил лучшие уроки обоих: способность к неожиданным демаршам Гая Юлия и расчетливую осторожность Гнея Великого.

Вскоре еще один конный эскадрон, отправленный в Сирию вслед за первым, влился в войско Брута. Теперь под его началом насчитывалось восемь тысяч воинов^[122]. В первых числах декабря он подошел к фессалийской крепости Сицион и захватил ее. Его военной добычей стал большой запас оружия, снаряжения и продовольствия, собранный еще Цезарем ввиду будущего парфянского похода.

До сих пор Бруту удавалось добывать средства, не проливая крови, и ему хотелось действовать так же и в дальнейшем. В частности, он надеялся, что сумеет отстаивать свои права на управление Македонией, не прибегая к насилию.

По обычаю, римский наместник оставался в провинции до весны, когда прибывал его преемник, которого он вводил в курс местных проблем. Македонией тогда управлял Квинт Гортензий Гортал — сын известного оратора и дальний родственник Марка.

Квинт Гортензий пользовался в Риме репутацией бездельника и повесы. Его юношеские проделки закончились печально: отец лишил его наследства и оставил все свое огромное состояние второй жене, прелестной Марции. С той поры бедняга Квинт только и думал, как бы разбогатеть, и охотно принял службу, предложенную Цезарем.

Все эти обстоятельства не укрылись от внимания Брута. Он написал молодому Гортензию весьма любезное письмо, в котором обтекаемо, но ясно давал понять, что способен помочь ему поправить финансовые дела. В обмен он просил немногого: признать за ним законное право на македонское наместничество. Гортензий принял это предложение с удовольствием и, рассудив, что возвращаться в Рим ему теперь не с руки, согласился также присоединиться к ставке Брута в качестве советника.

Вслед за наместником союзниками Брута стали местные царьки и вожди, традиционно выступавшие в роли клиентов римлян. Они обеспечили его армию проводниками и разведчиками, усилив ее за счет нескольких отрядов лучников и конных воинов. Пусть внешне они порой выглядели довольно экзотично, зато сражаться умели прекрасно.

Впрочем, чтобы по-настоящему подчинить себе Македонию, а также зависимые от нее Грецию и Иллирию, следовало перетянуть на свою сторону войска, стоявшие в Аполлонии и Диррахии, главных военных бастионах этих провинций. И тут случилось неожиданное: Бруту донесли, что Гай Антоний, которого ожидали гораздо позже, высадился в Диррахии.

Почему он так спешил? Прежде всего потому, что в Риме дела Антониев шли далеко не так гладко, как им хотелось бы. Чем быстрее приближался день 31 декабря — официальная дата завершения срока

полномочий консулов и магистратов, — тем громче звучал голос оппозиции, недовольной злоупотреблениями Марка Антония. Нападки, подогреваемые «Филиппиками» Цицерона, которые день ото дня становились все более оскорбительными и резкими, сыпались на консула со всех сторон. Даже те из сенаторов, кто прежде поддерживал его, теперь явно делали ставку на юного Октавия.

Антоний понял, что для спасения карьеры ему остался единственный способ — последовать примеру Цезаря. Он обеспечил себе наместничество в Галлии и Цизальпинской Галлии на долгих пять лет и рассчитывал на вербовать в этих богатых и густо населенных провинциях мощное войско, чтобы затем с оружием в руках явиться в Рим и раздавить всех своих врагов — и республиканцев, и сторонников Октавия. Но это значило, что в Медиолан ему следовало попасть до того, как новые консулы Панса и Гиртий — убежденные цезарианцы, весьма благосклонно принявшие приемного сына их покойного друга, — сумеют аннулировать его назначение.

Оставив в Риме Фульвию с детьми, Марк Антоний поспешно двинулся в путь. Его брат Гай, презрев опасность, в разгар зимы решился пересечь Адриатическое море.

Высадившись на берег, он узнал, что Квинт Гортензий официально признал правителем провинции Марка Брута. У него остался последний шанс — первым добраться до городов, где стояли римские гарнизоны, и принять под свое командование пять расквартированных здесь легионов.

- Понимал это и Брут. От того, сумеет ли он опередить Гая Антония в Диррахии, городе, имевшем первостепенное стратегическое значение, — теперь зависел успех предпринятого им дела. Что это означало на практике? Необходимость форсированным маршем

пересечь расстояние в сотни миль, пройти фессалийскими болотами, преодолеть горы Эпира и заснеженные перевалы. И все это — под сырым ветром и моросью ледяного января.

Холод стоял невообразимый. Брут решил не обременять себя обозами — они слишком медлительны — и выступил в поход налегке. С ним отправились только конница и отряд отборных воинов. Они двигались быстро, не жалея сил, останавливаясь лишь для кратких ночевков. Спали прямо на голой земле, закутавшись в плащи, ведь палаток с собой не тащили. Вскоре стала ощущаться нехватка провианта. Но никто не жаловался, ведь их вел вперед Брут. Он ел меньше других, почти не отдыхал и постоянно напоминал своим воинам, что от их храбрости и выдержки зависит судьба Рима.

20 января 43 года его маленькое войско увидело в сером рассветном сумраке очертания Диррахия. Похоже, в городе никаких следов Гая Антония. Они пришли первыми!

На протяжении всего перехода Марк держался так, будто лишения и усталость ему нипочем. Но теперь, когда Диррахий лежал перед ним, готовый распахнуть ворота, ему внезапно стало совсем плохо. У него поднялся страшный жар, силы совершенно оставили его. Лекарь-грек, осмотрев занемогшего полководца, объявил, что причина болезни — физическое изнеможение и переохлаждение. Сообщил он и название болезни — булимия, то есть «бычий голод»^[123]. Лечение? Обильная еда, горячее питье, теплая постель.

Рекомендации, как видим, самые простые, однако легко ли их выполнить перед осажденным городом? Напрасно соратники Марка в который раз перетряхивали свои походные мешки, последняя сухая

корка давным-давно съедена. Им, молодым и крепким парням, в большинстве привычным к суровому военному быту, переход дался гораздо легче, чем Бруту, который все эти дни и держался только силой духа. Его воины прекрасно понимали это, и их уважение к своему командиру только росло.

Уважение... Именно это чувство чаще всего пробуждал в окружающих Марк Юний Брут. Многие из них не соглашались с его политическими взглядами, но никто и никогда не смел упрекнуть его в своекорыстии. Даже после убийства Цезаря, когда Антоний и его приспешники всю чернили тираноборцев, в адрес Брута не раздалось ни одного навета. Бессмысленно обвинять человека, чья верность своим убеждениям известна каждому, и не только в Риме, но и далеко за его пределами. В том числе в Диррахии...

Посоветовавшись, воины Брута придумали, что делать. Несколько из них подошли к городским воротам и вступили в переговоры со стражей. Они честно сказали, что их маленькое войско — передовой отряд армии Брута, что их полководец болен и ему срочно нужна пища. И тут случилось чудо. Осажденные жители Диррахия принялись спускать со стен корзины с хлебом, мясом, вином... И это чудо сотворило одно только имя — Брут.

Гарнизон Диррахия командовал в это время Публий Ватиний — убежденный цезарианец, известный тем, что занимал должность консула в течение рекордно короткого срока. Действительно, за два года до этого Цезарь назначил его консулом вечером 30 декабря, а уже на следующий день ему пришлось сложить с себя полномочия. Эта карикатура на демократию вызвала в Риме немало кривотолков и впоследствии подвигла нескольких римских деятелей присоединиться к заговорщикам^[124]. Правда, сам

Ватиний обиженным себя не чувствовал — и одного дня в ранге консула ему хватило, чтобы извлечь для себя массу выгод. Впрочем, он вообще считался в Риме человеком покладистым. Оказывать сопротивление Бруту, которого наместник Гортензий признал своим законным преемником, и ждать Гая Антония, которого сенат не сегодня-завтра лишит всяких прав? Это показалось бы ему верхом глупости. Тем более что жители города явно рады приветствовать Брута. Конечно, необходимо соблюсти внешние приличия, чтобы никто потом не стал говорить, что он сдал город без боя. И Ватиний, дабы спасти лицо, быстренько организовал небольшой фарс. К нему, якобы по собственной инициативе, явилась депутация от воинов гарнизона с призывом капитулировать. Ватиний, разумеется, отказался, но под угрозой силы вынужден был уступить. К вечеру 20 января Диррахий сдался.

Брут завладел самой крупной военной базой региона. Позиции Гая Антония существенно ослабли. Взвесив реальный расклад сил, брат консула отказался от попыток вернуть Диррахий и предпочел, пока не поздно, захватить второй стратегически важный пункт — Аполлонию Эпирскую. Теперь-то удача, казалось, его не покинет. До него дошли слухи о том, что Брут тяжело болен. Значит, помешать ему он не сможет. За крепостными стенами Аполлонии Антоний будет неуязвим. Он объявит себя единственным законным правителем и добьется покорности от всех войск, размещенных в Македонии, Иллирии и Греции.

Гай Антоний действительно вошел в Аполлонию, однако дальнейшие события пошли совсем не так, как он предполагал. Во-первых, Брут быстро поправлялся. Несколько дней, проведенных в тепле, с хорошим уходом и полноценным питанием, ему хватило, чтобы совершенно восстановить силы. В то время, когда Антоний в злорадных мечтах видел его агонию, он уже

во весь опор скакал к Аполлонии. Весть о приближении Брута произвела на жителей города чрезвычайно сильное впечатление. Римский гарнизон и отряды, охранявшие прилегающие заставы, повели себя неожиданным для Антония образом. Наслышанные о подвигах Брута, они, как истинные римляне, без лишних колебаний сделали выбор в пользу наиболее храброго, наиболее решительного и... наиболее удачливого. Чем ближе к Аполлонии, тем многочисленнее становилось войско Брута.

В самом городе Гай Антоний чувствовал себя неуютно. Подчиненные ему солдаты открыто заявляли, что не будут сражаться против соотечественников. Наконец, даже местный сенат предупредил его, что отказывает ему в поддержке, и посоветовал как можно скорее уносить из города ноги. Младший брат консула не стал настаивать и покинул Аполлонию в сопровождении нескольких когорт, которые согласились следовать за ним.

На Эпирском побережье, на оконечности полуострова, располагался город Бутрот, имевший стратегически важный выход к морю. Здесь проживало немало ветеранов, поселенных еще Цезарем, и именно сюда решил двинуться Гай Антоний. Брут в это время успел примчаться в Аполлонию, принял под свое командование римский гарнизон и немедленно бросился вдогонку за Антонием. С быстротой, достойной Цезаря, он настиг его, навязал ему сражение и одержал победу.

В этом бою полегли три когорты Антония, однако сам он с уцелевшими воинами сумел спастись и взял курс на Иллирию. На сей раз его целью стала Буллида, еще один приморский город на Адриатическом побережье. Он шел к нему извилистым путем, держась предгорий, и вскоре добрался до первых городских застав, которые охраняли воины Брута. Антоний без

труда перебил их. Надежды снова вспыхнули в его сердце, но ненадолго. Его преследовали войско, возглавляемое Марком Туллием Цицероном — сыном консуляра, и легион Пизона, еще в ноябре перешедший на сторону республиканцев. Марк Туллий никогда не командовал войском, мало того, он вообще никогда раньше не принимал участия в войне, однако с отвагой, присущей молодости, бросился на опытных бойцов Антония и нанес им сокрушительное поражение. Остатки разбитых отрядов в беспорядке бежали к югу, в болотистые прибрежные равнины. С другой стороны на них надвигалась армия Брута. Взятые в клещи силы Гая Антония превратились в легкую добычу для победителей.

Пожалуй, слишком легкую... Брут всегда ненавидел, когда бьют слабых. Своим соратникам, горевшим нетерпением прикончить врага, он спокойно объяснил: «Зачем убивать людей, которые завтра встанут в строй рядом с нами?» И отдал приказ просто окружить противника.

Его расчет оправдался. Очень скоро к нему явились представители вражеского войска с предложением перейти на его сторону и выдать Гая Антония.

Брут принял это предложение. Понимая, какие чувства испытывают воины к своему неудачливому полководцу, он рассудил, что у него в плену тому грозит куда меньшая опасность, чем среди своих же солдат.

Разумеется, Гай Антоний приходился родным братом Марку Антонию. Но уничтожить его только за это? Брут назвал бы это подлостью и низостью. Кроме того, несмотря на все свои недостатки, Антонии всегда умели казаться хорошими людьми. И младший брат консула владел этим искусством в полной мере. Но главное, он принадлежал к тому же кругу, что и Марк, и к тому же поколению. В последние четыре месяца, с тех

пор, как Кассий отбыл на Восток, Марк общался исключительно с людьми, которые годились ему в сыновья, или с простыми воинами. Он истосковался по хорошей беседе хоть с кем-то, кто понимал бы его с полуслова, кто мыслил бы теми же понятиями, что и он. И потому не спешил расставаться с Гаем Антонием, который из пленника вскоре превратился чуть ли не в его приятеля. Ко всеобщему удивлению, он даже не счел нужным лишить вчерашнего врага знаков воинского отличия и привилегий. Благородный и наивный, Брут и здесь оставался самим собой.

А Гай Антоний — достойный брат Марка Антония — приветливо улыбаясь Марку, думал лишь о том, что легко обведет вокруг пальца этого простака.

Овладев Диррахием и Аполлонией, разгромив войско Гая Антония и перетянув на свою сторону его легионы, Брут сделался полновластным хозяином Македонии и зависимых от нее Греции и Иллирии. Если не юридически, то фактически он стал наместником этой провинции. Но, хотя он и не признавал законности решений, принятых сенатом под давлением Антония и Октавия, двусмысленность своего положения серьезно его угнетала. Он добился признания своих прав силой оружия и теперь ему требовалось, чтобы это признали сенат и римский народ. В конце января 43 года Брут написал письмо консулам Гаю Пансе и Авлу Гиртию, в котором сообщал, что взял в управление провинцию, назначенную ему Цезарем, и намерен вести дела в интересах республики и общего блага.

Мы помним, что еще летом Гиртий сыграл не слишком благовидную роль, служа посредником между Антонием и Цицероном. Именно по его просьбе последний расточал столь дурные советы Бруту. Однако за минувшие полгода ситуация существенно изменилась.

В декабре Марк Антоний, потерявший в городе последнюю поддержку, покинул Рим, переправился в Цизальпинскую Галлию и обложил осадой Мутину. Законный правитель Децим Юний Брут, разумеется, отказался освободить ему место. От былой популярности Антония не осталось и следа, и сенат горячо одобрил действия Децима Брута и выразил надежду, что он разобьет войска нового проконсула, по примеру Цезаря замыслившего очередной государственный переворот. Это означало фактическое объявление гражданской войны. Но в Риме боялись не только Антония. С каждым днем все более угрожающим становилось поведение юного Октавия. Чувствуя за собой поддержку приведенных с Востока легионов, приемный сын диктатора полагал, что теперь ему можно все. Так, он во всеуслышание потребовал для себя должности и звания консула на будущий год. Сенаторов это заявление шокировало. Они напомнили молодому честолюбцу, что существует *cursus honorum* — официальный путь прохождения карьеры, что нельзя занять высокий пост магистрата, не достигнув определенного возраста. Чтобы претендовать на консульский ранг, надо быть не моложе сорока трех лет, а Гаю Октавиану Юлию Цезарю не исполнилось еще и двадцати. Но решимость, с какой «мальчишка» рвался к власти, пугала. И самое печальное заключалось в том, что консулы и сенат не располагали собственными военными силами.

Вот почему письмо Брута, вслух зачитанное Гиртием, вызвало у отцов-сенаторов такую радость. В случае необходимости он уже через неделю сможет привести свои шесть легионов в Рим и защитить город. Республиканская оппозиция вздохнула с облегчением. Даже те из цезарианцев, кто минувшим летом настаивал на скорейшей высылке Брута из Рима, теперь ждали его как гаранта своей безопасности и законных

прав. Оставался сущий пустяк — проголосовать за признание Марка Юния Брута официальным наместником Македонии.

По традиции первыми на заседании брали слово старейшие сенаторы, бывшие консулы. На сей раз заседание открыл Квинт Фувий Кален, чьи преклонные годы сделали присущую ему осторожность более похожей на трусость.

— Письмо Брута, — провозгласил он, поднимаясь с кресла, — написано просто превосходно! Какой дивный почерк и что за прекрасный стиль!

Сенаторы замерли, пораженные. Неужели Квинт впал в старческое слабоумие? Вовсе нет. Просто лично ему Брут никогда не нравился, и теперь он намеренно тянул время, собираясь с мыслями, чтобы помешать тому получить полагающиеся почести.

— За красоту почерка, — с места выкрикнул Цицерон, — хвалить надо не Брута, а его писца!

Зато стиль письма Марк Туллий, взяв в свою очередь слово, оценил очень высоко. Но панегирик литературным талантам Брута понадобился ему лишь как вступление к импровизированной речи, которой впоследствии предстояло стать десятой «Филиппикой». Квинт Фувий полагает, что Брута ни в коем случае не следует назначать наместником провинции, мало того, необходимо отобрать у него все до единого легионы? Нет, он, Цицерон, с этим не согласен. Брут имеет на них все права, потому что он их заслужил! Разве не он вот уже во второй раз спасает Республику?

— Какие только гнусные клеветы не обрушивались на голову Брута! — продолжал консуляр. — Если бы Гай Антоний сумел осуществить то, что задумал, — а он осуществил бы это, если бы не доблесть Брута, — то мы уже потеряли бы и Македонию, и Иллирию, и Грецию! Бежавший из Рима Марк Антоний превратил бы Грецию в крепость, из которой готовил бы нападение на

Италию. Но теперь это невозможно — Греция подчиняется законной власти, власти Брута. Войска, которыми командует этот достойный восхищения гражданин, защищают не только безопасность Греции, они защищают ее честь! Греция протянула руку Италии и обещает ей свою помощь!

И Цицерон принялся доказывать, что в сложившихся обстоятельствах войска Брута представляют собой силы республиканцев, следовательно, отобрать у него легионы значит подвергнуть себя двойной опасности — со стороны мятежника Антония, укrywшегося в Цизальпинской Галлии, и со стороны Октавия, рвущегося к диктатуре, которую он считает семейной собственностью, доставшейся в наследство от приемного отца. Свое выступление оратор закончил воинственным призывом:

— Сюда, легионы! Сюда, вспомогательные отряды! Сюда, конница! Сюда, к нам, Брут, доблестный защитник Республики, навсегда связанный с нею кровью двух фамилий, имя которых он носит!

После такой зажигательной речи высоким магистратам осталось лишь одно — составить проект сенатус-консульта, объявляющего Брута законным наместником завоеванных провинций. Горестные вздохи Квинта Фувия Калена не помешали сенаторам быстро набросать текст постановления и так же быстро проголосовать за него. Вот что в нем говорилось:

«В сложившихся обстоятельствах, заслушав доклад консула Гая Пансы по поводу письма, полученного от проконсула Квинта Цепиона Брута^[125], выносим свое мнение. Признавая, что проконсул Квинт Цепион Брут, действуя решительно, быстро и храбро, в крайне трудное для Республики время сумел отстоять наши провинции Македонию, Иллирию и Грецию и сохранить под властью консулов, сената и римского народа

легионы, армию и конницу, постановляем, что проконсул Квинт Цепион Брут действовал во благо Республике, согласно собственному достоинству и достоинству своих предков, как и согласно обычаям своей фамилии, каковые состоят в доблестном служении Республике. За это сенат и римский народ выражают и будут выражать ему свою благодарность. Пусть же проконсул Квинт Цепион Брут охраняет, защищает и печется о целостности провинций Македонии, Иллирии и Греции, пусть он командует войсками, которые сам собрал и обучил, пусть использует на свои военные расходы столько из принадлежащих Республике средств, сколько сочтет необходимым. Ввиду военных расходов он правомочен осуществлять любые займы и проводить любые хлебные реквизиции; сам же с войском должен держаться в возможной близости от Италии».

Одновременно сенаторы одобрили действия предыдущего македонского наместника Гортензия, сумевшего правильно разобраться в подлинных интересах государства.

Не так часто в политике случаются столь кардинальные и столь стремительные повороты. Как-нибудь полгода назад Марк Брут фактически бежал из Италии, преследуемый Марком Антонием. Сегодня он стал воплощением единственной надежды мужей чести и взял под свое командование единственную армию, сохранившую верность сенату, тогда как Антоний, укрывшись в Галлии, старательно раздувал тлеющее пламя мятежа. Впрочем, разве не он еще прошлым летом предрекал, что всевластие консула недолговечно?

Как только восстановилось морское сообщение с Востоком, наконец дал о себе знать и Кассий, о котором никто ничего не слышал с самой осени. Вести, которые он прислал сенату, повергли высоких магистратов в

состояние, близкое к панике, и снова укрепили их в уверенности, что только тираноборцы способны защитить их от угрозы хаоса и насилия.

Кассию повезло меньше, чем Бруту. Ему не удалось помешать коллеге Антония по консулату Публию Корнелию Долабелле высадиться в Малой Азии. Договориться с Долабеллой о чем бы то ни было не представлялось ни малейшей возможности, и Кассию пришлось вступить с ним в сражение.

Прибыв в Смирну, Долабелла добился приема у проконсула Азии Гая Требония, одного из участников мартовского заговора. О том, что в точности между ними произошло, мы можем лишь догадываться — настолько туманны и противоречивы все повествующие об этом источники. Доподлинно известно одно: явившись к Требонию под личиной друга, Долабелла обманул доверие проконсула и убил его. Если верить ходившим тогда слухам, перед смертью он подверг Требония жестоким пыткам, желая выведать, куда девались средства, собранные в Азии в качестве податей, — те самые средства, что еще в конце октября Требоний переправил Бруту. После двух суток нечеловеческих мучений несчастный проконсул был казнен. В факте гибели Требония сомневаться не приходится, потому что Долабелла, обвинив убитого в отцеубийстве, приказал лишить его прах погребения и бросить в море, чему стали свидетелями все жители Смирны. Еще более жуткая деталь: отрубленной головой казненного телохранителя Долабеллы, не таясь, играли, словно мячом, прямо на городских улицах...

О жестокости и диком нраве Долабеллы в Риме знали давно. Кто, как не он, буквально потопил в крови мятеж популяров, вспыхнувший было сразу после похорон Цезаря! Но одно дело приколотить к крестам две-три сотни рабов и сбросить с Тарпейской скалы

десяток-другой плебеев, и совсем другое — пытаться и мучить, а затем казнить и оставить без погребения проконсула, носителя одной из самых громких патрицианских фамилий. Своими зверствами Долабелла совершил нечто такое, что в глазах сограждан навсегда лишило его права именоваться римлянином. В одиннадцатой «Филиппике» Цицерон назвал его и Антония «самыми ужасными и самыми дикими людьми, когда-либо маравшими облик мира». И все без исключения сенаторы присоединились к этому мнению, потому что каждый из них легко мог представить на месте Требония себя.

Даже Квинт Фувий Кален, полтора месяца назад пытавшийся помешать Бруту добиться одобрения сената, впал в ярость и громко требовал объявить Долабеллу врагом народа.

— Впрочем, — добавил он, — если кто-нибудь из вас предложит более суровое наказание, я с ним заранее полностью согласен.

На самом деле более грозной кары для гражданина Рима просто не существовало. Объявление врагом народа означало гражданскую смерть. Врага народа, как бродячую собаку, имел право убить любой.

И Цицерон, еще недавно питавший к бывшему супругу Туллии самые теплые чувства, а теперь не на шутку перепуганный, обрушивал на прежнего любимца громкие проклятия:

— Кто скажет мне, что Антоний и Долабелла — мужи? Нет, они — чудовища и варвары, повинные в неслыханной дикости. [...] Это монстр, захвативший легион, собравший вокруг себя беглых рабов и целую шайку гнусных подонков. Это безумец, не способный сдерживать свои инстинкты, это гладиатор, заранее обреченный гибели...

Но если кровавое чудовище попирает все человеческие и божественные законы, его, очевидно,

нужно остановить? Каким путем? Благодарение Юпитеру, Провидение посылает Риму избавителя в лице Кассия, который теперь как раз на Востоке...

Иными словами, настаивал Цицерон, Гаю Кассию Лонгину необходимо придать те же полномочия, что и его шурина Марку Юнию Бруту, и признать все его действия законными.

Разумеется, Кассий вынашивал собственные честолюбивые планы. И хотя, послушные совету Брута, Тертулла и Сервилия предавали гласности далеко не все новости, приходившие к ним с Востока, старательно дозируя информацию о военных победах Кассия, сенаторы искренне верили в его силу. И, в общем-то, не так уж и ошибались.

Прибыв в Сирию осенью 43 года, Кассий обнаружил армию в состоянии полной дезорганизации. Луций Статий Мурк и Квинт Марций Крисп крупно повздорили с Цецилием Бассом и занимались в основном сведением личных счетов. Первые, имея под своим командованием шесть легионов, осадили второго, располагавшего лишь двумя. За всем этим с изумлением наблюдали сирийцы, вифанийцы и парфянские шпионы, которым грела сердце надежда на то, что римляне в очередной раз перегрызут друг другу глотку.

Кассий прежде всего решительно призвал всех трех военачальников к здравомыслию и порядку. Он умел разговаривать и с простыми воинами, и с командирами. К тому же в Сирии его хорошо помнили как участника трагического поражения под Каррами и организатора обороны всей провинции. И потому вся армия единодушно признала в нем полководца. К началу зимы под началом Кассия собралось сразу восемь легионов.

Вскоре до него дошла весть о том, что Клеопатра вступила в сговор с Долабеллой. Он не удивился. Царица Египта, полагавшая, что вплотную приблизилась к бессмертной славе, с гибелью Цезаря

разом лишилась всех радужных надежд. Из Рима ей пришлось бежать в чужом платье, словно надоевшей хозяйину куртизанке. Этого она тираноборцам не простила бы никогда. Она всей душой ненавидела Брута, эту ходячую добродетель, а заодно и Кассия, вслух именовавшего ее «александрийской шлюхой». Чтобы расправиться с ними, она не пожалела бы ничего. В том числе четырех легионов, которые покойный возлюбленный оставил в Египте для защиты царицы и ее сына. И Клеопатра отдала своим легионам приказ двигаться в Малую Азию для воссоединения с войском Долабеллы.

Однако в своих расчетах египетская царица совершенно не учла патриотических настроений римских легионеров. Тем совершенно не понравилось, что ими командует женщина, да еще и чужеземка, да еще и царица. Добравшись до Иудеи, четыре легиона под командованием Ацилия встретились с Кассием, подоспевшим, чтобы преградить им путь на север. И вместо того чтобы вступить с ним в жестокую братоубийственную схватку, они просто перешли под его знамена.

Теперь Кассию подчинялись уже 12 легионов. Финансовых средств ему также хватало с избытком — он сумел прибрать к рукам подати из Пергама, а сделав краткую остановку в Иерусалиме, вынудил евреев передать ему храмовую сокровищницу.

Таким образом, всего на стороне Брута и Кассия выступали уже 18 легионов, причем Кассий намного «обошел» родственника.

Возможно, эта «диспропорция» немного сердила Сервилию. Еще бы, зятю его приобретения дались без особого труда, тогда как ее сын перенес минувшей зимой жестокие лишения и подвергся огромной опасности. Но, как бы там ни было, мать Брута больше ни секунды не сомневалась, что окончательная победа

за тираноборцами. Еще до наступления лета все трое — Брут, Кассий и Децим Брут — должны были триумфаторами вступить в Рим и здесь решить дальнейшую судьбу страны. Но Сервилия не только не радовалась, она испытывала жестокую тревогу. Слишком хорошо зная Марка, она опасалась, что все лавры победы достанутся не ему, а Кассию. Соперничества Децима Брута, отважного воина, но довольно ограниченного политика, она боялась гораздо меньше.

Если бы сенаторы отказались принять указ о предоставлении Кассию тех же полномочий и почестей, что уже получил Брут... И Сервилия развила активную деятельность. Она убедила консула Гая Пансу высказаться против сенатус-консульта в пользу Кассия. Одновременно она уговорила Цицерона сделать то же самое — якобы для того, чтобы не настраивать против себя Пансу. Ее игра стала ясна очень скоро, как только Панса признался, что действовал по указке Сервилии. Мать Брута попыталась внушить сенаторам, что выполняла просьбу своего сына. Однако Цицерон принес в сенат последние письма Брута, в котором ни о чем подобном не говорилось.

В конце марта 42 года сенат и римский народ все же провозгласили Кассия законным наместником Сирии и признали за ним те же полномочия, что тремя месяцами раньше предоставили Бруту.

Юридически тираноборцы победили. Теперь оставалось обратить эту победу в реальную действительность. Это означало три важные вещи: физическое устранение Антония в Цизальпинской Галлии и Долабеллы на Востоке, а также скорейшее возвращение Брута в Италию. И тут начались непредвиденные сложности.

На самом деле, победные реляции, которые слал Бруту Цицерон, далеко не отражали реального

состояния дел. Не все шло так гладко, как хотелось бы. Кроме того, Брут, хотя он ни с кем не делился мрачными мыслями, пребывал в постоянной тревоге за Порцию, здоровье которой заметно ухудшилось.

В своих редких письмах Марку Порция, не желая его расстраивать, никогда не жаловалась на недомогание, но ведь ему писали также Сервилия и Тертулла. В отличие от жены мать и сестра не скрывали от него жестокой правды и исподволь готовили его к надвигающемуся несчастью. Что за болезнь мучила Порцию? Если наше предположение о ее беременности верно, не исключено, что она потеряла ребенка из-за преждевременных родов. Эта гипотеза объясняет и ее физическую слабость, и, что гораздо важнее, упадок духа, который уносил ее силы гораздо быстрее, чем любая болезнь. О том, что Порция переживала моральные страдания, говорит тот факт, что ее близкие всерьез опасались попытки самоубийства.

Порция значила для Марка невероятно много. С того самого дня, когда он принял решение примкнуть к армии Помпея под Диррахием, им двигали не только долг и честь, но и любовь к Порции. Да, он испытывал бесконечную преданность своему делу, но оно во многом представало перед ним в облике дочери Катона.

Кроме тревоги за Порцию, его одолевали и другие заботы. Из письма Кассия он узнал об ужасной гибели Гая Требония. Он любил и уважал этого человека, хотя не всегда понимал скрытые мотивы его поступков. Особенно дорожил он воспоминанием о том дне, когда Требоний, единственный из всех заговорщиков, присоединился к Бруту в его требовании оставить в живых Марка Антония. Да, их доброта обернулась серьезными бедами, но ни разу Марк не раскаялся в том, что совершил благое дело. Пусть Антоний и Долабелла изощряются в подлостях и звериной жестокости, никто не запретит ему, Бруту, хранить в

душе человечность и быть свободным от мелкой мстительной злобы.

Этой позиции не понимал и Цицерон, никогда не отличавшийся великодушным отношением к поверженному противнику. Он считал необходимым сурово покарать Гая Антония. Пусть расплачивается за своего брата Марка, осадившего Мутину, за своего союзника Долабеллу, наводнившего Восток шайками головорезов. И разве не о мщении взывает дух несчастного Требония?

Марк не желал прислушиваться к доводам подобного рода. В апреле ему доставили письмо от Цицерона. Читая это послание, он чувствовал, что его физически мутит:

«Полагаю, твое семейство, для которого ты так же дорог, как для меня, уже сообщило тебе о том, что 13 апреля в сенате зачитывали письма, подписанные тобой и Гаем Антонием. Ни к чему рассказывать об одном и том же, однако я счел необходимым написать тебе, чтобы поделиться своими мыслями об этой войне. В том, что касается государственных дел, мы с тобой, мой милый Брут, всегда придерживались единого мнения. Однако в некоторых случаях — заметь, я не говорю «всегда» — мои решения отличались от твоих, быть может, несколько большей твердостью. Ты знаешь, что я всегда стремился к освобождению Республики не от тирана, а от тирании. Ты склонен к большей мягкости — и за то тебе вечная хвала! Но в те дни все мы с мучительной болью понимали, как следовало поступать, как понимаем и сейчас, что над нами нависла большая опасность. В ту пору ты думал лишь об общественном спокойствии и повторял, что оно не может зависеть от речей. Я же думал только о свободе, а свобода без мира — пустой звук. В то же время я считал, что мир целиком зависит от войны и силы оружия. И множество наших сторонников, притом самых ревностных, требовали,

чтобы мы их вооружили. Но мы старались обуздать их порыв, пригасить их пыл. Вот почему дело в конце концов дошло до того, что не вдохнови божественная сила молодого Цезаря Октавия, все мы оказались бы во власти самого продажного и самого гнусного из негодяев — я говорю о Марке Антонии. И сегодня ты можешь видеть, какими несчастьями он нам грозит. И ни одно из них не довлело бы над нами, если бы тогда вы не пощадили его. Впрочем, оставим это... То, что ты совершил, столь незабываемо, столь божественно или почти божественно, что достойно не упреков, а величайшей хвалы.

С недавних пор ты кажешься более суровым. За короткое время ты собрал целую армию, войска и легионы. О бессмертные боги! С какой радостью встретил сенат твоего гонца с письмом! С каким облегчением вздохнул весь Город! Никогда еще не приходилось мне видеть такого единодушного восторга. Правда, оставались кое-какие сомнения относительно Гая Антония и жалких осколков, в которые превратилось его войско после того, как ты забрал себе большую часть его конницы и легионов, но их удалось наилучшим образом рассеять. Письмо, зачитанное в сенате, свидетельствует и об осторожности императора, и о храбрости твоих воинов, и об их умении сражаться. Все это относится и к моему любимому сыну, который воевал вместе с вами [...]. Но вот утром Апрельских ид является твой славный Пил, как всегда, скорый в передвижениях. О боги, что за человек! Какая серьезность, какая верность и как искренне он предан благому делу Республики! Он привез два письма. Одно от тебя, второе от Гая Антония. Он вручил их плебейскому трибуну Сервилию, который передал их Корнуту. И вот он начал читать письмо Гая Антония, в котором тот именовал себя проконсулом. Это вызвало такое же изумление, как

если бы Долабелла осмелился присвоить себе титул императора! Он ведь тоже прислал к нам гонца, но вот только никто не решился последовать примеру Пила и предать его послание гласности или вручить кому-либо из магистратов. Затем нам зачитали твое письмо. Конечно, оно слишком коротко, но в то же время чрезмерно снисходительно к Гаю Антонию. Сенаторов оно неприятно поразило. Что до меня, то я не знал, что и думать. Предположить, что нам подсунули фальшивку? А если ты потом подтвердишь подлинность письма? Значит, признать, что письмо действительно написано тобой? Но это ущемило бы твое достоинство. Вот почему я тогда промолчал. На следующий день, когда все кругом только и твердили, что об этой истории и нападали на Пила, я открыл дебаты. Я очень долго говорил о проконсуле Гае Антонии. Секстий поддерживает нас. Потом, когда мы с ним остались одни, он сказал мне, что мой сын, как и его, окажутся в чрезвычайно неприятном положении, если допустить, что они с оружием в руках поднялись против проконсула. Ты этого человека знаешь, он верный друг. Затем выступали и другие. Но наш великолепный Лабен заметил, что на письме нет твоей личной печати, что на нем не стоит дата, что ты не предупредил о нем никого из своих корреспондентов. Одним словом, слишком много в этом письме необычного. Он, конечно, хотел доказать, что письмо — фальшивка. И если ты спросишь меня, какой эффект произвели его слова, я отвечу тебе, что многие ему поверили.

Брут! Постарайся теперь хорошенько поразмыслить над природой этой войны. Я прекрасно понимаю, что ты превыше всего ставишь мягкость и из мягкости надеешься извлечь наибольшую пользу. Эта позиция достойна уважения, но сегодня ты должен оставить свое милосердие, более подходящее другим временам и

другим местам. С кем мы имеем дело, Брут? С авантюристами, с отчаянными людьми, которые доходят до того, что грозят храмам бессмертных богов! И ставка в этой войне — наша жизнь или смерть. Кто те, кого мы собираемся пощадить? И ради чего мы должны их пощадить? Стоит ли защищать людей, которые, добейся они победы, уничтожат нас всех до одного? Неужели ты видишь хоть какую-нибудь разницу между Долабеллой и троицей Антониев?^[126] Если мы пощадим хотя бы одного из Антониев, это будет означать, что мы слишком жестоко поступили с Долабеллой. Вот какого мнения придерживаются сенат и римский народ. Я, со своей стороны, использовал все свое влияние, чтобы это мнение оформилось именно в таком виде. Если ты со мной не согласен, я готов тебя защищать, но своего мнения не изменю.

Люди не ждут от тебя ни слабости, ни жестокости. Но идти средним путем легко. Будь жестким с командирами и прощай воинам»^[127].

Марк не раз и не два брезгливо морщился, читая это послание. Фокусы, которые сторонники его собственной партии проделывали перед сенаторами, ему совершенно не нравились. Тем более отвратительным казался ему урок, преподанный Цицероном. Наконец, его больно задела похвалы, расточаемые старым консуляром молодому Октавию. Как знать, не совершит ли знаменитый оратор очередной поворот, на сей раз обернувшись лицом к честолюбивому внуку Цезаря?

15 мая он отправил Цицерону ответ:

«Ты пишешь, что дело трех Антониев — это одно и то же дело и что я должен определиться в своем к ним отношении. Что касается определенности, то я могу сказать одно: право судить граждан, не сложивших голову в бою, принадлежит только сенату и римскому народу. Я ошибаюсь, возражишь ты мне, именуя

гражданами тех, кто поднял мятеж против Республики? Напротив, я целиком и полностью прав. До тех пор пока сенат и народ не вынесли своего суждения, разве смею я выступать судьей и доверяться собственным представлениям? И я не изменю своей точки зрения и в отношении Гая Антония. Ничто не принуждало меня его убивать, и я обращался с ним вовсе не как слабый с сильным, но избегая жестокости. Пока длилась война, я держал его подле себя. Не думаю, что нам, озабоченным защитой республиканских принципов, пристало добивать побежденных. Это ничем не лучше, чем осыпать безмерными почестями всемогущих властителей, подогревая в них тщеславие и гордыню.

Ты мой самый дорогой друг, Цицерон, я считаю тебя лучшим и отважнейшим из людей, и мое уважение к тебе зиждется не только на твоих личных качествах, но и на том, что ты сделал для Республики, но в этом вопросе, мне кажется, ты тешишь себя напрасными надеждами. Стоит кому-нибудь совершить хороший поступок, ты сейчас же готов позволить ему все и во всем с ним согласиться. Но когда все позволено, дух человеческий слабеет, а попустительство окружающих толкают его ко злу. Доброта твоя столь велика, что ты, надеюсь, правильно поймешь мое предупреждение, тем более что я адресую его тебе в заботе о всеобщем спасении. Впрочем, в любом случае ты поступишь так, как считаешь нужным, как, в свою очередь, и я. Пойми, дорогой Цицерон, наступает время, когда нам нельзя слишком рано радоваться поражению Антония. Не должно больше быть места упрекам в том, что, борясь с самым очевидным злом, мы прибегаем к средствам, порождающим зло еще большее. Отныне в любом несчастье, произойдет ли оно в результате нашего выбора или случайно, будет наша вина, и первым виновником будешь ты, потому что в твоих руках сосредоточена вся полнота власти, какой только может

обладать гражданин свободного государства, и это — с одобрения сената и римского народа. Сенат и римский народ не просто терпят тебя у власти, они желают, чтобы ты этой властью распоряжался. И ты должен защищать эту власть, не колеблясь и не совершая неосмотрительных шагов. Да, в осмотрительности редко кто может сравниться с тобой, исключая разве что распределение почетных обязанностей... Что касается прочих добродетелей, ты обладаешь ими всеми, и в такой полной мере, что с успехом выдерживаешь сравнение с древними. Единственное, что можно было бы добавить к твоему благородному и свободолюбивому нраву — чуть больше умеренности, чуть больше осторожности. Разве может позволить себе сенатор совершать нечто такое, из чего дурные люди способны извлечь пример?

Вот почему я боюсь, как бы любезный твоему сердцу Цезарь во всей этой истории с консульством^[128] не решил, что он вознесся благодаря твоим декретам. Если Антоний рвался царствовать потому, что успел подхватить инструмент власти, выпавший из руки другого, то, спрашивается, как поведет себя человек, получивший могущество не из рук покойного тирана, а прямо от сената? На что он будет готов? Я был бы счастлив восславить твою проницательность, если бы кому-нибудь удалось убедить меня, что Цезарь удовлетворится теми высокими почестями, которых он уже удостоился. Возможно, ты скажешь мне, что я упрекаю тебя в чужих ошибках? Действительно, я считаю, что на тебе лежит ответственность за них — в той мере, в какой ты мог предупредить их! Если бы только ты мог понять, какая тревога грызет мое сердце из-за этого Октавия...»^[129]

Должно быть, Брут действительно серьезно тревожился и гневался, если он решился с такой

откровенностью высказать свои мысли Цицерону. Тщеславный сверх всякой меры, Марк Туллий с удовольствием читал совсем другие письма, переполненные льстивыми похвалами, более похожими на дифирамбы. Обвиняя Цицерона, Брут намекал ему на беззаконие, допущенное в годы его консульства и преследования Каталины. Именно Цицерон настоял на казни без суда сподвижников Каталины, в том числе отчима Антония Лентула. Не оттуда ли пошла его неистребимая ненависть к фамилии Антониев? И позже Цицерон не раз сгибался перед людьми, облеченными властью, будь то Помпей или Цезарь. И вот теперь он примеривается точно так же склониться перед слишком зубастым для его лет юнцом... Брут не ошибался в своих прогнозах. Он очень хорошо видел, что сыновняя почтительность Октавия — не более чем завеса, прикрывающая его чудовищные амбиции. Компромисс между мартовскими заговорщиками и наследником жертвы заговора? Брут понимал: это невозможно. Разумеется, он не вынашивал планов физического устранения молодого честолюбца, но в то же время отдавал себе отчет: если Октавий начнет принимать хотя бы скромное участие в государственной политике, положение республиканцев окажется под серьезной угрозой. И его милосердие к Гаю Антонию на этом фоне казалось таким пустяком...

Год, начавшийся под добрым знаком, постепенно приобретал тревожные черты. Деньги несчастного Требония, равно как и прочие средства, полученные от конфискации податей, растаяли как снег под солнечными лучами. Войска, набранного Брутом, хватало, чтобы держать в подчинении провинции, но пускаться с такими силами в поход на Италию, чтобы встретиться лицом к лицу с легионами Октавия и Антония, нечего было и думать.

К финансовым трудностям добавились неприятности, связанные с Гаем Антонием. Цицерон, строго отчитывая Брута, в одном был прав: всех Антониев отличала черная неблагодарность, все они обладали прямо-таки сверхъестественным даром отравлять жизнь своим благодетелям.

Как только закончились военные действия, Гай Антоний, оказавшийся под покровительством Брута, обрел почти неограниченную свободу действий. И поспешил ею воспользоваться, чтобы начать в войсках подрывную работу.

Но воины относились к Марку Бруту с искренней любовью, и вскоре они доложили ему о попытках Гая поднять их на мятеж. Закон, которому подчинялась римская армия, в этом случае диктовал самую суровую кару: зачинщика мятежа ждала немедленная смертная казнь. Вспомним Марка Антония, который минувшей осенью безо всяких колебаний приказал казнить три сотни командиров, только заподозренных в тайном сговоре с Октавием. Он лично присутствовал при казни и привел с собой жену. К тому времени, когда голова последнего из приговоренных слетела с плеч, белые одежды Фульвии стали красными от чужой крови...

Бруту расправы, подобные этой, внушали ужас. Это Долабелла мог потирать руки от удовольствия, глядя на сотни распятых на крестах или на протяжении двух суток пытая бывшего друга; это Антоний мог с довольной улыбкой наблюдать, как рубили головы его вчерашним подчиненным. Даже Цицерон, кичившийся своим человеколюбием, мог отправить на смерть своего ближнего. Но не Марк Брут.

Между тем закрыть глаза на предательство Гая Антония значило подогреть зреющий мятеж и лишиться уважения собственных воинов. Перед Марком стоял трудный выбор.

И он разыграл перед войском целый спектакль. Приказав арестовать Антония, он под надежной охраной посадил его на корабль, официально объявив, что мятежник будет утоплен в открытом море. На самом деле капитан корабля получил инструкцию переправить Антония к бывшему наместнику Македонии Квинту Гортензию, в доме которого тот стал бы жить под домашним арестом.

Антоний, который ничего заранее не знал, повел себя как последний трус. Он рыдал и молил о пощаде. Следует отдать должное Цицерону, который в письме от 15 мая весьма проникательно оценил ситуацию: «Гай по-прежнему под моим присмотром. Клянусь тебе, что своими причитаниями он внушает мне жалость. Боюсь, что в конце концов он сумеет найти безумцев, которые окажут ему помощь. Вот она, моя непрестанная головная боль...»³³

Новости с театра военных действий, как в Италии, так и на Востоке, тоже не слишком радовали.

Марк Антоний вот уже три месяца держал осаду Мутины, которую стойко оборонял Децим Брут. Наконец консулы приняли решение лично возглавить войско и двинуться на помощь осажденным, надеясь зажать Антония в тиски. Однако военная удача чаще улыбалась не им, а Антонию, который в очередной раз доказал, что не зря считался одним из лучших военачальников, прошедших школу Цезаря. Что касается разгрома Долабеллы, который поначалу казался делом нескольких дней, то здесь военная кампания неожиданно приняла затяжной характер. Публий Корнелий захватил Лаодикею — важный морской порт, через который его снабжал продовольствием флот Клеопатры. Египетская царица знала Долабеллу еще по Риму, и не исключено, что красота и молодость этого

негодяя внушили ей определенные мечты — раз уж судьба отобрала у нее Цезаря...

Кассий попытался окружить Лаодикею блокадой, но она оказалась малоэффективной, поскольку легкие египетские триремы передвигались гораздо быстрее, чем римские галеры. Впрочем, его расчет строился на том, что жители Лаодикеи не смогут долго выдерживать осаду — вряд ли мощи всего египетского флота достанет, чтобы снабжать провиантом целый город. Армии Кассия, состоявшей из десяти легионов и двадцати когорт вспомогательных войск, приходилось держать под контролем огромную территорию, доходившую до парфянской границы. Его конница, насчитывавшая четыре тысячи всадников, стояла в соседнем с Лаодикеей Палтосе, но не настолько близко, чтобы помешать Долабелле время от времени совершать опустошительные рейды по киликийским владениям.

Брута удивляло, почему Кассий, располагавший значительными силами, не решается на штурм Лаодикеи. Понемногу его начали терзать подозрения. Неужели Кассий вынашивает какие-то скрытые планы? Римляне вообще имели дурную склонность рассматривать Восток как источник неисчерпаемых богатств. И Марк, зная Кассия как человека, в числе добродетелей которого бескорыстие никак не значилось, все чаще задавался вопросом, не тянет ли тот время намеренно, используя свои легионы для обогащения.

В любом случае тактика Кассия, направленная на медленное изматывание противника, слишком надолго задерживала его на Востоке, тогда как он в любую минуту мог срочно потребоваться здесь, в Европе.

Тем временем события в Цизальпинской Галлии приняли неожиданный оборот. Под угрозой попасть в клещи между Децимом Брутом и консульскими

легионами Марк Антоний решил снять осаду Мутины. И тут ему повезло. В первом же бою был смертельно ранен консул Гай Панса, а уже на следующий день сложил голову его коллега Гиртий, возглавлявший отряд, штурмовавший лагерь Антония. Гибель обоих консулов сразу — трагедия, подобной которой римляне не знали со времен Пунических войн, — заметно подорвала моральный дух победителей. Войско Децима Брута, изможденное длительной осадой, не успело организовать преследование Антония, и тому удалось бежать. Ему мог бы преградить дорогу Октавий, но он даже не сделал такой попытки и предпочел явиться к ложу умирающего Пансы. Настал день 24 апреля. Республиканцы потеряли двое суток, за которые Антоний благополучно укрылся в Альпах.

Конечно, дело происходило не зимой, а весной, тем не менее отрядам Антония пришлось нелегко. Без запасов продовольствия, по тающему снегу, они все-таки сумели преодолеть горные перевалы и пробились в Провинцию (ныне Прованс). Отныне единственным, кто мог бы добить Антония, стал Марк Эмилий Лепид, легионы которого стояли в Юлиевом Форуме (ныне Фрежюс). Но... каждый знал, что Антония и Лепида связывали давние дружеские отношения. Если эта парочка сговорится между собой и решится двинуться на Рим, встретить их будет некому, кроме юного Октавия. Ситуация, таким образом, выглядела более чем тревожной.

Брут не ошибался, предостерегая Цицерона против наследника Цезаря. Он знал, что молодой честолюбец при первой возможности свернет шею ему, освободителю Республики. Еще более подозрительным выглядело поведение Октавия под Мутиной. Почему он отказался преследовать Антония? Действительно, еще полгода назад смертельно с ним враждовавший, теперь Октавий прикидывал возможности тактического союза с

бывшим консулом. При всех своих недостатках Марк Антоний отличался поистине львиной отвагой и, несомненно, обладал полководческим даром. Что касается Октавия, то даже краткий опыт участия в военных кампаниях Юлия Цезаря открыл ему печальную истину: он был редкий трус и совершенно не владел искусством стратегии. Тщательно скрывая это от окружающих, он понимал, что без Марка Антония ему не обойтись^[130]. Все это Октавию объяснил умирающий Панса, дав напоследок отеческий совет помириться с Антонием и совместными усилиями довести до конца начатое Цезарем дело^[131].

Брут, даже находясь вдали от Рима, правильно оценивал возникшую опасность. В эти дни решалась судьба Республики, но он ничего не мог предпринять, располагая слишком слабыми силами. А Кассий продолжал свою игру в кошки-мышки с Долабеллой...

Если бы ему хотя бы прислали подкрепления или деньги! Брут написал Цицерону, через которого всегда обращался в сенат, с требованием того и другого и вскоре получил ответ, поразивший его своей сухостью:

«Ты испытываешь нужду в двух необходимых вещах: подкреплениях и деньгах. Мне трудно дать тебе разумный совет. В том, что касается денег, я не вижу иного способа, кроме того, которым ты можешь воспользоваться, опираясь на сенатус-консульт: проведи насильную реквизицию в городах! Что до подкреплений, то тут я просто не знаю, что тебе посоветовать»³⁴.

Гай Панса накануне отбытия в Мутину, где он нашел свою смерть, запретил высылать Бруту подкрепления под тем предлогом, что Рим в опасности и ему потребуются все силы для собственной защиты. На самом деле убежденный цезарианец Панса так и не смог смириться с возвышением убийц диктатора,

отныне прославляемых как спасители отечества. Облегчить им жизнь отнюдь не входило в его планы. Цицерон, которого раззадоривали любые проявления взаимной вражды, не преминул по этому поводу отметить: «Панса досадует, видя, как растет число добровольцев, желающих направиться к тебе. Возможно, твоя слабость греет ему душу»³⁵.

Смерть Пансы ничего не изменила в этом раскладе. И Брут понял, что надеяться ему надо исключительно на себя. Из городов провинции он получал только те средства, которые ему предоставлялись добровольно. Грабить жителей, потрясая оружием, — это было не в его правилах. Он старался действовать не угрозами, а убеждением. Вот, скажем, какое послание он направил жителям Пергама: «Я слышал, будто вы ссудили деньгами Долабеллу. Если вы сделали это по доброй воле, признайте, что поступили несправедливо по отношению ко мне. Если же вас к этому принудили, докажите это и добровольно окажите помощь мне».

Плутарх, который испытывал к Бруту самые теплые чувства, увидел в этой записке лишь образец лаконизма. Но жители Пергама не спешили оценить красоту аттического стиля. Бруту понадобилось по меньшей мере пять писем, чтобы уговорить их предоставить достаточно скромный заем.

А Долабелла тем временем высадился с частью своего войска в Херсонесе^[132].

Брут, намеревавшийся летом переправиться в Италию, не мог оставить его у себя за спиной. Получив контроль над проливом Геллеспонт, Публий Корнелий наверняка попытался бы перевербовать легионы Брута и перекрыть Кассию путь в Европу. «Я не намерен дольше терпеть, что этот негодяй оскорбляет могущество Рима», — повторял Брут. Но покончить с «негодяем» ему мешала жестокая нехватка людей и

средств. Правда, Долабелла об этом не догадывался, а потому не решился переправиться на европейский берег, закрепившись на азиатском. У Брута появилась надежда, что здесь до него доберется Кассий.

Он торопился вернуться в Италию, понимая, что Республика снова под угрозой. Действительно, Кассию удалось нанести отрядам Долабеллы несколько поражений и заставить того снова укрыться в Лаодикее. Казалось, теперь ему следовало лишь воссоединиться с силами Марка Юния и совместно двинуться к Риму. В том, что события будут развиваться именно в этом направлении, не сомневался никто. Отцы юношей, служивших под началом Брута, уже предвкушали торжественную встречу героев и приискивали им хорошие места в жреческих коллегиях. Все последние недели они буквально засыпали Марка письмами с просьбой о рекомендациях.

Тот оставлял их без ответа. Слишком хорошо он помнил, как накануне битвы под Фарсалом некоторые глупцы оспаривали друг у друга должность верховного понтифика, занимаемую тогда Цезарем. Война еще не окончена, твердил он себе, а Фортуна — самая капризная и непостоянная в сонме божеств...

Правда, одну кандидатуру он все-таки поддержал. Речь шла о вакансии в жреческой коллегии, освободившейся после смерти Пансы. И претендовал на это место не кто иной, как его пасынок Луций Бибул. Марк не смел отказать тяжелобольной Порции, озабоченной судьбой единственного сына.

Он также выступил в защиту Гликона — врача-грека, сопровождавшего в походе покойного Пансу. С фамилией Юниев Брутов его связывали клиентские отношения. Лекарь с безупречной репутацией, тот после кончины своего пациента переживал трудные времена. У него нашлись недоброжелатели, которые стали распускать бредовые слухи, что раненого консула

прикончил... его собственный врач, якобы наложивший ему отравленную повязку. Несмотря на очевидную глупость этих измышлений — Панса получил смертельную рану дротиком, и удивляться следовало не тому, что он умер, а тому, что с такой раной он прожил еще несколько суток, — в Риме, вообще падком на сплетни, их горячо обсуждали. Брут, на глазах которого от боевых ранений погибло немало воинов и командиров, разумеется, не поверил в виновность Гликона. В письме к Цицерону он требовал освобождения лекаря:

«Я настоятельно рекомендую тебе Гликона, врача Пансы; ты знаешь, что он женат на сестре нашего дорогого Ахиллеса^[133]. Я слышал, что Торкват подозревает его в смерти Пансы и заключил под стражу по обвинению в отцеубийстве. Все это звучит совершенно неправдоподобно! Зачем было Гликону убивать Пансу, если именно он больше всех и пострадал от его кончины? К тому же я знаю его как честного и скромного человека. Я вообще не верю, что он способен на преступление, даже если б оно принесло ему выгоду. И я прошу тебя, а Ахиллес, который, как ты догадываешься, озабочен этим делом еще больше моего, присоединяется к моей просьбе, так вот, я очень прошу тебя добиться освобождения Гликона и позаботиться о нем. Это сейчас волнует меня больше всего остального»^[134].

После этой истории с врачом-греком Бруту не часто приходилось обращаться за услугами к Цицерону. Начиная с предыдущего лета Марк Туллий, оставаясь глухим к предупреждениям Брута, демонстрировал все более явные симпатии к Гаю Октавию. Поначалу Марк подозревал, что старый консуляр ищет у молодого наследника-диктатора защиты против Марка Антония, с которым автора «Филиппик» связывала давняя вражда.

Однако в последние недели Цицерон, похоже, сменил тактику, что всерьез встревожило Брута.

Юный Цезарь рвался в консулы, впрочем, не делая из этого тайны и, очевидно, считая высшую государственную магистратуру частью своего наследства. Его первая попытка провалилась, но после гибели обоих действующих консулов — Гиртия и Пансы — он возобновил наступление.

Цицерон в этой ситуации вел себя неоднозначно. То, что оставалось в его душе от бывшего консула, надеялось на победу тираноборцев и жаждало восстановления республики. Но вместе с тем он все чаще склонялся к мысли, что республиканский строй пережил себя, что империи нужен хозяин, а Брут с его уважением к закону в борьбе с более хитрыми и изворотливыми соперниками не имеет никаких шансов. Если уж государство обречено пасть жертвой тирании, рассуждал Цицерон, пусть лучше тираном станет Октавий, а не Антоний. Вот почему в своих письмах он превозносил молодого честолюбца до небес. Брут догадывался, что отчасти Цицерон сам попал в ловушку собственного воображения. Выдумав себе образ Гая Октавиана Юлия Цезаря, он перестал понимать, что реальный Октавий не имеет с этим идеализированным представлением ничего общего. Он не жалел усилий, чтобы предостеречь Марка Туллия от опасного, если не самоубийственного, заблуждения, но не слишком в этом преуспел.

Он попытался прибегнуть к помощи Тита Помпония Аттика: этот человек, которому в равной мере доверяли и Цицерон, и Брут, нередко мирил их, исполняя роль посредника. По все более раздраженному тону писем обоим своим корреспондентам Атик понял, что отношения между ними обострились, и советовал Бруту пощадить самолюбие Цицерона.

Марк не нуждался в подобных советах. О каком самолюбии могла идти речь, если Цицерон, находясь в Риме, сознательно или неосознанно вредил делу партии, к которой принадлежал? В пространном письме к Аттику Брут не только подверг суровой критике поведение Цицерона, но и изложил собственные намерения. Это письмо можно в какой-то мере считать его символом веры.

«Ты пишешь, — говорилось в нем, — что Цицерона удивляет мое молчание по поводу предпринимаемых им шагов. Что ж, ты вынуждаешь меня к откровенности. Мне, конечно, известно, что Цицерон в своих поступках руководствуется лучшими намерениями. Разве посмею я усомниться в его приверженности Республике? Но, как бы это выразиться... Мне кажется, что он, осторожный сверх всякой меры, повел себя не слишком умно... Он позволил тщеславию взять над собой верх, хотя из любви к Республике не побоялся обзавестись таким опасным врагом, как Антоний. Право, не знаю, что и думать. Вместо того чтобы сдерживать честолюбие и стремление к вседозволенности «мальчишки», он их только подогревает. Он настолько снисходителен к этому юнцу, что для нас это выглядит оскорбительным [...].

Да, мы не хвалимся тем, что совершили в Мартовские иды — в отличие от Цицерона, без конца вспоминающего свои пресловутые Декабрьские ноны^[135], но разве это дает ему право хулить достойное дело?³⁶ Ведь сам он не позволил Бестию и Клодию непочтительно отозваться о его консульстве! Наш высокочтимый Цицерон хвастает тем, что поддержал войну против Антония, не снимая тоги^[136]. Но какой в этом прок, если тот, кто победил Антония, заявляет о своем намерении занять его место? Стоит нам это стерпеть, этот победитель обратится в еще большее и

еще глубже укорененное зло. Все то, что предпринял Цицерон, он предпринял не потому, что не желал над собой властителя, а потому, что не желал, чтобы этим властителем стал Антоний. Что до меня, то я не могу испытывать признательности к человеку, которого пугает не столько само рабство, сколько дурной нрав господина. Как и к человеку, который этого господина превозносит и своими указами добивается для него всяческих выгод. [...] Разве такое поведение достойно консуляра? Разве оно достойно Цицерона?

Раз уж ты не велишь мне и дальше отмалчиваться, приготовься услышать вещи крайне тебе неприятные. Мне и самому больно об этом писать. Мне известно, как ты относишься к Республике. [...]

Во имя Геркулеса, Аттик, на тебя я не сержусь. Твой возраст, твой характер, забота о детях — все это не дает тебе принять участие в решительных действиях. Обо всем этом я знаю из рассказов друга Флавия.

Но вернусь к Цицерону. [...] Ты говоришь, он опасается последствий гражданской войны. Но чего же следует опасаться? Победенного врага? Или всемогущества юнца, который, командуя победоносной армией, впадает в безрассудство? А может, его почтительность вызвана тем, что он заранее уверился в его всемогуществе? О глупость, порожденная страхом! Ведь те беды, которых мы страшимся и от которых ищем защиты, как знать, быть может, их можно было бы избежать, если бы не наша предосторожность, притягивающая их, словно нарочно! Мы слишком боимся смерти, и изгнания, и бедности! Послушать Цицерона, так это все страшные бедствия! Для него главное — добиться желаемого, быть окруженным уважением и льстивыми хвалами, а почетное рабство его не ужасает! Если только можно называть почетной самую гнусную и отвратительную мерзость!

Лучший из людей, к чему он стремится, что делает, какую цель преследует? Он ищет согласия с Октавием... Что до меня, то я больше ни в грош не ставлю искусство, в котором, я знаю, блещет Цицерон. К чему было писать все эти бесчисленные трактаты о свободе и родине, о человеческом достоинстве, о смерти, изгнании и бедности? [...] Довольно слушать, как он превозносит сам себя, оскорбляя нашу скорбь. Что нам толку от поражения Антония, если его место сейчас же занял другой? [...] Пусть же Геркулес пошлет Цицерону долгие дни, раз уж тот согласен жить на карачках, обратившись в покорного раба! Если он может жить, забыв про совесть, презрев свой возраст, свое славное прошлое и свои былые свершения, — пусть живет! Но я зрю в корень зла и объявляю ему войну. Я объявляю войну тирании, стремлению помыкать людьми, всякой власти, претендующей на то, чтобы встать выше наших законов! И я не отступлюсь от своего, какое бы сладкое рабство мне ни предлагали! Даже если, как ты утверждаешь, Антоний — хороший человек, с чем лично я не согласен. Наши предки не терпели никакого рабства, в том числе и отцовского.

Если б я не любил тебя так, как Цицерон, судя по всему, любит Октавия, я не стал бы писать тебе все это. Мысль о том, что я огорчу тебя, причиняет мне страдания, ведь я знаю твою преданность друзьям, особенно Цицерону... Знай же, что и я по-прежнему тепло отношусь к нему, даже если мне пришлось изменить свое мнение о нем. Но я вынужден судить по тому, что вижу... [...] Меня не удивляет твое беспокойство о здоровье моей несчастной Порции...»^[137]

Аттик поостерегся показывать Цицерону это исполненное гнева и боли письмо, в котором Брут с излишней пронизательностью вскрыл сомнительную

игру, проводимую старым политиком. Он предпочел думать, что дурное настроение друга вызвано причиной, о которой вскользь упоминалось в последних строках послания. Дальнейшие события лишили Аттика возможности упрекать его за это.

В июне 43 года Порция умерла. Судьба добрых полгода готовила Марка к этому несчастью, но боль его от этого не стала меньше. Если в политике он всегда хранил верность одной идее, то и в личной жизни оставался однолюбом. Смерть Порции стала для него страшным ударом^[138]. Но отдаться своему горю он не мог. Многие сочувствовали ему в утрате любимой супруги, но никто из друзей не понял бы его, если он позволил бы скорби сломить себя. Да и Порция первая никогда бы ему этого не простила.

Мы не знаем, сколько горьких слез пролил Марк наедине с собой, укрывшись от всех в палатке. На людях он вел себя так, что никто из окружающих и не догадывался о его несчастье. Призвав себе на помощь всю философию стоицизма, он с головой окунулся в труды, не оставляя себе ни времени, ни сил для страдания. Вскоре он получил письмо от Цицерона, оскорбительный тон которого не мог его не покоробить:

«Возвращаю тебе услугу, прежде оказанную мне в связи с моим трауром^[139]. Я бы высказал тебе свои соболезнования, если бы не знал, как превосходно ты владеешь средствами, которые советовал применить мне, когда несчастье коснулось меня. Желаю лишь, чтобы их применение вышло у тебя не таким трудным, как в свое время показалось мне. Было бы странно, если бы человек твоих достоинств не сумел использовать советы, которые сам давал другим. Признаюсь, что в авторитетных доводах, которыми ты со мной поделился, я нашел мысли, способствующие тому, чтобы утихомирить горе. Ты говорил, что мое уныние

несовместимо с положением человека, считающего себя отважным и привыкшего утешать других. В одном из своих писем ты упрекал меня в этом и прибегал к весьма сильным выражениям, обычно тебе не свойственным. Вот почему, уважая твое мнение, я постарался взять себя в руки. Все, чему меня учили, все, что я читал или слышал по тому или иному поводу, заставило меня проявить сдержанность. Но, видишь ли, Брут, я-то отвечаю только перед природой и собственным благополучием, тогда как ты — раб взятой на себя роли. Ты постоянно на сцене, на виду публики. На тебя смотрит все твое войско, и весь Рим, и весь мир. Разве годится, если герой, вселивший храбрость в наши сердца, вдруг проявит душевную слабость? Твое горе безгранично, и нет на свете потери, которая могла бы сравниться с твоей. Но если б сердце твое не истекало кровью, если бы ты не страдал, твоя бесчувственность показалась бы стократ хуже, чем самая великая боль. Только умерь ее, эту боль! Этот совет, полезный кому угодно, тебе просто необходим.

Я написал бы и больше, если бы не думал, что и так сказал слишком много.

Мы ждем тебя и твою армию. Без вас, даже если все наши желания исполнятся, мы никогда не почувствуем себя по-настоящему свободными. Я буду держать тебя в курсе дел, происходящих в Республике, и наверняка напишу обо всем подробнее в следующем письме, которое намерен отправить с нашим другом Ветом»^[140].

Ничего не скажешь, действительно дружеское утешение!³⁷ Бруту хватило мудрости не показать окружающим, как больно ранило его каждое слово этого послания. Его воины по-прежнему видели перед собой спокойного и уверенного в себе полководца. Впрочем, дальнейший ход событий не оставил императору времени на слезы и стенания.

Новости, которыми Цицерон обещал поделиться с Брутом, отдавали катастрофой. Антоний по-прежнему находился в Галлии, но Лепид, вместо того чтобы ударить ему в спину, вступил с ним в соглашение.

Отступление Антония и его переход через Альпы многое изменили в самом его войске. Мужество, с каким их полководец переносил лишения и опасности, расположили к нему воинов. Они знали, что противники часто сравнивали Антония с восточным сатрапом, не способным сдерживать свои страсти, но теперь убедились, что это не так. Любой из них, не задумываясь, пошел бы за ним в огонь и воду.

Лепид разбил лагерь на берегу реки Аргента. Перед ним стоял трудный выбор. Ему совсем не хотелось вступать в схватку с бывшим другом, но и открыто перейти на его сторону он боялся — поддержка человека, публично объявленного врагом народа, означала бы для него конец.

Антоний решил не торопить события. Встав лагерем на другом берегу реки, он запретил своим людям возводить какие бы то ни было оборонительные сооружения, тем самым ясно давая Лепиду понять, что вовсе не считает его врагом. И взял за правило прогуливаться на виду легионеров Лепида, взиравших на него с противоположного берега. Его хорошо знали в войсках, и один вид этого бравого вояки, в знак траура по Риму и Цезарю отпустившего бороду, поднимал в воинах мощную волну сочувствия.

29 мая 43 года, поддавшись давлению собственных солдат, Лепид открыл перед Антонием ворота своего лагеря и дал согласие идти вместе с ним на Рим, чтобы выбить оттуда республиканцев. Наместник косматой Галлии Луций Мунатий Планк и наместник Испании Гай Азиний Поллион предпочли объявить себя их союзниками.

К началу лета под командованием Марка Антония собралось 23 легиона.

Весть об измене Лепида — впрочем, легко прогнозируемой — и переходе на сторону мятежников двух провинций ввергла сенаторов в ужас. Для защиты города они по-прежнему располагали всего лишь войском юного Октавия, к которому все, кроме Цицерона, относились со злобным недоверием. В этой ситуации отцы-сенаторы сделали, что могли: объявили Лепида изменником и врагом народа и отдали приказ о конфискации его имущества.

Эта, законная по римским понятиям, мера больно ударила по членам семьи Марка Эмилия Лепида. Мы помним, что еще год назад он развелся с Юнией Старшей, однако у нее остались дети и теперь именно они оказались лишенными отцовского наследства. Вместе с матерью Сервилией и младшей сестрой Тертуллой Юния Старшая бросилась к Цицерону и умоляла его не карать ее сыновей за ошибки отца. Она проклинала бывшего супруга и напоминала консуляру, что ее дети — родные племянники Брута и Кассия.

Однако все ее аргументы разбились в прах о ледяную невозмутимость Цицерона. Он терпеть не мог Сервилию и не собирался помогать ее дочери. Возмущенные женщины пообещали ему, что немедленно свяжутся с Марком и расскажут ему, как он с ними обошелся.

Стремясь опередить их, Цицерон поспешил сам написать Бруту и изложить ему собственную версию произошедшего.

«Я намеревался связаться с тобой через Мессалу Корвина, однако потом подумал, что будет нехорошо, если славный Вет, прибыв к тебе, не привезет письма от меня. Брут, Республика в страшной опасности. Мы почти победили, но теперь должны снова начинать войну. Все это произошло из-за того, что Лепид оказался негодяем,

к тому же безумным негодяем. Сегодня, когда мне и так хватает государственных забот, я вынужден печься и еще об одном, весьма нелегком, деле. Нет ничего на свете, что огорчило бы меня больше, нежели невозможность уступить просьбам твоей матери и твоей сестры. Я, конечно, убежден, что ты полностью меня поддержишь. По правде сказать, это единственное, что меня волнует. Невозможно судить о Лепиде, забыв об Антонии. Мало того, здесь все считают, что его проступок по тяжести несоизмерим даже с преступлениями Антония. Разве не он получил одобрение сената? Разве не он несколькими днями раньше прислал нам полное определенности письмо? И вот теперь он не только соединяется с остатками армии нашего врага, но и объявляет нам беспощадную войну на суше и на море! И каким будет исход этой войны, нам неизвестно... Вот почему, слыша сегодня призывы проявить милосердие к его детям, мы не можем быть уверены, что, одержи их отец победу — да хранит нас от этого Юпитер! — для нас настанет день последней страшной муки. Да, я понимаю, что заставлять детей платить за ошибки отцов — жестоко. Но ведь законы потому и законы, что они разумны. Так, любовь к детям заставляя нас еще лучше служить Республике. Значит, жестокость по отношению к своим детям проявляет Лепид, а не те, кто провозглашает его врагом народа. Даже если бы сейчас он сложил оружие, ничто не спасло бы его детей от последствий его проступка и никто не отменил бы конфискации их имущества. Слыша, как твои мать и сестра стонут о судьбе детей, скажи им, что Лепид, Антоний и прочие готовят нам куда более страшную участь.

Ты и твое войско — наша лучшая и единственная надежда. Ради блага Отчизны, ради твоей славы и чести ты, как я тебе уже писал, должен немедленно

вернуться в Италию. Родина остро нуждается в твоих воинах и твоих советах»^[141].

Письмо вызвало в душе Марка новую бурю негодования.

Красоты стиля этого послания раздражали его не меньше, чем моральные наставления и уроки законности, которые пытался преподать ему Цицерон. Когда же он получил письмо от Сервилии, ситуация и вовсе предстала перед ним в ином, менее безнадежном, свете. Дело в том, что Лепид всегда прислушивался к советам своей умной и решительной тещи и во многом благодаря им и сделал столь блистательную карьеру. Сервилия и сейчас не теряла надежды образумить Лепида, хотя он и перестал быть ее зятем. И Брут, зная способности своей матери, доверял ей в этом.

Но пока следовало добиться отмены решения о конфискации. Марк знал, что медлить нельзя. Если казна наложит лапу на состояние Лепида, будет поздно что-либо предпринимать. А он любил своих племянников.

Решив пока оставаться в рамках вежливости, он написал Цицерону вполне любезное письмо, призывая его проявить снисхождение к сыновьям Юнии. Если Республике и в самом деле так нужен он и его легионы, рассудил он, почему бы ему и не обратиться к сенату с просьбой, тем более что просил он не для себя.

«Цицерон! Во имя нашей дружбы заклинаю тебя: забудь, что дети моей сестры — сыновья Лепида, и вспомни, что в будущем именно мне придется заменить им отца. Уверен, что, осознав это, ты сделаешь ради них все возможное и невозможное. В семейных делах каждый делает, что может. Что касается меня, то любовь и долг твердят мне, что нет на свете ничего, что я не совершил бы ради детей моей сестры. И, если я заслуживаю какой-либо награды, найдется ли у партии

мужей чести другой повод меня наградить? И каким образом я смогу принести пользу матери, сестре и ее детям, если ты и сенат не проявите снисхождения, забыв, что Лепид — их отец, но вспомнив, что я — их дядя? Я пребываю в такой тревоге и расстройстве, что не способен на длинное письмо; впрочем, оно и не нужно. Если бы в нынешнем тяжелом положении для того, чтобы убедить тебя помочь и проявить сострадание, нужна была многословная речь, это говорило бы о безнадежности попытки. Вот почему я больше не стану надоедать тебе своими просьбами. Просто вспомни, кто я, и реши, должен ли я рассчитывать получить от тебя то, о чем прошу. Это личная просьба — если ты, Цицерон, мне верный друг; и в то же время официальная — если ты не желаешь забыть о нашей дружбе, — ведь ты самый видный из наших консуляриев. Напиши мне как можно скорее, что ты думаешь предпринять в связи с этим делом.

Из лагеря, писано в календы квинтилия»^[142].

Хорошо зная характер Лепида — человека не слишком умного, чтобы действовать быстро, но в то же время достаточно обидчивого, чтобы послушно исполнять все приказы Антония, — Брут не слишком волновался. Пока 23 легиона, ведомые мятежниками, дойдут до Рима, под мостами утечет немало воды. Гораздо более опасным казался ему Октавий, но тот пока не располагал большими силами.

Поэтому Марк не считал необходимым немедленно двигаться к Италии. Даже с поддержкой Децима Юния Брута, все еще находившегося в Цизальпинской Галлии, шести легионов явно не хватило бы, чтобы остановить противника с войском, в пять-шесть раз превосходившим его собственное. Прежде чем думать о походе в Италию, надо было срочно воссоединиться с Кассием, все еще державшим свои силы на Востоке.

В июне Кассий захватил Лаодикею и нанес окончательное поражение Долабелле. Красавец Публий Корнелий, предавший страшной смерти Требония, привык и остальных людей мерить своей меркой, а потому не ожидал от Кассия, слывшего человеком гневливым и скорым на расправу, ничего хорошего. Загнанный в тупик, он призвал к себе одного из своих вольноотпущенников, бывшего гладиатора, и приказал ему убить себя.

Отпущенник так и сделал, но затем, вопреки приказу убитого им хозяина, не пошел за наградой, а тут же, над телом Долабеллы, покончил с собой. Кассию все это показалось достойным уважения, и он организовал Долабелле погребение по принятому обряду.

По мнению Брута, смерть Долабеллы означала окончание восточной кампании, и он со дня на день ждал известия о скором подходе Кассия с войском. Однако ждал он напрасно. У Кассия нашлись дела более увлекательные, чем судьба республики — он занялся грабежом восточных провинций.

Шли недели, для Брута заполненные лихорадочными приготовлениями к выступлению в Италию. Из всех портов Греции, Иллирии и Малой Азии он нанимал корабли, на которых в сентябре полагал переправиться в Брундизий. Он вербовал солдат и пытался собрать с населения провинций подати, которые поступали очень вяло, поскольку от силовых методов наместник отказался.

Но в Риме Цицерону казалось, что Брут непростительно долго тянет время. Аттик, в надежде раскрыть консуляру, пока не поздно, глаза на замашки юного Октавия, показал ему одно из писем Брута, ввергшее того в холодную ярость. Цицерон немедленно направил Бруту длинное послание, изобиловавшее

оскорблениями, — настолько несдержанное, что он поостерегся показывать его Аттику.

«После долгого перерыва отвечаю на одно из твоих писем, в котором ты, одобряя множество моих шагов, выдвигаешь мне единственный упрек: я, дескать, слишком расточителен, когда речь идет о распределении высоких должностей. Именно это ты ставишь мне в вину, хотя другие корят меня за излишнюю суровость к тем, кто достоин наказания, и ты, возможно, разделяешь их мнение. Если это действительно так, я хотел бы с предельной ясностью высказаться по этому вопросу.

Брут! После убийства Цезаря и памятных нам ид марта я сразу сказал, чего, на мой взгляд, не хватает вашему делу. Я уже тогда догадывался, какие бури готовы обрушиться на нашу родину. Ты помнишь об этом. Вы избавили нас от бедствия, вы отмыли римский народ от грязи, и слава ваша поднялась до небес. Но рычагами власти завладели Лепид и Антоний; первый — образец непостоянства, второй — вместилище всех пороков, и оба — враги мира и гражданского спокойствия. Против этих смутьянов, мечтающих о новых мятежах, мы оказались бессильны. Между тем весь Рим стремился к Свободе. Меня тогда обвинили в излишней жестокости. Может быть, вы поступили мудро, покинув Город, который только что освободили. Затем вы отказались от помощи, которую вам предлагала Италия.

Когда Город оказался во власти чудовища, когда Антоний силой оружия диктовал ему свой закон, когда тебе и Кассию в его стенах грозила прямая опасность, я полагал, что и мне следует уехать из Рима. Не в силах помешать негодьям творить свои дела, я, по меньшей мере, избавил бы себя от необходимости наблюдать это печальное зрелище. Но, верный самому себе и питаемый бесконечной любовью к родине, я не смог

бросить ее в минуту опасности. Я уже направил парус к Ахее, когда южный ветер развернул мой корабль к Италии, словно запрещая мне ее покидать. Тогда-то мы и встретились с тобой в Велии, и после этой встречи я слег.

Ты отступил, Брут! Да, ты отступил. Именно так я называю то, что ты сделал, ибо стоики учат, что мудрец не должен бежать. Но я вернулся в Рим, чтобы сейчас же стать жертвой низости безумца Антония. Разумеется, я его раздражил, и мне пришлось прибегнуть к мерам, которые всегда высоко ценились благородным домом Брутов, ибо и ты обращался к ним во имя освобождения государства.

Впрочем, оставим то, что касается меня лично. Обращаю твое внимание лишь на одно: все то доброе, что совершил юный Октавий — а этому мальчику мы обязаны жизнью — он совершил по моему совету. Нет ни одной высокой должности, которой я для него добился и которой он не заслужил! И каждая из них вызвана необходимостью. Когда перед нами вновь замаячила тень свободы, еще до того, как Децим Брут смог проявить свою доблесть, единственной нашей поддержкой оставался этот юноша, избавивший нас от Антония. Так есть ли награда, которой он не достоин? [...]

Теперь, когда мы разобрались с тем, как я распределяю высокие назначения, перейдем к моей суровости.

Каждое из твоих писем дает мне ясно понять, как восхищает тебя милосердие победителя к побежденным. Наверное, ты достаточно мудр, чтобы поступать так, как тебе кажется правильным. Но оставлять преступника без наказания, а если называть вещи своими именами, прощать преступление — можно в других обстоятельствах. Сегодня, когда мы ведем войну, я считаю такой подход порочным. Во всех

гибельных для страны гражданских войнах, память о которых хранит наша история, кто бы ни одержал победу, можно было хотя бы не сомневаться, что Республика устоит в любом случае. Я не знаю, какой она будет, если мы победим, но в одном могу тебя уверить: если мы потерпим поражение, никакой Республики больше не будет.

Признаю, что кара, которую я обрушил на головы Антония и Лепида, кому-то покажется слишком суровой. Но ведь двигала мною не месть. Я стремился помешать мужам бесчестья повернуть оружие против своей родины, не дать им в будущем последовать дурному примеру, показав, к чему это приводит. Впрочем, не я один принимал решение о наказании — его единодушно поддержал весь сенат. Допускаю, что наказывать невинных детей — жестоко, но таков обычай всех народов, и он уходит корнями в глубокую старину. Дети Фемистокла тоже лишились всего. Частное право накладывает подобное наказание на любого гражданина; почему же к врагам Отечества мы должны проявлять особую мягкость? И на что же жаловаться этим людям, если они и сами признают, что, окажись победа в их руках, они поступили бы со мной еще более сурово?^[143]»

Итак, защищая наследника Цезаря, Цицерон проявлял необычайную широту взглядов, доходя до того, что ставил на одну доску честолюбивого юнца и тираноборцев. Он как будто забыл, что минувшим летом Октавий приложил все усилия, чтобы удалить героев Мартовских ид из Рима. Особенно резанули Брута строки, в которых старый консуляр похвалялся своим личным мужеством, противопоставляя его дезертирству Марка — хотя прямо дезертиром он его не называл, но намекал на это весьма прозрачно.

Но ведь Цицерон вообще ничем не рисковал, возвращаясь в Рим. Он находился под защитой Гиртия и некоторых других деятелей, да при этом Бруту еще пришлось его долго уговаривать. И все знали, что, прибыв в Город, Марк Туллий несколько дней просидел дома взаперти, не показываясь в сенате и ежедневно изобретая себе новую болезнь. Когда же, доведенный страхом до отчаяния — так затравленное животное бросается на обидчика, чтобы спасти свою жизнь, — он решился и произнес первую «Филиппику», то на следующий же день поспешил укрыться на одной из своих вилл, расположенных на побережье, где его на всякий случай ждал готовый к отплытию корабль. Все свои следующие речи он произносил не в сенате, а дома. Их публикацией и распространением вопреки воле насмерть перепуганного автора занимался Аттик. Лишь в начале декабря, после поспешного бегства Антония, он рискнул показаться в Риме, но тут уж дал себе волю, преследуя членов семьи бывшего консула, объявленного вне закона.

И этот человек смел давать другим уроки мужества! Негодование Брута против Цицерона достигло предела, когда несколько дней спустя он получил от Тита Помпония Аттика копию письма, отправленного их общим другом Октавию. По мнению Аттика, склонного к компромиссам, это послание должно было успокоить Марка и показать ему, что Цицерон желает тираноборцам только добра, а все его любезности, адресованные Октавию, служат единственной цели — достичь их взаимного примирения.

Аттик выбрал для своей задумки неподходящий момент. Брут и так не знал, куда деваться от душившей его гневной ярости, когда наткнулся в письме Цицерона на такие строки: «Октавий! Мы ждем от тебя только одной милости и снисхождения. Пощади граждан,

окруженных уважением народа и всех честных людей!» Отныне его разрыв с Цицероном стал неизбежным.

Брут знал, что даже головой на плахе он ни у кого не станет просить пощады, а уж меньше всего — у Октавия. Цицерону нравится жить на четвереньках — его воля! Но кто дал ему право требовать того же от него, Брута, да еще выставлять его в роли жалкого просителя?

Гнев — чувство, которому стоик не должен поддаваться.

Но если задета честь стоика, он не должен молча сносить оскорбление.

«Я прочитал часть твоего письма, адресованного Октавию; ее переслал мне Аттик. Твои хлопоты по спасению моей жизни не доставили мне удовольствия. Мне ежедневно докладывают обо всем, что ты, как верный друг, сказал или сделал в защиту нашей чести и достоинства. И теперь, читая эту часть твоего письма, я испытал такую боль, острее которой никто не мог бы мне причинить. Ты писал Октавию и говорил с ним о нас... Ты благодарил его за то, что он сделал для отечества; ты пал перед ним ниц в своем унижении.

Что я могу тебе на это ответить? Только одно: мне стыдно за то положение, в котором мы оказались.

Но я должен высказаться ясно. Ты советуешь ему озаботиться нашим спасением. Но для нас это будет худшая из смертей! Это будет означать, что мы не избавились от рабства, а всего лишь сменили хозяина. Вдумайся в то, о чем ты пишешь! Разве осмелишься ты утверждать, что твои слова — не мольбы раба, распростертого перед тираном?

Ты пишешь ему, что от него ждут пощады граждане, пользующиеся уважением честных людей и римского народа. А если он не пожелает нас пощадить? Значит, мы умрем? Впрочем, я действительно предпочту умереть, чем быть обязанным жизнью ему! Но я не

верю, что боги столь враждебны к Риму, чтобы заставить его граждан молить о пощаде Октавия! Молить его, чтобы он пощадил жизни тех, кто принес народу свободу!

Я говорю высокопарно, но меня это не смущает. Нет ничего лучше громких слов, когда я обращаюсь к тем, кому неведом страх и кто понимает, что не всякого можно молить о пощаде. О Цицерон! Ты утверждаешь, что Октавий всемогущ и что он твой друг. Ты испытываешь ко мне теплые чувства и хочешь, чтобы я вернулся в Рим, предварительно испросив разрешения у этого мальчишки, не так ли? За что же ты его благодаришь, если его еще придется умолять, чтобы он оставил нам право на жизнь? Что для нас хорошего в том, чтобы пресмыкаться — не перед Антонием, так перед ним? И если он не намерен занять место тирана, разве должен человек, уничтоживший тиранию, молить его о спасении жизни тех, кто отличился в служении Республике?

Но ведь именно наши слабость и отчаяние, пусть ты и повинен в них не больше прочих, преисполнили Цезаря жаждой властвовать над нами; они же смутили разум Антония; они же теперь толкают этого мальчишку вознестись над всеми. Иначе зачем тебе просить его о пощаде для таких, как мы? Выходит, отныне мы можем рассчитывать только на его жалость!

Нам бы вспомнить, что мы — римляне! Тогда люди, подобные ему, поменьше рвались бы к власти, а мы сами куда решительнее вставали бы у них на пути. Тогда Антоний меньше грезил бы тиранией, а больше думал бы о гибели тирана Цезаря! Ты консуляр, ты покарал множество преступников, чем, быть может, лишь немного отсрочил все наши беды, но как ты можешь, помня о том, что свершил в прошлом, терпеть то, что творится сейчас, да еще и делать вид, что ты все это одобряешь? Разве ты питаешь к Антонию личную

вражду? Разве твоя ненависть к нему объяснялась не тем, что он возомнил, будто мы станем молить его о пощаде? Разве не мы дали ему возможность жить свободным человеком, но сами должны были оставаться в живых лишь благодаря его милости? Разве не он присвоил себе право быть высшим судьей в государстве? Ведь это ты потребовал, чтобы мы взяли в руки оружие и не позволили ему захватить над нами власть. И мы положили предел его тщеславным намерениям, но разве мы сделали это для того, чтобы его место занял другой, а не ради независимости Республики, диктуемой законами? И если бы еще речь шла не о том, быть или не быть нам рабами, а об условиях нашего рабства! Ведь в лице Антония мы нашли бы доброго хозяина, который скрасил бы нашу судьбу, предоставив нам любые почести и награды. Разве отказал бы он нам хоть в чем-нибудь, если бы мы кротко смирились с его всемогуществом и поддерживали его?

Но нет на свете ценности, в обмен на которую мы согласились бы продать свою веру и свою свободу. А этот мальчишка, принявший имя Цезаря и взявшийся отомстить за него, в какую сумму оценил бы он наши веру и свободу, вздумай мы с ним поторговаться? Думаю, он потребовал бы не меньше, чем единоличную власть. И он ее получит, эту власть, если мы, римляне, будем все так же цепляться за жизнь до старости, за богатство, за почетное звание консуляра...

Значит, мы напрасно убили Цезаря? Зачем же вы прославляли нас за его убийство, если, несмотря на его смерть, мы по-прежнему останемся рабами? И никому нет до этого дела...

Лишь об одном молю я богов и богинь. Пусть лишат меня всего, чем я владею, лишь бы оставили мне мою решимость. Я ничего не уступлю наследнику человека, которого я убил именно потому, что не хотел ему

уступать. Я и своему родному отцу, будь он жив, не уступил бы ничего. Я не намерен терпеть, чтобы кто бы то ни было посмел встать над сенатом и законами. Как же ты можешь верить, что этот юнец вернет нам свободу, если из-за него нам пришлось покинуть Рим? Как ты рассчитываешь добиться от него своего? Ты просишь его быть добрым и не убивать нас. Что же, по-твоему, наше спасение состоит в том, чтобы сохранить себе существование? Неужели ты думаешь, что мы согласимся на такое существование, при котором нам придется забыть и про честь, и про свободу? Неужели ты допускаешь, что, оказавшись в Риме, я буду считать себя спасенным? Мне ведь важно не место, а дело. Когда жив был Цезарь, я не считал себя в безопасности до тех пор, пока не решился на известное тебе покушение. И я никогда не отправился бы в изгнание, если бы рабская жизнь не казалась мне несчастьем куда более горшим, нежели ссылка. И, подумай, разве не ждет нас тот же хаос, если тот, кто носит имя тирана, начнет решать, сохранить ли жизнь людям, освободившим страну от тирании? [...] Я не испытываю никакого желания возвращаться в Город, оказавшийся не способным воспринять свободу, которую мы ему принесли и которую молили принять. Я не желаю возвращаться в Город, который позволяет запугивать себя мальчишке, носящем имя тирана, в Город, потерявший веру в себя, хотя он своими глазами видел гибель всемогущего тирана, павшего от горстки отважных людей. И больше не хлопочи за меня перед любезным твоему сердцу Цезарем. А если хочешь послушаться моего совета, и за самого себя не хлопочи. Слишком дорого ты ценишь годы, которые тебе осталось прожить, если, цепляясь за них, в твоём почтенном возрасте готов унижаться перед мальчишкой.

И берегись! Все, что ты сделал в прошлом хорошего, все, что ты предпринимаешь сегодня против Антония, в конце концов будет расценено людьми не как поступки смелого человека, а как трусливая предосторожность. Ведь если ты любишь Октавия до такой степени, что готов молить его за нас, все решат, что ты не воевал с тиранией, а искал себе доброго тирана. [...] Неужели ты не подумал, что если Октавий заслуживает столь высоких почестей за то, что боролся с Антонием, то для людей, сражавшихся против зла, лишь одним из проявлений которого был Антоний, вообще не найдется достойной награды, даже осыпъ их сенат и римский народ всеми мыслимыми почестями?

Что касается Цезаря, то мы выполнили свой долг, и нечего больше об этом рассуждать. Но кто такой Октавий, чтобы римский народ ждал от него решения нашей судьбы? Неужели наша жизнь должна зависеть от воли единственного человека? Что до меня, то я никогда не паду столь низко, чтобы вымаливать себе разрешение вернуться, и не потерплю, чтобы меня к этому вынуждали. От тех, кто согласен жить в рабстве, я намерен держаться как можно дальше. И я буду считать, что я в Риме, повсюду, где мне будет позволено жить свободным. Мне жаль вас, тех, в ком ни возраст, ни бывшие заслуги, ни пример чужой доблести не способны заглушить стремления выжить во что бы то ни стало. Я счастлив, когда мне удастся сохранить верность своим принципам, и мое постоянство — само по себе награда. В самом деле, что может быть лучше — помнить о своих славных свершениях, жить свободным и презирать превратности человеческой судьбы? Никогда я не стану унижаться перед теми, кто сам низок. Никогда не сдам оружия тому, кто привык сдаваться. Зато я сделаю все, все испробую и ничего не испугаюсь, чтобы послужить своей родине. Если Фортуна подарит мне то, чего я от нее жду, мы все

возликуем; если нет, я буду ликовать один. Наверное, я бы и не смог найти лучшего применения своей жизни и своим талантам, чем посвятить их освобождению своих соотечественников...

Дорогой Цицерон! Прошу и даже умоляю тебя, не поддавайся отчаянию и вслушайся в мои слова! Сражаясь с нынешними бедами, мы должны с открытыми глазами встречать и грядущие несчастья, иначе нам с ними не справиться... Конечно, Цицерон заслужил славу за то, что сражался против Антония, но разве мог он поступить иначе, ведь он был консулом? И это еще не повод для восхищения. И если тот же самый Цицерон не сумеет и прочих врагов встретить с той же решимостью и величием, какими он встретил Антония, он не только откажется от грядущей славы, но утратит и былые заслуги. Никто, кроме тебя, не облечен такой же обязанностью любить Республику и защищать свободу. Тебя обязывает к этому все: и твой ум, и твои дела; и именно этого страстно ждут от тебя другие. И не нужно просить Октавия сменить гнев к нам на милость. Опомнись! Город, в котором ты совершил немало великих деяний, будет свободен и славен, стоит лишь добиться, чтобы им управляли люди, способные противостоять пагубным замыслам»^[144].

Сам объем этого письма с его многочисленными повторами, столь необычный для всегда лаконичного Брута, выдает и растерянность, и гнев его автора. Еще в Мартовские иды Марк убедился, что ему трудно найти взаимопонимание с плебсом. Поначалу развитие событий, ни в чем не совпавшее с его ожиданиями, оказало на него самое тягостное воздействие, однако постепенно он сумел побороть свое отчаяние. Аристократ до мозга костей, в глубине души он искренне верил, что народ — это аморфная масса, которая пойдет за любым, а значит, все дело в том,

чтобы ее возглавили достойные люди. К сожалению, письмо Цицерона показало ему, что и вожди стоят ненамного больше, чем плебеи. Свои высокие принципы они хранили для выступлений на Форуме и философских трактатов, а в повседневной жизни легко обходились без них. Цицерон и ему подобные давно усвоили одну простую аксиому: идеалы хороши, чтобы умирать за идею, тогда как политика — это умение жить за ее счет.

Для Брута такой подход был неприемлем. Что ж, если он не в силах заставить этих трусов вести себя, как подобает мужам, если его мечта о достоинстве римлян и славе Рима неосуществима, — у него всегда есть последний выход, тот самый, что избрал для себя Катон.

Понимал ли он, что, отправляя подобное письмо, отрезал себе всякие пути к отступлению? Что отныне перед ним встала жесткая дилемма: победить или погибнуть? Конечно, понимал. Но не собирался отступать. Он смутно чувствовал, что Риму необходима искупительная жертва, благодаря которой он, быть может, сумеет избавиться от своих разрушительных импульсов. И заранее принял на себя роль этой жертвы.

Впрочем, пока ничего непоправимого не произошло. В июле 43 года Брут все еще верил в победу и всеми силами готовил ее.

Кассий по-прежнему не торопился к нему присоединиться, а портовые греческие и малоазийские города, в которых Брут намеревался нанять корабли, не спешили выполнять его просьбу. И он решил, что пришла пора немного подтолкнуть и первого, и вторых. Кассию он назначил встречу в Смирне. Оттуда, рассчитал он, они вместе двинутся к Италии, куда придут в сентябре. Если боги будут к ним благосклонны, они разобьют Антония и Лепида и укажут Октавию, этому честолюбивому юнцу, его

истинное место. Цицерон, чувствуя себя защищенным их присутствием, снова войдет в роль великого консуляра, которая удастся ему так хорошо, когда он не дрожит за свою драгоценную шкуру. И, как знать, может быть, мечты Марка и в самом деле обретут реальность...

Приняв решение, Марк привык действовать без промедления. Но на Востоке он столкнулся с людьми, которые предпочитали жить совсем по-другому. Нет, они не оказывали ему сопротивление, но вели себя так вяло, как только и подобало представителям угасающих эллинистических культур, с неприкрытым презрением взирающим на римлян с их вечными ссорами. Ни один из заказанных кораблей даже не начинали строить, налоги никто не собирал. Бруту все пришлось делать самому.

Он достаточно долго прожил в этих краях, чтобы понимать: от его личного присутствия зависит очень много. Действительно, стоило проконсулу появиться перед союзниками, они сейчас же принялись демонстрировать небывалое усердие. Фракийский царь Расципол отдал в его распоряжение войско, о котором Брут просил его уже несколько месяцев. Это было ценное приобретение, потому что фракийцы считались умелыми воинами и людьми беспримерной отваги. Достаточно вспомнить, что и Спартак был родом из Фракии...

Скифский вождь Косон прислал ему денежное подкрепление в золотых монетах, на которых с трогательным тактом приказал отчеканить профиль Брута с подписью «консул», что, впрочем, казалось немного преждевременным.

Наконец, царица Полемократия, после дворцового переворота потерявшая своего венценосного супруга, вместе с сыном явилась под его защиту, прихватив с собой казну, которую ей удалось спасти.

Положение Брута немного улучшилось, однако главная проблема все еще оставалась нерешенной: из Вифинии пока не пришли ни 50 кораблей для переправки армии за море, ни 200 вспомогательных отрядов. Без этого флота Брут просто не смог бы выбраться из Малой Азии.

Он отправил в Вифинию Публия Понтия Аквилу — того самого народного трибуна, который так жестоко пострадал от гнева Цезаря. Но даже отважному Аквиле не удалось преодолеть вялое сопротивление правителей Вифинии. Местные сановники встречали его с неизменно вежливыми улыбками и... не делали ничего, находя своему бездействию тысячи лживых объяснений.

Отчаявшись, Аквила обратился за помощью к Бруту. И тот на безупречном греческом языке составил письмо, предельно любезное по форме, но весьма жесткое по содержанию. Это был шедевр аттического стиля, который наверняка не понравился бы Цицерону.

Он понимает, он прекрасно понимает, писал Брут, все затруднения жителей Вифинии и охотно принимает их извинения. Однако из извинений, увы, не выстроишь флота, а ему надо на чем-то переправлять свое войско. Конечно, он требует от Вифинии огромной жертвы, но, говоря начистоту, какая жертва тяжелее — деньгами или кровью? Может быть, вифиняне предпочтут поменяться местами с воинами Брута? Тогда им не придется платить. Правда, каждому известно, что использовать оружие гораздо опаснее, чем его изготавливать...

Но даже холодный сарказм Брута не пронял вифинян. Давным-давно утратившие свободу, они не понимали, из-за чего эти римляне поднимают такой шум. Да и какая им разница, кому покоряться: идеальной Республике Брута или тирании Октавия, а то и Антония? Им-то все равно...

Верные старинной восточной хитрости не платить сегодня того, чего завтра платить, быть может, будет некому, они откровенно тянули время. Кто их знает, этих римлян, в самом-то деле! Сегодня он герой, а завтра сам скрывается от возмездия...

Вифиняне оказались правы, как это ни печально. Избранная ими тактика затягивания заставила Брута потерять драгоценное время и в конце концов решила и его судьбу, и судьбы мира.

Убедившись в поддержке Цицерона, Октавий вел себя все более вызывающе, ужасая даже старика Марка Туллия, осознавшего наконец, что он не имеет ни малейшего влияния на юнца, которого считал послушной пешкой в своих руках. Обласканный им мальчишка при ближайшем рассмотрении оказался настоящим вместилищем хитрости, холодной расчетливости и жестокости. Он, конечно, вспомнил, о чем предупредил его Брут, и понял, что Октавию пора подрезать крылышки. Каким образом? Одним-единственным: немедленно вызвать Брута и Кассия.

С этим согласилась и Сервилия. В последние месяцы она не слишком торопила сына в Рим, полагая, что ему прежде нужно укрепить свои позиции. Опасность, исходящая от Антония и Лепида, ее не пугала. С Марком Эмилием она сумеет справиться, да и с Антонием легко договориться...

Но Октавий — это, конечно, совсем другое дело. В этом юноше она узнавала черты его двоюродного деда Гая Юлия — единственного мужчины, которого она когда-либо любила, потому что он один сумел вызвать в ней уважение. Узнавала и пугалась. Если Октавий не унаследовал от Цезаря его беспримерной отваги, он унаследовал его острый ум. А кто может быть опаснее, чем умный трус? Его следует раздавить немедленно.

Но тут же Сервилию одолели сомнения. Может быть, в ней говорит материнская тревога, заставляющая

преувеличивать опасность? Почему-то отказавшись поверить собственной политической интуиции, на протяжении долгих лет позволявшей ей оставаться одной из истинных, хотя и не знакомых широкой публике, хозяек Рима, она пригласила к себе на совет лучших друзей сына.

Таковых оказалось всего четверо, тех, кто еще не боялся во всеуслышание признаться в дружбе с Брутом, и за восемь дней до календ секстилия^[145] они собрались у Сервилии, чтобы обсудить будущее Марка. Положение складывалось серьезное. До осени защитить Италию от вторжения Антония и Лепида было некому, а Октавий все более настойчиво требовал себе должности консула, вакантной после гибели Пансы и Гиртия. Об этом и говорили участники совещания: Гай Сервилий Каска, один из участников заговора, а ныне народный трибун, молодой Лабен, делец Скаптий, которого Сервилии удалось привлечь для финансовой помощи сыну, и Цицерон.

Марк Туллий сообщил, что он давно призывает Брута и Кассия вернуться в Рим, но теперь у него появился весьма убедительный аргумент: все более угрожающее поведение Октавия. У старого консуляра наконец-то открылись глаза на истинные замыслы его молодого друга, и уже на завтра он отправил Бруту письмо, в котором косвенно признавал правоту последнего относительно Октавия.

«Твоя мать спрашивает меня, что нам делать, как можно скорее звать тебя в Рим или протянуть твое отсутствие подольше. Я дал ответ, который, на мой взгляд, наилучшим образом согласуется с твоей честью и достоинством. Ты не должен более откладывать и должен поспешить на помощь Республике, которая, того и гляди, рухнет. Какие несчастья способна принести нам война, если наша победоносная армия не

желает преследовать разбитого и отступающего противника? Война, в которой полководец, удостоенный высших почестей, обладающий баснословным состоянием, связанный с интересами Республики, да и с твоими тоже, ведь он женат на твоей сестре и у них есть дети, — и этот полководец обращает оружие против своей родины? Война, в результате которой в городе, несмотря на единство сената и народа, установится хаос?

Но что меня больше всего ранит в этот самый миг, когда я тебе пишу, так это моя неспособность сдержать свои обещания относительно одного молодого человека, одного мальчишки. Моральные обязательства подобного рода нести гораздо тяжелее, чем любые денежные долги. Если ты выступил гарантом в денежном займе, ты можешь просто выплатить чужой долг. Потеряешь деньги, ну и что? Это не страшно. Но если ты берешь на себя ответственность за благо государства, то чем заплатишь, если тот, за кого ты поручился, не желает выполнять своих обещаний?^[146]»

И далее Цицерон в довольно жалких выражениях признал, что он, пожалуй, проявил неосторожность. В устах Цицерона подобное признание звучало столь непривычно, что наверняка встревожило бы Брута, заставив его максимально ускорить приготовления к выступлению в поход. Правда, Цицерон в том же письме сообщил, что сделает все возможное, чтобы отправить Бруту средства, необходимые для вербовки войска, даже если Республике придется отдать последнее.

К несчастью, этого письма — последнего, адресованного ему Цицероном, — Брут так и не получил, во всяком случае, не получил вовремя. И пока он продолжал объезжать города Малой Азии, ведя подготовку к войне, судьба Рима решилась буквально в несколько дней.

Сенаторы, не располагая никакими военными силами, постарались хоть немного обезопасить себя от Октавия, чьи амбиции зашли слишком далеко. Они, правда, отказались пойти ради него на нарушение закона и отвергли его кандидатуру на должность консула, но позволили ему наравне с прочими высшими магистратами заседать в сенате. В то же время они постановили организовать триумф в честь Децима Юния Брута, прославившегося в войне в Цизальпинской Галлии.

Октавий завидовал чужой военной славе, тем более что сам к боевым подвигам оказался совершенно не предрасположен. И он отправил тайных гонцов к Антонию и Лепиду с предложением забыть вчерашние распри и совместными усилиями обрушиться на общего врага — республиканцев.

Разумеется, отцы-сенаторы и не подозревали, на какое вероломство способен столь молодой человек. Помня о той ненависти, какую он питал к бывшему консулу, они поручили ему возглавить легионы, которым предстояло схватиться с армией Антония и Лепида, едва та перейдет Альпы.

Ловкая бестия, юный Цезарь принял это предложение в надежде ликвидировать угрозу своим тайным союзникам, а затем обернуть доверенные ему силы против тех, от кого их получил. Следует добавить, что на легионеров имя Цезаря действовало безотказно; они слепо перенесли на внука ту страстную привязанность, какую питали к деду.

Октавий организовал в войсках настоящую подрывную работу, подспудно внушая легионерам, что не дело им, служившим под началом Цезаря, сражаться против таких же воинов Цезаря, которыми командуют лучшие ученики Цезаря. Не лучше ли обернуть оружие против убийц Цезаря?.. Именно на такой поворот событий и намекал Цицерон в своем письме к Бруту.

В начале августа 43 года большой отряд, состоявший из четырех сотен вооруженных легионеров, вошел в Рим. Солдаты выломали двери курии и потребовали от сенаторов отменить запрет Гаю Октавиану Юлию Цезарю выдвигать свою кандидатуру на пост консула. Отцы-сенаторы неожиданно проявили мужество и отказались уступить грубой силе. Тогда один из центурионов выхватил обнаженный меч и заявил:

— Не хотите дать ему то, что он просит? Он получит это благодаря вот ему!

Как видим, Цицерон ошибался, утверждая, что тогда сильнее оружия. Он и сам понял это. Поднявшись со своего места, он проговорил:

— Успокойся! Если ты просишь так, он получит требуемое...

Октавию этот эпизод позволил прощупать силу сопротивления римской политической верхушки. Убедившись в ее ограниченности, он отбросил последние колебания и две недели спустя, как раз накануне выборов консулов^[147], подошел к Городу во главе своего войска. Ему очень не хотелось, чтобы его избрание слишком явно походило на принудительное, поэтому остановился на Марсовом поле. Но всем все уже стало ясно и так: отныне ничто на свете не могло помешать ему войти в историю Рима как самому молодому консулу.

Настроения в Городе кардинально переменились. Те самые люди, которые полмесяца назад громко возмущались неумеренными амбициями мальчишки, теперь торопились принести ему поздравления. Впрочем, мало кто сомневался в истинном смысле случившегося. Консульский ранг, которого Октавий добился в 19 лет, был всего лишь данью условности. На

самом деле он стремился утвердить свое право на наследство деда-диктатора, в чем и преуспел.

А Брут и Кассий, единственные, кто имел мужество выступить против притязаний Октавия, находились все так же далеко от Рима. Остававшиеся в городе республиканцы затаились, надеясь как-нибудь пересидеть приближавшуюся бурю. Похоже, Брут не ошибся, оценивая современников: славные сыновья Рима все как один мечтали о спокойной старости, богатстве и громких титулах...

Отваги Цицерона хватило всего на несколько часов. Скоро он опомнился и бросился догонять остальных, тех, кто спешил засвидетельствовать свое почтение Октавиану. Тот встретил его весьма двусмысленным приветствием: «Гляди-ка! Марк Туллий, последний из моих друзей...» Старый консуляр проглотил и это.

Дальнейшие события развивались стремительно.

Первым делом Октавий запретил называть себя «мальчишкой» и даже «юношей» — под тем предлогом, что это наносит урон престижу занимаемой им должности. За этим капризом скрывались далеко идущие намерения, которые полностью раскрылись в сентябре, когда второй консул и родственник Октавия Квинт Педий предложил от своего имени проект указа об объявлении вне закона участников мартовского заговора.

Октавий добился своего торжественного признания в качестве наследника Цезаря, и не удивительно, что он поспешил разделаться с убийцами своего приемного отца. Такая сыновняя преданность тронула сердца простонародья, которому было невдомек, что Октавия интересуется только властью. На своем пути к тирании он видел теперь лишь одну преграду: Брута, Кассия и их сподвижников. Именно их он и считал своими главными врагами, с которыми собирался вступить в смертельный бой. О свободе Рима он думал меньше всего.

Не смущал его и тот факт, что после убийства Цезаря тираноборцам была объявлена амнистия. Время уважения к законам миновало. Оружие оказалось сильнее тоги.

Ненависть Октавия, нашедшая свое выражение в законе Педия, не пощадила никого из заговорщиков, даже Гая Сервилия Каску, народного трибуна, пользовавшегося священной неприкосновенностью, даже Децима Юния Брута, все еще державшего Антония и Лепида за Альпами. Никто ведь не знал о тайном сговоре юного консула с мятежниками.

Обычай требовал, чтобы против осужденных выступил обвинитель. Но, может быть, никто в Риме не захочет брать на себя эту роль? Напрасная надежда. Обвинение против Кассия составил Марк Випсаний Агриппа — вообще говоря, замечательный человек, служивший новому консулу надежной опорой. Брута взял на себя мало кому известный юноша, почти мальчик, по имени Луций Корнифиций.

Разумеется, ни один римский юрист не осмелился бы выносить приговор людям, оправданным полтора года назад. Но Октавий затеял политический процесс, исход которого любой мог предсказать заранее.

И тем не менее среди запуганных магистратов, в глубине души сгоравших от стыда за собственную трусость, нашелся человек, не пожелавший принимать участие в разыгрывавшейся комедии.

По обычаю, секретарь по одному называл имена обвиняемых, приговор по делу которых выносили заочно, и в полной тишине присутствующие слушали перечисление мер наказания: отстранение от всех должностей; изгнание; запрет на огонь и воду (последнее означало, что ни один гражданин не имеет права оказать осужденному какую бы то ни было помощь, а, встретив его случайно, может и даже обязан

его убить). И наконец, конфискация имущества осужденного в пользу обвинителя.

Но вот прозвучало имя Брута. В толпе, до того равнодушной, раздался плач. Сенаторы-республиканцы, еще вчера перевозносившие Марка Юния, сидели, низко опустив голову. Когда же пришла пора высказываться, все как один проголосовали за отлучение от огня и воды.

«Жаль мне вас, римляне, согласные жить в рабстве. Вы так дорожите собственной шкурой, что готовы вымалывать себе жизнь у мальчишки...»

Мы не знаем, читал ли Силиций Корона эти строки из письма Брута или он просто ставил принципы чести выше всего остального. Это он заплакал, когда секретарь произнес имя Брута. Но вот пришел его черед голосовать, Корона больше не плакал. Не глядя на своих вжавшихся в кресла товарищей, он встал и спокойно сказал:

— Я голосую за оправдание обвиняемого.

Этот мужественный поступок сенатора не мог ничего изменить в судьбе Брута, хотя сам Публий Силиций Корона навлек на себя смертельную опасность. Его слова прозвучали пощечиной Октавию. Что заставило его пойти на эту, казалось бы, бессмысленную, жертву? Очевидно, для него такие понятия, как римская доблесть, все еще что-то значили...

Последствия приговора, вынесенного тираноборцам, не замедлили сказаться. Первым это почувствовал Децим Юний Брут.

Как только до него дошла весть о готовящемся в Риме судилище, Децим спешно увел свои легионы из Цизальпинской Галлии. Он надеялся пробраться в Грецию и соединить свои силы с силами Брута. Убедившись, что это невозможно, он распустил войско и с горсткой самых верных соратников, не пожелавших

его покинуть, дошел до Аквилеи, области, выходившей к Эгнатиевой дороге и служившей своего рода «пропускным пунктом» по пути в Грецию.

Стоял конец сентября, а осень в тот год принесла раннее ненастье. Без конца шли дожди, становилось холодно. Горные вершины окутывал туман, кое-где уже лежал снег. Дурная погода заметно замедлила продвижение Децима Брута к цели и, что самое печальное, свела на нет благие порывы его спутников. В конце концов с ним остались только Гельвий Блазон и небольшой конный отряд галлов. Они сражались под его командованием пятнадцать последних лет и привыкли смотреть на своего полководца, свободно говорившего по-кельтски, как на главу клана. Эти галльские дружинники — «амбакты», как они сами себя называли, — считали позором бросить своего вождя в опасности. Но их было слишком мало, а в горах их подстерегала засада.

Им пришлось принять неравный бой с шайкой некоего Камилла, слегка романизованного варвара, занимавшегося грабежом путников, рискнувших пуститься в путь этими горными тропами. Оказалось, Камилл успел прослышать про награду, объявленную за голову каждого из мартовских заговорщиков. Узнав, кто попал к нему в руки, он немедленно отправил гонца к Антонию. Незадолго до этого Октавий, не находя более нужным скрывать свои истинные намерения, добился в Риме отмены проскрипций в отношении Антония и Лепида. Мало того, он заставил сенат проголосовать за посмертную реабилитацию Долабеллы, узаконив таким образом казнь Гая Требония и поставив Кассия в совсем уж безвыходное положение.

Об Антонии говорили, что это человек, который в своих поступках руководствуется как чувствами, так и холодным расчетом. Действительно, ему нередко случалось поддаваться первому душевному порыву и

проявить благородство, однако он чаще всего умел подавить в себе эти проявления человечности, и делал это безжалостно.

Не так давно он считал Децима Юния своим другом. Они знали друг друга больше двадцати лет, вместе начинали военную карьеру, плечом к плечу сражались в Галлии, воевали против Помпея и поддерживали Цезаря. Не исключено, что в апреле, после победы под Мутиной, Децим сознательно, во имя былой дружбы, не стал преследовать Антония и дал ему шанс на спасение. И вот теперь Фортуна снова повернулась лицом к Антонию, и жизнь Децима оказалась в его руках. Он не скрывал, что огорчен, и даже проронил скупую слезу над несчастливой судьбой бывшего друга. Но переживания длились недолго. Уже в следующую минуту он призвал писца и продиктовал письмо Камилу, приказывая сразу по его получении казнить Децима.

Да, Цицерон, хорошо разбиравшийся в худших сторонах человеческой природы и не обольщавшийся на счет современников, не ошибался, когда говорил, что заговорщики напрасно оставили Антония в живых. Он к ним подобной снисходительности не проявил.

Наверное, будь на месте Децима Марк, он сказал бы, что праведное дело само по себе награда, а жалеть надо в первую очередь Антония, опозорившего себя черной неблагодарностью. Но Децим о таких высоких материях не думал. Когда Камил показал ему письмо со смертным приговором, он, не таясь, начал громко проклинать свою судьбу, так что присутствовавший здесь же Гельвий Блазон в конце концов не выдержал:

— Хватит рыдать, Децим! Сейчас я покажу тебе, что умирать совсем нетрудно!

И с этими словами Блазон выхватил меч и пронзил себе сердце, после чего Децим собрал все свое мужество и без дальнейших стенаний принял смерть.

Отрубленную голову пленника Камил в надежде на обещанную награду переправил Антонию. Тот не стал куражиться над мертвым и устроил ему достойные похороны.

Разумеется, казнь Децима Брута претила Антонию, но он пошел на этот шаг, чтобы доказать Октавию свою лояльность. Децим, сам в прошлом цезарианец, считался в этом стане предателем, и, готовясь к дележу власти с наследником диктатора, Марк Антоний намеревался использовать ее как сильный козырь.

Действительно, уже в начале октября Лепид, Антоний и Октавий встретились в местечке неподалеку от Бононии (ныне Болонья) и заключили соглашение об образовании триумvirата. В отличие от участников предыдущего триумvirата — Цезаря, Помпея и Красса — они не ставили своей целью завоевание власти, которую, по их мнению, уже твердо держали в руках. Им требовалось одно — слатать на живую нитку некое подобие высшего органа государственной власти, который, как они определили, будет править по меньшей мере пять лет.

В то, что достигнутая договоренность продержится столь длительный срок, не верил никто, включая и самих триумvirов. О степени их взаимного доверия говорит простой факт: уединившись для переговоров на пустынном острове, они предварительно тщательно обыскали друг друга...

Италию они делить пока не стали, зато разделили между собой империю. Лепиду достались Испания и Нарбоннская Галлия; Антонию — Галлия и Цизальпинская Галлия; Октавию — Африка, Сицилия и Сардиния. Пожалуй, более старшие участники союза обидели своего молодого коллегу, отдав ему территории, все еще находившиеся под контролем Секста Помпея, сына Великого. В тот краткий промежуток, когда Рим с благосклонностью взирал на

тираноборцев, он был официально назначен римским флотоводцем, однако уже в сентябре его имя попало в проскрипционный список по закону Педия. Впрочем, в положении самого Секста это мало что меняло.

Что касается раздела западных провинций, то здесь никаких неожиданностей не произошло. Антоний и Лепид получили те территории, которыми и так владели. И если бы Октавий попытался оспорить их притязания, оба без колебаний обернули бы оружие против него. Но юный Цезарь не слишком горевал. Он уже мечтал о том дне, когда раздавит Антония. Лепида он в расчет вообще не принимал.

Двадцать седьмого ноября послушный сенат признал законность триумvirата. Лепид, избранный консулом на будущий год, остался в Италии. Октавию и Антонию пришлось заняться более серьезными делами: выступить в поход против Брута и Кассия.

Однако прежде чем перейти к военным действиям, они торопились решить еще две задачи: ликвидировать остатки оппозиции в Риме и собрать деньги.

Сенат и вся римская аристократия проявили в те лето и осень 43 года подлинные «чудеса» трусости и подлости. Увы, это их не спасло. Октавий, прямо-таки нутром угадывая возможные очаги будущего сопротивления, без жалости гасил их. У Антония и Лепида, не первый год занимавшихся большой политикой, скопилось немало личных недругов, с которыми они спешили расправиться.

Не обошлось и без споров. Обвинителем против Лепида выступал родственник покойного диктатора Луций Юлий Цезарь, и Лепид жаждал мести. Однако Луций приходился Антонию дядей по материнской линии, и тот встал на его защиту. В свою очередь, против Антония свидетельствовал старший брат Лепида Луций Эмилий Лепид Павл. Естественно, триумvir не желал давать брата в обиду. Наконец, следовало

разобраться с Цицероном. И Антоний, и Лепид охотно задушили бы старого консуляра своими руками. Особенно негодовал Антоний, не простивший Марку Туллию его гневных «Филиппик». Но тут подал голос юный Октавий: нет, он слишком привязан к Цицерону и не допустит его гибели.

Между триумвирами начался настоящий торг. Октавий согласился «сдать» коллегам Цицерона, если в обмен получит головы Луция Юлия и Луция Эмилия. И в придачу голову Публия Силиция Короны — того самого сенатора, который один нашел в себе мужество выступить в защиту Брута. Впрочем, против этой последней кандидатуры Антоний и Лепид не возражали; они и сами побаивались слишком смелого и честного сенатора.

Однако в поведении Антония и Лепида, с одной стороны, и Октавия — с другой очень скоро стала заметна существенная разница. Оба первых действительно беззастенчиво торговали жизнями своих родственников. Другое дело, что выполнять данные Октавию обещания они не собирались.

Едва завершилась встреча триумвиров, Лепид примчался домой и предупредил брата о грозящей ему опасности. Он снабдил его деньгами и под надежной охраной переправил к побережью, где Луций, целый и невредимый, сел на корабль и отправился в Грецию, к Бруту.

Спасся и Луций Юлий Цезарь. Узнав о том, что ему грозит смертельная опасность, он укрылся у сестры Юлии, матери Антония. В тот день, когда Антоний огласил на Форуме проскрипционный список и призвал сограждан покарать преступников, эта отважная женщина выступила вперед и громко провозгласила:

— Если ты, Марк, и в самом деле задумал убить всех этих людей, начни со своей матери! Ибо мой брат и твой дядя сейчас находится в моем доме! Ступай же за ним!

Римские матроны испокон веков пользовались со стороны своих детей безграничным уважением. А уж сыновья, чьи отцы, как у Антония и Брута, погибли в минуту гражданской войны, окружали своих матерей не просто почтением, они преклонялись перед ними. Юлия знала, что ее личность священна для сына.

Что оставалось Антонию? Он произнес речь с восхвалением «лучшей из сестер» и потребовал амнистии для дяди.

Иначе вел себя Октавий. Человечность, проявленная Антонием и Лепидом хотя бы по отношению к близким, ему была совершенно чужда^[148]. Во всяком случае, он и не подумал последовать примеру своих старших коллег и попытаться спасти от гибели Цицерона.

В первом проскрипционном списке фигурировало семнадцать имен (за ним последовали второй и третий, увеличившие число жертв до трех сотен^[149]). Среди них — Цицерон, его брат Квинт и его племянник, сын Квинта. Если бы сын Цицерона Марк находился в тот момент не в ставке Брута, а в Риме, он, несомненно, оказался бы вместе с отцом и дядей.

С того дня, когда сенат принял в отношении заговорщиков закон о запрете на огонь и воду, все члены семейства Туллиев догадывались о грозившей им опасности. Они заранее перебрались на свою виллу в Тускул, но и здесь не чувствовали себя спокойно. Тогда они решили уехать на другую виллу, расположенную близ Астуры — уединенное имение, имевшее выход к морю. С собой они собирались взять только самых верных рабов и в случае, если враги их все-таки настигнут, могли рассчитывать, что успеют погрузиться на корабль и отплыть на Восток.

Они уже выехали в дорогу, когда Квинт Туллий вспомнил, что забыл дома деньги. Перспектива остаться без средств страшила его ничуть не меньше,

чем угроза смерти. И он решил, сделав крюк, заглянуть в Арпин, родовое гнездо Туллиев, где и взять все необходимое. Сын отправился вместе с ним.

Расставшись с братом и племянником, Цицерон почувствовал себя растерянным. Он все еще не мог поверить в предательство Октавия, случившееся казалось ему досадным недоразумением. Впрочем, он понимал, насколько велика ненависть к нему Антония и Лепида. Оставаться в Риме действительно было страшно, а бежать он боялся. Полностью дезориентированный, он принялся метаться. Двинулся к Риму, затем повернул назад, добрался до юга, сел на корабль, идущий в Грецию и... высадился на Гаэте, где у него имелся дом.

Но спокойствия он не обрел и здесь. Рабы волновались ничуть не меньше хозяина, то ли тревожась за него, то ли опасаясь обвинений в соучастии преступнику. Уже наутро следующего дня они усадили его в носилки и понесли к побережью в надежде, что корабль, доставивший его сюда, еще не отплыл.

Едва они покинули дом, в него ворвался целый отряд воинов. На все вопросы командовавшего им трибуна перепуганные слуги отвечали затравленным молчанием.

В эти скорбные дни похожие сцены разыгрывались в Италии повсюду. Люди, провинившиеся в том, что однажды перешли дорогу кому-либо из триумвиров или их родственников^[150], или просто в том, что накопили слишком завидное богатство, оказались в роли несчастных преследуемых жертв. Кого-то родные и близкие спасали, демонстрируя мужество и героизм. Кого-то предавали, являя пример подлой трусости...

...В доме на Гаэте жил грек-вольноотпущенник по имени Филолог. Он вырос в доме Цицерона, получил от

старого оратора образование и состояние. Но призрак награды за предательство вскружил ему голову. И он показал трибуну узенькую тропинку, почти не видимую в зарослях. Этот человек, центурион по имени Геренний, несколько лет назад обвинялся в убийстве отца, и адвокатом на его суде выступал Цицерон. Тогда Цицерону удалось спасти его от смерти...

Геренний легко нагнал носилки. Носильщики остановились. Марк Туллий выглянул наружу, узнать, что случилось. Возможно, он даже не понял, что происходит, потому что уже в следующий миг меч центуриона перерезал ему горло.

Рабы в ужасе разбежались³⁸. Геренний спокойно отсек от мертвого тела голову и кисти рук. Антонию будет приятно получить этот зловещий трофей, рассуждал центурион, ведь еще недавно эти пальцы сжимали свиток с текстом очередной «Филиппики»... Действительно, останки Цицерона впоследствии были возложены к подножию ростральных трибун, для острастки римлян^[151]...

Цицерон погиб в Декабрьские ноны 43 года^[152], в 21-ю годовщину своей победы над Катилиной. Но, конечно, погиб не он один.

Проскрипционные списки разбухали день ото дня. Разумеется, палачей больше всего привлекала возможность присвоить себе имущество гонимых. Официально они совершали конфискации в пользу казны, якобы осуществляя сбор средств для войны с республиканской армией. Однако мало кто из них лишал себя удобного шанса погреть на проскрипциях руки.

Единственным владельцем миллионного состояния, пережившим эту бурю без всякого вреда для себя, оставался Тит Помпоний Аттик. Его защитил Антоний —

в знак признательности за то, что годом раньше Аттик помог Фульвии и его детям^[153].

Спаслись от неминуемой смерти лишь те, кто успел вовремя убраться из Рима. В их числе были молодой патриций Марк Валерий Мессала Корвин, друживший с Кассием, и юный друг Брута Публий Антистий Лабеон. Испытав в пути почти невероятные приключения, они вместе с еще несколькими беглецами в конце концов сумели добраться до лагеря тираноборцев, которым и поведали об обрушившемся на Рим несчастье, завершив свой рассказ скорбным списком погибших друзей.

Брут и Кассий по-прежнему находились на Востоке. Поход на Италию, который осенью 43 года мог бы помешать образованию триумvirата, так и не состоялся.

Ужасные новости из Рима застали их врасплох, однако ничуть не уменьшили решимости продолжать начатое дело. Своего зятя Лепида они не переоценивали, прекрасно понимая, сколь ничтожна его роль в последних событиях. Но и союз Антония с Октавием не казался им прочным — слишком разными были эти люди. Но даже если эта парочка не перессорится до весны, рассуждали они, и попытается высадиться в Греции, чтобы нанести удар по республиканцам, еще неизвестно, чем закончится схватка. И та и другая стороны располагали примерно равными силами, а тираноборцы чувствовали именно себя защитниками закона и права.

Мало того, теперь почти каждый воин в войсках Кассия и Брута горел жаждой мести за погибшего родственника или друга.

Даже идеалист Марк ясно видел это. Он всегда стремился избегать ненужного кровопролития. И к чему это привело? Он не позволил убить Антония и тем

самым обречь на гибель десятки единомышленников. Почему доброе дело обернулось злом?

Будь он один, он, быть может, и дальше продолжал бы держаться своих принципов, считая милосердие и сострадание высшими ценностями. Но теперь он стал императором. На него смотрели сотни и тысячи примкнувших к нему людей. Они надеялись на него и ждали, что он поможет им совершить священную месть. Согласно римским верованиям, корнями уходившим в глубину веков, жертва не может обрести вечного покоя, пока ее убийца не понесет справедливой кары. И практически все воины Брута разделяли эту веру.

Брут ошибся, рассчитывая на ответное благородство Антония. Теперь он осознал, что этот человек понимает лишь один язык — язык силы.

В глубокой подавленности он сел за письмо к Квинту Гортензию в Фессалоники, приказывая тому казнить Гая Антония, которого прежде пощадил. Теперь он должен умереть — за Децима и Цицерона. Неужели в Риме никогда не прекратится эта страшная череда смертей и братоубийств?^[154] Слезы бессилия и ярости душили Брута, когда он вспоминал всех тех, кто погиб, потому что он не успел прийти к ним на помощь. Вместе с болью в его душе все сильнее нарастало отвращение. Что осталось от горячо любимого им Рима, что осталось от лелеемых им политических идеалов, что осталось от народа, которому он так хотел служить? Голова несчастного Короны брошена к подножию ростральных трибун, рядом с головой Цицерона. Должно быть, они будут в каждый миг напоминать остальным сенаторам, что мужество и стремление к свободе обходятся нынче слишком дорого...

Брут приготовился ждать. Он ждал весны, которая, к счастью, в этих краях наступала рано, чтобы двинуть свои отряды к Греции и встретить там войско Антония.

В том, что Антоний поспешит ему навстречу, он не сомневался. Тогда настанет час последней битвы.

Какими силами он располагал? Кассий все еще выколачивал из провинций деньги, действуя порой не слишком законными методами. Марк не решался последовать его примеру. Он по-прежнему предпочитал убеждение, не прибегая к угрозам, и за зиму объездил немало восточных городов. Попутно он старался решать и местные проблемы. Чтобы не думать об умершей Порции и ужасах, творившихся в Риме, он с головой ушел в дела, сознательно доводя себя до физического и нервного изнеможения. Ему не хотелось, чтобы окружающие догадались, какая тоска его гложет, как ему одиноко.

Города сменяли один другой. Несколько дней в Дамаске, неделя в Кизике. Оттуда — в Смирну, Милет, Эфес. Наступало новое утро, а с ним новые заботы, большие и малые. В Эфесе он вступился за права и привилегии иудейской общины, еще раз доказав, сколь многим он отличался от Кассия, который, прибыв в Иерусалим, потребовал подчинения всей Иудеи во главе с синедрионом.

Он по-прежнему полагал, что его долг — защищать слабых и карать негодяев. В Кизике судьба столкнула его с известным ритором Феодотом, бывшим наставником юного Птолемея, брата Клеопатры. 13-летний Птолемей легко стал игрушкой в руках Феодота, который, сговорившись с евнухом Потинном, организовал убийство Помпея.

Между Брутом и Гнеем Великим всегда существовала глубокая личная неприязнь. Повинуясь чувству долга, Марк примкнул к армии Помпея, но он никогда не забывал ужасных обстоятельств гибели своего отца и злобной клеветы, распространяемой помпеядцами на его счет. Поражение Помпея под Фарсалом огорчало его лишь потому, что означало

поражение республиканцев. Но, как и большинство римлян, Брут считал убийство Гнея, которого египтяне вероломно заманили в ловушку, неслыханным преступлением. Даже те из них, кто, попадись им в руки Помпей, без зазрения совести отправили бы его на тот свет, возмущались вмешательством египтян в дела, касавшиеся исключительно сынов Волчицы. Гибель Помпея они воспринимали как личное оскорбление.

Этого не простил им и Цезарь. Молодой Птолемей погиб в неравной битве против римских легионов, Потин был казнен. В живых оставался только Феодот. Ждать пощады от Брута ему не приходилось. Ритор и высокий сановник был приговорен к повешению—наиболее позорной, с точки зрения римлян, казни. Правосудие свершилось [\[155\]](#).

Между тем приближалась весна, а вместе с ней — неизбежная схватка с Антонием, но собственных сил Бруту явно не хватало. Он понимал, что без помощи Кассия ему не обойтись. По слухам, за последние месяцы Гай, прикрываясь стремлением наказать города, поддержавшие Долабеллу, успел награть на Востоке баснословные богатства. Согласится ли он отдать их на общее дело? Захочет ли продолжать войну? История знала немало примеров, когда самые отважные полководцы, попав в расслабляющую атмосферу эллинистической культуры, забывали и о долге, и о родине...

Кроме того, Брут помнил, что Гай всегда немного завидовал ему. Неуклюжие происки Сервилиии, озабоченной карьерой сына и желавшей принизить успехи зятя, наверняка не понравились своенравному Кассию. Во всяком случае, за последние полгода Марку так и не удалось убедить Гая в необходимости встречи.

Но разве имели они право, они, последние вожди республиканской партии, ставить под угрозу судьбу

Рима из-за мелких личных интересов?

Тщательно обдумав ситуацию, Брут сочинил короткую записку к Кассию, не оставляя тому лазеек для дальнейших проволок.

«Мы собрали войска для освобождения родины от рабства и тирании, а вовсе не для завоевания империи. Довольно бродить вокруг да около; пора вспомнить о цели, стоящей перед нами. Поэтому мы должны не удаляться от Италии, а, напротив, держаться к ней как можно ближе и идти на помощь согражданам».

В заключение он предлагал Кассию встретиться в Сирии. Иными словами, он проявил готовность самому проделать весь путь, преодолев разделявшее их пространство. Тем самым он как бы признавал «старшинство» Кассия, действительно обладавшего более значительным боевым опытом и имевшего в подчинении гораздо больше легионов.

Наверное, Сервилия возмутилась бы его решением. Но карьерные соображения меньше всего волновали Брута, сознававшего, что с гибелью Республики о какой бы то ни было карьере придется забыть навсегда.

Кассий не собирался уступать другу в благородстве, как, впрочем, не слишком спешил отдавать ему инициативу. Он предпочитал не вспоминать о прошлогодних военных успехах Брута, зато себя искренне считал выдающимся стратегом и мечтал лично возглавить республиканскую армию. Поэтому диктовать условия встречи будет он, Кассий. И встреча состоится в Смирне, до которой им обоим добираться примерно одинаково.

С такими настроениями он и тронулся в путь. С собой он взял внушительный эскорт, заранее предвкушая, как поставит на место этого штатского выскочку, кабинетного философа, по чистой случайности оказавшегося на поле брани. Впрочем, не исключено, что на душе у Кассия и сопровождавших его

легатов скребли кошки. Слава об их грабежах успела распространиться далеко. А что, если несгибаемый Брут потребует от них объяснений?

В то же время оба полководца не могли не понимать, что на них обращено слишком много взоров. Мстители за поруганную свободу, живое воплощение римского духа, разве имели они право демонстрировать окружающим свои разногласия? Поэтому на людях Брут и Кассий вели себя так, словно решимость выступить единым фронтом против общего врага ни у одного из них не вызывала ни тени сомнения. Но наедине...

Не теряя времени понапрасну, Брут первым делом предложил обсудить столь волновавший его финансовый вопрос. С откровенностью, заставившей помощников Кассия снисходительно улыбнуться, он рассказал о своих денежных затруднениях, не забыв — качество, унаследованное от Катона, — отчитаться в каждом потраченном сестерции. Большую часть его средств поглотил флот, но ведь без флота им нечего рассчитывать на успех, не так ли? Он ни словом не упомянул про заем, взятый у Аттика под его личную ответственность, как не стал вспоминать, что большую часть полученных тогда средств и все нанятые корабли передал Кассию. Эти мелочные счета не к лицу истинному патрицию...

Скромность Брута растопила сердце Кассия. Что ж, он готов поделиться с другом своими богатствами... И тут в разговор неожиданно вступили легаты Кассия.

— Разве это справедливо, — громко протестовали они, — отдавать Бруту деньги, которые ты скопил ценой суровой экономии, выколачивая подати из населения провинций и заслужив их ненависть? И для чего? Чтобы помочь Бруту выглядеть щедрым в глазах воинов? Чтобы он ублажал народы, не давшие ему ничего?

По-своему они рассуждали логично, но Брут не собирался вникать в их логику. Деньги, добытые

неправедным путем, он намеревался потратить на священное дело, а потому твердо стоял на своем. В конце концов Кассий сдался. Он согласился передать Бруту треть имевшихся в его распоряжении средств.

Поведение Брута оставалось по-прежнему безупречным. Он демонстрировал Кассию все знаки уважения, никогда не садился первым в его присутствии, пропускал его перед собой, одним словом, всячески старался показать, что уважает в нем более опытного военачальника. На Кассия все это действовало безотказно.

Они не виделись почти полтора года. За это время Гай сильно изменился. Он постарел, и в свои сорок два года по сравнению с Марком казался человеком другого, старшего поколения. У него начались нелады со здоровьем, а характер, и прежде нелегкий, судя по всему, испортился окончательно. Всегда несдержанный, теперь он впадал в гнев из-за пустяка, а потом подолгу не мог избавиться от подавленности.

Как ни тяжело протекало обсуждение финансовых материй, трудности удвоились, когда соратники перешли к решению чисто военных вопросов.

Положение на конец зимы 42 года складывалось ясное и определенное. Достойный ученик Цезаря, Антоний не стал ждать официальной даты открытия навигации и уже начал потихоньку переправлять войска в Грецию, надеясь застать противника врасплох. По данным разведки, восемь из сорока легионов уже вступили на землю Македонии. Учитывая, что во многих городах провинции жили ветераны Цезаря, враждебно настроенные к тираноборцам, даже этих сил Антонию могло хватить, чтобы почувствовать себя в Македонии полновластным хозяином.

Брут считал, что надо незамедлительно двигаться к Греции, выбить назад, к морю, эти восемь легионов.

Если же наложить блокаду на побережье Адриатики, еще неизвестно, сумеет ли Антоний ее прорвать.

Он рассуждал совершенно правильно, именно этого и не мог простить ему Кассий.

В отношении Гая Кассия Лонгина к шуринам всегда прослеживалась двойственность. С одной стороны, он восхищался им и любил его. С другой — он всегда ему завидовал. Ну хорошо, в конце концов он согласился признать его интеллектуальное и нравственное превосходство. Но уж в области военной стратегии он уступать не собирался! Чтобы этот книжный червь разрабатывал планы боевых операций? И диктовал ему, опытному воину? Этого Гай Кассий не допустит.

Напустив на себя важный вид, щеголяя жаргонными словечками, понятными каждому солдату, он при полном одобрении своей свиты принялся объяснять Марку, почему его план не годится. Ты все упрощаешь, высокомерно вешал Кассий, тогда как в настоящей войне нужны изобретательность и воображение. Посуди сам, высадить сорок легионов — это ведь не шутка. На это уйдет время, много времени. Допустим, они высадятся, а чем Антоний и Октавий будут кормить такую огромную армию? По земле Македонии прокатилось немало сражений, она обездолена. Значит, во вражеском войске очень скоро начнется голод, а за ним — болезни и общий упадок духа. Начнется дезертирство. Вот тогда-то мы их и прихлопнем!

Эту тактику, направленную на изматывание противника, особенно любил Помпей, а ведь Кассий не зря так долго служил под его знаменами. Увы, он не подумал, что с выучеником Цезаря она вряд ли сработает. Гай Юлий никому не давал заманить себя в ловушку, и разгром Помпея под Фарсалом стал ярким тому доказательством.

Но ведь и Брут служил под началом Цезаря. Он гораздо лучше Кассия понимал образ мыслей Антония и

наверняка обладал способностью предугадать его шаги. Однако что он мог противопоставить Кассию, этому храброму вояке, и его штабу, сплошь состоявшему из легатов, имевших за плечами опыт многих походов? Своих трибунов, еще вчера сидевших на скамьях в греческой школе?

Самое печальное, что никто из присутствующих не хотел верить в правоту Брута. Не может же, в самом деле, штатский адвокат разбираться в стратегии лучше, чем герой парфянской войны? В конце концов и сам Марк начал сомневаться в себе, а самое главное, он не хотел и не мог себе позволить разозлить Кассия. И дал себя уговорить.

Кассий провел на Востоке почти двадцать месяцев и за это время подчинил себе почти все провинции, кроме маленькой Ликии и острова Родос, что не давало ему покоя, особенно Родос, славившийся своими богатствами. Свое нетерпение отправиться на завоевание этих земель Кассий объяснил тем, что им необходимо завладеть ликийским и родосским флотом, иначе его перехватит триумвират. Доля истины в его словах была. Республиканцы не могли позволить себе роскошь биться на два фронта, а ведь оставалась еще Клеопатра, искренне их ненавидевшая.

После короткого обсуждения Кассий убедил Брута двинуться на Ликию, а сам отдал предпочтение Родосу. Может быть, на этом богатом острове он надеялся восполнить средства, переданные Марку? Идеалист Брут не заподозрил ничего дурного и принял предложение.

От населения Ликии он не требовал ничего сверхъестественного и грабить его не собирался. Он нуждался в кораблях и денежных налогах, собирать которые имел полное право, поскольку считал себя законным наместником провинции. Однако жители этой страны издавна пользовались репутацией гордого и

независимого народа, готового ради свободы на любые жертвы. Они доказали это Киру, а после него — Александру. Случалось, что перед угрозой покорения ликийцы сжигали свои дома, убивали жен и детей, а потом добровольно лишали себя жизни. Среди греков они считались чуть ли не варварами.

Брут, отлично знавший историю греческого и эллинистического мира, уважал славное прошлое Ликии. Но главное, себя он вовсе не считал захватчиком. Напротив, ведь он делал все, чтобы освободить народы от тиранов.

Этого мнения не разделяли ликийские политики. Некто Навкрат не ограничился спором с Брутом, а перешел от слов к делу. Он подбил соотечественников на сопротивление и стал инициатором образования лиги, включившей несколько городов. Неизвестно, двигал ли им мятежный дух или он испытывал тайные симпатии к цезарианцам, но его отряды заняли холмы, окружавшие проходы к главному городу провинции Ксанту и порту Патары. Брут хотел избежать кровопролития, однако его подгоняло время. Он бросил несколько конных отрядов на расположение ликийских воинов. Время приближалось к полудню, и те совсем не ожидали нападения. Кто-то из них закусывал, другие дремали после обеда. Атака римлян произвела среди них настоящую панику. Ликийцы в беспорядке бежали, оставив за собой шесть сотен мертвых тел.

Дальнейшее продвижение Брута пошло как по маслу. Крепости и города сдавались ему без боя. Он не устраивал никаких казней мирного населения, а пленных отправлял по домам. Впрочем, ликийцы не оценили великодушия победителя, приняв его за слабость, и собрали вооруженные отряды. Бруту пришлось снова теснить их, в конце концов загнав в Ксант. Город оказался в осаде.

Римские осадные орудия того времени отличались огромной разрушительной силой, и защитники города понимали, что у них нет никаких шансов. Вот если бы выбраться наружу и снова засесть в окрестных холмах... Ксант стоял на реке того же имени, и осажденные решили попытаться под покровом ночи покинуть город вплавь.

Брут предвидел подобную хитрость и велел перегородить реку вверх и вниз по течению сетями, к которым привязали колокольцы. Первые же пловцы поплатились за свою смелость и попали в руки римских легионеров.

Ликийцами овладело отчаяние. Казалось, они должны капитулировать. Брут обещал жителям города жизнь и безопасность, они же ему не верили. Или не хотели верить, верные своей традиции считать позором любую капитуляцию. В крайнем случае им придется повторить то, что их предки сделали во времена Кира и Александра — поджечь город и сгореть в пламени пожара. Но прежде стоит совершить еще одну отчаянную попытку...

Однажды ночью нескольким смельчакам удалось выбраться из города. Они пробрались в римский лагерь и подожгли катапульты и баллисты. Разумеется, злоумышленников скоро схватили, однако осадные орудия пылали ярким пламенем, ведь изготавливали их из дерева, веревок и пакли. Пока тушили пожар, поднялся ветер. И дул он в направлении Ксанта. На крыши городских строений понесло искры, горящие угольки. Скоро нижняя часть города уже пылала.

В Риме редкое лето обходилось без пожаров. Брут и его воины не понаслышке знали о разрушительной силе огня, способной за считанные часы уничтожить целые жилые кварталы. И Брут без лишних раздумий отправил своих воинов спасать Ксант от огня.

Ликийцы и теперь не желали принимать помощь от захватчика. В каком-то самоубийственном экстазе они подбрасывали в ревущее пламя все, что могло гореть, одновременно норовя пустить стрелу в спину одному из добровольных спасателей.

Когда римляне сломали ворота, которые больше никто не охранял, их взорам открылась страшная картина. В городе было светло как днем, кругом ревел и бушевал огонь. Жители, словно в страшном сне, предавались коллективному самоубийству. Матери хватали на руки детей, забирались на горящие крыши, швыряли их оттуда вниз и следом прыгали сами. Отцы рубили мечом сыновей, а потом пронзали себе сердце. Это была вакханалия смерти, кровавый бред, разгул фанатизма.

Как спасти этих обезумевших людей? Брут пообещал награду каждому, кто приведет к нему живого жителя Ксанта. Легионеры бросались в горящие дома, надеясь отыскать хоть кого-нибудь из них. Сам полководец, не думая об опасности, бродил по городу, потрясенный картинами этой бессмысленной жестокости.

К утру от Ксанта остались одни головешки. Римским воинам удалось спасти всего сто пятьдесят человек, в основном рабов и женщин, приехавших сюда из соседних Патар и застигнутых осадой^[156].

Брут сделал все, чтобы спасти Ксанта, но город пал жертвой собственной безумной гордыни. Однако что произошло, то произошло. В Ликийи слухи о гибели Ксанта произвели неизгладимое впечатление. Жители других городов, презиравшие Брута за проявленное к ним милосердие, теперь уверовали, что перед ними — беспощадный император, с которым лучше не спорить.

В Патарах весть о приближении римского войска заставила большинство населения сжаться от страха.

Никому не хотелось повторить судьбу несчастного Ксанта. Никому, кроме нескольких отчаянных голов, в числе которых оказался и Навкрат. Еще до трагедии в Ксанте он пообещал рабам свободу, а свободным гражданам прощение всех долгов, если они согласятся защищать Патары. Многие из тех, кто согласился, теперь жалели о своей горячности. Но рабы и бедняки надеялись на лучшее, слишком уж радужное будущее открывали перед ними щедрые посулы Навкрата. Остальные горожане, неосторожно поспешившие вооружить чернь, теперь боялись ее не меньше, чем легионеров Брута.

Под давлением вооруженной толпы высшие сановники Патар заперли перед римлянами городские ворота и объявили Бруту, что будут сражаться до последней капли крови. Это гордое заявление не слишком соответствовало действительности, но Брут об этом не догадывался. Ни за что на свете он не хотел допустить повторения того кошмара, который пережил в Ксанте.

К нему привели уроженок Патар, спасенных от пожара в Ксанте. Большинство из них принадлежали к лучшим семействам города.

Судьба пленников в те времена оставалась незавидной. Как правило, их продавали на невольничьих рынках, если только у родственников несчастных не хватало средств, чтобы выкупить их из плена. Но Брут относился к женщинам с уважением. И в его лагере их содержали вполне прилично, насколько позволял суровый военный быт.

И вот теперь он пригласил их к себе и объявил, что отпускает на свободу. Без всякого выкупа. И приказал воинам доставить пленниц к городским воротам.

Неужели он, которому такое множество раз самые разные люди платили злом за добро, все еще верил в

людскую благодарность? Да, верил. И на сей раз не ошибся.

Рассказ вернувшихся из Ксанта женщин произвел в Патарах подлинный переворот. Вместо кровавого убийцы перед жителями города встал в образе римского полководца самый милосердный, самый благородный из мужей! Он не позволил ни одному из своих воинов покушаться на честь пленных женщин! Люди слушали и не верили своим ушам. Ворота Патар распахнулись перед Брутом [\[157\]](#).

Жители Патар отдали ему свои корабли и снабдили его золотом, считая, что легко отделались. 50 талантов — ровно треть собранной суммы — Брут им вернул, посоветовав истратить эти деньги на починку храмов и городских памятников. Оставшиеся средства приказал считать авансом, освободив Патары от податей на несколько ближайших лет.

Он поступил мудро. Прочие ликийские города поспешили последовать примеру Патар и добились для себя столь же выгодных условий.

Совсем иначе вел себя Кассий на Родосе. Ему понадобилось провести два жестоких морских сражения, а затем подвергнуть город осаде. Исход дела решили новейшие осадные орудия — подвижные башни, сконструированные мастерами Кассия. Родосцы не выдержали натиска и сдались.

Гай Кассий Лонгин ничем не походил на Марка Юния Брута. Никакой снисходительности к поверженному противнику от него ждать не приходилось. Непосильные налоги, обвальные конфискации, казни вождей, возглавивших сопротивление, — вот что преподнес он жителям Родоса. Еще многие годы спустя матери пугали маленьких детей рассказами про злого Кассия...

Его же это мало волновало. Пусть Брут церемонится с врагами, его интересует одно — польза и выгода. Он не дрогнул даже тогда, когда к нему явилась целая депутация его же бывших учителей, умолявших пощадить их соотечественников. Правда, эти старики совершили непростительную оплошность, обратившись к Кассию, в котором ни один из них не узнал бы прежнего эфеба, со словами: «Царь и господин!»

— Я не царь и не господин, — насмешливо отвечал Кассий. — Я — тот, кто покарал господина, пожелавшего стать царем.

Мольбы убеленных сединами раторов пропали втуне. Кассий сумел нагнать страху на жителей провинции. Города сдавались ему один за другим, а аппетиты Кассия все росли. Он потребовал выплаты налогов за десять лет вперед и без труда получил требуемое. Между делом его помощники наперебой набивали собственные карманы.

По вечерам, пируя в тесном кругу, они со смехом вспоминали сурового Брута и восторженных юнцов, служивших под его началом. Не признаваясь в том самим себе, они боялись влияния Марка Юния на их командира, боялись, как бы Кассий, пристыженный Брутом, не решил, что их бесчинствам пора положить конец. Марк и в самом деле прислал Гаю несколько писем, в которых спрашивал, верны ли слухи о жестокостях и беззакониях, допущенных в Родосе. И легаты Кассия лезли из кожи вон, чтобы настроить его против друга.

Они называли его лицемером, озабоченным только тем, чтобы прославиться, задвинув в тень отважного Кассия. Он хочет один командовать армией, а потом, после победы, единолично властвовать в Риме. Гай слушал эти глупости и поневоле начинал им верить. Он видел, с какой ненавистью говорят о нем родосцы и с каким почтением отзываются о Бруте ликийцы. А

помощники шептали ему в оба уха: Брут — демагог, он ищет дешевой популярности, он использует милосердие как оружие в политической борьбе. Особенно неприятными казались Кассию рассказы о военных победах Брута. После блестяще проведенной македонской кампании он и теперь доказал, что без труда овладел искусством стратегии. Попробуй теперь отмахнуться от его предложений! Эти размышления причиняли Кассию нестерпимые страдания.

Весна 42 года подходила к концу. Оба вождя республиканцев так и не смогли преодолеть натянутости в отношениях, а между тем Антоний и Октавий, не обнаружив в Греции никаких следов сопротивления, продолжали потихоньку переправлять сюда все новые легионы.

Марк понимал, что тянуть дольше нельзя. Как всегда, он не стал вспоминать былые обиды и сделал первый шаг, написав Кассию, что в ближайшее время ждет его в Сардах. Кассий принял предложение, в очередной раз подсадовав, что не догадался сам назначить встречу.

Перед войском Брут демонстрировал Кассию все свое уважение, как бы признавая за шурином его богатый боевой опыт^[158]. Так что внешне оба полководца вели себя как единомышленники. Но что скрывалось за этим благополучным фасадом?

Брут и Кассий верхом объезжали войска, а воины громко приветствовали своих императоров^[159]. Прежде, когда они вели боевые действия по отдельности, Кассий нисколько не возражал, чтобы Брута именовали этим званием. Теперь ему стало казаться, что двух императоров для одной армии многовато...

Из предыдущей, в Смирне, встречи с Гаем Марк вынес одно ценное наблюдение. Если он хочет говорить с другом начистоту, они должны остаться одни, оставив

за порогом советников и помощников, адъютантов и заместителей. Особой деликатности требуют одна-две темы предстоящего разговора. Не может же он при свидетелях обвинить мужа своей сестры в грабежах и зверствах...

Кассия приглашение переговорить с глазу на глаз насторожило. Он догадывался, о чем будет их беседа, боялся ее, а потому, едва Марк плотно закрыл двери, первым обрушил на него поток самых нелепых, абсолютно беспочвенных обвинений. Марк ответил ему в том же тоне. Слово за слово, и вскоре до слуха столпившихся за запертой дверью приближенных донесся шум яростной ссоры. Марк и Гай осыпали друг друга оскорблениями, припоминали друг другу обиды двадцатилетней давности, стараясь ударить побольнее. Вскоре бессвязные крики одного перешли в истерические рыдания, которые тут же подхватил второй.

— Если ты думаешь, что я на это способен, лучше убей меня сразу!

— Хватит с меня! Хватит, слышишь? Лучше мне умереть!

Брут плакал, не скрывая слез. Вся горечь, вся боль последних трех лет прорвались из его души с этими рыданиями. Он плакал от усталости, горя и отчаяния и между всхлипами бормотал: «Порция...»

Первым из стоявших за дверями не выдержал Марк Фавоний. После того как Октавий захватил власть в Риме, этот давний друг Катона пробрался к Бруту, прося у него убежища, и с тех пор вел в его ставке существование приживала.

Из стойка за эти трудные годы он успел превратиться в киника. Так ему было легче прощать себе вынужденные слабости. Он охотно пользовался своей новой ролью, чтобы ляпнуть какую-нибудь пошлость, а порой вел себя просто непристойно,

шокируя Брута. При всем при том Марк Фавоний оставался сенатором, к тому же единственным в окружении Брута сенатором. Ему перевалило далеко за пятьдесят, и он полагал, что благодаря почтенному возрасту ему позволено многое из того, что не позволено другим.

Итак, оттолкнув стоявших на пороге часовых, Марк Фавоний резко распахнул дверь и вошел в комнату.

— Эй вы, оба! А ну хватит! Я старше вас обоих, а потому слушайте, что я скажу!

И старик сенатор принялся цитировать монолог Нестора, разнимающего Ахилла и Агамемнона.

Это неожиданное вторжение остудило Кассия. Минуту спустя он уже громко хохотал.

Зато Брутом овладел приступ ярости. Его застали плачущим! Его, всегда гордившегося своей выдержкой! Тому, что его слезы видел Кассий, Брут не придавал большого значения. В конце концов они оба дали волю чувствам. Но чтобы его поучал этот старый болтун! Марк отер рукой лицо, вскочил на ноги и, решительно приблизившись к Фавонию, взял его за плечи и с силой вытолкнул за дверь, по-гречески крикнув вслед:

— Вон, собака! Вон, лжекиник!^[160]

Фавоний несколько не обиделся. Он даже улыбался, довольный, что положил конец ссоре военачальников. Действительно, оставшись одни, Марк и Гай успокоились. Наверное, Гай чувствовал себя виноватым, потому что тут же пригласил Марка к себе на ужин. Да не одного, а со всеми друзьями! Марк принял приглашение.

Правда, его раздражение еще не прошло, но злился он в основном на Фавония. Услыхав приглашение Кассия «для всех друзей», старик-сенатор счел, что оно распространяется и на него, несколько не обескураженный тем, что Марк этого приглашения не

подтвердил. Решив для себя, что философия киников позволяет опаздывать куда угодно, он не спеша отправился в бани, а оттуда — на пир. Как ни в чем не бывало он направился к центральному ложу, которое обычно занимали почетные гости^[161].

Это тщательно продуманное нахальство возмутило Марка. Он громко объявил, что не приглашал Фавония и приказал тому убираться вон. Старый киник только весело рассмеялся, давая остальным понять, что оценил шутку. И бесцеремонно улегся на почетном ложе, заставив другого гостя потесниться. Разозленный Марк во все время трапезы больше ни разу не посмотрел на него и не обратился к нему ни с единым словом.

Впрочем, скоро вкусная еда, превосходное вино и блестящий разговор Кассия разрядили обстановку. Наступил час философской беседы. Впервые за много месяцев Марк чувствовал себя хорошо. Он с удовольствием вспоминал недавно прочитанные книги, делился впечатлениями от лекций, на которых ему удалось побывать, и театральных постановок, которые удалось увидеть. Посреди бесчисленных забот этой зимы, кочуя по городам Азии и Сирии, он выкраивал время и для таких занятий, влекомый неутолимой жадной духовной культуры. Может быть, потому он и сумел выстоять, не сломался под тяжким бременем тягот и несчастий?

Отдых продлился недолго. Уже наутро Брут снова с головой окунулся в неотложные дела.

Пользуясь его присутствием в Сардах, жители города обратились к нему с жалобой на злоупотребления квестора Луция Геллия Попликолы^[162]. Марк ненавидел взяточников. Он и в Цезаре разочаровался не в последнюю очередь из-за того, что тот слишком охотно закрывал глаза на проделки продажных магистратов. О каком

возрождении Республики можно говорить, пока не будет покончено с этой язвой? Снисходительный к людским слабостям, в отношении к коррумпированным политикам он не знал жалости. Странно, что Луций Геллий этого не знал.

Особенное огорчение доставляло Марку чувство, что его одурачили. Ведь это он сам назначил Луция на ответственный пост, он доверял ему и считал порядочным человеком. И Брут вынес приговор: за позорящее римлянина поведение Луция Геллия от должности отстранить и предать суду.

Приговор как приговор. Но дело усложняла одна деталь: Луций принадлежал к одной из самых видных патрицианских фамилий, а в этих кругах не привыкли к подобному обращению. Сводный брат нечистого на руку квестора, Марк Валерий Мессала Корвин, служивший в ставке Кассия и входивший в число самых близких его друзей, воспринял решение Брута как личное оскорбление. Он бросился к Кассию. За что Брут так жестоко наказал его брата? Вот Кассий другое дело, всего неделю назад он рассматривал похожую жалобу на двух магистратов, виновных ничуть не меньше Луция, но простил их и оставил при должностях.

Почему же Брут столь суров? Похоже, твердил Мессала, он делает это нарочно, чтобы выставить в невыгодном свете его, Кассия.

По свидетельству очевидцев, Кассия хлопоты Мессалы «тронули». Зная взрывной характер Гая, мы можем догадаться, что это означало вспышку дикой ярости. Он ринулся к Марку, стучал кулаком по столу, называл его проклятым законником, кричал, что буква ему дороже духа, что у него напрочь отсутствует политическое чутье. Именно это они все видели в Мартовские иды. В заключение он объявил Марка бессердечным дельцом, неспособным к малейшим проявлениям человечности.

Именно так понимал Кассий человечность. Быть безжалостным к слабым и демонстрировать широту души к богатым мерзавцам, особенно высокого происхождения.

Пережитый накануне нервный срыв позволил Марку освободиться от страшного напряжения, давившего на него на протяжении всех последних месяцев. Теперь он вновь обрел полный контроль над собой. На крики Кассия он отвечал спокойно, даже насмешливо:

— Ну что ж, давай вспомним Мартовские иды. В тот день мы убили Цезаря, верно? Сам же он никого не грабил. Он всего лишь закрывал глаза на тех, кто этим промышлял. Если все, что тебя волнует, это подходящий предлог для попраения законности, то для чего мы пошли на убийство? Надо было и впредь молча терпеть все, что творили подручные Цезаря. И мы с тобой были бы всего лишь трусами... И если сегодня мы начнем позволять своим друзьям делать вещи куда хуже тех, что делали друзья Цезаря, кем мы окажемся? Людьми без совести и чести, вот кем! Ты не хуже меня знаешь, на что способна молва, а стоит один раз заслужить репутацию несправедливого правителя...

...Человек без совести и чести, несправедливый правитель — разве не этими словами определяется сущность тирана? Марк говорил твердо, не давая сбить себя с мысли. Впрочем, хорошо, он готов пойти навстречу Мессале. Из уважения к другу Кассия он согласен пересмотреть свое решение. Разумеется, Геллий будет отстранен от должности, зато он дарует ему жизнь и свободу.

Вот такие мелкие раздоры, повторявшиеся чуть ли не ежедневно, страшно вредили подготовке к будущей войне. Несмотря на искреннюю привязанность друг к другу, Брут и Кассий с трудом находили общий язык, когда речь заходила о конкретных делах. Обеспокоенные активностью триумвиров, они

попытались набросать план кампании, который устраивал бы обоих, но без конца принимались ссориться по пустякам.

К началу лета 42 года положение республиканцев, еще недавно относительно благоприятное, существенно ухудшилось. Они постепенно теряли контроль над Средиземноморьем и Адриатикой.

Кассий, имевший опыт ведения войны на море, стоял за применение знакомой ему тактики: наложить блокаду на итальянские порты и не давать войскам Антония выбраться из них. Октавий перебросил свои легионы в Сицилию, пытаясь выбить занявшего ее Секста Помпея.

Под командованием флотоводца республиканской армии Луция Стая Мурка насчитывалось 60 кораблей — больше, чем требовалось для обеспечения блокады Брундизия и поддержания связи между Италией, Грецией и Иллирией. Ему даже не приходилось больше опасаться нападения египетского флота — корабли Клеопатры попали в страшную бурю и большей частью находились в ремонте. Египетская царица в большом недовольстве вернулась в Александрию, оставив Антония и Октавия разбираться со своими врагами самостоятельно.

Блокада продолжалась несколько недель, к исходу которых Антоний убедился, что прорвать ее невозможно. И тогда он сделал смелый ход, еще раз доказавший, что под внешностью беззаботного гуляки в нем скрывался действительно талантливый стратег. Посчитав, что рассеять эскадру республиканцев можно, только напав на нее с тыла, он написал Октавию, убедил его оставить безнадежную затею взять осадой Сицилию и на всех веслах мчаться к нему на помощь. Тот так и сделал. Перед превосходящими силами противника Мурк оказался беспомощен. Не желая зря губить людей и корабли, он увел их в Грецию.

Получив свободу передвижения, Антоний приступил к массированной переброске войск и вскоре занял Аполлонию и Диррахий. Взяв под контроль Эгнатиеву дорогу, он дошел до Фракии, перекрыл подступы к горной цепи Родопе и овладел Дарданеллами. Теперь республиканцам, чтобы высадиться на европейский берег, пришлось бы пробиваться к нему с боями.

Нетерпеливое желание подчинить себе весь Восток затмило Кассию разум. Он совершенно упустил из виду необходимость следить за побережьем Адриатики и не послал туда ни одного легиона. Очевидно, он полностью понадеялся на Мурка и его флот. Видно, опыт службы под знаменами Помпея его ничему не научил. В итоге получилось, что Кассий повторил все ошибки Гнея Великого, ну а Антоний сумел извлечь максимальную пользу из уроков Цезаря.

Когда Брут и Кассий узнали о тяжелом положении, в котором оказался Мурк, они спешно переправили ему подмогу: 50 кораблей под командованием Гнея Домиция Агенобарба, легион солдат и отряд лучников. Увы, время было упущено. Прибыв к месту назначения, Агенобарб лишь убедился, что силы триумvirата прочно удерживают европейское побережье и подходы к морю.

Кассий не мог не понимать, как жестоко он просчитался. Если бы не его упрямство, заставившее республиканцев потратить три месяца на решение задач второстепенной важности, они уже заняли бы Македонию, куда поостереглись бы сунуться Антоний с Октавием. Триумвирам пришлось бы вести оборонительную войну, а с поддержкой Секста Помпея республиканцы смогли бы организовать успешную высадку на итальянское побережье.

Теперь вместо этого им пришлось второпях собирать войска, рассредоточенные в окрестностях

Абидоса, и двигаться к Фессалоникам, моля богов, чтобы успеть туда раньше Антония.

Чтобы не деморализовывать воинов, Брут не позволял себе ни малейшей критики в адрес Кассия, не сокрушался, зачем Гай не прислушался к его советам. Но Кассию это служило слабым утешением. Его убежденность в превосходстве над Марком хотя бы в сфере военной стратегии серьезно поколебалась. Он уже не верил в возможную победу и все чаще думал о смерти. Еще под Каррами он приблизил к себе бывшего гладиатора Пиндара, которому дал вольную. С тех пор Пиндар следовал за ним повсюду. Официально он считался, его телохранителем, на самом же деле Гай держал его при себе на крайний случай — он знал, что рука бывшего раба не дрогнет, если над его хозяином нависнет угроза пленения. Пиндар олицетворял для него гарантию против пытки и бесчестья. Казалось бы, разумная предосторожность, но постоянное присутствие профессионального убийцы невольно наводило Кассия на самые мрачные мысли.

В действительно серьезной ситуации Брут умел отставить в сторону личные обиды. Он и теперь всеми силами старался сгладить свои разногласия с Кассием и щадил его самолюбие. Тем не менее на всем протяжении этого месяца, который он упорно продолжал именовать квинтилием, хотя почти все уже привыкли называть июлем, именно на его плечи легла основная тяжесть забот. Если изредка ему выпадала свободная минута, он брал в руки книгу, — и тогда ближайšie помощники Кассия насмешливо переглядывались: чего, мол, ожидать от этого любителя и дилетанта...

Он не сердился на них. Самоотречение всегда казалось ему нормальным свойством человека. Пусть его одолевает усталость, пусть временами на него нападает отчаяние — но ведь есть Рим! Не тот

существующий в реальности Рим, в котором ручьями льется кровь жертв проскрипций, а город его мечты, город Свободы и Доблести. Город, в который вместе с ним верили Катон и Цицерон, в который благодаря ему поверили Лабеон и другие его юные соратники. Он знал, что ради этого высокого идеала они готовы умереть. Как и он сам.

Вот почему он не имел права на усталость и сомнения.

Сомнения все-таки одолевали его. Сомнения и страшная усталость.

Он спал не больше трех-четырёх часов в сутки. Вечером, наскоро проглотив скромный ужин, он просто отключался, порой не успев добрести до походной кровати, прямо за своим рабочим столом, заваленным свитками. В полночь он уже снова был на ногах, принимал явившихся с докладом центурионов и трибунов, раздавал приказы на завтрашний день. Отпустив людей отдыхать, он снова садился за стол и работал до зари. Возможно, он понимал, что истязает себя, но не видел иного выхода. Кассий явно не соответствовал важности возложенной на него задачи, да и в любом случае он считал себя выше низменных хлопот по организации быта и снабжения армии. Кроме того, Брута, требовательного к себе, постоянно грызла мысль о том, что его компетенции недостаточно для решения ответственных вопросов. В отличие от самоуверенного Кассия он, скорее, недооценивал себя и полагал, что только сверхчеловеческая трудоспособность позволит ему держаться на должном уровне.

Виной ли тому физическая усталость на грани изнеможения, удушливая жара знойного малоазийского лета, возобновившиеся приступы малярии, от которых периодически страдало большинство римлян, только за

несколько дней до выступления армии в Испанию с Брутом произошел странный случай. Ему было видение.

Стояла глубокая ночь, время близилось к трем часам. Весь лагерь давно спал. Бодрствовал один Брут да часовые, охранявшие его палатку. Во влажной духоте не раздавалось ни единого звука; сквозь низкое, затянутое тяжелыми облаками небо не проглядывало ни одной звезды — лишь горела слабым огоньком масляная лампа в палатке полководца. Может быть, он невзначай задремал? Именно это потом утверждали его друзья, хотя Марк клялся, что не сомкнул глаз всю ночь и то, что он видел, не могло быть сном. Ему почудилось, что в палатку кто-то вошел. Неясный силуэт вошедшего источал чуть заметный голубовато-серебристый свет.

Человек? Призрак?

Древние римляне относились к потусторонним явлениям не так, как мы относимся к ним сегодня. Они рассказывали друг другу о домах, в которых по ночам, гремя невидимыми цепями, бродят привидения. Они боялись в темноте проходить мимо кладбищ, потому что там, по слухам, разгуливают души умерших, вызванные в этот мир некромантами. Они верили в духов и демонов, причем последние не обязательно представлялись им силами зла. Ведь по-гречески словом «daimon»³⁹ обозначали ниспосланный богами дух, и каждый знал, что, например, дух Сократа отличался веселым и добрым нравом.

Марк удивился, но не испугался. Ему, не разделявшему ни материалистического, ни атеистического мировоззрения некоторых своих современников, явление сверхъестественного существа не должно было показаться чем-то совершенно немыслимым.

Приблизившись к Бруту, таинственная фигура остановилась и замерла, ни слова не говоря^[163]. Молчал

и потрясенный Марк. Наконец ему удалось выдавить из себя короткий вопрос:

— Кто ты?

Он даже набрался храбрости и протянул вперед руку, желая коснуться странного существа. В тот же миг видение исчезло.

От растерянности Брута не осталось и следа. Он громко закричал, призывая стражников. Нет, твердо стояли те на своем, они никого не видели. Никто не приближался к палатке императора, никто не пытался в нее проникнуть. Ну ладно, согласился Марк, должно быть, я задремал... Он старался говорить спокойно, чтобы не давать пищи ненужным разговорам. Отпустив людей, он до рассвета просидел за столом, вспоминая видение. Что оно ему несло? Защиту? Несчастье? Предупреждение? Утром, разыскав Кассия, он поведал ему о ночном приключении.

Истинный эпикуреец, Кассий выслушал его рассказ с усмешкой. Он не верил ни в призраков, ни в духов. Он и в богов не верил. Ни до нас, ни после нас ничего нет и не может быть, говорил он. И завершил изложение своей философии решительным выводом:

— Твое изможденное тело, дорогой Брут, подвело твой же разум. Разве можно поверить, что существуют духи? А если бы они существовали, разве можно поверить, что они являются в человеческом облике и умеют разговаривать? Что они способны являться в мир людей?

Марк не хотел пускаться в бессмысленный спор, в очередной раз доказывая Кассию, что, по его мнению, мир — вовсе не нелепая случайность в хаосе мироздания, не пучина страданий в мраке вечности... К чему слова?

Кассий больше притворялся. Он старательно разыгрывал презрение к убеждениям Брута, унаследованным и от стоицизма, и от платонизма, и

даже от пифагорейцев, чтобы не показать, как он завидует его умению верить в лучшее. Дружески опустив руку на плечо Марка, он горько вздохнул и сказал:

— Нет, я не верю, что духи существуют. А все-таки жаль, что их не бывает. Ведь мы с тобой защищаем самое святое, самое прекрасное, что есть на свете. Как было бы хорошо довериться богам и дожидаться от них помощи! Пока же у нас есть только наши кони, наши корабли и наше оружие.

Брут, как мы уже говорили, верил в богов. Но может быть, и боги верили в справедливость его дела? Кто, кроме них, мог накануне переправы в Европу послать к республиканской армии двух орлов, которые уселись на древки знамен и таким образом проделали весь путь через Геллеспонт? Столь доброе предзнаменование заметно подняло моральный дух воинов.

Впрочем, последние новости оказались не такими уж и плохими. Когда легионы Брута и Кассия покинули Лисимахию, что в Херсонесе Фракийском (ныне Галлиполи), и двинулись на запад, положение, после неудачи Мурка казавшееся им очень тяжелым, понемногу выправилось.

Теоретически на стороне республиканцев сражался 21 легион — примерно столько же насчитывали силы Антония и Октавия. Правда, не все когорты были полностью укомплектованы, тем не менее они в общей сложности объединяли 80 тысяч пехотинцев. Значительную часть воинов составляли ветераны армии Помпея, а 15 легионов имели за плечами опыт войны под руководством Цезаря. По сравнению с новобранцами, набранными в армию триумвиров, они являли собой грозную силу. Конница Брута, вместе с вспомогательными отрядами галлов, галатов, фракийцев и парфян, доходила до девяти тысяч бойцов; конница Кассия, кроме галлов и парфян включавшая

аравов и иберийцев, приближалась к шести тысячам. Противник не мог похвастать столь же мощной кавалерией.

Флот Мурка, объединившийся с флотом Гнея Домиция Агенобарба, теперь также превосходил триумвиров числом кораблей. Мурк не смог помешать врагу осуществить высадку на адриатическом побережье, зато перекрыл ему все пути подвоза продовольствия. Найти пропитание для гигантской армии в краю, годом раньше сдавшем все свои запасы Бруту, представлялось серьезной проблемой. Республиканцы не ведали подобных трудностей — господствуя на море, они наладили надежные пути снабжения и черпали все необходимое на богатом Востоке. И с деньгами все у них обстояло не так уж плохо в отличие от триумвиров.

Средства, полученные в результате недавних конфискаций, растаяли слишком быстро. Римляне в принципе не делали больших денежных накоплений, предпочитая вкладывать капиталы в земли, имения, произведения искусства. Разумеется, триумвиры не церемонились с владельцами этих богатств, прибрав к рукам все, до чего смогли дотянуться. Оставалось найти покупателей... И тут случилась заминка.

Проскрипции, задуманные как сведение счетов в политической борьбе, очень скоро приняли вид охоты на богатых горожан. Каждый, кто выказывал желание приобрести выставленное на торги имущество гонимых, тем самым признавался, что владеет необходимой суммой, и... пополнял собой проскрипционные списки. Очень скоро безумцев, согласных рисковать жизнью и благополучием ради приобретения нового имущества, не осталось вовсе. И представители знати, и члены сословия всадников сочли за лучшее затаиться, надеясь переждать смутные времена. И Антоний с Октавием оказались на мели. Нехватка наличности грозила им

большими неприятностями со стороны собственных легионеров, которые привыкли регулярно получать жалованье, а на задержки и проволочки отвечали мятежами. В худшем случае они могли и вовсе перевернуться к республиканцам.

Наконец, перед триумфирами остро стояла проблема императоров. Несмотря на частые ссоры между Брутом и Кассием, оба они служили одному идеалу. Их дружба, пусть неровная, но искренняя, насчитывала десятки лет и была скреплена семейными связями. Тертулла, хотя и не принадлежала к числу самых верных жен, все-таки любила Гая, и он платил ей взаимностью. Что же касается Марка, то он питал к младшей сестре огромную нежность. Молодой женщине нередко удавалось мирить повздоривших мужа и брата.

И, конечно, никакая разница темпераментов не могла затмить храбрость и отвагу, одинаково свойственные и Бруту, и Кассию.

У Октавия с храбростью дела обстояли неважно. Он всячески скрывал от окружающих этот свой порок, подговаривал лекарей сочинять ему всевозможные болезни, из-за которых он якобы не имел возможности участвовать в очередной битве. Эти его ухищрения ничего не меняли, он родился на свет трусом. Последним, кто верил в сказки о внезапных недугах Октавия, был Антоний. Октавий действительно тяжело болен, соглашался он, и его болезнь имеет точное название — «трусость».

Антоний заслужил за свою жизнь немало упреков, но никто, даже его смертельные враги, исключая, пожалуй, Цицерона, никогда не сомневался в его отваге. И мало кто в Риме верил в то, что союз между сорокалетним полководцем, увенчанным лаврами, и двадцатилетним малодушным лицемером окажется прочным.

Значит, не все еще потеряно. Переменчивая Фортуна пока не избрала себе любимца. Если республиканцы будут действовать с умом, они еще могут победить.

Примерно с такой речью обратился к своим воинам Гай Кассий Лонгин накануне перехода в Серрий, откуда открывался путь из Азии в Европу. В этот день Брут и Кассий устроили на Меланской равнине грандиозный смотр войск — дань римскому военно-религиозному обряду и вместе с тем верное средство дать людям почувствовать свою силу, убедиться в своей мощи.

Выступление Кассия началось сразу после того, как жрецы совершили очистительное жертвоприношение. Речь главнокомандующего перед строем солдат также отвечала требованиям традиции. Марк не стал оспаривать у Кассия этого права. Главное, рассуждал он, чтобы воины твердо верили в единство командования. Он согласился уйти в тень из лучших побуждений, но на самом деле совершил большую ошибку. Если его собственные воины видели его в сражениях и знали, на что он способен, то для легионеров Кассия он так и остался «чужаком». А если Кассий падет в бою? Пойдут ли воины за Брутом?

Впрочем, так далеко пока никто не заглядывал, да и Кассий пользовался в армии репутацией «баловня судьбы». Не раз и не два он бился в первых рядах, но стрелы и дротики летели мимо него, не причиняя ему никакого вреда.

Кассий говорил недолго. Стояло лето, а климат во Фракии жаркий. Ни один полководец не рискнул бы утомлять стоящих на солнцепеке воинов, многие из которых не понимали ни слова по-латыни, пространной речью [\[164\]](#).

— Мы в точности выполнили все данные вам обещания, мы щедро заплатили вам за вашу верность и,

боги свидетели, впредь не оставим без награды ни одну из ваших побед! И прямо сейчас, в благодарность за нетерпение, с каким вы рветесь в бой, о чем свидетельствуют ваши крики, мы вручим каждому воину по 1500 италийских драхм, каждому центуриону — впятеро, а каждому трибуну — вдесятеро от этой суммы!

Подобная практика широко применялась римскими военачальниками в те времена. Они платили воинам как бы авансом, заранее, демонстрируя им свое доверие. На сей раз сумма вознаграждения приятно удивила республиканских солдат, и они в приподнятом настроении двинулись вперед по Дорической дороге.

Своей цели — высокогорного отрога Серрия — эта стотысячная армия достигла без труда. Дальше начались сложности. В перевалах засел авангард армии Антония, которым командовали его ближайшие помощники Сакса и Флакк. Они перекрыли единственный проход, ведущий внутрь европейского континента. Любая попытка с боями пробиваться сквозь заслон в этих гористых местах оказалась бы самоубийственной.

Может быть, есть другие тропы, знакомые местным жителям? Брут, совершая поездки по Греции, заручился здесь поддержкой фракийского царя Раскупола, который теперь следовал за ним со своей трехтысячной конницей. Брат Раскупола, тоже военный вождь, возглавлял вспомогательный кавалерийский отряд, но только... в армии Антония. Возможно, между братьями существовала семейная вражда, возможно, они сознательно разделились — на всякий случай, чтобы кто-нибудь из членов рода так или иначе оказался в стане победителей. Раскупол объяснил Марку, что в горах действительно есть проход, которым пользуются фракийцы. Однако провести сто тысяч человек и сотни

коней, когда там и мул едва пройдет, нет, это невозможно.

Но римлян трудности не пугали. Легионеры привыкли, что в походах им приходилось тратить едва ли не больше времени и сил на сооружение мостов и дорог, чем на сражения с врагами. Считалось, что римская армия способна пройти везде, потому-то ее так и боялись. Префект, командовавший у Брута технической частью, заверил его, что постарается сделать все, что только возможно. Если есть хоть какая-то тропка, его люди превратят ее в дорогу. Да ведь и требовалось им совсем немного: обойти стороной засады, устроенные Норбаном Флакком. А потом войско вновь спустится на Эгнатиеву дорогу, выводящую прямо к равнине, на которой стоят Филиппы. Если продержится хорошая погода, дней за пять они минуют самый труднопроходимый участок пути.

Часть войска республиканцев села на корабли, чтобы обойти позиции Сакса, второго заместителя Антония. Воины Брута начали восхождение. Вооружившись топорами и лопатами, они расширяли дорогу — валили деревья, убирали камни. Командовал этой титанической работой сын Порции и пасынок Брута Бибул, которому отчим поручал все более ответственные задания.

Три дня люди трудились, не жалея сил. Но к утру четвертого ими овладело усталое отчаяние. Казалось, этим заросшим горным склонам не будет конца. Верно, тропинки, о которых говорил им Раскупол, существовали только в воображении фракийца. Они, во всяком случае, ничего, кроме непроходимой чащи, не видели. Уж не заманил ли он их в ловушку? Напрасно легаты и центурионы старались вернуть измученным воинам надежду на успешное завершение предприятия. Осталось совсем чуть-чуть, твердили они, хорошая дорога совсем рядом. Больше всех кипятился Раскупол,

но в ответ на его горячие призывы легионеры только улюлюкали. Кое-кто принялся швырять во фракийца камнями. Ближе к вечеру Бибулу удалось уговорить самых упрямых зачинщиков бунта отправиться вместе с ним на разведку. И действительно, стоило им преодолеть последний тяжелый отрезок пути, как их взорам открылось течение реки Несса, серебрившейся в закатных сумерках. Недовольство солдат быстро погасло, и уже к вечеру следующего дня Брут и Кассий смогли повести через горы основную часть армии.

Марш длился трое суток. На всем протяжении этого изматывающего пути — ведь приходилось тащить с собой обозы и животных — им не встретилось ни одного источника питьевой воды. От жажды люди едва держались на ногах, еще больше страдали кони.

Но вот наконец измученное войско вышло на Эгнатиеву дорогу, соединявшую Филиппы с Амфиполем, — благодатный тучный край. Именно здесь, по преданию, собирала цветы Прозерпина, когда ее похитил Плутон.

Норбан Флак и Сакс торопливо снялись с прежних позиций и поспешили к Амфиполю, надеясь, что Антоний не замедлит подвести к городу свои главные силы. Тот действительно как нельзя лучше воспользовался вынужденной задержкой противника и успел подтянуть к городу свои войска. Антоний во что бы то ни стало хотел дать решающее сражение до того, как погода окончательно испортится и настанут холода. Долгая зимовка никак не входила в его планы.

Положение тираноборцев, занявших равнину, казалось более выигрышным.

Город Филиппы, основанный за три столетия до того отцом Александра Македонского Филиппом как форпост, защищающий Грецию от фракийцев, располагался на холме, недалеко от моря^[165]. Сейчас на

его волнах покачивались корабли республиканцев, в любую минуту готовые вступить в морской бой с судами противника. На востоке над Филиппами нависала своей громадой горная цепь Пангей, на севере местность, поросшая буреломным лесом, резко понижалась, а на юге до самого побережья тянулись болота, над которыми поднимались гнилые испарения. За болотами виднелась гряда невысоких холмов, скрывающих теряющийся вдаль порт Неаполя. С другой стороны горизонта виднелись очертания зеленеющего острова Тасоса. На западе до самого Амфиполя простиралась, постепенно переходя в равнину, плодородная земля.

Таким образом, Филиппы представляли собой естественный анклав, удобный для обороны.

Дорога к Амфиполю пролегла между двух невысоких холмов. Именно отсюда ждали подхода легионов Антония и здесь решили остановиться Брут и Кассий. Их войска устроились на небольшом, около мили, расстоянии друг от друга. Лагерь Кассия тылами уперся в болота, лагерь Брута — в горный склон, так что от внезапного нападения в спину и тот и другой были надежно защищены. Между обоими лагерями воины спешно возводили оборонительные сооружения. Поскольку дорога к Амфиполю шла под уклон, республиканцы со своих позиций могли контролировать ее сверху, что создавало им определенные преимущества. Кроме того, здесь же, пересекая Эгнатиеву дорогу, протекал небольшой ручей — еще одна естественная преграда вражескому войску.

Тем временем Мурк со своим флотом захватил Неаполь, обеспечив бесперебойное снабжение армии продовольствием. Остров Тасос полководцы превратили в нечто вроде базы, здесь предполагалось разместить склады и лазарет.

В целом Филиппы, с точки зрения обороны, представлялись почти неприступной крепостью,

способной выдерживать осаду чуть не год, а то и дольше.

Такого мнения твердо придерживался Кассий. Надо сказать, что за последние пятнадцать лет его убеждения проделали странную эволюцию. В молодости он считался человеком действия, презирал чрезмерную осторожность и предпочитал наступательную тактику. И позже, шесть лет назад, служба под началом Помпея, он открыто критиковал своего военачальника за нерешительность и нежелание рисковать. И вот теперь он как будто повторял все приемы Великого.

Предлагая Бруту выжидать, Кассий делал ставку на то, что армии триумвиров крайне невыгодно оставаться под Филиппами на зимовку. Вдали от своей базы в Амфиполе, отрезанные от источников снабжения, их войска неизбежно столкнутся со многими трудностями. Недокормленные и замерзающие воины, которым к тому же полководцы не смогут вовремя платить жалованье, утратят весь боевой задор, рассуждал он, и справиться с ними будет легче легкого.

Брут не верил в подобную перспективу. Он помнил осаду Диррахия и понимал, что зимовка — палка о двух концах. Пусть его воинам не грозили голод и холод, но разве безделье и долгое ожидание много лучше? Они быстро деморализуют его солдат. И потом, затягивание кампании будет означать лишние страдания для людей. Почему греческие города должны оплачивать римскую свободу? Нет, с врагом надо покончить как можно скорее.

Но Кассий сумел настоять на своем. Марк, не желая обострять отношений с Гаем, слишком легко уступил ему право верховодить. Да и большинство легатов не сомневались, что более опытный, а главное, гораздо более самоуверенный Кассий знает, что делает.

Этот ученик Помпея упустил из виду одну чрезвычайно важную деталь: характер Антония,

который слишком долго воевал вместе с Цезарем и многому научился от него. Брут понимал, что кажущаяся нерешительность Антония — не более чем уловка, но внушить эту мысль Кассию так и не сумел.

Предсказания Брута сбылись с пугающей быстротой. Не прошло и десяти дней после того, как отряды Флакка и Сакса добрались до Амфиполя, как их нагнали ведомые Антонием легионы. Чтобы выиграть время, Антоний пошел на большой риск: вышел в поход без обозов. Он не взял с собой даже осадные орудия — слишком тяжелые и неудобные в транспортировке, они замедлили бы его стремительное продвижение вперед. Теперь они тащились сзади, отставая от армии на 60 километров.

Республиканцы оставили триумвиру немного возможностей для стратегического маневра, но он использовал их все, проявив подлинный полководческий талант. В тыл противнику его не пускали болота и горы — он и не пытался туда проникнуть, а вместо этого отважно встал прямо напротив вражеского расположения, на расстоянии полета стрелы.

Подобная дерзость немедленно принесла свои плоды. В лагере республиканцев поднялось волнение. Одних поражало демонстративное спокойствие Антония, даже в невыгодной позиции почему-то чувствовавшего себя уверенно. Другие, пожимая плечами, говорили: еще бы, всем известно, что он бесстрашный воин и настоящий император. Среди легионеров Антоний всегда пользовался популярностью, а чуть ли не половину армии республиканцев составляли ветераны походов Цезаря.

Едва раскинув лагерь, Антоний немедленно принялся его укреплять. Воины старательно возводили ограждения и рыли окопы. Брут не стал безучастно наблюдать за этими приготовлениями и провел

несколько быстрых конных атак на противника, каждая из которых увенчалась успехом. Антоний отбивался как мог, но сил ему явно не хватало. Легионы Октавия все еще были в пути.

Первая же весть о том, что армия республиканцев уже в Европе, уложила Октавия в постель. Болезнь — очевидно, его поразило какое-то психосоматическое расстройство, сопровождавшееся страшным кожным зудом, — протекала так тяжело, что юный триумвир оставил войско и перебрался в Диррахий, где над ним бились лекари. Наконец Агриппа и другие его ближайшие помощники, тщательно подбирая выражения, чтобы не задеть самолюбия обидчивого вождя, объяснили ему, что медлить долее нельзя и пора присоединиться к Антонию. Он согласился отправиться к Филиппам, но... весь путь проделал в носилках. Он совсем не торопился, по всей видимости, надеясь, что, пока он будет тащиться к цели, его коллега успеет разгромить противника.

На поле сражения Антоний и в самом деле предпочел бы обойтись без Октавия. Он видел приемного сына Цезаря в деле под Мутиной и знал, что в бою тот проявляет в основном одно качество — осторожность. Проявляет столь усердно, что многим она кажется обыкновенной трусостью.

Однако обойтись без легионов Октавия и без его легатов ему было куда труднее. Армия Брута насчитывала по меньшей мере 80, а может быть, и все 100 тысяч человек.

С этим приходилось считаться. И Антоний вынужденно выжидал, предусмотрительно укрепляя свой лагерь, пока не мог предпринять ничего более серьезного. Но он знал, что ждать ему недолго.

Кассий жестоко просчитался, полагая, что Антоний даст заманить себя в ловушку осадной войны. Между тем в лагере республиканцев начали происходить

некоторые весьма неприятные вещи, в очередной раз подтвердившие прозорливость Брута. Каждое утро в палатках недосчитывались нескольких воинов. Бывшие цезарианцы перебежали к противнику. Они не любили Кассия, а полюбить Брута им возможности не дали. Зато Антоний пользовался среди них большой симпатией.

Марк предпринимал самые отчаянные меры, чтобы прекратить дезертирство. Он подолгу разговаривал с воинами, превознося их боевые заслуги, и старался создать в своем лагере ощущение праздника. Красиво изукрашенное оружие, великолепные щиты, позолоченные шлемы — все это льстило самолюбию легионеров и, кроме того, подогревало в них стремление к победе. В самом деле, жалко, если такая красота и такое богатство достанутся врагу...

Настал день, когда легионы Октавия подошли к Филиппам. Их полководец сейчас же заявил, что тяжело болен и удалился в палатку, которой почти не покидал. Антония это ничуть не огорчало. Он получил главное — подкрепления. У него уже созрел план, достаточно безумный, чтобы оказаться успешным.

Время поджимало. Со дня на день могли хлынуть осенние дожди, а там и до снега недалеко. До весны же ему с огромной армией ни за что не продержаться. Зато республиканцы чувствуют себя уверенно — у них никаких проблем со снабжением нет. Хозяйничая на море, они получают все необходимое из Неаполя и с Тасоса. Значит, рассудил Антоний, надо лишить их этой возможности. Что, если попробовать пробраться в тыл к Кассию? Да, там сплошные болота, но ведь летняя жара давно миновала, зловонных испарений гораздо меньше, да и мошкара не так свирепствует. Это может сработать. И его легионеры принялись мостить дорогу через болота.

Между тем Кассий понемногу терял хладнокровие и самоуверенность. Антоний, видел он, не принял

классических правил игры, а вместо этого изобретал какую-то невиданную стратегию, продиктованную требованиями реальной обстановки. Это становилось по-настоящему опасным. Кто сказал, что болота непроходимы? Ведь и горы, которые республиканцы преодолели, тоже считались непроходимыми... Но если триумвиры захватят дорогу, связывающую их с Неаполем, это обернется катастрофой. Над ними нависнет угроза голодной смерти, и им придется немедленно вступить в сражение в самых невыгодных условиях, ибо моральный дух войска будет непоправимо подорван. Значит, остается единственный выход — давать сражение прямо сейчас, пока этого не случилось.

Сказать, что выводы, к которым пришел Кассий по зрелом размышлении, его обрадовали, значило бы погрешить против истины. Ведь по всему выходило, что Брут снова оказался мудрее и предусмотрительнее, чем он. Собственная близорукость привела его в самое дурное расположение духа. Им овладели самые зловещие предчувствия.

Упорствовать в своих ошибках он тоже не собирался. Во всяком случае, согласился обсудить с другом стратегию вероятного сражения. Уже не так плохо.

Наступило 1 октября. Через день Кассию должно было исполниться 43 года^[166]. О чем он думал в эти дни? Может быть, вспоминал Помпея, вероломно убитого в собственный день рождения, 29 сентября?

Однако, какие бы черные мысли ни лезли ему в голову, он начал готовиться к битве, неизбежность которой встала перед ним со всей очевидностью. Брут, со своей стороны, уже раздавал воинам традиционную денежную награду. Разведчики, посланные к Октавию, донесли ему, что молодой триумвир, одним из самых

невинных пороков которого была жадность, оделил своих солдат смехотворно малой суммой, всего по пять драхм! Легионеры Марка получили по пятьдесят!

Утром 2 октября жрецы приступили к совершению положенных жертвоприношений. Во время ритуала произошло несколько, в общем-то, мелких происшествий, которые, тем не менее, показались его участникам многозначительными. Во-первых, в лагере Кассия заметили появление грифов и некоторых других птиц-стервятников. Возможно, они слетелись на вонь кухонных отбросов, возможно, на запах крови жертвенных животных. Такое простое объяснение все же не удовлетворило эпикурейца Кассия, углядевшего в том зловещий знак судьбы. Во-вторых, авгуры сообщили ему, что обнаружили в стенках палисада — частой изгороди, окружавшей лагерь, — несколько роев диких пчел. В зависимости от обстоятельств и в соответствии с чрезвычайно сложными правилами гадания пчела могла служить провозвестницей как добрых, так и дурных предзнаменований. Увы, кажется, на сей раз появление этих насекомых не сулило ничего хорошего. Кассий отдал приказ огородить участок палисада, в котором пчелы устроили себе жилище, чтобы скрыть их присутствие от воинов, но эта суэта только подогрела тревожные слухи, тем более что заставить пчел не жужжать авгуры, конечно, не могли.

Если бы дело ограничилось только этим! Во время торжественного шествия ликтор, шагавший перед императором со статуэткой богини Виктории в руках, неожиданно споткнулся, упал и... разбил доверенный ему символ победы. А пять минут спустя другой ликтор, венчая голову Кассия лаврами, ошибся и надел главнокомандующему венок задом наперед.

...Каких-нибудь два месяца назад Кассий не скрывал насмешки, слушая рассказ Брута о явившемся к нему призраке, и корил друга за суеверие. Почему же теперь

последователь Эпикура разом утратил весь свой скептицизм и отдался во власть иррациональных предчувствий? Он сам не смог бы этого объяснить, но знал одно: ему не хочется начинать битву. Впрочем, делиться своими тревогами он ни с кем не стал. Слишком часто он насмеялся над людьми, верившими в приметы, чтобы теперь признаться, как они его испугали. В глубине души он не сомневался: все эти зловещие предзнаменования адресованы ему. Значит, его ждет гибель.

Вечером Брут и Кассий собрали своих ближайших помощников, чтобы обсудить план предстоящего сражения. Поведение Кассия удивило даже лучших его друзей. Не приводя никаких разумных аргументов, он только твердил, что битву надо отложить. На сей раз его позиция не получила поддержки: все знали, как далеко энергичный Антоний сумел продвинуться через непроходимые болота. Медлить нельзя ни в коем случае!

И вдруг раздался голос Аттилия — одного из легатов Брута. Он заявил, что, по его мнению, Кассий прав и сражение лучше отложить.

— Объясни, Аттилий, — вежливо обратился к нему Брут, — какую пользу ты видишь в том, чтобы дожидаться зимы и терять целый год.

Никаких разумных объяснений у Аттилия не нашлось. Он долго мялся, пока, наконец, не выпалил с подкупающей откровенностью:

— Польза всего одна: мы проживем еще лишний год!

Остальные встретили его слова гулом негодования. Единодушие всех участников совещания не оставило Кассию лазейки. Не мог же он, в самом деле, встать на сторону этого глупца Аттилия и согласиться, что надежда протянуть еще несколько месяцев значит для него больше, чем воинская честь!

Так или иначе, но выходка Аттилия сделала свое дело. Если у кого-то еще оставались сомнения, теперь они рассеялись. Итак, решено: битва состоится завтра.

Отсутствующий вид Кассия, целиком погруженного в собственные мысли, встревожил его помощников. Как он в таком настроении будет завтра командовать армией? Брут тоже выглядел задумчивым. Он размышлял, что станет делать, если на Кассия нельзя будет положиться. В итоге совет закончился, приняв лишь главное решение. Ни плана предстоящего сражения, ни распределения сил его участники даже не обсуждали. Может быть, Марк все еще надеялся, что Гай, с его репутацией блестящего стратега и опытного командира, утром возьмет себя в руки и отдаст людям все нужные приказы? Нет, он уже понял, что на Гая рассчитывать нечего. Отныне вся ответственность за исход битвы ложилась на него. Если при этом пострадает болезненное самолюбие Кассия — что ж, тем хуже для него.

В конце концов Марк совершенно успокоился. Он решил положиться на волю Провидения — недаром он верил, что оно благосклонно к хорошим людям. После ужина с друзьями, во время которого он убедился, что все они по-прежнему верят в правоту своего дела, он удалился спать и проспал до самого утра — глубоко и ровно, как не спал уже давно.

Между тем нежелание Кассия углубляться в детали боя объяснялось вовсе не забывчивостью. До утреннего совета, на котором придется принимать конкретные решения, у него еще оставалось несколько часов и он надеялся успеть за это короткое время поломать все планы Антония и свести на нет попытку триумвира пробиться через болота. Его собственные дорожных дел мастера доложили ему, что обнаружили в топях тропу, шедшую параллельно возводимой противником гати. Если бы удалось незаметно пробраться этой тропой и

застать людей Антония врасплох! Тогда они спасены! Угроза нарушить связь с Неаполем отпадет, а значит, и необходимость срочно давать сражение исчезнет. Главное, выиграть время... Кто знает, может быть, уже через пару-другую недель предзнаменования изменятся в благоприятную сторону?..

Он все еще надеялся умиловать богов, в которых не верил. Но разве дано смертному переломить волю богов?

Сразу после совета Кассий отправился к себе. На вечернюю трапезу он пригласил нескольких близких друзей. Веселья не получилось. Обычно внимательный хозяин и блистательный собеседник, Гай с трудом скрывал нервозность. Гости разошлись рано, подавленные его состоянием.

Одного из них, Марка Валерия Мессалу, он нагнал уже на пороге палатки и, положив ему руку на плечо, по-гречески сказал:

— Мессала, беру тебя в свидетели: меня ждет участь великого Помпея. Она толкает меня на последнюю битву, в которой решится судьба нашей родины.

Похоже, все последние месяцы призрак Гнея Великого прямо-таки преследовал Кассия. Он все чаще отождествлял себя с погибшим великим полководцем. Что им двигало: непомерное самомнение или чувство обреченности? Как бы там ни было, он твердо верил: если он погибнет, битва будет проиграна. Это будет означать конец Рима и Республики. Мысль о том, что Марк способен и без него выиграть сражение, даже не закрадывалась к нему в голову, как, впрочем, и в голову Мессалы, все еще злившегося на Брута за суровое обращение с его сводным братом.

Кассий снова вспомнил день накануне битвы под Фарсалом. Тогда именно советники-сенаторы да некоторые слишком торопившиеся легаты заставили

Помпея назначить бой, время для которого еще не пришло. Все сойдется! Если завтра они будут разбиты, виноват в этом будет Брут!

Но теперь поздно что-либо менять. Невесело пожав плечами, Кассий тихо проговорил:

— Будем мужественны! Обратим свои взоры к Фортуне. Не стоит терять веры в удачу, пусть даже нам выпала худшая доля^[167]...

Наступившее утро осветило стройные ряды легионеров, выстроившихся в боевые порядки. Особенно хорошо смотрелись войска Брута — шлемы воинов сияли на солнце, блики света играли на драгоценных камнях, украшавших щиты и рукояти мечей. Их победный вид не поднял Кассию настроения. Он по-прежнему хранил уверенность, что они стоят на пороге катастрофы. Почему-то больше всего его ум занимали мысли о Марке. Как он поведет себя в случае поражения? Постарается сбежать? Сдастся в плен? Объяснил ли ему кто-нибудь, в чем состоит честь римского полководца, проигравшего главную битву своей жизни?

Его оскорбительные для Марка страхи не имели под собой ни малейшего основания. Чтобы гордый Брут на коленях вымаливал у Антония или Октавия пощады? Чтобы он позволил протащить себя за колесницей врага-триумфатора? Полноте, да кто в такое поверит? Правда, последователи философии Платона неодобрительно относились к идее самоубийства, видя в этом вызов божественной силе, которая одна властна распоряжаться человеческими судьбами. Еще более категоричны были пифагорейцы, чтением которых Брут так увлекся в последние месяцы^[168]. Вся жизнь Брута, какой ее знал Кассий, подчинялась заветам стоиков, которые высшими человеческими ценностями считали

достоинство и свободу. Кто дал ему право усомниться в доблести Марка?

Может быть, его заботило нечто совсем иное? А вдруг Брут, если он и в самом деле спасется, продолжит борьбу? Вдруг он ее в конце концов выиграет? Один, без него, Кассия.

Эпикурейцы не верили в бессмертие души. Единственным способом оказаться сильнее смерти они считали громкую посмертную славу. И Кассия приводила в ужас мысль о том, что эта слава может достаться не ему, а Бруту.

Сигнальщики уже водружали боевые знамена. Пурпурный стяг бился на ветру, призывая воинов к битве. В эту минуту Кассий приблизился к Бруту, отвел его в сторону и заговорил:

— Хочется надеяться, Брут, что мы одержим сегодня победу и проживем еще долгие годы. Но, как известно, великие события невозможно предсказать. Если бой закончится совсем не так, как мы того хотим, вряд ли нам удастся свидеться. Скажи мне сейчас, что ты сделаешь, если мы проиграем? Что ты выберешь — бегство или смерть?

...Стоик никогда не убегает. Будь жив старик Цицерон, он напомнил бы Кассию эту мудрость. Марк же, неожиданно задетый за живое, с несвойственной ему горячностью повел такую речь:

— Знаешь, Кассий, когда я был еще молод и неопытен, однажды во время философского спора я ляпнул — по-другому и не скажешь — одну глупость, достойную возгордившегося юнца. Я сурово осудил Катона за его самоубийство. Я говорил, что уважающий себя и богов человек не имеет права уступать злой судьбе, что он должен лицом к лицу встречать все испытания, которые она ему насылает, а не спасаться позорным бегством. А вот сегодня я понимаю, что бывают такие обстоятельства... Одним словом, если

Божественное Провидение не пожелает, чтобы нынешний день закончился для нас счастливо, я не стану более упорствовать и откажусь от новых надежд. Я просто уйду, возблагодарив Фортуны за то, что с самых Мартовских ид мне было дано жертвовать собой на благо родине и прожить вторую жизнь — свободную и овеянную славой^[169].

«Я уйду», — сказал он, чтобы накануне битвы не произносить слово «умру».

«Когда я был молод...» — сказал он. С того времени прошло всего пять лет! Какие же разочарования и обиды пришлось ему пережить, чтобы из самоуверенного доктринера, готового строго судить ближнего, превратиться в мудреца, способного все понять и многое простить? Какое горе и одиночество довелось ему испытать, чтобы ощущать себя стариком, хотя до 43 лет — законного возраста, позволяющего выставлять свою кандидатуру на звание консула, — ему оставалось еще три недели?

Вряд ли Кассий, слушая Брута, проникся этими высокими материями. Он просто почувствовал облегчение. Обняв друга за плечи, он, успокоенный, вскричал:

— Ну вот и хорошо! Раз мы оба думаем одинаково, обратим наши взоры на врага! Или мы одержим победу, или... Или бояться победителей нам не придется!

Вырвав у Брута обещание покончить с собой, если удача от них отвернется, Кассий немного приободрился. Его настроение заметно улучшилось. Брут обратился к нему с предложением: не возражает ли Гай, если он, Марк, возглавит правый фланг, которому отведена роль ударной наступательной силы? Кассий не возражал. Его помощники не скрывали удивления: разве не он сам поведет лучшие отряды в атаку? Но Кассий не стал отменять принятого решения. Мало того, он согласился,

чтобы его лучший заместитель Мессала на этот день перешел в подчинение к Бруту.

Приказ полководца заставил Мессалу недовольно скривиться. Впрочем, он не стал спорить. Как знать, может быть, ему придется взять командование на себя? Нельзя же ожидать от этого штатского дилетанта умелых действий?

На самом деле широкий жест Кассия, возможно, объяснялся просто. Он с минуты на минуту ждал сообщения от отряда, посланного в болота, чтобы перехватить людей Антония. Если они придут вовремя и принесут хорошие вести, никакой битвы вообще не будет.

Всю эту операцию он затеял втайне от Марка. И тот, ни о чем не подозревая, во главе своего войска двинулся вперед. Пусть враг поглядит, как отлично смотрятся его воины.

Собрав вокруг себя трибунов, он сообщил им пароль дня. Долго думать над выбором слова ему не пришлось. «Свобода». Конечно, свобода.

В лагере противника никто не ждал от республиканцев такой прыти. Антонию казалось, что он хорошо знает Кассия. Тот еще долго будет тянуть время, полагал он, — ведь он выученик Помпея. Антоний думал, что выбирать день битвы будет он, когда решит, что пора. Брута он совсем не боялся. Военная косточка, он нисколько не верил в стратегические таланты Марка. Философ-законник, вообразивший себя полководцем! Смех, да и только!

Тем временем республиканцы подошли довольно близко к лагерю триумвиров. До воинов доносились звуки голосов, бряцание щитов. Антоний не придавал этому шуму значения. Наверное, очередной отряд движется к болотам, чтобы помешать его людям гатить дорогу. С тех пор, как Кассию открылся его замысел

обходного маневра, стычки на подступах к болотам стали ежедневными.

Зато Октавий переполошился не на шутку. Трусливый от природы, он обладал обостренным чутьем на опасность. Какой-то внутренний голос подсказал ему, что скоро начнется бойня. И он испытал единственное желание: очутиться от нее как можно дальше.

Оставалось найти предлог. Ну, это совсем не трудно.

Ранним утром 3 октября его друг Марк Арторий пришел к нему и сказал, что видел любопытный сон. Если Гай Октавиан Юлий Цезарь соизволит к нему прислушаться, то он горячо рекомендует ему «удалиться нынче из лагеря и позаботиться о себе». Всю эту историю Октавий, вскоре ставший Августом, без тени юмора изложил впоследствии в продиктованных им «Мемуарах».

Стоит ли говорить, что Октавий внял мудрому совету и поспешно покинул расположение своих войск. Его легионы остались без командования. Никто из воинов не готовился к битве, каждый занимался своими повседневными делами. Легионеры Антония в это время копались, как все эти дни, в болотах^[170]. На них Кассий, не предупредив Брута, обрушил в это утро массивный удар, надеясь избежать главной битвы.

Марк все еще отдавал своим людям последние распоряжения, когда до них донесся шум сражения. Это легионеры Кассия теснили воинов Антония, занятых охраной строительных работ. В порядках Брута началось смятение. Кто посмел их опередить? Больше никто не слушал никаких приказов. Солдаты, толкая один другого, бросились вперед. Прямо перед ними, на расстоянии примерно десяти стадиев^[171], располагался лагерь Октавия. Туда они и понеслись. Следом за

пехотинцами, смятая своих, некстати занявших дорогу, ринулась конница.

Это была не битва, это была свалка. Даже рассудительный Мессала поддался всеобщему безумию и теперь летел впереди на коне, напрочь забыв о том, что собирался присматривать за Брутом.

В лагере Октавия вспыхнула паника. Главнокомандующего нет. Перед его палаткой стоят носилки, но ни его самого, ни его ближайших помощников не видать и не слышать. Ни о каком организованном сопротивлении в таких условиях не могло быть и речи. Люди в беспорядке хватали самое ценное из своего имущества и в спешке бежали к лесу.

Лишь три легиона попытались вступить в схватку. Они отважно устремились в самый центр порядков Брута и... были наголову разбиты.

Несмотря на неразбериху, которой началось сражение, Брут его все-таки выиграл. Он оказался в том же положении, в каком был Цезарь вечером после битвы под Фарсалом. Он захватил весь вражеский лагерь.

Оставалось использовать преимущества легкого успеха. Бруту следовало предоставить Кассию добить легионы Антония, не способные толком защититься, а самому броситься вдогонку за убегающим врагом и прикончить его. Именно так и поступил Цезарь под Фарсалом.

Все это Марк хорошо понимал. Но вот беда, он не был Цезарем. Легионеры не испытывали к нему и десятой доли того обожания, которым дарили Гая Юлия, — не зря же они по десятку лет провели в совместных походах. Стоило ему выкрикнуть приказ, и воины, охочие до добра, брошенного удирающим противником, сейчас же прекратили мародерство и подчинились императору. Брут не имел на них такого

влияния. И вместо преследования армии триумвиров его легионеры с жаром отдались вакханалии грабежа.

Марк бессильно смотрел на это позорище. Вернулся Мессала. Он гордо бросил к ногам полководца три знамени с фигурой орла — по числу разбитых легионов — и множество менее крупных знамен, принадлежавших отдельным когортам.

Роскошные носилки Октавия валялись неподалеку, наполовину растерзанные, истыканные стрелами и дротиками. С них содрали пурпур и позолоту. Очевидно, воины полагали, что в носилках прячется сам Октавий, и, обнаружив свою ошибку, не на шутку рассердились. Впрочем, тогда же нашлось сразу несколько «героев», каждый из которых утверждал, что своими руками задушил «мальчишку».

Брут не слушал эти рассказы и не смотрел на груды трофеев, сваленных у его ног. Он не мог побороть охватившей его горечи. Напрасно Мессала с восторженностью 22-летнего юнца твердил ему, что они одержали великую победу, на Брута его слова не действовали. Он понимал, что это всего лишь победа, но никак не триумф. Чья в том вина? Тех, кто не подчинился его приказам. Теперь Кассий и его приближенные станут говорить, что он не умеет командовать людьми. Еще бы, ведь он не военный, всего лишь любитель! Марк остро переживал, чувствуя несправедливость подобной оценки. Ведь именно Кассий и его друзья не жалели сил, чтобы подорвать авторитет Брута среди воинов.

И где, кстати сказать, находился сам Кассий, когда вспыхнула вся эта суматоха? Его помощь оказалась бы не лишней и тогда, когда потребовалось гнать убегающего врага... Только сейчас до него наконец дошло, что Кассий, которому полагалось вести левый фланг на штурм порядков Антония, кажется, вообще не участвовал в битве...

Не зная, беспокоиться или гневаться, Марк повернул голову в сторону, туда, где располагался лагерь Кассия. Что такое? Над палаткой императора должно реять знамя. Где оно? Других знамен тоже не видно...

Марк не отличался сверхострым зрением. Все еще надеясь, что его подводят глаза, он призвал к себе одного из молодых трибунов и попросил посмотреть вместе с ним. Только что миновал полдень, солнце, хоть и осеннее, щедро лило свои лучи на землю, слепя взор. Вот на холме, кажется, стало заметно какое-то движение. Вспыхнул блик на серебре щита, заблестели шлемы легионеров. Но почему часовые не стоят там, где им положено? Да ничего не произошло, рассудил молодой трибун. Смотрите, как мало на равнине мертвых тел! Если бы на лагерь Кассия совершили нападение, вся округа была бы усеяна телами погибших!

Брут, еще не разобравшись толком, что же все-таки случилось, уже чувствовал, что с Кассием что-то не так. Все последние дни он ходил такой странный... Не случайно Марк нынче утром настоял на том, чтобы самому повести ударные силы в бой.

Еще минуту назад Брут прикидывал, не послать ли Мессалу с отборными легионами вдогонку за отступающей армией Октавия. Теперь он об этом больше не думал. Оставив часовых в захваченном им вражеском стане, он приказал отнести себя к палатке Кассия.

Дорогой он продолжал теряться в догадках, где же Кассий. Но ничего особенно страшного все-таки пока не ожидал. Гай слишком опытный воин, чтобы попасть в любую ловушку. А что, если на его лагерь напали враги? Может быть, как раз сейчас он с ними бьется? Тогда тем более надо поспешить на подмогу.

Что же на самом деле случилось с Кассием?

Еще утром, увидев беспорядочную атаку, в которую устремились люди Брута, он испытал прилив внезапной злобы к шурина. Настолько сильной, что в ту же минуту принял решение: он не будет участвовать в сражении. Пусть войска триумвиров хорошенько потреплют этого умника. Любопытно будет посмотреть, как он после этого станет лезть со своими советами. Вздумал повести на штурм ударный отряд? Вот и давай, выкручивайся теперь, как знаешь!

Очень скоро он убедился, что Марк, как ни странно, действительно выкрутился, и даже очень неплохо. Да, атака больше походила на беспорядочную толкотню, не атака, а позор! Но ведь в конце концов он занял лагерь Октавия! А в бою важен результат, а не способ боя!

Чем больше наблюдал Кассий за тем, как разворачивались события, тем меньше ему нравилось все происходящее. И тут его обожгла мысль: а что после боя скажут его соратники о нем самом? Пряча растерянность за показным гневом, он с негодованием указал помощникам в сторону лагеря Октавия. Вы только посмотрите, что за безобразие! Никакой дисциплины! Когда же воины Брута, вместо того чтобы помчаться вслед за убегающим противником, принялись рыться в брошенных палатках, он разразился целым потоком оскорбительных замечаний. Хорош полководец! Даже не знает, как погнать побежденного врага!

Помощники смущенно отводили глаза в сторону. Им совсем не нравилось, как ведет себя Кассий. И почему он позволяет им оставаться безучастными свидетелями битвы, когда их товарищи гибнут там, на поле?

А Кассий все не унимался. Он настолько распалил сам себя, что уже не замечал ничего вокруг. Он даже не заметил, что Антоний успел окружить его лагерь.

Поутру, когда на его людей, без устали трудившихся в болотах, напали конники Кассия,

Антоний не придавал этому большого значения — очередная краткая стычка, только и всего. Прошло довольно много времени, прежде чем до него наконец дошло, что это не просто стычка. Неужели Кассий предпринял этот обманный маневр, чтобы задержать его здесь и дать Бруту возможность расправиться с Октавием? Это предположение не совсем соответствовало истине, но в главном догадка Антония оказалась верна.

Когда ему доложили, что творится в лагере Октавия, он испытал минутную растерянность. Неужели его молодой коллега по триумvirату убит? Нельзя сказать, что это обстоятельство так уж сильно расстроило бы Антония. Во всяком случае, мчаться на выручку к младшему товарищу он не собирался. У него были заботы поважнее.

Действительно одаренный стратег, Марк Антоний быстро сообразил, что судьба дает ему в руки редкий шанс обратить чужое поражение в свою победу.

Изначально планом Брута предусматривалось, что левый фланг поведет атаку на отряды Антония и постарается выбить их с занимаемых позиций. Классический стратегический прием, предугадать который не составляло никакого труда. Но, к удивлению триумвира, который понятия не имел о разногласиях между Кассием и Брутом, в расположении его войска не появилось ни одного вражеского легионера. Если не считать невинной стычки в болотах, о нем в это утро все будто бы забыли. За свою безопасность он не боялся: ему хватит воинов, чтобы отбить атаку Брута, если тому вздумается, покончив с Октавием, замахнуться и на него.

Антоний решил действовать. Возможно, он узнал от разведчиков, что значительная часть войска Кассия во главе с Валерием Мессалой присоединилась к Бруту.

Возможно, просто понадеялся на свою смелость и на Фортуну.

Так или иначе, он поднял своих воинов и повел их на штурм лагеря Кассия.

Гай Кассий любил повторять, что его легионеры — не чета солдатам Брута. В принципе, он не слишком ошибался. Его легионы и в самом деле состояли из лучше обученных и более опытных воинов. Но не только это отличало их от бойцов Марка Юния. В лагере Кассия гораздо сильнее ощущались процезарианские настроения. Антоний не вызывал в них ярой вражды. Вот почему, когда отряды Антония пошли на них в наступление, многие ратники Кассия побросали оружие и бежали с поля боя.

Положение Кассия спасла бы решительная контратака, но он все утро пребывал совсем не в том настроении, чтобы действовать не задумываясь. Когда же он наконец осознал всю важность происходящего, время было упущено. Правое крыло Антониева войска разворачивалось, чтобы замкнуть кольцо окружения, а его конница уже мчалась по освободившемуся проходу к Неаполю.

Гай вскочил в седло и бросился вдогонку за своими бегущими прочь от схватки воинами. По пути он подхватил знамя, выброшенное знаменосцем, который не хотел отстать от товарищей. Но напрасно он, срывая голос, выкрикивал приказы, напрасно осыпал бегущих громкой бранью. Даже его личная охрана поддалась всеобщей панике и бежала наравне с остальными.

Позор! Позор! Плача от бессилия, Кассий остановился и воткнул знамя в землю. Римляне не бросают своих боевых знамен, кричал он. Лучше умереть на месте, чем опозорить себя трусостью! На миг ему припомнились Карры. Тогда он так же держал в руках боевое знамя. Неужели старый кошмар повторяется вновь?

Его пурпурный плащ и шлем с высоким султаном делали из него слишком заметную мишень. Неизвестно, как долго продержался бы он возле знамени, прежде чем стать жертвой первого же меткого лучника, если бы горстка легионеров, которыми командовал центурион Титиний, не повернула назад, услышав его крики. Эти люди схватили своего императора и силой увели с опасного места.

Не обращая внимания на его протесты, они привели его к поросшему лесом холму, что находился неподалеку от их бывшего лагеря. Отсюда открывался вид на всю расстилающуюся внизу равнину. И взору Кассия предстала печальная картина: солдаты Антония безжалостно грабили палатки его легионеров. Он чувствовал, что все плывет у него перед глазами.

Его подчиненные все же не теряли присутствия духа. Не все потеряно, утверждали они. Ведь Брут блистательно справился со своей частью операции, так что он с минуты на минуту придет к ним на выручку. И совместными усилиями мы прогоним Антония вон.

В душе Кассия эти слова отозвались болью. В них со всей жестокостью отразилась реальность: Брут одержал победу, а он потерпел поражение. Мало того, отказавшись поддержать Брута в нужную минуту, он нанес страшный вред их общему делу. Он конченный человек. Опозоренный человек.

Кассий уже не думал ни о Риме, ни о Республике. Он думал о своем друге и родиче, которого постоянно принижал в глазах окружающих и который снова показал себя с лучшей стороны. Думал он и о себе. В сущности, что им двигало на протяжении всей жизни? Стремление к славе, к громкой личной славе. Желание оставить по себе память в сердцах потомков.

Ах, если бы его сразила вражеская стрела в тот миг, когда он защищал боевое знамя! Вот это была бы

красивая, героическая смерть! Рим любит триумфаторов, но и павших героев он умеет чтить.

Мысли о смерти, преследовавшие его все последние дни, нахлынули на него с новой силой. Увы, доблестная гибель на поле сражения его миновала. Если бы они проиграли сегодняшнюю схватку вместе, он просто покончил бы с собой, как и обещал Марку. Что же делать теперь? Уйти из жизни, чтобы не смотреть другу в глаза, чтобы ничего ему не объяснять?

Такая смерть будет чем-то вроде дезертирства. И Кассий внезапно почувствовал мстительное удовлетворение. Да, он умрет, и пусть Брут и все остальные ломают голову над причиной его самоубийства^[172].

Тем временем на равнине показалась большая группа всадников, во весь опор мчавшихся к лагерю Кассия. Воины Антония уже покинули его, не имея ни малейшего желания сдерживать вероятную контратаку республиканцев и удовлетворившись награбленной добычей. Кто же эти всадники? По всей вероятности, люди Брута и Мессалы, торопящиеся на выручку товарищам.

Это и в самом деле были они, что сейчас же поняли все, кто скрывался на холме. Лишь Кассий не желал признавать очевидного. Он упорно твердил, что это передовой отряд Антония, намеренный захватить их в плен. Центурион Титиний предложил выехать отряду навстречу. Если это люди Антония, он поплатится за свою ошибку жизнью, зато его император успеет спастись.

Конечно, Титиний знал, что ничем не рискует — он издали узнал своих. Еще опьяненные недавним успехом, а может быть, не только успехом — в лагере Октавия наверняка нашлись бурдюки с вином, — они скакали, распевая песни и громко хохоча. Даже

растерзанный вид палаток не мог заставить их прекратить веселье. Увидев Титиния, они бросились к нему обниматься, а потом кто-то, самый находчивый, водрузил центуриону на голову лавровый венок.

И Титиний поддался общему радостному настроению. Да и вообще, поражение его собственного войска вовсе не казалось ему такой уж трагедией. В окружении обступивших его товарищей он тоже весело смеялся, выслушивал последние новости и сообщал свои.

Кассий всегда жаловался на близорукость, но все же слепым не был. Он не мог не видеть, что происходит внизу. Характер встречи Титиния с всадниками имел лишь одно логичное объяснение — он попал к своим. Это значит, что через несколько минут эти люди будут здесь. Они будут захлеб рассказывать ему о победе Брута и выражать сочувствие в его поражении. Если он и в самом деле решил «уйти», как говорил Марк, пора действовать.

— Я слишком привязан к жизни и потому должен терпеть такой позор, — глухим голосом произнес он, обращаясь к воинам. — Один из моих друзей попал в плен к врагам!

На холме стояла пустующая палатка, неизвестно кем и для чего поставленная. Именно к ней и направился Кассий, сделав знак Пиндару, его отпущеннику, следовать за ним. Не зря он еще под Каррами приблизил к себе этого бывшего гладиатора. Теперь пришла пора прибегнуть к его услугам.

Пиндар так давно не расставался с Кассием, что все уже забыли о его «основной профессии», считая грека просто доверенным слугой полководца. Поэтому никто из находившихся на холме людей не встревожился.

Очутившись внутри палатки, Кассий объяснил Пиндару, зачем призвал его. Когда до грека дошло, чего ждет от него хозяин, он пришел в ужас. Напрасно он

умолял Кассия выбросить из головы эту страшную затею, напрасно повторял, что войска Брута совсем рядом и бояться нечего. Наконец Кассий не выдержал и прерывающимся от внутренней боли голосом проговорил:

— Ну почему ты не хочешь избавить меня от позора?

Наверное, бывший гладиатор понял, что имеет в виду император. Он не стал больше спорить и послушно принял из рук Кассия обнаженный меч. Кассий встал на колени, закрыл лицо полой плаща, оставив открытым затылок, и приказал:

— Руби!

Тяжелый клинок со свистом рассек воздух. Хлынула кровь, и голова Кассия откатилась в пыльный угол палатки. Пиндар не стал медлить и бежал, опасаясь обвинения в убийстве хозяина ^[173].

...Окровавленное тело императора, найденное воинами в палатке, повергло их в шок. В это время подоспел и Титиний с конниками Мессалы. Его голову все еще украшал лавровый венок. Не увидев Кассия, он очень удивился и тут услышал крики и вопли, доносившиеся из палатки. Спешившись, он со всех ног бросился туда.

Титиний, человек простой и честный, являл собой типичный пример младшего командира римской армии. Он не стал задумываться о сложных причинах, толкнувших его полководца на этот страшный шаг. Толпившиеся рядом товарищи наперебой объясняли ему, что Кассий не узнал людей Мессалы, приняв их за ударный отряд, посланный Антонием. Но Титиний их не слушал. Он тут же решил, что один виноват во всем. Почему он сразу не поворотил обратно? Почему позволил себе веселиться, зная, что пославший его император изнемогает от тревоги? Если бы он поспешил, Кассий остался бы жив...

Бедный Титиний и не догадывался, что он тут совершенно ни при чем. Кассий умер потому, что не хотел жить. И нашел бы любой другой предлог. Центурион об этом не ведал. Он плакал и проклинал себя последними словами, а потом выхватил из ножен меч и рассек себе горло. Стоявшие рядом товарищи не успели ему помешать.

В это время к холму подъехал Брут. Ему сообщили о гибели Кассия.

Как ни странно, он не очень удивился. Какие чувства испытывал он, стоя над обезглавленным телом друга и соратника? Горечь. Сожаление. И злость. Пожалуй, последнее перебивало все остальные. Кассий весь день вел себя как последний глупец. Он подвел его, не пришел вовремя на помощь. И своим самоубийством показал, что ему наплевать на их общее дело. Что это, если не дезертирство?

— Кассий, друг мой! — тихо проговорил Брут, и стоящие рядом люди услышали в его голосе укор. — Зачем ты так поспешил? Куда ты торопился?

Двадцать лет дружбы, двадцать лет ссор и примирений, двадцать лет совместных трудов Кассий зачеркнул одним махом, поддавшись дурному настроению, превратно понятому понятию о чести, недостойному чувству зависти.

— Как ты счастлив, Кассий, — вполголоса продолжал Брут. — Ты избавился от всех забот, от всех тревог. Куда-то они заведут нас завтра...

Брут, конечно, понимал, куда могут завести его сегодняшние заботы. Либо он сумеет умно использовать достигнутое нынешним кошмарным днем и тогда, выиграв войну, вернется в Италию, либо и его ждет неминуемая гибель.

Он так устал за последние недели, что на минуту и ему смерть показалась наилучшим выходом. Но разве имел он право умирать? Отныне судьбы Рима и всего

мира лежали на его плечах. Тяжкое бремя, которое нельзя ни сбросить, ни переложить на других. И он не отступит. Пока есть хоть малейшая надежда уничтожить триумвират, он будет бороться. Не он ли год назад писал Цицерону: «Никогда я не стану унижаться перед теми, кто сам низок. Никогда не сдам оружия тому, кто привык сдаваться»?

Значит, ему придется и дальше тащить на себе этот груз. Одному. Делать вид, что он отлично знает, что именно нужно делать. Быть главнокомандующим. Отдавать приказы. Взять на себя ту роль императора, которую Кассий при жизни так ревностно у него оспаривал.

И первое, что следовало предпринять — сейчас же, немедленно, — постараться скрыть от легионеров истинные причины гибели Кассия, несовместимые с поддержанием боевого духа. Нельзя также допустить, чтобы о смерти полководца республиканцев стало известно противнику. Наконец, надо следить за собой, за своим лицом, чтобы никто из окружающих не догадался, как разозлила его эта смерть.

Бросив на тело последний печальный взгляд, он пошел к выходу из палатки, на ходу бросая толпившимся здесь людям короткие реплики, выдержанные в приличествующей случаю тональности: «Невосполнимая утрата... Во всем Риме больше не найти столь преданного сердца... Последний из римлян...»

Слова, пустые слова... Но он чувствовал, что должен их произнести. И произносил.

По лицу его текли слезы. Он их не утирал. Отчего он плакал? От горя, от усталости, от отчаяния. И видевшие эти слезы легионеры принимали их за знак скорби по умершему императору. Гай придавал огромное значение вопросам чести. Попасть живым в руки врага значило для него покрыть себя вечным позором. Что ж,

Марк охотно поддержит всю эту выдуманную историю о трагической ошибке близорукого друга, якобы не узнавшего в скачущих к нему всадниках своих. И, конечно, воздаст все положенные почести славному центуриону Титинию.

К нему приблизился Мессала. Он тоже плакал. Плакал и без конца повторял, что не верит в эту ужасную смерть. Как же так, всхлипывал любимец Кассия, ведь сегодня вечером они собирались отужинать вместе, отпраздновать их общий день рождения! Бруту не слишком нравился этот самоуверенный молодой командир, всегда слишком кичившийся своей принадлежностью к роду Валериев. Но сейчас он отнесся к нему ласково и, чтобы занять юношу делом, велел ему позаботиться об останках Кассия и организовать перенос тела на Тасос, где будут устроены пышные похороны.

О том, чтобы совершить погребальный обряд здесь же, не могло быть и речи. Брут ни в коем случае не хотел привлечь внимание Антония к случившейся трагедии. Пусть в стане противника как можно дольше остаются в неведении относительно того, что республиканцы лишились одного из своих императоров.

Увы, эта разумная предосторожность уже не имела практического смысла. В суматохе, поднявшейся после того, как обнаружилось, что Кассий покончил с собой, никто не заметил исчезновения Деметрия — раба, входившего в число слуг покойного. Улучив момент, Деметрий украл принадлежавший его хозяину меч и кое-что из его личных вещей. С этими трофеями он проскользнул в расположение противника, потребовал, чтобы его отвели прямо к Антонию, и сообщил ему о гибели своего хозяина. Радость триумвира не поддавалась описанию. Вопреки обескураживающему поведению Кассия в тот день он по-прежнему считал его единственным действительно опасным соперником.

Оставшись с таким полководцем, как Брут, рассуждал он, армия республиканцев обречена на провал. Правда, нынче Бруту повезло, но это случайное везение. И неизвестно еще, как повернулось бы дело, если бы не этот трус Октавий... Кстати, об Октавии. Он все еще не вернулся, и Антоний, поддавшись внезапной надежде, уже заранее предвкушал удовольствие, с каким не сегодня-завтра услышит о еще одной кончине...

День 3 октября, столь богатый событиями, клонился к вечеру. Марк чувствовал себя измученным, но думать об отдыхе пока не приходилось. Потратив немало часов на выяснение обстоятельств самоубийства Кассия и беседы с легионерами, он занялся тем, что кроме него, главнокомандующего, не сделал бы никто — анализом сегодняшнего сражения, подсчетом своих и вражеских потерь, устройством пленных, приведением в порядок разгромленного лагеря Кассия, переформированием отрядов.

Итак, каким выглядел итог дня? С одной стороны, им удалось захватить лагерь Октавия, но с другой — лагерь Кассия тоже подвергся нападению. С наступлением сумерек и тот и другой вернулись, так сказать, к первоначальным владельцам — участвовавшие в грабежах легионеры торопились припрятать добычу. Следовательно, по этому пункту ничья.

Далее, потери. Армия республиканцев лишилась в этот день восьми тысяч воинов, большинство которых составляли фригийцы-оруженосцы. Невелика утрата. Мессала, обскакавший все поле сражения, доложил, что триумвиры лишились не меньше пятнадцати тысяч человек, если не шестнадцати, зато оба их полководца остались живы, а Кассий погиб. Так что еще неизвестно, в чью пользу счет.

Воины Брута взяли много пленных. И тем самым создали серьезную проблему. Что делать с этими

людьми? Чем их кормить? И как добиться, чтобы они не вступали в разговоры с его собственными воинами? Предательство Гая Антония сделало Марка подозрительным.

Что касается рассеянных отрядов Кассия, то собирать их пришлось всю ночь и половину следующего дня. Многих легионеров он перевел в другие соединения, назначил новых младших командиров.

Наутро 4 октября он провел смотр обеих войск — своего и доставшегося в наследство от Кассия. И сейчас же почувствовал, что моральная атмосфера далека от идеальной.

Его собственные легионеры, гордые вчерашними успехами своего императора, устроили Бруту восторженный прием. Они радостно приветствовали его, называя единственным из четырех полководцев, кто завершил минувший день победителем. Стоит ли говорить, что воинам Кассия подобное сравнение совсем не понравилось?

Марк чутко чувствовал настроение войск. Он понимал, что ему необходимо завоевать симпатии этих людей, побороть их враждебность к себе. Ни словом не упрекнув их за проявленную накануне трусость, он выразил им сочувствие в связи с гибелью императора и разорением лагеря. Действительно, вернувшись к вечеру в свои палатки, солдаты Кассия с горечью убедились, что лишились всего своего добра. И Брут объявил, что в качестве компенсации выдает им по две тысячи драхм. Причем немедленно.

Со своими воинами он пока что мог расплатиться только обещаниями. Очевидно, он счел, что они и так получили достаточно, вволю похозяйничав в стане Октавия, в то время как им следовало закрепить достигнутый успех и вместо грабежа заняться преследованием противника. Слегка пожурив их за нарушение воинской дисциплины, он сообщил, что

каждому из них будет выплачено по тысяче драхм, но не сегодня, а позже.

В рядах легионеров раздался недовольный ропот. Почему такая несправедливость? Люди Кассия удирали, как зайцы, а их осыпают подарками! Бойцы вспомогательных кавалерийских отрядов, служившие исключительно за плату, и вовсе пришли в негодование.

В результате между легионами Брута и бывшими легионами Кассия возникло что-то вроде завистливого недоброжелательства. Как много дней или даже недель понадобится, чтобы эти люди снова ощутили себя соратниками, бойцами единой армии?

Как ни странно, но члены ставки Кассия, казалось бы, пережившие немалое унижение, не выказывали ни малейших признаков вины. Они вели себя все так же вызывающе высокомерно, как прежде, всем своим видом демонстрируя, что не считают для себя обязательным подчиняться приказам Брута. Порой Марку чудилось, что юный Валерий Мессала едва ли не готов взять на себя роль преемника Кассия.

Пытаться с такой армией разгромить объединенные силы Антония и Октавия? Это немыслимо.

Антоний, конечно, легко догадался, с какими трудностями столкнулся Брут. Он, прослуживший в армии долгие годы, хорошо знал эту публику. Теперь он видел свою задачу в том, чтобы максимально использовать открывшиеся преимущества. Провести еще одно сражение, но на сей раз захватив всю инициативу в свои руки. Впрочем, иного выхода у него и не оставалось.

Если до последнего времени стояла теплая и сухая погода, то практически сразу после первого сражения зарядили холодные осенние дожди. Люди и животные передвигались, утопая в густой грязи. Продержаться полгода в таких условиях армия триумвиров, оторванная от тылов, без надежной системы

снабжения, не смогла бы ни в коем случае. Кроме того, они потеряли 15 тысяч воинов и нуждались в подкреплениях. Антоний знал, что из Рима к ним на подмогу движутся два свежих легиона, в том числе знаменитый Марсов легион — отборный отряд, состоявший из лучших бойцов Цезаревых походов. Время шло, а подкрепления все не появлялись. Антоний уже беспокоился. На море по-прежнему хозяйничали Мурк и Домиций Агенобарб. Неужели они потопили отправленную из Рима эскадру?

Именно это и произошло 3 октября. В тот самый час, когда Брут праздновал победу над войском Октавия. Но сам Марк так никогда и не узнал об этом приятном для него событии. Антоний позаботился о том, чтобы ни один гонец не мог проникнуть в лагерь республиканцев. Ведь если бы Бруту стало известно, что триумвирам больше неоткуда ждать помощи, он любой ценой затянул бы войну и спокойно дождался, пока голод, зима и полная деморализация без него уничтожат врага.

Отныне исход столкновения зависел от того, у кого нервы окажутся крепче. Антоний сделал ставку на неопытность Брута. Постоянными мелкими провокациями он рассчитывал вывести того из терпения и заставить принять бой. Бой, который принесет ему победу.

Он последовательно и неустанно проводил разработанный план в жизнь. Не проходило и дня без того, чтобы легионы Антония и Октавия не выстраивались на равнине, приглашая противника к схватке. Брут не поддавался. Но провокации продолжались. Из лагеря триумвиров в адрес республиканцев неслись ругательства и оскорбления. «Жалкие тусы! — кричали им вражеские легионеры. — Тряпки! Бабы!» Записки самого гнусного содержания сыпались на них дождем. Некоторые из них были

поименно обращены к конкретным людям: многих воинов с той и другой стороны связывали личное знакомство и взаимная ненависть.

Бруту все это казалось диким. Да, он поднял оружие против соотечественников, потому что видел в этом свой долг, потому что Город, не выдержав раздиравших его внутренних противоречий, раскололся на два враждующих лагеря. Но зачем поливать друг друга грязью? Если бы все зависело только от него, он предпочел бы разрешить конфликт малой кровью, сохранив в живых как можно больше солдат, воевавших против него. Он, конечно, давно убедился в правоте Цицерона, предупреждавшего его, чтобы он не ждал от врага пощады. Он принимал это как данность, себя же изменить не мог.

Даже среди своих соратников он наталкивался на полное непонимание. Почему, теребили они его, ты не прикажешь казнить всех пленных?

Пленные вообще стали для Брута серьезной проблемой. Он опасался, как бы его подчиненные потихоньку не перебили их, и выделил им надежную охрану. Затем он отобрал тех из них, на кого из соображений личной мести особенно точили зубы его помощники, и отпустил восвояси. Затем освободил всех римских граждан, всех италийцев, всех свободнорожденных. Тем, кто выразил желание перейти под его знамена, он дал такую возможность. Таких нашлось немного. Остальным он сказал:

— Вы думаете, что я держу вас в плену. Вы ошибаетесь. Вот когда вы вернетесь на другую сторону, тогда и попадете в настоящий плен. Там из вас сделают рабов и лишат настоящей свободы. У меня же все — свободные граждане.

В этих словах нашла выражение римская политическая философия, послужившая основой для основания Республики, как ее понимали в Риме.

Римлянин мыслил себя свободным человеком, и это подразумевало, что он имеет все права свободного гражданина. Утрачивая какие-либо из этих прав, он терял свободу, следовательно, переставал быть человеком. Лучше смерть, чем такая судьба, — такого кредо придерживались римляне. Разумеется, в действительности их политическая система зиждилась на власти олигархии и аристократии и не имела ничего общего с подлинной демократией — большинство плебеев никогда не допускались к избирательным урнам, а голоса остальных покупались, но миф о римской свободе жил на протяжении столетий. Правда, в последние годы он заметно пошатнулся, так что веру в него сохраняли лишь отдельные представители древней аристократии да юные идеалисты. Поэтому все речи Брута о свободе звучали словно в пустоте. Неужели его ничему не научил горький опыт Мартовских ид?

Понимал ли он, что возрождение старой системы невозможно? Или продолжал верить, что с гибелью республиканского строя и самому Риму придет конец? Наверное, продолжал. Ибо для него такие слова, как Рим, Республика и Свобода, всегда звучали синонимами.

И он знал: что бы ни случилось, он пойдет до конца.

В отношении Брута к свободе проявился лишь один из парадоксов его личности. Необычно для своего жестокого времени чуткий к другим людям, не приемлющий свойственной большинству современников расчетливой жестокости, способный к состраданию, искренне верящий в Провидение, одним словом, обладающий качествами, которые лишь в следующем столетии, вместе с зарождающимся христианством, обретут распространение, Брут вместе с тем оставался носителем всех предрассудков того мира, в котором жил. Он никогда не отдавал себе отчета, что та великая свобода, за которую он боролся и ради которой готов

был умереть, в его идеальном Риме являла собой привилегию элиты. Сохранение или исчезновение этой свободы нисколько не волновало широкие массы плебеев, поскольку не касалось их ни в малейшей степени. Другая странность заключалась в его отношении к рабству. Брут никогда не ставил под сомнение разумность института рабовладения. Он вполне разделял господствующее в его среде мнение о том, что раб — это не человек, а вещь. Раба можно купить и продать, его можно подвергнуть насилию, можно бить, можно даже убить — и все это на вполне законных основаниях. Да, сам Брут относился к своим рабам безо всякой жестокости. Но он, как и его современники, хранил твердое убеждение в том, что человеческое достоинство неразрывно связано со свободой. Рожденный в рабских цепях никогда не станет полноценным человеком, даже если обретет свободу. Рабский дух останется в нем навечно. Воин, захваченный в плен и проданный в рабство, теряет право именоваться человеком. В чем его вина? В том, что он не сумел защитить свою свободу и не предпочел гибель рабству. Кстати сказать, именно это убеждение заставляло римлян с уважением относиться к гладиаторам. Выходя на арену, гладиатор отважно бросал вызов смерти, следовательно, вновь обретал утраченное человеческое достоинство.

Вот почему к убийству рабов Брут относился совсем не так, как к казни свободных граждан или союзников Рима. Приказ перебить сотни захваченных в плен рабов он отдал совершенно хладнокровно, не мучаясь угрызениями совести^[174]. И вздохнул с облегчением, избавившись от необходимости заботиться о пропитании этих людей. Оставить их себе он не мог, поскольку сомневался в их верности, а вернуть

противнику счел бы величайшей глупостью. Кто же отдает врагу захваченное у него оружие и коней?

Убийство сотен рабов прошло всеми незамеченным, зато много шума наделала история, связанная с двумя свободнорожденными пленниками. Их звали Саккулион и Волумний. Первый был шутом, второй мимом, и оба принадлежали к числу близких к Антонию лиц. Вернуться к своим они не захотели и предпочли остаться в лагере Брута, чтобы веселить своим искусством его воинов.

Но шутки, вызывавшие одобрительный хохот в одном стане, в другом воспринимались совершенно иначе. Что заставило двух комиков показать сценку, в которой один из них изображал Кассия, причем в самом карикатурном виде? Ведь прах императора, перевезенный на остров Тасос, все еще ждал своего погребения. Возможно, Саккулион и Волумний просто не знали о гибели военачальника республиканцев.

Как бы там ни было, легионеры возмутились издевательством над памятью покойного вождя. Схватив комедиантов, они притащили их в палатку к Бруту, призывая его покарать нечестивцев.

Марк слишком устал, чтобы вникать в подобную ерунду. Ну пошутили неудачно, велика важность. Сурово наказать? Да зачем? Они и так насмерть перепуганы, больше так шутить не станут.

И главнокомандующий снова погрузился в изучение документов, приказав не отвлекать его по пустякам. Работы было столько, что ее хватило бы и на пятьдесят более опытных, чем он, полководцев.

Сгрудившись у выхода из палатки Брута, мстители за память Кассия стали думать, что же им делать с негодниками-актерами. Марк Валерий Мессала предложил идею, которая вызвала шумное одобрение его товарищей.

— Давайте высечем их кнутом, — под громкий смех друзей говорил он, — а потом разденем донага и в чем есть отправим назад, к Антонию с Октавием! Будут тогда знать, с кем дружить в походе, а с кем не стоит!

Молодые друзья Мессалы отнеслись к затее с восторгом, но более зрелый Публий Сервилий Каска, один из мартовских заговорщиков, сурово отчитал их:

— Неужели вы думаете, что такие постыдные шутки годятся, чтобы почтить память Кассия?

И, обернувшись к Бруту, добавил:

— Ты должен показать, насколько дорога тебе память о нашем императоре. Что ты выбираешь: покарать этих людей, посмевших издеваться над ним, или взять их под свою защиту?

Он явно старался загнать Брута в угол. В его толковании невинная по существу шутка обретала масштабы святотатства. Простить ее значило не только оскорбить память Кассия, но и показать свою слабость, неспособность к крутым мерам. Изворотливый ход Каски разозлил Марка.

— Почему ты ждешь моих советов? — сердито спросил он. — Делай с ними то, что считаешь нужным!

Плутарх, которого казнь двух комедиантов задела гораздо больше, чем убийство сотен рабов, пытается выгородить Брута, утверждая, что Каска слишком буквально понял его слова и поторопился расправиться с несчастными. Дело все же было не в торопливости Каски.

Брут отныне нес ответственность за все, что происходило в его лагере. Исход войны целиком зависел от него. И если он не хотел навсегда расстаться с надеждой победить в этой войне, ему приходилось искать взаимопонимания с легионерами. Но бывшие подчиненные Кассия не спешили признать в нем командира. Волумний и Саккулион стали пешками в

жестокой игре, ставкой в которой был авторитет Брута. И он пожертвовал пешками.

Он шел и на другие жертвы. Например, пообещал легионам Кассия, что в случае победы отдаст им на разграбление Фессалоники и Лакедемон [\[175\]](#).

Беда заключалась в том, что у него не оставалось выбора. Он чувствовал себя страшно одиноким. Внезапно он осознал, как недостает ему Кассия. Пусть они без конца ссорились, но ведь они разговаривали, обсуждали трудные вопросы, советовались друг с другом! А кто теперь даст ему совет? Подчиненные привыкли безоговорочно слушать своего императора, и малейшее проявление неуверенности в себе мгновенно будет истолковано как слабость, как неспособность руководить их действиями.

Да и где искать мудрых советчиков?

В ставке Кассия к нему по-прежнему относились с холодком. Исключение составлял, пожалуй, лишь Мессала. Поначалу злившийся на Брута за суровый суд над его сводным братом, Марк Валерий, человек умный и не лишенный военного таланта, постепенно проникся к полководцу искренним уважением. Но разве мог Брут позволить себе просить совета у 22-летнего юноши? Да и чем бы тот ему помог?

В его собственной ставке дело обстояло ничуть не лучше. Верный друг Флавий, распорядившийся всеми строительными работами, ничего не смыслил в военном деле, о чем честно заявлял Марку. Его помощники по политической части — Каска и Марк Фавоний — не внушали ему доверия.

По-настоящему он доверял только своим молодым друзьям — сыну Порции Бибулу и его дяде, по возрасту годившемуся ему в братья, Марку Порцию Катону, Цицерону, Домицию Агенобарбу, Лабелону, Горацию и некоторым другим. Они отличались беспримерной

храбростью, верили в высокие идеалы, с надеждой смотрели в будущее и хранили чистоту помыслов. Но весь их опыт ограничивался двадцатью годами жизни! Они сами нуждались в советах.

Доверенный слуга Марка, вольноотпущенник Клит, и его личный конюший Дардан, несомненно, обладали большим жизненным опытом. Но Марку и в голову не пришло бы обращаться к этим людям, стоящим неизмеримо ниже его на общественной лестнице, за моральной поддержкой.

Оставались еще два старых друга, грек Стратон и римлянин Публий Волумний. Когда-то, четверть века тому назад, они вместе учились в Афинах и с тех пор сохранили самые теплые отношения. Широко образованные и наделенные острым умом, они посвятили себя науке и философии. Об их искренней привязанности к Бруту говорит тот факт, что оба ученых согласились оторваться от своих книг и последовать за ним в полный неудобств и приключений военный поход. Но в военном деле эти кабинетные мыслители разбирались куда хуже Брута.

Марк, со всех сторон окруженный равнодушной толпой, действительно пребывал в одиночестве. Что он должен делать? Он один ломал над этим голову.

Каких-нибудь две недели назад, в конце сентября, он настаивал на необходимости дать противнику сражение. Он многого ждал от него, но Фортуна и неожиданные выверты Кассия решили по-другому. Повторять попытку Брут не хотел. Он трезво оценивал свои силы. Пока легионы Кассия не признают в нем командира, глупо надеяться выиграть бой. Антоний прекратил всякие работы в болотах, так что опасность быть отрезанными от морского побережья и базы снабжения для республиканцев миновала. Они снова оказались в выигрышном, по сравнению с триумвирами, положении. Поэтому стратегия выжидания

представлялась в данном случае наилучшим решением проблемы. Конечно, зимой следует ожидать роста дезертирства, особенно из вспомогательных отрядов, это можно пережить, а вот дотянут ли до весны триумвиры?

Долгие дни и бессонные ночи потратил Брут на обдумывание этого вопроса и пришел к ясному выводу: надо тянуть время.

Провокационные демарши Антония продолжались уже дней десять. Брут на них не реагировал, но его помощники, особенно командиры из ставки Кассия, все заметнее проявляли нетерпение. Почему император так неожиданно резко изменил стратегию? Они не понимали или делали вид, что не понимают этого.

Марк всегда с уважением относился к республиканскому обычаю предоставить каждому право свободного волеизъявления. И он охотно выслушивал мнение каждого легата. Увы, эти обсуждения превращались в бесконечные бесплодные споры, об итогах которых благодаря шпионам немедленно становилось известно Антонию. Мнение триумвира относительно Брута укрепилось: ему не хватает авторитета, люди не воспринимают его всерьез. Разве кому-нибудь из них пришло бы в голову оспаривать решения Кассия?

Марк так и не смог убедить своих соратников, что торопиться и принимать сражение им сейчас невыгодно. Если бы весть о победе Мурка на море дошла до него вовремя!

Зато Антоний прекрасно знал, что потерял два отборных легиона и никаких подкреплений у него не будет. Навязать республиканцам бой, пока они не подозревают об этом, — в этом он видел свой единственный шанс.

После 3 октября минуло уже почти три недели, но Мурк так и не сумел сообщить Бруту о своей важной

победе. Особенно удивляться этому не приходится. Сообщение с суши в это время года затруднялось из-за естественных причин. Впрочем, не исключено, что Мурк просто не придавал должного значения успешно проведенной операции. Потопить тяжелогруженные, медлительные корабли, всю защиту которых составляло несколько галер, вовсе не казалось ему таким уж подвигом. Возможно также, он и не догадывался, с каким нетерпением ждал Антоний эти легионы, отныне навсегда нашедшие покой в пучине Адриатического моря. Наконец, остается вероятность, что гонца с победной реляцией, направленного Мурком к Бруту, просто перехватили люди Антония^[176].

Настал день 21 октября. Погода, испортившаяся еще с полмесяца тому назад, стала просто отвратительной. Командиры вспомогательных отрядов объявили: если ливни продлятся еще хотя бы несколько дней, перевозить грузы на лошадях будет просто невозможно — животные завязнут в густой грязи. Воины из числа местного населения, обитавшие неподалеку от Филипп, сочли глупостью зимовать в палатках, когда дом совсем рядом, и потихоньку дезертировали.

Брут устал по сотне раз повторять одни и те же доводы, к которым никто из его окружения не желал прислушиваться. И потом, его самого начали грызть сомнения. Имеет ли он право единолично распоряжаться судьбами этих людей, диктовать свою волю большинству? Это шло вразрез с его республиканскими убеждениями. И он сдался. Хорошо. Сражение состоится послезавтра, 23 октября.

Боги справедливы, продолжал верить Марк. Они не отвернутся от Рима, значит, не отвернутся от него, последнего истинного римлянина, живого воплощения римской доблести. Если бы они подали ему знак...

И вечером 22 октября этот знак был ему подан. Но Марк о нем не узнал.

В поздних сумерках, под покровом густого тумана, из лагеря Октавия в расположение республиканского лагеря тайком пробрался воин по имени Клодий. Он заявил, что ему срочно нужно увидеть Брута. Однако заместители главнокомандующего, проявив невиданную бдительность, отказались тревожить императора, пока сами не узнают, в чем дело. И Клодий рассказал.

По его словам, Антонию и Октавию стало известно о гибели в морском сражении двух отборных легионов, посланных из Рима в качестве подкреплений. Вот почему они так спешат навязать республиканцам битву.

«Но рассказу этого человека никто не поверил, — пишет Плутарх. — Его не допустили к Бруту, сочтя доставленную им новость ложью, состряпанной, чтобы доставить тому удовольствие».

Иными словами, определенная часть людей внутри ставки Брута подозревала своего полководца в фабрикации сведений, призванных оправдать проводимую им выжидательную политику. Сам приведенный факт красноречиво свидетельствует о чудовищном падении дисциплины в стане Брута. Его помощники, еще три недели назад спешившие к императору, чтобы разобраться в пустяковом деле комедиантов, теперь даже не сочли нужным доложить ему о том, что получили сведения стратегической важности.

Марк в это время работал над составлением плана предстоящего боя. Но он не торопился посвящать в его детали всех членов ставки. Некоторые из сохранивших верность друзей сообщили ему крайне неприятные вещи: многие вспомогательные отряды вели переговоры с противником, а легионеры Кассия

обсуждали между собой, не стоит ли сдаться врагу без боя.

Близилась ночь. Марк удалился в свою палатку, но заснуть ему так и не удалось. Одному из близких соратников он признался:

— Я вынужден вести войну так, как ее вел Помпей. Я больше не командую, а лишь исполняю приказы своих заместителей...

О чем он думал этой долгой ночью? Вспоминал слова Цицерона, утверждавшего, что древней Республики времен его славного предка Луция Юния Брута и первых консулов давным-давно не существует? Очевидно, ей на смену должно прийти что-то другое. Но почему именно тирания? Если вся власть в Риме окажется в руках диктатора, ни люди, ни боги не заставят его уважать права общины, а римляне утратят и свою свободу, и свое достоинство. Почему он в свое время пошел за Цезарем? Потому что верил: этот человек осуществит назревшие реформы, сохранив римскую традицию. Увы, Цезарь поставил себя выше традиции, выше обычаев, завещанных предками. Но не Цезарь был причиной болезни, изнутри точившей Рим. Он и явился лишь потому, что болезнь зашла слишком далеко. Они убили Цезаря, а разве что-нибудь изменилось? Значит, Цезарь погиб напрасно...

Глядя в ночь широко открытыми глазами, Брут еще пытался убедить себя, что ошибся в этих печальных выводах. Неужели всю свою жизнь, все свои мечты он поставил на службу химере? Когда-то в письме к Цицерону он писал, что согласен отдать все, лишь бы боги помогли ему сохранить в душе верность своему делу. Что ж, он действительно потерял все: любимую жену, надежду стать отцом, друзей, иллюзии... Если завтра он вдруг победит, что ему делать с этой победой? Строить новый Рим? С кем? И ради кого?

Римлянам не нужна свобода, они хотят только хлеба и зрелищ.

К счастью, его личная свобода все еще при нем. Уж этого богатства у него никто не отнимет. Просить пощады у Октавия он не станет ни при каких обстоятельствах.

...Уже занималась заря, когда Брут ненадолго забылся коротким сном. Он принял решение. Будь что будет, верность же своим нравственным идеалам он пронесет до конца жизни. Боги отняли у него многое, но жажду свободы и чувство собственного достоинства он не отдаст. Никому.

Наступивший осенний день больше походил на зимний. Серые небеса висели низко над землей. Было холодно, как перед заморозком. Над равниной клубился густой туман, поднимавшийся от реки и болот. Вражеские порядки, в ясную погоду хорошо видные со стороны лагеря республиканцев, теперь полностью терялись в белесом мареве. Оценив обстановку, Брут решил, что начинать военные действия сейчас невозможно. Надо ждать, пока рассеется туман.

Он сообщил помощникам, что паролем дня будет слово «Аполлон». Какую ипостась божества намеревался он почтить? Его способность рассеивать мрак? Его любовь к искусствам? Или разрушительную мощь великого Лучника, наводящего страх на смертных?^[177]

Накануне он под благовидным предлогом усрал из лагеря юного Луция Кальпурния Бибула, сына Порции, отправив его на остров Тасос. Значит ли это, что он, не ожидая от сегодняшнего дня ничего хорошего, счел своим долгом заранее позаботиться о пасынке, не желая подвергать опасности его молодую жизнь?

Медленно тянулись бесконечные часы. Из-за плотной стены тумана доносился шум построения:

легионы Антония выходили на равнину, занимая ставшие привычными позиции. Эту гнусную комедию триумвиры ломали уже не первую неделю, видимо, находя особенное удовольствие в грязной перебранке, которую с обеих сторон устраивали легионеры. Правда, сегодня оскорбления звучали тише, приглушенные туманом. Наверное, Антоний как раз закончил выступление перед войском. Что и говорить, он умел обращаться к толпе. Воины, плебеи, городская чернь — все они слушали его с неизменным восторгом.

Брут понимал, что тоже должен сказать речь. Но что он мог сказать своим людям? Слова, которые рождались в его сердце, оставляли их равнодушными. Нет, он не станет изливать перед ними душу. Произнесет обычное напутствие перед битвой, состоящее из избитых фраз, зато понятное каждому^[178].

Как медленно расходится туман! Время уже близилось к полудню. В рядах республиканцев поднялся ропот. Чего ждет император? Сколько можно тянуть?

От шеренги вспомогательного отряда отделился всадник.

Брут сразу узнал его. Это был галат по имени Камулат, умелый воин и отчаянный храбрец. Увы, человек не слишком большого ума. Приблизившись к Бруту, Камулат громко и вызывающе произнес:

— С меня довольно твоих виляний, император! Я ухожу!

Следом за ним снялась с места и ускакала прочь вся галатская конница. Хорошо еще, что галльские эскадроны не бросились за ними...

В армии Брута это, к сожалению, был не первый случай дезертирства, хотя, пожалуй, еще никто не покидал его рядов столь демонстративно. Но фракийский царь Раскупол ушел и увел своих людей

еще несколько дней назад. Эти случаи производили на оставшихся не самое лучшее впечатление.

По плану Брута, первой предстояло выступить коннице. Предполагалось, что всадники, прорвав линию обороны противника, откроют проход, в который ринется пешее войско. Но теперь его собственная кавалерия начала выдвигать новые требования. Мы не двинемся с места, заявили командиры эскадронов, пока нам не расчистит путь пехота.

Брут, с трудом подавив унижение, в последний момент изменил план атаки. Пришлось воспользоваться классическим приемом фронтального наступления. Ни о каких стратегических находках без участия конницы уже не шло и речи. Итак, он возглавит правый фланг, нацеленный на порядки Антония, тогда как на левом фланге, противостоящем Октавию, воинов поведет в бой Мессала. Если конница пожелает сменить гнев на милость, пусть попытается взять противника в кольцо.

Миновал полдень. В небе наконец-то появились робкие солнечные лучи. Вскоре поднялся сильный ветер, окончательно разогнавший облачность. Стало ясно и холодно.

Проведенные утром ауспиции показали нейтральный день. Ни хороших, ни дурных предзнаменований. После полудня к Бруту явились авгуры. Отмечены некоторые знаки, сообщили они, которые трудно истолковать в ту или другую сторону. Надо, чтобы император знал о них. Во-первых, на походное знамя первого легиона уселся рой пчел. Возможно, это к добру, а возможно, к худу. Во-вторых, у одного из воинов на руке вдруг выступил какой-то странный пот. Когда авгуры принялись, им стало ясно, что это розовая вода. Странный знак, император, очень странный знак. Не сказать, чтобы явно зловещий, но совершенно непонятный.

Наконец ворота палисада открылись. Суеверные легионеры с острым любопытством всматривались вперед. По примете, первое существо — животное или человек, встреченное выходящим из ворот, способно подсказать, каким будет день — удачным или нет. Хуже всего, если встретится сорока, летящая справа налево, или лисица. Тогда лучше сразу поворачивай назад. Если первым увидишь негра, тоже не жди ничего хорошего.

В лагере республиканцев имелся собственный негр — раб-эфиоп, которого посылали на самые тяжелые работы. Кто, как не злая судьба распорядилась, чтобы, едва распахнув створки ворот, легионеры нос к носу столкнулись с несчастным чернокожим, тащившим из лесу вязанки дров?..

Верное средство обмануть судьбу, знакомое каждому римлянину, заключалось в том, чтобы убить вестника несчастья. И ни в чем не повинный эфиоп пал жертвой суеверия легионеров, растерзавших его на месте.

Брут только отмахнулся, выслушав все эти глупости. Он верил в богов и просил у них знака, а к суевериям относился с неодобрением. К тому же он и без гаруспиков и авгуров знал, чем грозит ему сегодняшняя битва. Но и он поднял глаза, когда в небесах появились два орла. Шум и крики разом стихли. Искусству предугадывать судьбу по полету птиц римлян обучили этруски, и каждый из них помнил, что орел — символ Рима.

Две гордые птицы неспешно кружили над двумя огромными армиями, стоявшими лицом друг к другу, застыв в тревожном молчании. Вдруг в тишине раздался хриплый птичий крик и один из хищников бросился на другого. Орел, летевший со стороны республиканцев, забил в воздухе крыльями, вырываясь из цепких объятий врага. Рывок, еще рывок... Он

сбросил с себя противника, развернулся и быстро полетел прочь.

Марк медленно опустил глаза к земле. Значит, боги не желают даровать ему победу. Ну что ж, это ничего не меняет. Он взял на себя долг защитить честь Рима. Он готов исполнить этот долг.

Никто из республиканцев не ведал о приказе, который Антоний нынче утром отдал своим легионерам. Приказ гласил: пленных не брать. Каждый вражеский солдат должен быть убит.

Для Марка это ничего не меняло. Он ни в чем не раскаивался и ни о чем не жалел. Да и можно ли сожалеть, что твои мечты оказались слишком высоки для этого мира?

С самого утра у него в голове вертелась стихотворная строчка из греческой трагедии:

О Добродетель! Пошлая приманка
Для простака. Я мнил тебя царицей,
А ты — раба Фортуны^[179].

Неужели прав поэт? Неужели высокая добродетель, служению которой он, Брут, отдал свою жизнь, всего лишь приманка для простака? Пусть так. Он все равно ни о чем не сожалеет.

Впрочем, время терзаться вопросами, на которые нет ответов, прошло. Солнце передвинулось к западному горизонту, на горы легли первые тени. Не пройдет и трех часов, как стемнеет. Кости брошены, как сказал бы в этом случае Цезарь. Брут обнажил меч и, бросив воинам призывный клич, помчался вперед. За ним стояли его лучшие друзья. Они, не мешкая, бросились за ним, ведя свои легионы.

Антоний всегда недооценивал военные таланты Брута. Республиканский правый фланг с размаху

врезался в его левое крыло, смял его, проделав в стройных рядах когорт зияющие бреши. Видя блистательный успех пехоты, республиканская конница, воодушевленная примером бесстрашного императора, уже летела к ним быстрым галопом. Вскоре с противником было покончено.

Марк недоуменно озирался вокруг. Неужели он все-таки ошибся? Неужели они победили?

Они бы действительно победили, если бы Марк Валерий Мессала не вздумал поиграть в великого стратега.

Брут доверил ему командование своим левым флангом по одной простой причине. Юный адъютант покойного Кассия оставался в его ставке единственным, кому Брут еще доверял. Поставить начальником над легионами Кассия своего человека Брут не мог: его никто не стал бы слушать. Мессале же неожиданное возвышение ударило в голову, и без того склонную кружиться от успехов. Он уже твердо верил, что получил назначение по праву, в знак признания своих выдающихся способностей.

И решил проявить их в полной мере. Лучше бы он этого не делал! Вместо того чтобы точно выполнить указания императора, он приказал своим войскам вытянуться в длинную линию — чтобы не дать себя окружить, как объяснил он впоследствии. Справедливости ради следует сказать, что легионы Октавия превосходили его силы числом.

Но в угаре задуманной им стратегической игры Мессала совершенно упустил из виду простейшее обстоятельство, которое бросилось бы в глаза любому мало-мальски опытному воинскому командиру, да что там командиру, даже Октавий, не имевший ни малейших проблесков полководческого дара, мгновенно его обнаружил: растянув свои порядки, Мессала

обнажил центр республиканской позиции, вследствие чего в ней образовалась гигантская брешь.

В эту брешь и устремился Октавий, разрубив надвое все левое крыло республиканцев.

Его целиком составляли воины Кассия, уже продемонстрировавшие свои невысокие боевые качества в битве 3 октября. Вероятно, разумнее всего было бы смешать их с солдатами брутовских легионов, но взаимная вражда между двумя частями единой армии достигла такой острой формы, что полководец не решился на этот шаг. Испытав мощный удар легионов Октавия, воины Кассия, деморализованные предыдущим поражением, пустились в бегство. Напрасно метался между ними Мессала, пытаясь остановить позорное отступление. Если даже Кассию три недели назад это не удалось...

Антоний вовремя заметил, что творится на левом вражеском фланге. Он быстро просчитал ситуацию. Сейчас легионеры Кассия отступят к своему лагерю и закроются в нем. Выманить их оттуда будет невозможно. Значит, день снова закончится вничью.

Собрав вокруг себя солдат, он бросился противнику наперерез. Ему-то не приходилось отдавать приказы дважды...

От внимания Брута происходящее тоже не ускользнуло. План действий созрел в его мозгу мгновенно. Нельзя допустить, чтобы Антоний прорвался в лагерь республиканцев. Его команды звучали четко и ясно. И вот уже лучники заняли нужную позицию. На легионы Антония посыпался град стрел. Теперь надо воссоединиться с отрядами Мессалы и заставить его людей вернуться на поле битвы, а затем организовать стойкую оборону. В самом деле, часть легионов Октавия, прорвав левый фланг республиканцев, уже начинала захватывать его в кольцо.

С мечом наперевес Марк ринулся в самое опасное место схватки. Он не чувствовал ударов чужих мечей, не замечал, что ранен, даже не ощущал боли.

И сумел помешать Октавию окружить его легионы.

Теперь пришло время контратаки.

Легионы Брута показывали в этой битве чудеса доблести и героизма.

В какой-то миг Антоний решил, что цель, которую он поставил перед собой, недостижима. Люди Брута стояли стеной, казалось, нет силы, которая заставит их отступить.

Иначе вели себя легионеры Кассия. Как и предполагал Антоний, они устремились к своему лагерю, но не успели до него добраться — путь им преградил враг. Тогда, окончательно утратив мужество, часть их в беспорядке бросилась бежать к болотам, надеясь выбраться к морю. Остальные, не имея возможности последовать за ними, повернули назад и столкнулись с отрядами Брута.

Многие сотни в панике удирающих людей... Они внесли раздор и хаос в стройные ряды брутовских легионеров. Пока император и его помощники наводили в войске пошатнувшийся порядок, враг успел немного потеснить их. Совсем немного, но это придало ему новые силы.

Легионы триумвиров наседали, республиканцы отбивались, медленно отступая. Атака далась Антонию и Октавию дорогой ценой, они несли страшные потери, более значительные, чем потери республиканцев. У них оставалась возможность с достоинством отступить, сохранив свои главные силы. День стремительно катился к вечеру. Их дело еще не было проиграно.

И в эту минуту на них обрушился еще один удар. Новые отряды легионеров Кассия вломились в их ряды, расколов единый фронт сопротивления на несколько окруженных врагами островков.

Антоний бросал вперед когорту за когортой. Он понимал, что не должен дать Бруту восстановить строй. Но Брут не сдавался. Не обращая внимания на опасность, он метался между воинами, выравнивая нарушенные ряды. Антоний, наблюдавший за схваткой издали, на миг поймал себя на странном чувстве: кажется, вождь республиканцев вызывал в нем восхищение...

Солнце склонилось совсем низко к горизонту, окрасив небо в лиловые тона. На его фоне чернели горы. Сумерки быстро превращались в ночь.

Брут все еще не опустил оружия. Он всегда со стыдом вспоминал, как бежал Помпей, бросив остатки разбитого войска под Фарсалом. Нет, пока хоть один воин, хоть один центурион будет сражаться, он, император, не покинет поля битвы.

Схватка продолжалась в десятке мест. Кое-кто из легионеров Брута отважно ринулся навстречу противнику, надеясь отвлечь на себя главный удар и ценой собственной жизни дать своим товарищам время отступить. Дать Бруту время отступить.

«Пора! — крикнул ему один из помощников. — В темноте нас никто не увидит. Нельзя, чтобы жертва наших товарищей осталась напрасной. У нас еще много легионов. Завтра мы им покажем!»

Марк не обольщался, его лучшие люди погибли сегодня у него на глазах. Его лучшие друзья сейчас отдавали свои жизни, чтобы помочь ему спастись. Кажется, только что он видел брата Порции, Марка Порция Катона. Содрав с головы шлем, закрывавший часть лица, тот кричал своим воинам: «Я сын Катона! За мной!» И вскоре рухнул, сраженный, на груды мертвых вражеских тел.

Марк завидовал ему. Как ему хотелось повторить героический жест Марка Порция! Но разве имел он на это право? Вдруг правы те, кто говорит, что не все еще

потеряно? Что война не окончена? Сейчас он слишком вымотан, чтобы правильно оценить ситуацию. Ведь если есть хоть искра надежды, надо продолжать борьбу.

Тем временем совсем стемнело. Над полем один за другим вспыхивали и загорались факелы. Это Антоний отряжал отряды преследователей за беглецами, решившими скрыться в болотах. То и дело тишину прерывал жалобный стон: победители приканчивали раненых.

— Пора, господин!

Кто сказал это? Брут огляделся. Вокруг него толпились люди. Он вглядывался в их измученные, грязные, залитые кровью лица, вглядывался и не узнавал.

— Пора, император! Они ищут тебя!

Теперь Брут узнал говорившего. Луцилий, молодой командир из его ставки. На всем протяжении боя он сражался рука об руку с Брутом и проявил себя настоящим героем. Луцилий поднял на него глаза — в них светились доверие и надежда. Ты все сделал правильно, прочитал он в этих глазах, тебе не в чем упрекать себя, и ты не должен опускать рук.

Марк внял этому голосу и этим глазам. В окружении своих товарищей он побрел с поля сражения.

Их небольшую группу заметил в свете факелов конный вражеский отряд. Угадав, что среди республиканцев находится сам император, всадники бросились к нему. Они знали, что и Антоний, и Октавий не посягнутся на награду тому, кто принесет голову Брута.

Чтобы оторваться от погони, надо было добраться до речки и переправиться на другой берег. Заросший густым кустарником, он неровными уступами взбегал вверх, тая множество укромных местечек. Здесь воины триумвиров побоятся их искать.

Изнуренные кони беглецов еле передвигали ноги. Нет, не успеть, слишком далеко река. Брут вздрогнул от ужаса. Неужели его ждет столь позорный конец?

В эту минуту, бросив на Брута последний, исполненный преданности взгляд, юный Луцилий стрелой рванулся навстречу всадникам. Он задержит их! Ненадолго, но задержит!

Брут не стал его удерживать. Есть дары, которых не отвергают. А теперь вперед! Дорога каждая минута!

Кони как будто поняли, чего от них ждут, припустили из последних сил. Река совсем рядом, уже слышен плеск воды.

И тут они услышали донесшийся из темноты голос Луцилия:

— Я Марк Брут! Я желаю говорить с Антонием!

Нет, он подарил своим товарищам не пару минут. Он задержал преследователей на добрый час. Они поверили юноше на слово и, довольные донельзя, отправились к главнокомандующему, потирая руки в надежде на щедрую награду.

За это время Брут и остальные успели добраться до реки, переправиться на другой берег и укрыться в густых зарослях.

Вскоре кони вывели их в холмистую ложбину, над которой нависал крупный утес. Здесь остановились. Продолжать бегство в кромешной тьме сочли слишком рискованным, к тому же Брут не хотел далеко удаляться от своего лагеря. Отважный поступок Луцилия глубоко потряс его и заронил в его душу новый луч надежды. Может быть, и в самом деле не все еще потеряно? Неужели все, кто остался сегодня лежать на поле боя, погибли зря? Нет, пока есть хоть крошечный шанс спасти их общее дело, император не имеет права сдаваться.

Надо дождаться зари, а затем подвести итог дня и решить, что делать дальше.

Ночью сильно похолодало. В первый раз за всю осень ударил заморозок. Небо совершенно очистилось от туч и украсилось мириадами звезд.

Устроившись на камне, Брут глядел в небо. Неужели вся эта величественная красота возникла случайно, а не есть плод чьей-то воли? Последователь Эпикура Кассий сказал бы, что вселенная пуста и равнодушна, что никаких богов не существует, а человек обречен на одиночество. Поэтому надо молча принимать свою несчастную судьбу. Но Брут, не сводя глаз со звездного небосклона, все искал в нем след Божественного Провидения. Должен же быть кто-то, кто знает, зачем все это — столько страданий, столько крови, столько слез и столько смертей! К нему тихо подсел Публий Волумний, старинный друг. И услышал, как Брут вполголоса, словно молится, читает стихи:

О Зевс, да не избегнет твоей кары
Виновник бед моих и скорбей!

Волумний узнал стих из «Медеи» Еврипида^[180]. Он улыбнулся. Когда-то в далекой юности они все — он сам, Брут, Стратон — любили играть в такую игру. Кто-нибудь один читал строчку или две из греческого автора, а остальные должны были назвать имя поэта, произведение и, по возможности, номер стиха. Следующий ход состоял в том, чтобы ответить на стихи другой цитатой, чтобы получилась видимость связного разговора.

— Еврипид, «Медея», стих 332-й, — не стирая с лица улыбки, проговорил Волумний.

Брут не заставил друга долго ждать:

О Добродетель! Пошлая приманка
Для простака... Я мнил тебя царицей,

А ты — раба Фортуны!^[181]

На сей раз Волумний воздержался от комментария. Позже он говорил, что не мог вспомнить, откуда цитата.

На самом деле выбор Брутом стиха, в котором автор осыпал упреками Добродетель, наполнил сердце Волумния такой тоской, что он предпочел сослаться на забывчивость. Признаться людям, которые любили Брута и восхищались им, что их кумир в последние часы жизни отвернулся от своего идеала, утратил веру в высокие принципы?

Волумний заблуждался. Брут вовсе не чувствовал отчаяния. Вера не умерла в нем, она перешла в иное качество. Созерцание звездного неба наполнило все его существо глубоким покоем и какой-то небывалой, неведомой дотоле радостью.

Кто-то из стоиков учил, что боги посылают людям суровые испытания и беды с единственной целью — дать им испробовать свои силы, попытаться достичь вершин, которые недоступны счастливому. И боги радуются, видя, как человек, пройдя через эти испытания, обретает величие. Тогда его именуют героем.

Испытаний и бед на долю Брута досталось с избытком. Он стойко переносил их. И всегда старался делать свое дело как можно лучше. Он не достиг успеха, но разве божество требует от человека всегда побеждать? Нет, оно требует лишь, чтобы он сражался. Сражался до конца. Он думал, что на его слабых плечах лежат судьбы Рима и мира, и ужасался непомерной тяжести этого бремени. Теперь он понял, что судьбы Рима решаются не здесь. Где же? Далекое... Так далеко, что человеческому воображению не под силу и представить себе такую даль. Не за величие Рима он боролся. Не за честь Рима и не за его свободу. Он бился

за собственное величие, за собственные честь и свободу. И в этой борьбе он победил.

Отчего же он должен отчаиваться? Пусть он не вполне понимает, в чем состоит воля небес, но он принимает эту волю — с ясным умом и кротким сердцем. Нет, не зря боги отняли у него все. Взамен они оделили его бесценным даром: позволили сохранить свое достоинство. Позволили помочь другим, его лучшим друзьям, понять, что нет в жизни ничего важнее достоинства.

Он вспомнил, что не один здесь, в лесу. Значит, его долг еще не исполнен. Он должен убедиться, что у них действительно нет иного выхода, кроме... Он снова взглянул на мерцающие в вышине небес звезды.

Итак, сколько их? Не так много. Горстка. В спешке бегства от преследователей он даже толком не рассмотрел их всех^[182].

Катон погиб, это он видел своими глазами. Луцилий, должно быть, тоже погиб. Здесь Стратон и Волумний. А другие?

— Где Флавий? — тихо спросил он.

— Флавий погиб, император.

— Погиб...

Брут не сдержал печального вздоха. Он искренне любил этого человека, блестяще знавшего свое дело. Сколько раз его мастера выручали их, прокладывая дороги в непроходимых местах, возводя сооружения и укрепления!

— Где Лабен?

— Лабен погиб, император.

Брут почувствовал на своих щеках слезы. Ему припомнился один февральский вечер... Тогда он впервые осознал, что обязан положить конец планам Цезаря, и пригласил к себе на вечер нескольких друзей. Он хотел «прощупать» их... Оба философа, Фавоний и

Статиллий, поняв его намеки, побледнели от ужаса. А милый мальчик Публий Антистий Лабеон со всем жаром молодости принялся доказывать, что убить тирана значит исполнить закон. Где ты сейчас, милый Лабеон?

— Публий Понтий Аквила?

— Аквила погиб, император.

Значит, народного трибуна тоже больше нет. Марк словно наяву увидел этого гордого человека, не побоявшегося бросить вызов Цезарю. Да, трибун Аквила гордился своей священной неприкосновенностью. Все видели, что сделал с этой неприкосновенностью Цезарь.

Марк продолжал выкликать имена друзей и помощников.

— Мессала?

— Пропал без вести, император.

Наверное, сбежал вместе с легионами Кассия. Да уж, они себя сегодня показали... Должно быть, потерь у них немного.

— Цицерон?

— Пропал без вести, император.

— Гортензий?

— Пропал без вести...

Кто еще? Квинт Гораций^[183], Вар, Фавоний... Многие и многие другие. Совсем не обязательно все они погибли. Пожалуй, это не такая уж плохая весть. Большая часть погибших сражалась рядом с ним, а пропавшие бились на другом фланге. Может быть, их увлекло за собой всеобщее паническое бегство?

Поздно вечером, в темноте, определить исход битвы трудно. Но они должны точно знать, возможно ли вновь собрать рассеянные легионы. Если Мессала жив, ему придется этим заняться.

Наверное, Брут начал рассуждать вслух, потому что один из командиров поднялся с места и сказал:

— Позволь мне пойти туда, император. Я постараюсь все разузнать.

Этого человека звали Статиллий^[184].

Брут сделал попытку его отговорить. Ведь придется дважды пересечь вражеские заслоны! Шансов вернуться живым очень мало. Он все еще не отдавал себе отчета, что сидевшие рядом с ним люди, видя его сегодня в бою, испытали невиданный душевный подъем, который до сих пор не отпускал их. Им хотелось совершать героические поступки, жертвовать собой ради других. Брут не смог удержать Статиллия, как несколькими часами раньше не пытался удерживать Луцилия.

Быстрая фигура растворилась в ночной мгле. Если вылазка окажется успешной, если он поймет, что их лагерь не тронут, если обнаружит остатки бежавших легионов и сумеет пробраться на их прежние позиции, он подаст им знак — зажжет факел.

Брут снова погрузился в раздумья.

Взошла луна. Стало светлее. И холоднее. Люди плотнее закутывались в плащи. Многие были ранены. Никто не жаловался, хотя у них не было ничего, даже воды, чтобы напиться и промыть раны. А река журчала так близко...

В лунном свете стало заметно, что Брут без конца облизывает пересохшие губы. Он получил сразу несколько ран, потерял много крови и явно испытывал мучительную жажду.

Один из воинов, ни слова не говоря, тихо поднялся с места, спустился к реке, вернулся со шлемом, наполненным водой, и протянул его императору. Брут принялся пить мелкими глотками, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не опустить в благословенную влагу все лицо. Выпив совсем немного, остановился и передал шлем Стратону. Каждый, к кому переходил

шлем, делал из него всего несколько небольших глотков, но все равно воды на всех не хватило.

Волумнию показалось, что на том берегу реки раздавался какой-то шум. Прихватив с собой конюшего Брута Дардана, он решил проверить, в чем дело. Правда, они ничего так и не узнали, но, вернувшись, увидели, как из рук в руки переходит шлем с водой.

— Вода осталась? — с надеждой спросил Волумний.

— Всю выпили... — с грустной улыбкой отвечал Брут.
— Но ничего, сейчас еще принесем...

Тот же воин, взяв опустевший шлем, снова направился к реке. И... наткнулся на вражеский дозор. Он едва ушел от них, раненый и без воды.

Теперь жажда терзала их еще сильнее. С берега слышался звук голосов. Убедившись в ошибке легионеров, притащивших к нему лже-Брута, Антоний отправил к реке целый отряд, наказав отыскать настоящего императора.

Пока республиканцев спасала ночная тьма. Но утром, когда рассветет, они сделаются легкой добычей преследователей. Так что с первыми лучами зари надо будет покинуть это укромное местечко. Если, конечно, не вернется Статиллий с добрыми вестями.

Брут поднялся. Опершись о древесный ствол, он долго вглядывался в темноту, туда, где должен располагаться их лагерь. Никакого движения, никаких следов присутствия людей. Должно быть, Мессала и не подумал отвоевывать сданные позиции. Наверное, он сумел пробраться к побережью и сейчас держит путь в Неаполь. А с ним вместе большая часть легионеров Кассия. Все-таки удрали...

Впрочем, надо дождаться Статиллия.

И вот вдали вспыхнуло пламя факела. Вспыхнуло и радостно заплясало на месте. Статиллий что-то нашел.

Брут снова сел. Его подчиненные горячо спорили о том, что же мог обнаружить Статиллий, как много

времени ему понадобится, чтобы вернуться... Брут не очень прислушивался к их предположениям. Ему почему-то казалось, что ждать уже нечего. Но говорить об этом остальным он не спешил. Им надо время привыкнуть к этой мысли.

— Если Статиллий жив, он обязательно вернется, — сказал он и снова надолго замолчал.

Шли часы, а их разведчик все не объявлялся.

Небо начало светлеть, и вот на горизонте зажглась первая утренняя звезда. Брут смотрел на нее с улыбкой.

Вдоль реки, нисколько не таясь, расхаживали вражеские дозоры. Никто не напал на них, никто их не пугал: республиканцев не осталось, одни погибли, другие разбежались.

— Нам нельзя здесь больше оставаться, — произнес рядом с Марком чей-то голос. — Пора уходить.

Уходить? Куда? И зачем?

Брут хорошо понимал, что его друзья хотят жить. Они молоды, они еще могут наладить свою жизнь. Но только не он.

Куда ему идти? В Неаполь? На равнине хозяйничает Антоний. Пробираться через горы? В это время года? Допустим даже, ему удастся добраться до Херсонеса и сесть на корабль, идущий на Восток. Какую помощь он там найдет?

Нет, думать о возобновлении войны — это безумие. Хватит жертвовать людскими жизнями, хватит рвать Рим на части. Он сделал для Города все, что мог. С него довольно. Остальное — в руках Провидения.

Итак, что же делать ему, лично ему? Попытка бегства, он предвидел это, скорее всего закончится гибелью. Гибелью бесславной, позорной.

Сдаться Антонию? Об этом не может быть и речи. Когда-то он, молодой трибун, сдался Цезарю. Он решился на это, потому что слишком мало значил тогда для Рима. Потому что Цезарь умел быть по-настоящему

милосердным. Потому что Цезарь любил Сервилию и Сервилия любила его.

Брут подумал о матери. Весть о его гибели причинит ей страшное горе. Но Сервилия его переживет. Она переживет все. Кроме трусости сына.

Вот именно, трусости. Что бы Брут ни говорил Кассию во время их последнего разговора, к самоубийству он относился отрицательно, считая его своего рода дезертирством. К тому же добровольный уход человека из жизни оскорбителен для богов.

Добровольный ли? Разве ему оставили другой выход? Смерть или бесчестье — так стоит вопрос. И может ли человек его круга, его воспитания колебаться, выбирая между одним и другим? Марк легко представил себе, что станет говорить Антоний, а за ним и весь Рим, если он сдастся живым.

Да простят ему боги, нет у него иного выхода!

Его губы снова тронула та странная, не от мира сего улыбка, которая со вчерашнего вечера не раз озаряла его лицо.

— Конечно, — согласился он. — Пора уходить. Но ноги мне для этого не понадобятся. Только руки.

Он уже успел скинуть доспехи, оставив при себе только меч. Остальные мгновенно поняли, что он имел в виду. Между ними повисла напряженная тишина. Друзья, не отрываясь, смотрели на Марка, ища слова, которые заставили бы его отказаться от принятого решения, и не находя их. Один за другим они отворачивали от полководца свои лица, по которым текли слезы.

Брут встал и приблизился к своему вольноотпущеннику Клиту. Отвел его в сторонку, коротко о чем-то попросил. Клит слушал, сдерживая рыдания. Брут позвал Дардана, своего конюшего, переговорил и с ним. Дардан всхлипывал, как ребенок.

Наконец Марк вновь повернулся к маленькой группке своих товарищей. Он не выглядел ни испуганным, ни даже опечаленным. Он был спокоен — как умел бывать спокоен, когда все вокруг теряли голову.

Медленно обойдя тесный кружок собравшихся здесь людей, он каждому пожал руку, с каждым перемолвился несколькими словами. Затем, обращаясь ко всем сразу, сказал:

— Я так счастлив видеть, что никто из друзей не предал меня. Мне некого упрекнуть — разве что Фортуна. Не за то, что отвернулась от меня. За то, что отвернулась от нашей родины. Мне сейчас лучше, чем нашим победителям. Да, и сегодня, и всегда, я чувствовал себя таким счастливым, какими они не почувствуют себя никогда. За мной останется слава доблести — а это не так уж мало. Слава, которой им никогда не победить силой оружия. Всех их богатств не хватит, чтобы омрачить эту славу. Что бы они ни сделали, потомки не обманутся на их счет. Они поймут, что эти люди, действовавшие во имя зла и несправедливости, погубили честных и доблестных мужей, и погубили с единственной целью — захватить власть, на которую они не имеют никакого права. А вы, друзья мои, вы достаточно дразнили Фортуна. Если она даст вам еще один шанс, не упустите его. Примиритесь с нашими врагами и сберегите себя. А теперь идите.

Товарищи Брута один за другим покидали тесное ущелье.

Ушли все, кроме Публия Волумния, Стратона и одного раба.

Брут улыбнулся Волумнию сияющей, радостной улыбкой.

— Подойди, Волумний! — по-гречески обратился он к другу. — Помнишь...

Несколько минут, показавшихся Волумнию бесконечными, он перебирал их общие воспоминания, говорил о счастливой молодости, проведенной ими в Афинах, об их юношеских надеждах и мечтах. И тут же, без перехода, добавил:

— Во имя всего, что нас связывает, прошу тебя, помоги мне!

Волумний сразу понял, чего ждет от него друг. От силы и точности удара мечом зависело, умрет ли человек быстро и безболезненно или будет обречен на долгую мучительную агонию^[185]. Стоит руке дрогнуть... Это знал каждый римский воин. Вот почему, принимая решение о самоубийстве, римляне предпочитали обратиться за помощью к близкому человеку. Но Публий Волумний не смог найти в себе достаточно мужества.

— Нет, Брут, нет! — смертельно побледнев, простонал он. — Я не могу...

Марк не стал настаивать. Он посмотрел в сторону Стратона. Грек только в ужасе затряс головой.

— Ну что ж, — снова улыбнулся Марк. — Раз никто из вас не хочет, придется просить помощи у раба...

Погибнуть от руки раба! Может ли для свободного человека быть смерть позорнее?

Марк на шаг-другой отступил в сторону, обнажил меч и проверил, достаточно ли остро наточен клинок.

Нет, он, конечно, не позволит рабу убить себя. Если его смерть окажется мучительной, что ж, тем хуже для него. В правую руку, по неосторожности раненную Кассием в день Мартовских ид, прежняя сила так и не вернулась.

В этот миг к нему приблизился Стратон. Твердо взглянул другу в глаза и проговорил:

— Дай.

Принял из его рук тяжелый клинок и выставил его вперед. Не медля ни секунды, Марк бросился на

обнаженный меч.

Стратон успел подхватить падающее тело. Меч наискось рассек грудь Брута. Стратон с силой выдернул оружие из раны. На белой ткани туники быстро расплылось огромное кровавое пятно. Марк приоткрыл глаза. Превозмогая боль, судорожно вздохнул. Посмотрел на плачущего Волумния. Перевел взор на Стратона, с неуклюжей лаской гладившего ему лоб. Он хотел сказать им, что любит их и все будет хорошо, но слова не шли из наполнившегося кровью горла. Тогда он снова улыбнулся им.

Равнину под Филиппами осветили первые солнечные лучи. Их отблеск упал на прибрежное ущелье, выхватив из предутренних сумерек лицо Марка.

Словно вспомнив о чем-то, он попытался ухватить полу плаща и накрыть ею лицо, но сумел лишь слабо шевельнуть рукой. Это сделал за него Волумний, приняв последний вздох умирающего.

Наступало 24 октября 42 года. Марк Юний Брут ушел из жизни.

Эпилог

— Стратон, где господин твой?
— Свободен, Мессала, от тех оков,
Какими связан ты и только могут
Сжечь победителя его. Сам Брут
Победу над собою одержал.
Никто другой его не славен
смертью.

*Уильям Шекспир. Юлий Цезарь.
Акт V, сцена V*

Весь вечер и всю ночь Антоний разыскивал Брута. Странное дело, он ловил себя на мысли, что не очень-то хочет его найти. Долгое время ему казалось, что его ненависть к Бруту не знает границ. Теперь он с удивлением осознавал, что она куда-то уходит, уступая место чему-то другому. Уважению? Искренней симпатии?

Антония эта перемена в себе самом нисколько не обрадовала. Что толку было теперь восхищаться доблестью поверженного противника? В прошлом Брут не раз и не два предлагал ему дружбу. Антоний знал, если бы не Брут, он не пережил бы Мартовских ид, и мысль об этом заставляла его вновь испытать странное, двойственное чувство — благодарность, смешанную с раздражением. После заговора Брут делал ему навстречу немало шагов, призывая к союзу во имя Рима. Он отказался, не пожалев при этом усилий, чтобы уничтожить человека, предлагавшего этот союз.

И теперь мучился вопросом, не ошибся ли.

Впрочем, поздно мучиться. Игра начата, и она должна быть доведена до конца. Непременно здесь, под Филиппами, и желательно немедленно. Это значит, Брут должен умереть. Почему же Антония преследовало это ощущение горечи?

Побежденный противник навязал ему не самую лучшую роль. Он вовсе не был злобным человеком и, думая о том, что Брута все-таки придется убить, с содроганием представлял себе, как в последний раз посмотрит в его всегда спокойные глаза.

Когда поздним вечером к нему доставили пленника, который на поверку оказался вовсе не тимператором республиканцев, он неожиданно для себя испытал облегчение. Почему-то ему было неприятно узнать, что гордый Брут живым сдался в плен. Выйдя из палатки, он увидел перед собой какого-то незнакомого юношу с бледным лицом и горделиво горящим взором.

— Марк Брут не схвачен, Антоний! — вызывающе проговорил он. — И ни одному врагу не под силу схватить его! Боги не допустят, чтобы Фортуна взяла верх над Доблестью! Он никогда не расстанется со своим достоинством! Я нарочно сдался твоим людям, чтобы обмануть их, и готов заплатить за это своей жизнью. Можешь предать меня самой мучительной смерти.

Вот это преданность, с завистью подумал Антоний. И, обернувшись к доставившим молодого человека воинам, сказал:

— Думаю, друзья мои, вы глубоко огорчены, что попались на обман этого хитреца. Наверное, вы чувствуете себя оскорбленными. Но знайте: добыча, которую вы доставили, дороже той, за какой вы гонялись. Вы охотились за врагом, а поймали друга! Да слышат меня боги! Не знаю, что я сделал бы с Брутом, если бы вы привели его ко мне, но такого героя, какого

я вижу сейчас перед собой, я предпочту видеть в числе друзей, а не врагов!

И он взял Луцилия под свою защиту^[186].

Но поиски продолжались. Уже утром один из дозоров наткнулся в заброшенном ущелье на тело Брута. Покорные его последней воле, Волумний и Стратон покинули его^[187]. Лишь раб остался стеречь покой своего мертвого хозяина.

Тело доставили в лагерь победителей. Антоний долго смотрел на это безмятежное лицо, на котором, казалось, застыла тень непонятной улыбки.

— В память о брате я должен бы тебя ненавидеть, — тихо произнес он. — Но я знаю, что ты не хотел его смерти, и не нахожу в своем сердце ненависти к тебе.

Затем, обратив внимание на то, что тело Брута завернуто в простой солдатский плащ — накануне Луцилий позаимствовал у него пурпурный плащ императора, — Марк Антоний медленно развязал пояс собственного одеяния. Это был богатый наряд, надетый ради праздника победы. Может быть, Антоний вспомнил, что именно так поступил великий Александр, склонившись над телом побежденного царя царей? Но жест Антония значил неизмеримо больше. Пурпурные плащи в римской армии имели право носить только главнокомандующие. Отдавая свой парадный убор погибшему противнику, которого при жизни объявили вне закона, Антоний возвращал ему все гражданские права и признавал за ним его высокий ранг. Тем самым он соглашался, что Брут действительно погиб во славу Рима.

Антоний отдал приказ, чтобы Брута погребли со всеми полагающимися почестями, а прах его переправили в Рим, чтобы вручить Сервилию.

Итак, Антоний сделал для мертвого все, что мог. Теперь ему следовало заняться живыми.

После поражения в битве и самоубийства Брута ненависть триумвира к республиканцам рассеялась сама собой. Долгое время не позволявший себе даже задуматься о милосердии, теперь Антоний проявил терпимость и широту души. Кроме Квинта Гортензия, отомстить которому требовал фамильный долг, он не собирался казнить никого. В горячке сражения он действительно велел своим воинам не щадить врага, но, остыв, сменил гнев на милость.

Другое дело Октавий.

По своей привычке исчезать с поля боя, Гай Октавиан Юлий Цезарь недолго принимал участие в схватке. Как только сделалось действительно горячо — этот момент настал, когда республиканцы перешли к отчаянной обороне, — с Октавием приключился очередной приступ болезни, подтвержденный его личным лекарем и преданным Агриппой. Он поспешно удалился в спокойное место и вернулся, когда всякая опасность миновала.

Чем скромнее был его вклад в победу, тем больше пользы он надеялся из нее извлечь. И он решительно потребовал казни всех пленных.

Антоний не нашел в себе моральной силы спорить с ним. Идти на конфликт с молодым коллегой по триумвирату он не хотел, полагая, что тот ему еще пригодится. К тому же ему не терпелось, чтобы Октавий поскорее убрался в Италию, оставив его распоряжаться на Востоке. В конце концов Антоний просто умыл руки.

И Октавий дал волю своей жестокости. Казнь захваченных в плен республиканцев не имела ничего общего с политической акцией, вызванной суровой необходимостью уничтожения противника. Октавий превратил ее в кровавое зрелище, которым наслаждался. Больше всего ему хотелось, чтобы приговоренные униженно умоляли его о пощаде. Но они вели себя достойно. Шествуя к плахе палача, они

приветствовали Антония и с презрительным молчанием проходили мимо «сына» Цезаря. Говорят, что перед ним задержался только старик Фавоний. Задержался, чтобы плюнуть ему в лицо.

Реки крови, пролившиеся после битвы под Филиппами, не утолили жажды мстительного юнца. В этот день Антоний искренне радовался за Брута, не попавшего живым в руки молодого триумвира.

Октавий не остановился бы и перед тем, чтобы надругаться над прахом вождя республиканцев, но Антоний лишил его этой сладкой возможности. Накрыв своим плащом тело Брута, Марк Антоний дал ясно понять свою волю. Октавий места себе не находил от злобы. Как ему хотелось, чтобы останки ненавистного врага соединились с останками его воинов, которым он отказал даже в общей могиле, приказав бросить их без погребения!^[188]

Понимая, что он ничего не добьется, если будет идти напролом, юный Цезарь избрал обходной путь. Ладно, он не претендует на все тело. Отдайте ему хотя бы голову! Надо думать, он сумел вовремя напомнить Антонию, что тот обязан ему жизнями дяди и брата Лепида, которые он «выменял» на голову Цицерона. Очевидно, против этого аргумента Антоний не нашел возражений.

И на погребальный костер было возложено тело Брута, лишенное головы. Видя такой беспорядок, отпущенник Антония, занимавшийся устройством похорон, решил, что с покойником церемониться нечего. Уже присвоив большую часть денег, отпущенных хозяином на погребальный обряд, он в последний момент ухитрился стащить с мертвеца и пурпурный плащ императора^[189]. Брут отправился на костер в старом плаще Луцилия. Впрочем, знай об этом, он, скорее всего, был бы этому только рад.

Зато Антоний позаботился о том, чтобы прах покойного был собран и передан Сервилии. Марк нашел вечное упокоение рядом с Порцией, в фамильном склепе Юниев Брутов.

Как ни странно, прав оказался Луцилий, заявивший, что Провидение не допустит, чтобы Фортуна вечно торжествовала над Доблестью. Октавий спал и видел, как, шествуя триумфатором по Риму, швырнет голову Брута к ростральной трибуне. Но небеса распорядились иначе. По слухам, корабль, на борту которого голова вождя республиканцев плыла к берегам Италии, накрыла в открытом море гигантская волна, унесшая вожделенный трофей Октавия на дно Адриатики.

Так и не удалось ему вдоволь поиздеваться над мертвецом.

Тридцать лет спустя, став Августом и стараясь затушевать память о кровавых годах своего восшествия к власти, он этому даже радовался. С опытом он начал понимать, что, унижая поверженного врага, трудно возвыситься.

В последующие годы он развернул широкую пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию памяти о республиканцах. Не без его благословения вышла в свет переписка Цицерона, по всей видимости, предварительно подвергшаяся цензурной «правке». И Цицерон, и Помпей представляли в опубликованных письмах в сильно искаженном виде, и образ этих деятелей существенно пострадал в глазах потомков. Только Марку Юнию Бруту вся эта мелкая пропагандистская возня не смогла причинить никакого вреда^[190]. Его верные друзья, оставшиеся таковыми и после его смерти, — Луций Бибул^[191], Публий Волумний и даже Марк Валерий Мессала — опубликовали собственные воспоминания, в которых воздали дань уважения и любви своему бывшему вождю.

И в некоторых патрицианских домах еще оставались люди, которым крайне не нравились новые порядки, лишившие их завещанной предками свободы. Они еще долго хранили в своих сердцах память о «последнем из римлян» — Марке Юнии Бруте.

Установившаяся власть, вопреки всем своим достоинствам слишком напоминая тиранию, против которой боролись Брут и его друзья, с опаской прислушивалась к подобным настроениям. В 22 году нашей эры, когда, перешагнув 80-летний рубеж, скончалась младшая сестра Брута и вдова Кассия Тертулла, Тиберий не посмел отказать покойной в достойном погребении, однако категорически запретил выносить на римские улицы посмертные маски обоих тираноборцев.

Тертулла, заранее отдавшая подробные распоряжения относительно своих похорон, ожидала чего-то подобного от Тиберия Клавдия Нерона, удачно унаследовавшего власть после смерти своего отчима Августа. И на тех местах, где должны были помещаться посмертные изображения Брута и Кассия, зияли красноречивые пустоты, сказавшие посвященным больше, чем смогли бы сказать самые лучшие портреты.

Эта безмолвная демонстрация больно задела Тиберия и три года спустя он запретил к публикации и приказал сжечь труд историка Кремуция Корда, слишком восторженно, на его взгляд, отзывавшегося об организаторах заговора марта 44 года. Автор, потрясенный гибелью своего многолетнего труда, покончил с собой, и многие восприняли его поступок как протест против тирании.

Но никакая цензура не могла стереть из людской памяти образ Брута. Его помнили и чтили даже больше, чем его дядю Катона, в котором было слишком много суровости и слишком мало человечности. Именно Брута воспел Лукан в своей поэме «Фарсала». В Риме

наступали тревожные времена. К власти пришел правнук Антония Нерон — человек непредсказуемый и способный на многое. И Лукан поплатился за свою смелость жизнью.

Но не только недовольные режимом уважали память Брута. Плиний Младший, добросовестно служивший принципату, признавался, что постоянно держит на своем рабочем столе бюст Брута. Да и Плутарх, не менее вдохновенный певец установленного Августом строя, всей силой своего страстного таланта пел хвалу герою-республиканцу, которого ставил выше всех великих греков и римлян вместе взятых.

Память о Бруте ярким факелом пылала в сердцах римлян, пока стоял сам Рим. Огонь этого факела погас, лишь когда рухнула империя и не осталось никого, способного понять сущность идеала, которому он служил. Но и тогда образ Брута не исчез. Его, искажив до неузнаваемости, пытались использовать в своих интересах самые разные силы, к каждой из которых он не имел никакого отношения.

Из него старались сделать презренного предателя, вставшего на пути нарождающегося принципата. Когда Италия разрывалась надвое в войне гвельфов с гибеллинами, Данте поместил Брута в последний круг своего ада, навсегда прокляв его. Французская революция в лице Сен-Жюста провозгласила его своим кумиром и, творя худшие из преступлений, прикрывалась его именем. Наша эпоха, в своем культурном развитии все дальше уходящая от латинских корней, подарила нам «Астерикса», в котором Брут предстает приемным сыном Цезаря, лицемерным тупицей и маньяком, с утра до ночи точащим кинжал...

И тем не менее...

Он был молод, красив и богат. Он без памяти любил свою жену. Он любил читать, увлекался историей,

философией и поэзией Гомера, стремился познать гармонию жизни. Он был человеком тонкой души и, несмотря на жестокие нравы своего времени, таким и остался.

Он верил в добродетель и жертвенность. И действительно пожертвовал всем, включая жизнь.

Он сделал это во имя любви. Любви к Риму, любви к свободе.

Что это, если не высокий патриотизм и не обостренное чувство собственного достоинства?

И кто он нам, если не брат?

Слово благодарности

Автор выражает горячую признательность всем тем, без чьей помощи эта книга не увидела бы свет:

своим издателям Франсуа-Ксавье де Виви и Ксавье де Бартийа, давшим автору себя «уговорить»;

Клоду Лонею, в очередной раз распахнувшему перед автором двери своей библиотеки;

доктору Андре Шарлю, взявшему на себя риск помочь автору в заочной диагностике болезней персонажей;

сотрудникам муниципальной библиотеки Лавалея, в течение многих лет подбиравших автору старинные и труднодоступные источники.

Особенную благодарность автор испытывает к своему учителю классической филологии Мари-Мадлен Дорво, не только открывшей тайны латинской грамматики, но и сумевшей объяснить смысл римских ценностей, в том числе доблести, которой столь верно служил Брут.

Наконец, автор хотел бы помянуть добрым словом своих родителей, слишком рано ушедших из жизни, но успевших передать ему свою любовь к древнегреческой и древнеримской культуре и позволивших автору в век повального увлечения техникой следовать избранной им литературной стезей. Спасибо за этот бесценный дар.

Основные даты жизни Брута

Конец октября 85 г. — родился Марк Юний Брут. Ему не исполнилось и семи лет, когда его отец был убит ближайшим помощником Гнея Помпея Геминием. Мать Марка, патрицианка Сервилия, оставшись вдовой в 22 года, вышла замуж за Децима Юния Силана, ставшего отчимом Бруту.

Начало 60-х гг. — Марк Юний Брут находится в Греции, в Афинах, где завершает свое образование, слушая аттических ораторов, вникая в тонкости учения Платона, зачитываясь трудами Полибия и Демосфена. В это же время посещает Дельфы и острова, ведет с друзьями — Публием Волумнием и Стратоном бесконечные споры о существовании божественного начала и бессмертии души.

60 г. — Цезарь заключает вместе с Помпеем и Крассом триумвират. Римская республика, уже вступившая в пору кризиса, переживает не лучшие времена.

59 г. — Брут вернулся в Рим.

13 июля — закрытие Аполлоновых игр. На театральном представлении знаменитый трагик Дефил, обращаясь к Цезарю, продекламировал: «Законы и обычаи попирая, ты видишь в том великую заслугу. Но знай: настанет день и ты заплачешь».

1-2 октября — Луций Веттий, арестованный по подозрению заговора против консула Помпея, назвал в числе молодых радикалов-республиканцев Марка Юния Брута. От нависшей опасности Марк был спасен Цезарем, к которому обратилась Сервилия.

58 г. — весной этого года Брут сопровождает своего дядю Марка Порция Катона на Кипр.

55 г. — летом Марк Юний Брут выступает посредником в киприотском займе.

Брут сочетается браком с Клавдией Пульхрой Младшей — из среды патрициев и знатных римских фамилий. Начинается его дружба с Гаем Кассием Лонгином, почитателем Эпикура.

53 г., октябрь — Марк прибыл в Киликию для улаживания конфликта по киприотскому займу.

51 г., июнь — Брут возвращается в Рим. Знакомство Брута с Цицероном.

50 г. — Марк в сотрудничестве с известным римским адвокатом, Квинтом Гортензией Горталом, учителем Цицерона, участвует в судебном процессе Долабелла против Аппия, тестя Марка, который был ими выигран в пользу Аппия.

Это было первое публичное выступление Брута, обратившего на себя внимание римской общественности.

В конце этого года Марк Юний Брут в качестве квестора отбывает с проконсулом Публием Сестием в Киликию.

49 г., январь — гражданская война. 7 января Рим находился на осадном положении. Войска под командованием Гнея Помпея, приверженца Республики, выступили против Цезаря и были разбиты. Цезарь стал полновластным хозяином Рима и всей Италии. Война перекинулась на рубежи империи.

Брут как убежденный республиканец, человек чести и доблести, покинул Киликию и осенью 49 г. вслед за Катонам направился в Диррахий, где сосредоточились главные силы сената, поддерживающие республиканца Гнея Помпея. Зимой того же года скончались тесть Марка Аппий Клавдий Пульхр и Марк Кальпурний Бибул, супруг Порции, любимой женщины Марка.

48 г., 9 августа — решающая битва закончилась победой Цезаря.

Брут примыкает к Цезарю в надежде повлиять на него в пользу Республики.

В конце лета Брут отплывает в Киликию и высаживается в Лаодикее в качестве наместника провинции.

29 сентября — гибель у берегов Египта Гнея Помпея, пронзенного мечом по приказу египетского царя.

Брут получает назначение легата-претора в Цизальпинскую Галлию.

47 г. — к лету этого года Брут добился помилования для многих ссыльных сторонников Великого.

46 г. — Брут пишет классический труд «Трактат о добродетели». В тот же год Цицероном написан диалог «Брут». В середине апреля Катон, осажденный в Утике войсками Цезаря, покончил с собой.

45 г., март — Брут возвращается в Рим.

Август — Марк Юний Брут женится на дочери Катона — Порции, разведясь с Клавдией.

Октябрь — Брут начинает прозревать относительно истинных целей Цезаря — стремление к личной, неограниченной диктатуре.

44 г., январь — Брут вступил в должность городского претора.

Складывается сенатская антицезарианская оппозиция во главе с Брутом, готовящая заговор против диктатора. 15 марта — убийство Цезаря.

12 апреля — Брут покидает Рим и отправляется в Ланувий. Сентябрь — в начале этого месяца Брут и Кассий, сколотив небольшой флот, высадились в Пирее. В Афинах им был устроен восторженный прием. Кассий отправляется в Сирию. Ноябрь — Брут, обзаведясь значительной денежной суммой и небольшим войском, отправился в Фессалию. К концу месяца у него уже было восемь тысяч воинов.

Декабрь — в первых числах месяца Брут захватил фессалийскую крепость Сицион, его добычей стал хороший запас оружия, снаряжения и продовольствия.

43 г., 20 января — опередив своего противника Гаю Антония, брата нового диктатора, Брут вступил в Диррахий, овладев самой крупной военной базой региона, затем под его напором пал второй стратегически важный пункт — Аполлония Эпирская, он навязал Гаю Антонию сражение и одержал победу, став полновластным хозяином Македонии и зависимых от нее Греции и Иллирии. Сенат признал действия Брута законными и утвердил его наместничество.

43 г., июнь — смерть Порции.

7 декабря — гибель Цицерона, обезглавленного центурионом Гереннием.

42 г. — в преддверии весны Брут предлагает Кассию встретиться и, объединив свои силы, выступить против войск Антония и Октавия. Переговоры состоялись в Смирне и положили начало этому объединению.

Марк Антоний и Октавий объединяют свои силы, вытесняют республиканцев из Средиземноморья и Адриатики. 3 октября — сражение под Филиппами. Войска Брута разгромили лагерь Октавия, но воспользоваться победой оказалось невозможно, так как Кассий не выполнил возложенную на него задачу. Его лагерь был разбит Антонием, Кассий свел счеты с жизнью.

23 октября — в решающей битве Брут вначале одержал победу, но вынужден был отступить из-за грубых просчетов Мессалы, командовавшего левым флангом. В бою погибли наиболее надежные воины.

24 октября — Марк Юний Брут покончил жизнь самоубийством, бросившись грудью на обнаженный острый меч.

Библиография

Литература на французском языке

Guy Achard, *La femme a Rome*, PUF, 1995. — *La communication a Rome*, Les Belles Lettres, 1991.

D'Adozzo, *Sulla corrispondenza tra Cicerone e Marco Bruto*, Naples, 1905.

Gaston Boissier, *Ciceron et ses amis*, Paris, 1891.

Roger Breuil, *Brutus (biographie romancee)*, Gallimard, 1945.

Jacques Brunschwig, *Epicurisme, stoicisme, scepticisme*, PUF, 1995.

Jerome Carcopino, *Les secrets de la correspondance de Ciceron*, Paris, 1947

— *Profils de conquerants*, Flammarion, 1961. — *Jules Cesar*, PUF, 1968.

Francois Chamoux. *Marc Antoine*, Arthaud, 1986.

Eugen Cizek, *Mentalites et Institutions politiques romaines*, Fayard, 1990.

M. Clarke, *The Noblest Roman, Marcus Brutus and His Reputation*, Londres, 1981.

Filippo Coarelli, *Guide archeologique de Rome*, Hachette, 1998.

P. Columba, *Il marzo di 44 a Roma*, Rome, 1896.

Florence Dupont, *La vie quotidienne du citoyen romain sous la Republique*, Hachette, 1989.

Robert Etienne, *Les ides de mars*, Gallimard, 1973.

Guglielmo Ferrero, *Crandeur et Decadence de Rome*, Plon, 1905.

V. Fornari, *Altre considerazioni intorno alle parole di Marco Giunio Bruto in sul morite*, La Sapienza, 1881.

Pio Grattarola, *I Cesariani dale idi di marzo alia costituzione del secon-do triumvirato*, Turin, 1990.

Pierre Grimal, *Ciceron*, Fayard, 1986.

- L'amour a Rome, Les Belles Lettres, 1979.
- Memoires de Titus Pomponius Atticus, Les Belles Lettres, 1976.
- La civilisation romaine, Flammarion, 1981.
- Yolande Grise, Le suicide dans la Rome antique, Les Belles Lettres, 1982.
- E.S. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic, Berkeley, 1974.
- Friedrich Gundolf, Cesar, histoire et legende, Rieder, 1933.
- L. Homo, Auguste, Payot, 1933.
- Eberhard Horst, Jules Cesar, Fayard, 1981.
- E.G. Huzar, Marc Antony, Londres, 1986.
- P. Jal, La guerre civile a Rome, PUF, 1963.

- Lucien Jerphagnon, Histoire de la pensee, Tallandier, 1989.
- Histoire de la Rome antique, Tallandier, 1988.
- Le divin Cesar, Tallandier, 1991.

- Marcel Le Glay, Rome. Grandeur et declin de la Republique, Perrin, 1990.

- Paul-Marie Martin, Antoine et Cleopatre, Albin Michel, 1990.
- Tuez Cesar! Complexes, 1988.

- Regis Martin, Les douze Cesars. Du mythe a la realite, Les BellesLettres, 1991.
- C. Meier, Cesar, Hachette, 1989.
- G. Mulazzi, Bruto secondo nella letteratura, Milan, 1896.

- Jean-Pierre Neraudau, Auguste, Les Billes Lettres, 1996.
- La jeunesse dans la litterature et les institutions de la Rome republicaine, Les Belles Lettres, 1979.
- Etre enfant a Rome, Les Belles Lettres, 1996.

Claude Nicolet, Rome et la conquete du basin mediterraneen, PUF, 1977.

— Le metier de citoyen dans la Rome republicaine, Gallimard, 1976.

Jean Prieur, La mort dans l'Antiquite romaine, Ouest-France, 1986. Revue des Etudes latines.

Jean-Noel Robert, Eros romain, Les Belles Lettres, 1996.

L. Ross-Taylor, La politique et les parties a Rome, 1977.

Catherine Salles, Lire a Rome, Les Belles Lettres, 1992.

Ronald Syme, La revolution romaine, Gallimard, 1967.

Gerard Walter, Brutus et la fin de la Republique, Payot, 1938.

— Cesar, Albin Michel, 1964.

A. Weigall, Marc Antoine, Paris, 1933.

E. Winstrand, The Policy of Brutus the Tyrannicide, Goteborg, 1981.

Zvi Yavetz, Cesar et son image, Les Belles Lettres, 1990.

Литература на русском языке

Буассье Г. Цицерон и его друзья. Очерк о римском обществе времен Цезаря. М., 1914. См. также в Собр. соч. того же автора. СПб., 1993.

Грималь П. Цицерон. М., 1991.

Грималь П. Цезарь. М., 2003.

Корнилова Е. Н. «Миф о Юлии Цезаре» и идея диктатуры. М., 1999.

Машкин Н. А. История Древнего Рима. В 2 т.: Т. 2. М., 1956.

М. Туллий Цицерон. Речи. В 2 т. М., 1962.

М. Туллий Цицерон. Брут // Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1994.

М. Туллий Цицерон. Письма к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. М.; Л., 1949—1951; переиздание 1994 г.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 3 т. М., 1962.

Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1973.

Этьен Р. Цезарь. М., 2003.

notes

Примечания

1

Буассье Г. Цицерон и его друзья. Очерк римского общества времен Цезаря. М., 1915. С. 309.

Консулы управляли в течение только одного года. События, описанные автором, произошли, согласно легенде, в том же 509 г. — Прим. науч. ред.

З

Оптиматы были защитниками власти сената.

4

Гай Гракх был убит в 121 г., то есть не 8, а 12 лет спустя.

5

Марий был избран консулом в 107 г. и возглавил армию, воевавшую против Югурты. В 106 г. он захватил в плен царя.

6

Юлий Цезарь был консулом в 59 г., а не в 58-м.

7

Так называемый первый триумвират 60 г.

Это, конечно, ошибка. Просто сам Катон, пренебрегая приличиями, иногда появлялся в публичных местах босиком и в одной тунике.

9

Разумеется, никаких лож в Риме не было. Слова Дефила относились не к Цезарю, а к Помпею, чье прозвище было Великий.

10

Цицерон в этом деле не участвовал, и Цезарю даже в голову такая мысль не могла прийти.

11

Такого мужа у дочери Цицерона не было; она была замужем трижды — за Пизоном, Фурием Крассином и Долабеллой.

Судя по Аппиану и переписке Цицерона, Веттий был агентом Цезаря, из тех, которых сейчас называют провокаторами. Задача его была запутать и дискредитировать врагов Цезаря, особенно Куриона, Бибула и Катона. Веттий вкрался в доверие к Куриону и предложил убить Помпея. Курион, не совсем еще утративший привычки порядочного человека, предупредил Помпея через своего отца. Веттия схватили раньше времени и, растерявшись, он понес отсебятину. Оговорил Брута и сказал глупость: показал нож и объявил, что его дал ему Бибул. Как будто, говорит Цицерон, в Риме нож нельзя достать иначе, чем от консула! Дело провалилось, Веттий, который знал слишком много, был убит. Читатель, наверное, уже догадался, что Бруту ничего не угрожало. Ведь никто из тех, кого оговорил Веттий, не пострадал.

Катон был философом; ученик греков, он побеждал в диспутах греческих ученых. Автор явно путает Катона Младшего с его знаменитым предком — Катоном Старшим, непримиримым врагом греков.

Здесь автор опять путает обоих Катонов.

Катона сбрасывали с ораторского возвышения силой, но он возвращался и продолжал говорить. Требоний приказал его арестовать, но весь народ бежал за ним к тюрьме. Так что Требонию ничего не оставалось, как отпустить его.

16

Эпикур не был атеистом. Он признавал богов, но считал, что они не вмешиваются в человеческую жизнь.

Одна из первых известных речей Брута была в защиту Милона.

Цицерон был сыном всадника.

Неясно, что имеет в виду автор. Подобных сведений в источниках нет.

Причиной некоторой отчужденности между Цицероном и Брутом были довольно грязные ростовщические операции Брута, о которых Цицерон узнал только в Киликии.

21

Неясно, как связан был Брут с браком Туллии.

Аттик был крупнейшим финансистом того времени, свое богатство он создал сам.

Ни Брут, ни Лепид так и не узнали об этой истории.

Гортензий был старшим современником Цицерона и другом, но не учителем.

Наоборот, аттицизм был в то время очень моден среди молодежи, но потом он, по выражению Цицерона «под смех всего Форума умолк».

26

Порция происходила из знатного плебейского рода.

Претор был председателем суда. Приговор выносили присяжные.

Поэта с таким именем не существовало. Видимо, автор имеет в виду мимोगрафа Лаберия.

Никто из античных авторов не сообщает об этом подвиге Кассия.

Напротив, Цезарь, согласно Плинию, верил в заговоры и заклинания.

Стоя с окровавленным кинжалом, Брут произнес два слова, как он полагал, все объясняющие: «Мир» и «Цицерон».

В действительности Цицерон много часов просидел в приемной диктатора, чтобы ходатайствовать за одного ссыльного. Увидев его, Цезарь сказал: «Да. Цицерон должен меня возненавидеть, просидев столько времени у меня в приемной».

Из текста можно подумать, что Антоний находился в Риме под присмотром Цицерона. Между тем он был в Македонии у Гортензия. Брут дал распоряжение его казнить только после убийства Цицерона.

Письмо, которое цитирует автор, датировано апрелем, то есть до описываемых событий. Поэтому-то Цицерон говорит, что трудности — в нежелании Пансы отослать армию из Италии (Brut. II, 4).

На самом деле: «Многие подозревают, что он не хочет, чтобы даже ты был слишком силен. Но я в это не верю».

Утверждение, что Брут не гордился Мартовскими идами, не соответствует действительности. Брут даже вскоре после убийства Цезаря стал чеканить золотые монеты со своим изображением. На другой стороне была надпись: «Иды Марта».

Об этом письме см. предисловие.

Рабы, напротив, готовы были все умереть за господина. Но Цицерон сам принял смерть.

Даймон — некий внутренний голос, который ничего не приказывал Сократу, но только запрещал.

Комментарии

1

Пер. Н. Воронель.

2

Пер. А. Фета.

509 г. до н.э. Эта дата, традиционно считающаяся годом основания Римской республики, вызывает все более сильные сомнения у новейших историков, убежденных, что смена государственного строя произошла при иных обстоятельствах и, скорее, около 475 г. Но для нас это неважно. Главное, что римляне, жившие в I в. до н. э., считали приводимую ниже историю совершенно достоверной.

4

Если не оговорено специально, все даты в тексте — до нашей эры. (Прим. пер.)

5

Императором (от латинского глагола *imperare* — командовать) в Древнем Риме называли полководца, возглавлявшего армию во время войны.

6

В истории известна под названием «союзнической войны», то есть войны с бывшими союзниками.

Напомним читателю, что у римского гражданина было личное имя — исключительная привилегия мужчины и знак того, что он рожден свободным. Старшему сыну обычно давали то же имя, что носил его отец. Личных имен было очень мало, меньше двух десятков, и некоторые из них практически не употреблялись. Поэтому список распространенных имен столь краток (Марк, Луций, Гай, Гней, Авл, Квинт, Тит, Тиберий). Кроме личного имени римский гражданин имел родовое имя (фамилию в современном понимании), по-латински обычно оканчивающуюся на *ius*. Наконец, у него был *cognomen* — прозвище, позволяющее различать между собой разные ветви одного и того же рода. Все вместе называлось *tria nomina* — три имени. Иногда римляне называли друг друга только по «имени и фамилии»: Марк Юний, Луций Сергий, Марк Туллий, Гай Юлий. Иногда — только по прозвищу: Брут, Катилина, Цицерон, Цезарь. Иногда по имени и прозвищу: Марк Брут, Луций Катилина, Марк Цицерон, Гай Цезарь. Необходимо отметить, что у некоторых родов не было прозвищ, так что их отпрыски звались не тремя, а двумя именами: например Марк Антоний. В случае усыновления иногда перечислялись имена, полученные при рождении, а затем к ним добавлялись имена приемного отца; иногда, чтобы упростить конструкцию, использовали «смесь» тех и других.

Вокруг даты рождения Брута вот уже две тысячи лет не утихают яростные споры историков. В зависимости от того, нравится или не нравится Брут тому или иному автору, его то признают незаконнорожденным сыном Юлия Цезаря, то не признают. Не вдаваясь в излишние подробности, укажем, что в качестве решения этой проблемы предлагаются две взаимоисключающие версии. Сторонники первой вслед за профессором Каркопино, бесспорным авторитетом в этой области, утверждают, что Брут ни в коем случае не может быть сыном Цезаря. Фрагмент одного из текстов близкого друга Брута Цицерона позволяет установить, что Брут родился в конце октября 85 г. Если согласиться с этой датой, тогда придется признать, что 15-летний Цезарь соблазнил Сервилию, которой едва минуло 14 лет и которая только что вышла замуж. Поскольку такое предположение выглядит слишком натянуто, сторонники версии об отцовстве Цезаря предлагают считать дату 85 г. ошибочной и настаивают, что Брут родился в октябре 78 г., то есть на семь лет позже. Цезарю тогда было 22 года, Сервилии — 21, а ее муж воевал за пределами Рима. Ошибка в текст Цицерона, по их мнению, вкралась по вине переписчика. Этому мнению придерживаются Плутарх, Аппиан и Веллей Патеркул, исходя из того, что, во-первых, Брут умер в 37 лет (а не в 43 года), и во-вторых, Цезарь «не сомневался» в собственном отцовстве.

В действительности эти аргументы совершенно бездоказательны, поскольку античные историки слишком часто грешат неточными датировками. Цезарь обещал Бруту должность консула в 41 г., то есть по

достижении им 43 лет — законного возраста, позволяющего занять высшую магистратуру. Что касается определения *adulescens* (юный), употреблявшегося по отношению к Бруту в начале его карьеры, то оно ни о чем не говорит — в Риме «юными» называли мужчин от 16 до 35 лет.

Слухи о незаконном рождении Брута могли возникнуть как в результате клеветы, широко распространенной в высшем римском обществе, так и стараниями романтически настроенных писателей, живших гораздо позднее Цезаря. Ничего не доказывают и знаменитые последние слова Цезаря: «И ты, сынок» (или, если быть точными, «*Kai su, teknon*», ибо с близкими Цезарь говорил по-гречески). Мало того, что эта фраза — скорее всего, позднейший апокриф, она еще и двусмысленна. Обращение «сынок» может с равным успехом означать признание кровного родства и просто теплое чувство к младшему товарищу. В последнем случае правильный перевод слов Цезаря звучал бы: «И ты, малыш».

Зато очевидно другое. Ни один человек в ближайшем окружении Брута ни на миг не допускал, что он может быть сыном Цезаря. В обратном случае им в голову бы не пришло привлечь его к заговору, жертвой которого должен был стать его родной отец. Да и сам Брут несколько не сомневался, чей он сын. Ведь и к заговору он примкнул только потому, что верил в свое происхождение от Луция Юния Брута — основателя республики. В силу всех этих причин, а также других, с которыми читатель познакомится по ходу дальнейшего повествования, автор предпочитает придерживаться традиционной точки зрения и считать годом рождения Брута 85 г.

В Древнем Риме личное имя было привилегией мужчин. Дочь гражданина звалась родовым именем отца, преобразованным в форму женского рода. Так, дочь Сервилия называли Сервилией, дочь Туллия — Туллией, дочь Порция — Порцией, дочь Юлия — Юлией, дочь Юния — Юнией и т.д. Если в семье рождалось несколько дочерей, им просто присваивали порядковые номера: Старшая, Младшая, Секунда (вторая), Терция (третья), Кварта (четвертая), Квинта (пятая)... Лишь во II в. н.э. римлянки получили право на личные имена.

10

Месяц квинтилий соответствует нашему июлю, который получил свое название в честь Юлия Цезаря только после его смерти. Иды квинтилия охватывают промежуток с 8-го по 15-е число. Современный август, названный после смерти Августа в его честь, до этого именовался секстилием. (Иды — 15-е число марта, мая, июля и октября и 13-е число остальных месяцев. — Прим. науч. ред.)

11

Юлий Цезарь родился 13 июля 100 г.

12

Хорошо воспитанный и исполненный достоинства римлянин всегда туго затягивал пояс тоги.

Некоторые историки отрицают это родство.

14

Кентавр, убитый Геркулесом. Его отравленной кровью Деянира пропитала одежду мужа, что послужило причиной мучительной смерти героя. (Прим. пер.)

Письмо Цицерона к Аттику, II, 24.

16

Иначе почему Курион с такой легкостью сменил роль предводителя оппозиционной молодежи на роль ближайшего помощника Цезаря?

17

13 июля 58 г.

Разумеется, никаких лож в Риме не было. Слова Дефила относились не Цезарю, а к Помпею, чье прозвище было «Великий».

Не исключено, впрочем, что первоначально Веттий работал на Каталину, но после провала своего патрона на выборах переметнулся к новому консулу Цицерону.

Это еще раз доказывает, что в то время никто и мысли не допускал, что Цезарь может быть отцом Брута. Веттий был бы последним идиотом, если бы осмелился обвинить сына единственного человека, способного спасти ему жизнь.

Астрономическая сумма! Пятью годами раньше Цицерон едва не разорился, вложив все, чем владел, в покупку дома своей мечты, расположенного в самом богатом римском квартале. Дом обошелся ему в три с половиной миллиона сестерциев.

Речь идет о знаменитом скандале, разразившемся в храме Доброй Богини. Клодий, который тогда еще не успел перейти в плебейское сословие и потому звался Клавдием, под предлогом свидания с любовницей переоделся женщиной и проник в храм во время празднеств в честь Доброй Богини, куда мужчины в принципе не допускались, осквернив его своим присутствием. Примечательно, что любовницей Клодия была тогдашняя супруга Цезаря Помпея, с которой тот вскоре развелся. Как видим, Цезарь умел забывать личные обиды, если того требовали политические интересы. (Клодий проник в женском платье в дом Цезаря, где справляли таинство Доброй Богини.)

По мнению Плутарха, поведение Цицерона объяснялось тем, что он сам питал слабость к сестре Клодия красавице Клавдии Пульхре, которой под именем Лесбии посвящал свои стихи Катулл. Ревнивая жена Цицерона Теренция пригрозила мужу разводом, если он не порвет с Клавдиями — и с сестрой, и с братом. Чтобы не выносить сор из избы, Цицерон предпочел выступить в суде против своего юного друга.

По-латински имя Порций означает «торговец свиньями».

В древности мореходный сезон в Средиземноморье заканчивался в конце октября и возобновлялся в конце февраля.

Именно в это время Цицерон — образец добродетели и совесть республики — писал своему другу Аттику: «Довольно твердить о чести, справедливости и прекрасных истинах! Раз уж те, кто не может ничего, не желают меня любить, постараемся, чтобы нас полюбили те, кто может все».

О первой жене Брута не сохранилось почти никаких сведений. Ко времени женитьбы ей, по всей вероятности, исполнилось 15 лет. Поскольку нигде ни слова не говорится о ее красоте или уродливости, следует предположить, что она была достаточно мила, но не более того. Ее репутация никогда не подвергалась ни малейшим сомнениям.

Кассий родился 3 октября, между 85 и 81 гг. Некоторые историки, отстаивающие версию о том, что Брут был сыном Цезаря, выдвигают этот факт как аргумент в ее защиту, поясняя, что Брут не мог родиться в 85 г., поскольку Кассий часто подчеркивал свое «старшинство». Однако следует иметь в виду, что это выражение вовсе не обязательно означает возрастное старшинство, но с тем же успехом может служить для обозначения превосходства в военно-политической карьере, а это превосходство, вне всякого сомнения, принадлежало Кассию.

Именно это выражение употребляет Плутарх, вероятно, заимствовавший его в «Мемуарах» друга Кассия Мессалы.

Первоначально квестор, сопровождавший войско, занимался финансовыми вопросами, но постепенно его обязанности расширялись, и к описываемому времени квестор фактически являлся в армии вторым лицом после императора.

Парфяне захватили и боевые знамена этих семи легионов, что в Риме было воспринято как небывалый позор. 40 лет спустя Август, сознавая, что одолеть Парфию силой не удастся, вступил с парфянами в переговоры, и в конце концов они согласились вернуть знамена Красса. По этому поводу были устроены пышные празднества, сопровождавшиеся широкомасштабной амнистией.

Здесь необходимо коснуться проблемы подлинности переписки Цицерона, подробно изученной профессором Каркопино. Эту переписку, включая письма Брута и ответы на них, сохранил лучший друг оратора Тит Помпоний Аттик, а опубликовал в пропагандистских целях Октавий — будущий Август. Спрашивается, почему Октавий, менее всего заинтересованный в поддержке республиканской партии, не уничтожил письма, а предал их гласности. Профессор Каркопино предлагает на этот вопрос вполне очевидный ответ: потому что в этих письмах их авторы открываются далеко не с лучшей стороны. Цицерон предстает в них безвольным эгоистом, злобным и расчетливым клеветником и одновременно дает Помпею, Бруту и Кассию самые ядовитые характеристики, способные окончательно погубить их репутацию. Не исключено даже, что помощники Октавия, готовившие письма к публикации, немножко их «подредактировали» в нужном для себя духе. Поэтому следует с известной осторожностью относиться к трактовке роли Брута в киприотском займе, изложенной в письмах Цицерона. Жером Каркопино подчеркивает, что вся история с этим займом, о которой нам известно только по отзывам Цицерона, служит единственным темным пятном, омрачающим идеально чистый образ Брута. Отметим также, что Плутарх ни словом не упоминает об этом эпизоде, возможно, потому, что не верит в его достоверность. Как говорили древние римляне: «*Testis unus, testis nullus*» (Единственный свидетель — не свидетель). Во всяком случае, оставим за собой право усомниться в участии Брута в финансовых махинациях.

Он не всегда проявлял такую щепетильность. В конце 63 г., когда истек срок его консульства, он отказался от наместничества, но сговорился со своим коллегой Гаем Антонием, получившим назначение в Македонию, об участии в дележе прибылей. Когда по возвращении Антония обвинили в злоупотреблениях, Цицерон выступил его адвокатом и защищал его с жаром, многим казавшимся подозрительным. (Это не соответствует действительности. Цицерон, напротив, прославился своей честностью. См. предисловие. — Прим. науч. ред.)

Чтобы еще теснее скрепить свою дружбу, они устроили брак между сестрой Аттика Помпонией и братом Цицерона Квинтом. Помпония оказалась настоящей мегерой, и друзьям пришлось немало помучиться, пытаясь удержать от развала этот неудачный союз.

Письмо VI Цицерона к Аттику от 5 марта 50 г.

Напомним, что имя Брут в переводе с латинского означает «тупица», а Лепид — «милейший». Именно в значении этих имен и скрыта соль эпиграммы Цицерона.

И во времена Брута, и впоследствии о его ораторском искусстве высказывались самые разноречивые мнения. Известный своим красноречием Цицерон, в принципе склонный преуменьшать чужие дарования, никогда не мог простить Бруту, что он отдавал предпочтение стилю, резко отличавшемуся от его собственного. Именно с этой позиции он критиковал его выступления. Тацит в своем «Диалоге ораторов» упрекает Брута в сухости, резкости и холодности стиля и заключает свой отзыв такими словами: «Оставим же Бруту его излюбленную философию, ибо даже его почитатели согласны, что в своих речах он не достигает высот, на которые способен». Но и он признает, что Брут «не делал уступок ни злomu умыслу, ни зависти и всегда честно высказывал все, что думал». Эта оценка представляется нам справедливой. Отметим также, что ни один из критиков Брута не оспаривал его места среди выдающихся римских ораторов.

Все биографы Брута датируют его отъезд в Киликию весной 49 г., что, на наш взгляд, совершенно невозможно. Морское сообщение закрывалось примерно в середине ноября и открывалось вновь около Февральских ид. Однако в феврале 49 г. политическая обстановка сложилась таким образом, что ни Катон, ни Сервилия, ни Аппий Клавдий не отпустили бы Марка из Рима. Брундизий и все морские порты удерживал Помпей, а сухопутные дороги контролировал Цезарь. Брут не смог бы покинуть Италию, не присоединившись к той или другой стороне. Поэтому мы думаем, что он уехал из Рима в конце 50 г., либо морем — в промежуток с 15 октября по 15 ноября, либо сушей, но в любом случае до начала декабря. Что касается его маршрута, то он направился не на Сицилию (Sicilia), как ошибочно указывает переписчик Плутарха, очевидно, полагавший, что племянник Катона присоединился к своему дяде, а непосредственно в Киликию (Kilikia).

Современная метеорология нашла объяснение этому феномену, в «красный» цвет дождь окрашивает приносимый ветром красный песок.

Определение «boni» (мужи чести) принадлежит Цицерону. Этим словом он в письмах называл слой граждан, которые в противостоянии обоих претендентов на диктаторскую власть видели угрозу свободе и лишние страдания для Рима. Выбор между тем и другим он приравнивал к выбору между Сциллой и Харибдой.

Это был тот самый Курион, который в годы первого консульства Цезаря играл роль вожака оппозиционно настроенной молодежи и скомпрометировал себя в деле Веттия. С тех пор Курион стал убежденным цезаристом — если только, как предполагает ряд историков, он не был им всегда. В этом случае придется признать, что в 59 г. он по приказу консула выполнял функции агента-провокатора.

Разные историки вину за развязывание гражданской войны возлагают, в зависимости от своих симпатий, то на Цезаря, выставляя его монстром лицемерия, сумевшим обвести вокруг пальца партию консерваторов, то на Помпея, возомнившего себя обязанным пресечь революционную угрозу, исходившую от Цезаря. Последний в этой трактовке предстает невинной жертвой, вынужденной защищаться. Однако некоторые действия, предпринятые «невинной жертвой» в месяцы, предшествовавшие гражданской войне, позволяют утверждать, что Цезарь прекрасно знал, что делает, и дальнейшие события отнюдь не застали его врасплох. Что касается партии консерваторов, то и она стремилась к вооруженному конфликту, полагая, что выход из сложившейся ситуации может быть найден лишь ценой ликвидации одного из соперников. Поэтому ответственность за развязывание войны несут многие римские деятели. Одни лишь «boni» — мужи чести, не желавшие вмешиваться в конфликт, действительно остались непричастны к зарождению катастрофы.

Достаточно перечитать переписку Цицерона периода гражданской войны, чтобы убедиться в этом. Совершенно не разбираясь в тонкостях военного искусства, Цицерон беспощадно критикует каждый шаг, предпринятый Помпеем. Эти письма дают ясное представление о том, в какой обстановке несчастному императору приходилось готовиться к войне с Цезарем. Не удивительно, что в конце концов он предпочел покинуть пределы Италии, лишь бы освободиться от безграмотного руководства штатских.

Цицерон в это время находился в Италии, страшно напуганный всем происходящим. Он до ужаса боялся слишком скомпрометировать себя союзом с Помпеем и больше вредил ему, чем помогал. Он даже согласился на тайную встречу с Цезарем, однако Гай Юлий отказался предоставить ему высокие посты, на которые он рассчитывал. Честолюбивый консуляр снова примкнул к Великому, которого сопровождал в Греции. Все это не мешало ему беспрестанно критиковать все, что делалось в лагере Помпея. Когда кто-то упрекнул его в том, что он присоединился к Помпею слишком поздно, Цицерон как ни в чем не бывало ответил: «Как же ты, дорогой мой, говоришь, что я приехал слишком поздно? Посмотри сам, здесь еще ничего не готово!» (Изложение событий противоречит фактам, известным из переписки Цицерона. — Прим. науч. ред.)

Историки теряются в догадках, стремясь разобраться в мотивах поведения Брута летом 48 г., особенно во время и после битвы при Фарсале. Однако никто пока не пытался связать его переход к Цезарю с вдовством Порции. Мы же убеждены, что желание жениться на горячо любимой кузине наверняка сыграло свою роль в его решении.

Известен случай, когда в великую республиканскую эпоху молодой магистрат понес суровое наказание за то, что встал перед своим старым отцом, забыв, что, сидя в этом кресле, олицетворяет Рим, а потому не должен выказывать почтения ни перед кем.

Ни один античный историк ни словом не упоминает о том, как вел себя Брут во время битв при Диррахии и Фарсале. В конце XIX в. Гастон Буассье пришел к выводу, что Брут, очевидно, «действовал, как подобает благородному человеку». Мы думаем, что это соответствует действительности. Если бы это было не так, легко вообразить, какой вой подняла бы антиреспубликанская пропаганда, узнав о позорном бегстве с поля боя вражеского полководца. Кроме того, отвага, проявленная Брутом в двух сражениях при Филиппах, семь лет спустя, ни в коем случае не позволяет считать его трусом.

По сведениям из разных источников, это произошло либо в конце июня, либо в начале июля. Согласно одним источникам, Цезарь с самого начала не терял инициативы и, к великому изумлению Помпея, неожиданно снял осаду. Согласно другим, Помпей воспользовался замешательством в стане противника, прорвал кольцо блокады и увел свои войска из Диррахия. Как бы там ни было, театр военных действий переместился в Фессалию.

Отдавая такой приказ, Цезарь руководствовался еще одним, более жестоким мотивом. С умерших патрициев в Риме всегда снимали посмертную маску, которую родственники обязательно доставали во время важных семейных торжеств. Очевидно, что с изуродованного лица такую маску снять нельзя. Лишая свои жертвы этой чести, Цезарь как бы разрывал их связи с родом и семейным культом. Именно по этой причине каждый высокородный римлянин в минуту опасности старался в первую очередь спрятать лицо — так же в свое время поступит и сам Цезарь.

Это не помешало Плутарху утверждать, что именно Брут сообщил Цезарю о намерении Помпея укрыться в Египте. Но даже с учетом неослабевавшей ненависти Брута к Помпею это предположение выглядит абсурдно. Во-первых, сам Плутарх указывает, что разговор происходил без свидетелей. Откуда же в этом случае стало известно, о чем он шел? Во-вторых, удирая из Фарсала, Помпей и сам еще не знал, куда направит свои стопы. Совершенно убежденный в своем превосходстве, он, скорее всего, не готовил для себя никаких путей отступления. Но даже если он предусмотрел такую возможность, он не стал бы делиться своими соображениями с Брутом, который отнюдь не входил в число близких ему лиц. Наконец, окончательное решение плыть в Египет, обернувшееся катастрофой, было им принято буквально в последнюю минуту, когда из уважения к чувствам своей жены Помпеи отказался искать пристанища там, где только и мог надежно укрыться поверженный римский вождь, — в Парфянской империи.

Несколько месяцев спустя, после смерти Птолемея и победы Клеопатры, Цезарь казнил Потина, якобы в наказание за убийство Помпея. На самом деле он, скорее всего, выполнял желание Клеопатры, ненавидевшей бывшего царского сановника. Но политически Цезарь действовал безукоризненно. При всей личной выгоде, которую принесло ему убийство Помпея, как римлянин он не мог оставить безнаказанным преступление против другого римлянина, особенно такого высокопоставленного. Аналогичный мотив двигал Кассием и Брутом, которые в 43 г. нашли одного из соучастников убийства Помпея и приказали его повесить.

Осталось неустановленным, действительно ли первенец Клеопатры, которого она горделиво нарекла Птолемеем Цезарионом, был сыном Гая Юлия. Вопреки давлению Клеопатры Цезарь отказался признать ребенка своим незаконнорожденным сыном, опасаясь скандала, который разразился бы в Риме из-за его связи с восточной царицей. Тем не менее, когда годы спустя Октавий вошел победителем в Александрию, он первым делом поспешил разделаться с юным царевичем, возможно, его родственником, следовательно, прямым наследником Цезаря, тогда как сам он был ему лишь приемным сыном.

Цезарь сдержал слово и уже несколько месяцев спустя назначил Руфа проконсулом Ахай — спокойной и богатой провинции.

Эта мысль принадлежит блестящему историку Гастону Буассье, который очень не любит Цицерона и называет его «вероломным ловкачом». На наш взгляд, принять эту версию значило бы оказать Цицерону слишком много чести, а Брута считать наивнее и глупее, чем он был на самом деле. (Буассье никогда не высказывал такой мысли; он является горячим поклонником и апологетом Цицерона. — Прим. науч. ред.)

Утверждая, что Брут оставил по себе в Цизальпинской Галлии самые светлые воспоминания, Плутарх в качестве доказательства приводит следующий факт: по окончании срока его полномочий жители Медиолана воздвигли в его честь прекрасную статую с ярко выраженными чертами портретного сходства. Современных историков этот аргумент не убеждает: они иронически отмечают, что подобной чести удостоивался любой наместник, и зачастую случалось, что тот из них, кого народ ненавидел с особенной силой, получал больше всего изваяний. Допустим. Тем не менее пять лет спустя, когда Брут уже погиб, а его имя было запрещено упоминать в любом уголке империи, жители Медиолана не потрудились убрать с пьедестала его изваяние, хотя этого требовала простая осторожность. Они не сделали этого даже в ожидании приезда Августа, ненависть которого к Бруту ничуть не утихла с годами. Видимо, они действительно хранили верность памяти человека, которого считали своим другом и благодетелем.

От этого труда сохранился всего один, довольно большой фрагмент, цитируемый Сенекой в одноименном сочинении, но его явно недостаточно, чтобы судить о работе в целом. Тем не менее можно предположить, что своей репутацией философа Брут обязан именно этой книге, тем более что он и жил в соответствии с теми принципами, о которых писал, — а это встречается не часто. Последнее обстоятельство производило особенно сильное впечатление на потомков и оказало значительное влияние на формирование образа Брута.

Некоторые биографы Цезаря придерживаются другой версии, согласно которой бой под Руспиной был всего лишь мелкой стычкой, из которой Цезарь благодаря своему гению вышел без потерь.

По мнению Плутарха, перед началом битвы при Тапсе с Цезарем случился припадок эпилепсии, так что сражение протекало без его участия. Это предположение объясняет многое, в том числе и массовое убийство пленных.

Катон не знал, что Метелл Сципион, отведя свои отряды в безопасное место, покончил с собой.

Во всяком случае, насколько мы можем об этом судить, ибо похвальное слово Катону до наших дней не сохранилось. Утрачены и «Анти-Катон», написанный Цезарем, и «Катон», в конце концов созданный Брутом. Но если новейшие комментаторы полагают, что текст Цицерона отличался осторожностью, то Тацит, читавший его, утверждает, что автор превознес Катона до небес.

Именно из этого сочинения античные историки извлекли рассказ о сделке Катона с Квинтом Гортензием. В знак нерушимой дружбы знаменитый адвокат просил у Катона руки его дочери Порции, на что Катон резонно возразил, что Порция уже замужем. Тогда Гортензий уточнил, что он «заимствует» у Бибула Порцию не навсегда, а лишь на время. Как только она родит ему ребенка, он вернет ее мужу, если уж тот так привязан к жене. Катон ответил, что не может так поступить со своим зятем, но взамен готов по дружбе уступить ему собственную супругу. Он действительно развелся с женой, которая вышла замуж за Гортензия, но вскоре овдовела, и тогда Катон опять на ней женился. Цезарь дает этой истории свой комментарий. По его мнению, Катон согласился на эту сделку, зная, что старик Гортензий лишил наследства своего единственного сына. Поэтому все его огромное состояние досталось вдове, а следовательно, перешло к самому Катону.

Римские аристократы называли друзьями людей, которые на самом деле являлись их клиентами и в обмен на политическую поддержку пользовались их финансовой помощью. Однако термин «клиент» употреблялся исключительно по отношению к наименее обеспеченным плебеям. Всякий прочий римский гражданин, располагавший хоть каким-нибудь имуществом и получивший некоторое образование, предпочитал именоваться «другом» своего патрона, на практике ничем не отличаясь от его клиентов.

В августе-сентябре 45 г. до н. э. Следует иметь в виду, что именно в этом году Цезарь с помощью александрийских астрономов осуществил реформу календаря, в результате чего в году вместо 12 месяцев стало 15, а вместо 365 дней — 445. Дополнительные месяцы заняли промежуток между ноябрем и декабрем.

Дочь Цицерона Туллия развелась с Долабеллой зимой предыдущего года. Она вновь была беременна и в начале марта 45 г. умерла родами. Отец не скрывал охватившего его горя, однако продолжал видаться с Долабеллой. Репутацией сестер Брута он заинтересовался не впервые. После истории с женой Лепида Юнией в поле его зрения попала и Тертулла, которую он обвинил в любовной связи с Цезарем, подчеркивая, что дочь сменила в этой роли мать. Это предположение дало ему повод прибегнуть к скабрезной игре слов. Рассуждая о царском подарке, преподнесенном диктатором Сервилией, он говорил, что Цезарь «оставил за собой третью часть». Напомним, что имя Терция в переводе с латинского обозначает «третья» или «третья часть». (Шутка принадлежит не Цицерону, а Цезарю (Suet. Jul. 50,2). — *Прим. науч. ред.*)

С 6 по 13 августа. 17 августа Цицерон писал Аттику, что только что получил письмо от Брута, отправленное из Цизальпинской Галлии. С учетом сроков доставки почты это значит, что Марк не мог выехать из Тускула позже 6 августа. (Иды — 13 августа. — Прим. науч. ред.)

Цицерон часто вставлял в свои письма греческие слова, выражения и поговорки. Euvangelia означает «благая весть», отсюда — Евангелие. (Благая весть по-гречески пишется иначе — ###. — *Прим. науч. ред.*)

Претор по делам иноземцев осуществлял правосудие в отношении лиц, не являющихся римскими гражданами.

Сестра Цезаря Юлия вышла замуж за Марка Атия Бальба; их дочь Атия стала женой «нового человека» — провинциала Гая Октавия.

Через полгода Брут возглавит заговор, в результате которого будет убит Цезарь. Через три года он покончит с собой, лишь бы не попасть в руки Антония и Октавия. Через десять лет совершит самоубийство Антоний. Победит Октавий.

Об этом позволяет судить тот факт, что повзрослевший Бибул опубликовал «Воспоминания о Бруте» — книгу, изобилующую личными впечатлениями и семейными анекдотами. К сожалению, текст книги утрачен, однако известно, что сведения из нее широко черпал Плутарх.

Юния Старшая вышла замуж за Марка Эмилия Лепида — убежденного сторонника Цезаря. Судя по всему, супруги плохо ладили между собой, да и Брут не слишком любил своего шурина. Юния Секунда, насколько нам известно, стала женой Публия Ватии Сервилия Исаврика, дальнего родственника семьи, с которым Марк, по всей видимости, не поддерживал тесных отношений. Только Кассий, муж Терции, пользовался его искренним уважением и симпатией.

Как ни странно, в этом предписании есть здоровое зерно. Современная медицина признает, что под влиянием физической активности происходит упорядочение мозговой деятельности, нарушение которой и вызывает эпилептический припадок.

Глагол «februare», давший название месяцу, в переводе с латинского означает «очищать». Именно в феврале проводились обряды очищения.

Курион в самом деле из самой решительной оппозиции Цезарю перешел к самой яростной его поддержке. Он погиб 20 марта 49 г. в Африке, в битве против сторонников Помпея.

75

Так называлась философская школа, основанная Эпикуром. (Прим. пер.)

В данном случае сработала *fides romana* — знаменитая римская честность, не позволявшая римлянину нарушить данное слово или выдать доверенную ему тайну. Этот кодекс чести значил больше, чем политические разногласия. Так, в 63 г. Катилина, вынужденный бежать из Рима, доверил безопасность своей жены одному из своих злейших врагов в сенате, уверенный, что он наилучшим образом позаботится об Аврестилле. Так и случилось. В сентябре 45 г. Требоний, опасаясь за свое будущее, задумал убить Цезаря во время встречи в Нарбонне и поделился своими планами с Марком Антонием. Несмотря на свою безусловную преданность Цезарю Антоний не выдал Требония.

Традиционному римскому сознанию казалось невыносимым не столько восстановление монархической власти, сколько смещение мирового полюса в сторону Востока. Пройдет 10 лет, и Антоний, вслед за Цезарем угодивший в сети Клеопатры и унаследовавший его мечтания, погибнет по той же самой причине, так и не поняв, что Рим не желает становиться Востоком. Его ошибку повторяют Нерон и Калигула — внук и правнук Антония, которых тоже сгубит попытка установить в Риме правление восточного образца. Истинные римляне воспринимали восточных царей, в частности Гелиобагала, как самое позорное из оскорблений. Даже в последние века существования Рима его императоры оказались бессильны соединить эти два несоединимых мира, а Римская империя окончательно раскололась на две части — Восточную и Западную.

В пору расцвета Римской республики раба, выдавшего своего хозяина, ждала казнь. Но уже в годы правления Суллы рабов-доносчиков стали не карать, а награждать — освобождением, а порой и крупной суммой денег. Особенно распространение эта практика получила в период принципата. Что касается «откровений на подушке», то известно, что именно таким способом был раскрыт заговор Катилины.

Немало историков поддались искушению провести параллель между изменой цезаристов и предательством маршалов Наполеона, отвернувшихся от него после разгрома в русской кампании. По их мнению, и теми и другими двигали исключительно черная неблагодарность, нежелание продолжать войну и нетерпеливое стремление поскорее насладиться накопленным богатством, равно как и ревнивая обида на полководца, недостаточно их наградившего. Нам же приходит на ум другая аналогия — с Роммелем и высшим немецким командованием, которым в 1944 г. внезапно, хотя и несколько запоздало, открылась вся дикость нацизма и которые загорелись надеждой свергнуть правящий режим и спасти Германию. Если уж сравнивать психологию поведения бывших сторонников Цезаря, то скорее с немецкими генералами, чем с наполеоновскими маршалами.

44 г. до н. э. (Датой основания Рима считался 753 г. до н. э. — Прим. науч. ред.)

В оправдание Артемидора следует сказать, что шпионажем в пользу Цезаря он занимался не ради денег, а из принципиальных убеждений. С Гаем Юлием он познакомился в Книде, где будущий диктатор обучался у его отца, и с тех пор проникся к нему искренним восхищением и горячей любовью.

Именно эти слова приводит Цицерон в своих письмах, датированных весной 44 г. Очевидно, прав он, а не Плутарх, цитирующий слова Цезаря: «Он не всегда знает, чего хочет, но уж если чего-нибудь хочет, стремится к этому всей душой», произнесенные после выступления Брута в суде в защиту Дейотара.

Не исключено, что современники Цезаря и последующие античные историки не слишком четко различали обоих Брутов, которые приходились друг другу родственниками. В отличие от Марка Юния Брута Децим Брут, согласно последней воле Цезаря, действительно был ему «сыном».

Римляне вели отсчет времени с восхода солнца. 15 марта в Риме солнце встает около 8 часов утра, следовательно, четвертый час приблизительно соответствует 11 часам утра.

Чтобы не дразнить судьбу, римляне остерегались в некоторых обстоятельствах вслух говорить о смерти. Так, выражению «он умер» они предпочитали другие: «его больше нет», «он оставил жизнь».

Пожалуй, не найдется другого исторического высказывания, толкователи которого извели бы столько же чернил, как это знаменитое «Brute, tu quoque, mi fili» — отличный пример использования звательного падежа для имен с окончанием на «ius». Между тем существуют веские причины причислить его к позднейшим апокрифам. Ни один из первых историков, описавших смерть Цезаря, не цитирует этих слов, которые, вполне возможно, были присочинены позже с целью доказать незаконное происхождение сына Сервилии. Кроме того, точный смысл греческого высказывания «Kai sy, teknon» вообще не предполагает обязательного обращения к родному сыну, в переводе оно звучит как «И ты, малыш» или «И ты, сынок», то есть воспроизводит форму обращения старшего к младшему. Но даже если согласиться, что Цезарь произнес эти слова, необходимо уточнить, к кому из двух Брутов он обращался. Чье предательство — сына любовницы или старого друга и наследника, имя которого он внес в свое завещание, — переполнило его таким отчаянием, что он отказался от дальнейшего сопротивления?

Цезарь получил 23 раны, 22 из которых были поверхностными.

По закону, минимальный возраст для избрания на должность консула равнялся 43 годам. Долабелла был гораздо моложе. Кстати сказать, эта деталь позволяет оспорить факт рождения Брута в 78 г. в пользу 85 г. Действительно, если Брут родился в конце октября 85 г., то к 45 г. ему исполнилось 40 лет. Между тем нам известно, что Цезарь обещал сделать его консулом «через четыре года», то есть по достижении им законного возраста. Если принять это допущение, то придется признать, что, во-первых, Брут никак не мог приходиться Цезарю сыном, а во-вторых, он не входил в число его фаворитов, поскольку ради близких друзей последний нередко шел на вопиющие нарушения законов.

Только у Аппиана мы находим полный текст речи, произнесенной Брутом 16 марта 44 г. Впрочем, и этот автор, в привычной манере античных историков, предлагает читателю не оригинал, а его литературное изложение. Доказательством служит упоминание об убийстве Цинны, которое произошло лишь 20 марта, в день похорон Цезаря. По всей вероятности, Аппиан спутал это событие с выступлением трибуна Цинны в поддержку заговорщиков, которое действительно имело место 16 марта. Поэтому к изложению Аппиана следует относиться с известной долей скепсиса.

Знаменитые вспомогательные отряды галльской конницы, наводившие на римлян ужас.

Брут напоминает своим слушателям о том, как в 49 г. Цезарь захватил государственную казну, хранившуюся в храме Сатурна, и жестоко расправился с трибуном, который пытался ему помешать.

Читателю, знакомому с сюжетом «Астерикса», не надо объяснять, о каких земельных наделах говорил Брут. Для остальных поясним, что речь идет об участках сельскохозяйственных угодий на территории Италии или провинций, которые ветераны военных кампаний получали бесплатно, но с обязательным условием самостоятельно обрабатывать эти земли в течение не меньше двадцати лет. Лишь по истечении этого срока они имели право продать свой надел.

Зал, в котором заседали сенаторы, обретал статус священного места сразу после того, как в нем совершалась церемония ауспиций, то есть чтения предзнаменований.

На самом деле у нас нет полной уверенности, что все эти назначения исходили именно от Цезаря. Брут, Кассий и другие вели себя так, словно получили свои посты вполне законно, хотя далеко не очевидно, что все полагающиеся по закону формальности были при этом соблюдены. Именно это дало Антонию возможность уже в ближайшие недели после заговора осуществить ряд важных и унижительных для них перестановок.

Письмо к Аттику от 1 мая 44 г., XIV, 15.

Историк Корнелий Непот называет отказ Аттика главной причиной поражения республиканцев. Он пишет: «Так, не встретив понимания со стороны одного-единственного человека (Аттика), единодушная до того партия полностью рассыпалась».

Большинство историков обходят вниманием вероятность этого обстоятельства, хотя оно представляется нам вполне правдоподобным. Если бы не последние сроки беременности, Порция, скорее всего, в 44 г. последовала бы за мужем в Грецию. Точно так же тот факт, что на всем протяжении весны Порция постоянно недомогала, логичнее всего приписать именно беременности. И сам Брут, объясняя, почему жена не поехала с ним, упоминает «слабости, присущие женскому полу». В июне, когда у Терции — сестры Брута и жены Кассия — случился выкидыш, Цицерон сокрушался по этому поводу, говоря: «Нам так нужны маленькие Кассии и маленькие Бруты». Вполне возможно, что он имел в виду ожидавшегося ребенка Порции. Наконец, нам гораздо легче понять причины поразившей Порцию в следующем году страшной депрессии, которой она не смогла пережить (не исключено, что она покончила с собой), если допустить, что в довершение всех своих бед она за это время потеряла и рожденного от Брута ребенка.

Традиционный запрет, применявшийся к жертвам проскрипций, объявленным государственными преступниками. Ни один человек, под страхом смерти, не имел права предоставлять им убежище — кров, воду и хлеб. Все, что им оставалось в подобном положении, — либо открыто поднимать мятеж, либо погибнуть, либо покинуть италийскую землю.

Речь идет о младшем сыне Помпея и одном из его военных помощников, которые по-прежнему вели в Испании боевые действия против войск Цезаря, правда, не слишком успешно.

100

3 июня 44 г.

101

Письмо к Аттику из Неаполя от 11 мая 44 г., XIV, 20.

Цицерон в шуточной форме намекает на то, что Тит Помпоний Аттик (дословно — уроженец Аттики) должен отдавать предпочтение так называемому аттическому стилю красноречия, характерной чертой которого является строгость изложения. Именно в этом стиле писал Брут.

103

Письмо к Аттику от 18 мая 44 г., XV, 2.

Слово «июль» происходит от латинского имени Юлий, как «июнь» — от Юния, а «август», в ту пору еще называвшийся секстилием, — от Августа.

105

Письмо к Аттику из Антия от 23 мая 44 г., XV, 5.

Речь идет об алтаре, воздвигнутом Аматием в марте, но тотчас же затем разрушенном. В краткие дни своего существования он уже стал кое для кого местом отправления культа божественного Цезаря.

В тот год они начались 5 июля.

В случае, если бы сенат отправил его наместником в Малую Азию, а он бы принял это назначение.

109

Письмо к Аттику от 9 июня 44 г., XV, 11.

110

1 августа 44 г. (1-е число каждого месяца называлось календами).

Это, разумеется, традиционная и ни к чему не обязывающая формула вежливости, с которой римляне обычно начинали любое письмо. В данном конкретном случае Брут и Кассий призывали на голову Антония все несчастья, и нам трудно их в этом упрекнуть.

Речь идет о тексте оскорбительного содержания, за месяц до того опубликованном Антонием. Он в иносказательной форме обвинял Брута и Кассия в мобилизации войска.

113

По закону от 18 марта этот вопрос считался решенным.

114

4 августа 44 г. Цитируется по переписке Цицерона.
Fam., XI, 3.

115

17 августа 44 г.

116

Это был не кто иной, как будущий великий поэт Гораций.

Разумеется, в случае крайней необходимости жители Рима пользовались для связи наземным путем, а именно Эгнатиевой дорогой, пролегавшей через Балканы. Но подобный переход занимал много времени, а зимой, в пору снегопадов, становился и вовсе невозможным. Благодаря этому обстоятельству Брут мог рассчитывать на четыре-пять месяцев относительно спокойной жизни.

В противоположность «мужам чести» (*boni viri*) это были «мужи бесчестья».

Между Цицероном и Марком Антонием существовала давняя вражда. В декабре 63 г. отчим Антония Лентул, второй муж его матери Юлии, был казнен без суда и следствия по обвинению тогдашнего консула Цицерона, утверждавшего, что Лентул участвовал в заговоре Катилины. Антоний испытывал к своему отчиму, воспитавшему его, искреннюю привязанность. Затем Антоний женился на вдове Публия Клодия Пульхра Фульвии, которая считала Цицерона косвенным убийцей своего первого мужа и открыто заявляла об этом. Поток лжи и клеветы, излившийся на Антония и Фульвию из Цицероновых «Филиппик», пламенного стиля которых они совершенно не оценили, стал последней каплей, переполнившей чашу взаимной ненависти.

120

В конце октября 44 г.

121

Сыном Лето был, как известно, Аполлон. По странному совпадению именно такой пароль избрал Брут для своего войска 23 октября 42 г., в день второй и решающей битвы при Филиппах, которая завершилась его поражением и смертью.

После реформ, проведенных Марием, римский легион насчитывал шесть тысяч воинов, конный эскадрон — примерно пятьсот всадников. Кроме них, в войско Брута влились добровольцы из бывших помпеянцев.

123

Современная медицина называет булимией совершенно другое заболевание, имеющее причиной не столько физическое, сколько психическое расстройство. Судя по всему, с Брутом случился острый приступ гипогликемии.

Цицерон написал по этому поводу: «Надо срочно поздравить Ватиния с назначением, пока время не вышло».

Напомним, что в детстве Брута усыновил дядя по материнской линии Квинт Сервилий Цепион, брат Сервилии и сводный брат Катона. Он законным порядком дал ему свое имя, которое отныне и фигурировало во всех официальных документах, хотя для всех в Риме он всегда оставался Марком Юнием Брутом.

Имеются в виду Марк Антоний, Гай Антоний — проконсул и приятель Брута — и их младший брат Луций Антоний, который в нашем повествовании не фигурирует.

127

Переписка Цицерона с Брутом. Письмо VII от 18
апреля 43 г.

Октавий, несмотря на свою молодость, настойчиво претендовал на должность консула на будущий год, и Цицерон склонялся к тому, чтобы его поддержать. Себя он видел вторым консулом, а фактически — руководителем юного политика.

Переписка Брута и Цицерона. Письмо XIII.

Впоследствии Октавий в аналогичных обстоятельствах будет опираться на своего лучшего друга Агриппу, которому для верности отдаст в жены свою дочь, а затем — на своего пасынка Тиберия, будущего императора.

Если, конечно, встреча между ними действительно имела место. По мнению большинства античных историков, а также современников, Гай Панса скончался в ночь с 23 на 24 апреля 43 г., то есть до прибытия Октавия в Болонью.

132

На полуострове Галлиполи.

133

Врача Брута.

134

Переписка Брута с Цицероном. Письмо XV от 16 мая
43 г.

В декабре 63 г. состоялось заседание сената, на котором Цицерон расправился с Катилиной и его сторонниками.

Иными словами, не вступая с ним в вооруженную борьбу. Тога, в отличие от военной формы, служила римским гражданам символом мирной жизни.

Переписка Брута с Цицероном. Письмо XVI.

Многие античные историки сочинили для Порции кончину в духе героической трагедии. Узнав о смерти Брута, она якобы покончила с собой, наглотившись горящих углей из очага. Однако нам представляется несомненным, что Порция умерла в июне 43 г. и, скорее всего, естественной смертью. Об этом свидетельствуют и соболезнующие письма, адресованные Бруту, и все его дальнейшее поведение. (Когда умерла Порция, точно неизвестно. Ясно только, что она покончила с собой, проглотив горящий уголь. Вероятнее всего, это случилось еще при жизни Брута. — Прим. науч. ред.)

139

По случаю смерти дочери Цицерона Туллии, случившейся в феврале 45 г.

Переписка Цицерона с Брутом. Письмо XVIII.

141

Переписка Цицерона с Брутом. Письмо XIX от июня
43 г.

142

То есть 1 июля 43 г. Переписка Брута с Цицероном.
Письмо XX.

Переписка Цицерона с Брутом. Письмо XXIII.

Переписка Брута с Цицероном. Письмо XXIV.

145

25 июля 43 г.

146

Переписка Цицерона с Брутом. Письмо XXV от 27 июля 43 г.

147

Они состоялись 19 августа 43 г.

Если мы вспомним о том, какой жестокой домашней тирании впоследствии, став Августом, он подвергал своих близких, нам будет позволено серьезно усомниться в искренности современников, превозносивших его милосердие. Не исключено, что все разговоры о «милосердии Августа» были не более чем удачной находкой имперской пропаганды.

Точных сведений о количестве жертв проскрипций 43 г. не сохранилось. В зависимости от больших или меньших симпатий к Августу античные историки указывают разные числа — от трех сотен до нескольких тысяч. Но тот факт, что это было время разгула жестокости и насилия, не подлежит сомнению.

В один из дней Антоний, ведя подсчет отрубленным головам, воскликнул: «Постойте-ка! А этого человека я не знаю!» На что его жена Фульвия невозмутимо ответила: «Зато я его знаю». Это оказался ее сосед, с которым она о чем-то повздорила...

Следует упомянуть, что предварительно они побывали в доме Антония, где, по рассказам, мстительная Фульвия не отказала себе в удовольствии многократно проткнуть иглой язык мертвого Цицерона, столь досаждавший ей и обоим ее мужьям. Фульвия, надо отдать ей должное, беззаветно любила Клодия, а затем питала самые пылкие чувства к Антонию. Вместе с тем не стоит забывать, что тогдашние нравы в принципе отличались жестокостью, да и сами римлянки им соответствовали. Так, вдова Квинта Туллия Цицерона (брат оратора и его племянник были казнены спустя несколько дней после гибели Марка Туллия) отомстила Филологу страшной мезтью. Несчастливого предателя, в свою очередь, выданного другими рабами, умертвили, постепенно отрубая от его тела член за членом, а Помпония не только наблюдала за истязанием, но и требовала, чтобы Филолог поедал отрубленные части собственного тела.

152

7 декабря 43 г.

Вспомним, что после бегства Антония Цицерон обрушил свой гнев на его супругу. Фульвия едва не лишилась всего, чем владела, если бы не Аттик, который согласился выступить ее финансовым и юридическим гарантом.

После битвы при Филиппах, узнав среди пленных Квинта Гортензия, Антоний, разумеется, приказал казнить его на могиле своего брата.

Если верить античным историкам, для подсчета смертных приговоров, вынесенных Брутом, хватило бы пальцев одной руки — явление по тем временам настолько редкое, что оно не могло не вызвать изумления современников. Некоторые из них даже поспешили возложить ответственность за казнь Феодота на Кассия, а за казнь Гая Антония — на Квинта Гортензия, который якобы не смог сдержаться, узнав о гибели Цицерона.

Иную трактовку этих событий дает Дион Кассий. Он пишет, что римляне взяли Ксант приступом, и тогда отцы семейств перебили жен и детей. Пленных затем для острастки казнили, а мирных жителей изгнали вон, запретив им селиться в других городах. Действительно, подобные суровые меры довольно часто практиковались в те времена, однако они слишком явно противоречат всему, что мы знаем о Бруте. Дион, ярый апологет принципата, не любил тираноборцев так же горячо, как искренне восторгался Августом. Возможно, этим объясняется тот факт, что он, не соглашаясь с Аппианом, Плутархом и другими античными историками, все же счел нужным привести этот рассказ, в котором, кстати, противоречит сам себе, описывая скорбь Брута перед ужасами войны.

И снова Дион Кассий дает собственную трактовку этого эпизода. По его словам, вначале Брут заставил пленных женщин встать под городскими воротами, чтобы разжалобить родных. Когда это не помогло, некоторых из них он продал в рабство. Снова никакого эффекта. И вот тогда он решил отпустить остальных без выкупа и милосердием сумел добиться того, что оказалось недостижимым угрозой силы. Но, зная характер Брута, гораздо логичнее предположить, что решение об освобождении пленниц он принял сразу, как нечто само собой разумеющееся.

Но, разумеется, не возраст, как утверждает ряд историков. Вряд ли можно согласиться, что 42-летний Кассий претендовал на роль достопочтенного старца.

Напомним читателю, что римляне называли императором военачальника, возглавляющего действующую армию.

Греческая фраза построена на непере译имой игре слов, ибо слово «kinos» (собака) является корнем слова «киник». Иными словами, философ-киник по определению ведет себя, как собака. Возможно также, и Брут вспомнил Гомера, поскольку процитированному Фавонием монологу Нестора в книге предшествует реплика Ахилла: «Вон с моих глаз, бурдюк с вином! Вон, пес, прикинувшийся человеком!»

Вечерняя трапеза у римлян проходила в обстановке торжественности. В последние годы существования Республики, сидя за отдельным столом, ели только женщины и дети. Взрослые мужчины ели лежа, за исключением дней, когда в семье был траур, — тогда в знак скорби они жертвовали этим удобством. В столовой обычно стояло три парадных ложа, каждое на три места, расположенных «покоем». Центральное место занимал хозяин дома, два других — почетные гости. Таким образом, наиболее удаленное от хозяина место считалось наименее почетным. Ужин, на который Кассий пригласил Брута, был рассчитан именно на девять человек, то есть протекал в узком кругу. Предлагая Марку привести с собой «всех друзей», он, разумеется, имел в виду только самых близких людей. Таким образом, бестактность Фавония заключалась в том, что он сам себя причислил к этому кругу и занял место, предназначенное для другого.

162

Из-за ошибки переписчика у Плутарха этот человек превратился в Луция Оцеллу.

Если допустить существование сверхъестественного, то придется признать, что призрак, явившийся Бруту в Абидосе, соответствовал самым строгим канонам жанра. Призраки редко выказывают склонность к болтовне. Исключением служит, пожалуй, знаменитый диалог Плутарха, ставший в пересказе Шекспира бессмертным литературным шедевром.

Это простое соображение заставляет нас усомниться в достоверности речи Кассия, приводимой Аппианом. Очевидно, она является плодом позднейшей реконструкции, широко распространенной в практике античных историков. Приписываемая им Кассию речь одновременно и слишком длинна, и слишком сложна для той аудитории, к которой он обращался. По мнению Джерарда Уолтера, подлинна только ее заключительная часть.

Филиппы известны в истории благодаря сразу двум историческим сражениям, решившим судьбы Римской империи и всего мира, а также благодаря одному из посланий апостола Павла, адресованному жителям города. Он просуществовал до самого заката Византийской империи. Сегодня территория города служит местом археологических раскопок.

Если, конечно, принять допущение, что он родился в том же году, что и Брут, то есть в 85-м, но месяцем раньше. Точный год его рождения неизвестен, мы знаем лишь, что свой день рождения он праздновал 3 октября. Именно на это число пришлась первая битва при Филиппах, в которой Кассий погиб. Это горькое совпадение произвело на современников очень сильное впечатление.

Плутарх описывает эту сцену, как и ряд других, основываясь на «Мемуарах» Марка Валерия Мессалы, к сожалению, в дальнейшем утраченных.

Этот вывод нам подсказывают некоторые из античных историков, повествующие о так называемом «самоубийстве чужими руками», которое Брут избрал из моральных соображений. Дело в том, что адепты пифагореизма строго соблюдали запрет на собственноручное прерывание своей жизни.

Джерард Уолтер подвергает сомнению достоверность этого диалога, который считает слишком высокопарным и приписывает воображению Плутарха. Однако приходится признать, что его содержание нисколько не противоречит тому, что нам известно о Бруте и образе его мыслей, нашедших свое выражение в письмах к Цицерону. Возможно, Плутарх позаимствовал этот диалог из «Мемуаров» Мессалы или воспоминаний Бибула.

Восстановить ход первого сражения под Филиппами, основываясь на сообщениях Плутарха, Аппиана и Диона Кассия, довольно трудно. Все три античных историка противоречат друг другу, и порой складывается впечатление, что они смутно различали две битвы — 3 октября и 23 октября. Отсюда и множество недоумений, которые вызывает их рассказ.

171

Около полутора километров.

Даже современникам самоубийство Кассия представлялось труднообъяснимым. Некоторые из них высказывали гипотезу, что он добровольно принял смерть, неправильно оценив общий исход битвы. С этим предположением трудно согласиться. Ни один здравомыслящий император не станет делать столь скоропалительных выводов, не убедившись в истинном положении вещей. Среди античных историков нашлись и такие, кто намекал, правда, с многочисленными оговорками, на возможность убийства. Но эта версия выглядит еще более неправдоподобно. На мысль свести счеты с жизнью Кассия вполне могло подтолкнуть собственное самолюбие, по которому в этот день был нанесен жестокий удар. Во всяком случае, такое объяснение вполне вписывается в характер Кассия с его взрывным темпераментом, склонностью впадать в беспричинную ярость и страдая жгучей завистью к Бруту.

Способ, каким Кассий приказал себя убить, свидетельствует, что он не хотел причинять зла Пиндару. Отрубить человеку голову помимо его воли довольно трудно, а ведь из палатки не доносилось никаких звуков борьбы. Поэтому предположение Плутарха о том, что Кассий был убит, выглядит маловероятным. Вообще, древние римляне, совершая самоубийство, прибегали к другому способу: они бросались на меч. Плутарх пишет также, что Брут и Кассий приняли смерть от того же оружия, каким поразили Цезаря. Повествующие об этом страницы проникнуты высоким трагизмом, но согласиться с их достоверностью, увы, совершенно невозможно. Мы знаем, что в Мартовские иды заговорщики имели при себе короткие кинжалы, которые легко было спрятать в складках тоги, тогда как вооружение легионеров составляли большие и тяжелые мечи. Каким бы умелым убийцей ни был Пиндар, вряд ли ему удалось бы отсечь хозяину голову коротенькой дагой...

Ни у одного античного автора рассказ об этой казни не вызвал ни малейших упреков в безнравственности. Плутарх, крайне внимательный к поддержанию доброй репутации своего героя, спокойно пишет: «Он приказал умертвить толпу рабов». Трудно и, наверное, бессмысленно судить этих людей исходя из наших нынешних понятий о хорошем и дурном. Ведь понадобилось почти три века христианства, чтобы римское общество впервые серьезно задумалось о сущности института рабовладения.

«Это единственное несмываемое пятно на памяти Брута», — сетует в этой связи неподражаемый Плутарх. Естественно, ведь речь шла о греческих городах. Впрочем, мы попытаемся смыть «пятно» с памяти Брута, напомнив, что ни Фессалоники, ни Лакедемон никогда не подвергались разграблению по той простой причине, что республиканцы проиграли войну. К тому же еще неизвестно, выполнил бы Брут в случае победы данное воинам обещание или нашел бы другой, более пристойный способ отблагодарить их.

Аппиан, правда, утверждает, что Брут все-таки получил послание Мурка и знал об одержанной им победе. Если бы это было так, Брут имел бы весомый аргумент в споре со своими заместителями и ему наверняка удалось бы убедить их в необходимости отложить битву.

Аполлон в переводе с греческого означает «разрушитель». Другое его имя, Фобос, переводится как «ужас». (Аполлон — букв, «губящий издалека», однако, видимо, имя это негреческое и этимология дана по созвучию. Слово Phoebos означает «Светоносный». Это уже греческое имя бога. Автор путает его со словом phobos — страх. — *Прим. науч. ред.*)

Ни один античный историк не приводит текста речи Брута, произнесенной перед началом второй битвы при Филиппах. Это не значит, конечно, что Брут нарушил обычай и не стал ее произносить. Возможно, отсутствие ссылок на это выступление объясняется тем, что многие историки путали между собой оба сражения, разыгравшиеся в октябре 42 г.

Автор этих строк, цитируемых Дионом Кассием, неизвестен. Профессор Неродо полагает, что строки взяты из трагедии греческого драматурга Еврипида «Геракл».

Любопытно, но ровно через десять лет «виновник бед и скорбей» Брута Марк Антоний, оказавшись в гораздо худшем положении, неожиданно вспомнит эти же строки Еврипида.

Во всяком случае, именно так описывает последние часы жизни Брута Дион Кассий, у которого имелось под руками больше, чем у Плутарха, источников. По всей видимости, он опирался на «Мемуары» непосредственного участника событий Волумния, а также на воспоминания Мессалы, который встречался и говорил о них со Стратоном.

Аппиан утверждает, что спаслись четыре легиона республиканцев, но нам это кажется невероятным. Если бы это было так, они обязательно продолжили бы бой. Располагая четырьмя легионами и зная, что значительная часть остальных пятнадцати успела разбежаться, Брут ни за что на свете не отказался бы от дальнейшей борьбы. Гораздо более достоверным выглядит свидетельство опиравшегося на рассказы очевидцев Плутарха, который утверждает, что вместе с Брутом спаслась лишь горстка друзей.

Гораций впоследствии сам без тени смущения рассказывал, как, поддавшись всеобщей панике, бросил оружие и бежал с поля боя. Обретя затем протекцию Октавия, ставшего Августом, он, как известно, сделал блестящую литературную карьеру, для которой явно был приспособлен лучше, чем для военных подвигов.

Маловероятно, чтобы этим храбрецом оказался тот самый философ Статиллий, который так перепугался, когда ему предложили принять участие в заговоре против Цезаря. Хотя точными сведениями на этот счет мы не располагаем.

Именно это случилось с Катоном. И такой же мукой сопровождалось самоубийство Марка Антония.

Антонию не пришлось пожалеть об этом. Луцилий и в самом деле стал его верным другом и один из немногих пошел за ним до конца, не бросив его после поражения под Актием.

Оба они остались в живых. Стратона взял под свою защиту Мессала, несколько лет спустя представивший его Октавию. Грек никогда не скрывал ни своей былой дружбы с вождем республиканцев, ни того, что оставался рядом с Брутом до последних мгновений его жизни. Однажды Октавий спросил его, почему, много лет считая его врагом, он впоследствии переменил свое мнение. Стратон ответил: «Цезарь, я всегда принимаю сторону лучшего и справедливейшего из вождей».

Одному из пленных, просившему, нет, не о пощаде, но о достойном погребении, Октавий ответил: «Не беспокойся, о тебе позаботятся стервятники!»

189

Следует добавить, что Антоний, узнав об этом, приказал казнить нечестивца.

Профессор Каркопино придерживается обратного мнения, однако большинство приводимых им аргументов касаются не самого Брута, а его матери и сестер, да и те вызывают серьезные возражения.

Бибул избежал гибели, поскольку в день битвы, как мы помним, находился на острове Тасос. Поначалу он мечтал организовать сопротивление триумвирам, но вскоре отказался от этой мысли. Он понял, почему отчим именно в этот день отослал его из Филипп, — он хотел, чтобы сын Порции остался жив. После отъезда Октавия в Рим Антоний прекратил всякие преследования республиканцев. Он вступил в переговоры с Бибулом и Мессалой и договорился с ними о сдаче последних остатков республиканской армии. Молодые люди, а с ними и сын Цицерона Марк вернулись в Рим, где в годы становления принципата совершили обычную для людей своего круга карьеру.